

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСЕЙ СМЕРНОВ — Присутствие осени, стихи	7
ИГОРЬ САВЕЛЬЕВ — Бледный город. Повесть про автостоп	12
ТАМАРА БУКОВСКАЯ — Витражный осколок, стихи	47
ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО — Из пороха в порох, повесть	51
ДМИТРИЙ ЗИНОВЬЕВ — С музыкальным боем, стихи	72
АННА МАТВЕЕВА — Итальянское вино. Маленькая повесть	76
ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ — Ожившие запахи, стихи	93
ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ — Из-под козырька, рассказы	97
ГРИГОРИЙ КОРИН — Окрыленная книга, стихи	112

КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА — Изгнание из номенклатурного рая	115
---	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Награды Михаилу Булгакову при жизни и посмертно. Из «Литературной коллекции»	122
--	-----

БЕСЕДЫ

ЛАМПАНИДУС С ГОЛУБЫМИ ФОНАРИКАМИ. Беседа Олеси Николаевой с Геннадием Снегиревым	128
--	-----

ОПЫТЫ

СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ — В русском жанре-27	137
---------------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЕЛЕНА НЕВЗГЛЯДОВА — «Его взыскательные уши...» О поэтике Пастернака по следам статьи М. И. Шапира «...А ты прекрасна без извилин...»	142
--	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Сергей Костырко. Безальтернативность Слаповского	153
Никита Елисеев. Стереоскопичность памяти	157
Лиля Панин. Военная тайна Бориса Слуцкого	161
Алексей Балакин. Нина и другое. Сергей Бочаров. Р. С. к рецензии Алексея Балакина	163
Владимир Губайловский. Нежная дикость	171

КНИЖНАЯ ПОЛКА ПАВЛА КРЮЧКОВА	175
КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	184
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДНЕВНИК ОЛЬГИ ГЛАДКОВОЙ	191
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	197

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	202
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	205
SUMMARY	240

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ «ANTHOLOGIA»

учреждена редакцией журнала «Новый мир»
в феврале 2004 года в виде специальных почетных дипломов,
отмечающих высшие достижения современной русской поэзии.

Торжественное вручение дипломов лауреатам 2003 и 2004 годов
состоится на юбилейном вечере в честь 80-летия
«Нового мира» одновременно с вручением
премии имени Юрия Казакова
и ежегодных редакционных премий авторам журнала
в начале 2005 года.

Координаторский совет:
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,
ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ,
ИРИНА РОДНЯНСКАЯ.

Контактный телефон (095) 209-57-02
nmir@lenta.ru

Издание выходит при поддержке Министерства культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации.

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ



ПРИСУТСТВИЕ ОСЕНИ

Чайки в лунном и алом

(Отрывок)

Между алым и лунным летают, меняясь, птицы:
То погаснут, как пепел; то вспыхнут у самой границы.
До и после порога
Два иных состоянья. Смирися, гордыня дневная;
Ярость гневная, кань, на прощанье крыла воздевая;
Меркни, зоркое око.
Между пепельным — лунным и медленно гаснущим — алым;
Между ветхим и юным; обыденным и небывалым
Вьются пленницы рока.
Моисей называл их нечистыми. Видимо, хищность
Их натур поборола врожденную их артистичность
В пониманье пророка.
Он прозрел их алчбу за свободною лентой полета,
За паденьем ко дну на манер корабельного лота.
Крохи жалкого прока
Их вскормили. Они б никогда не поверили в чудо.
Им нужны оправданья: «Не тонет, а движется судно, —
Хоть оно и морока, —
Потому, что ему... оттого, что под ним...» Но граница
Позади, и в разумностях вправе они усомниться.
Слишком ясности много.
Где из алого в лунное входит Идущий в хитоне,
Чудо в том, что вокруг, а не в том, что Идущий не тонет,
Ибо свыше подмога.
Чудо в сером сиянии; в чайках, качаемых ветром;
В накипающих волнах; в распущенных — перед рассветом —
Холодеющих ивах; в подлунных оливах лиловых;
В заревых облаках — в их покое, покрое, покровях.
Чудо в том, что из рога
Изобякая сыплется, не иссякая при этом.
Путь Твой — море, стезя Твоя — воды, и след Твой неведом.
Где ступил — там дорога.
И такое ли чудо по хлябям пройти, как по суху,
По сравнению с тем, что подвластно творящему духу
И не знает итога?!

Смирнов Алексей Евгеньевич родился в 1946 году. Окончил Московский химико-технологический институт им. Менделеева. Прозаик, поэт, переводчик и продолжатель афористического жанра Козьмы Пруткина (см. «Новый мир», 2001, № 9).

* *

*

Постепенно является ныне
 То, что было туманно в начале:
 Ноша старости — бремя унынья,
 Ноша юности — бремя печали.
 Вновь распушены стяги и снасти,
 Ветер свеж, паруса наготове,
 И когда-то кипевшие страсти
 Возвращаются к прежней любви.

Над водою мой голос рассеян,
 Чуждо эхо морским перекресткам.
 Тишина побережий осенних,
 Листопадом осыпанных пестрым.
 Разве тот не уступит смятенью,
 В ком душа от молчанья очнулась
 И печалью, как долгою тенью,
 Удлинила отставшую юность?

* *

*

Юность — говорливая стихия,
 Я освободил твоё жильё.
 Здравствуй, дочь покоя, Исихия.
 Вольное молчание мое.
 Все, что надо, сказано и спето,
 Все, чем жил, переговорено.
 Мне теперь на смену слова-света
 Чуткое безмолвие дано.

Меньше малых, в миг почти случайный
 Я узнал про то, как, Небо, ты
 Каждого, кто причастился тайны,
 Наделяло даром немоты.
 Так благословенно и влюбленно
 Шли волхвы к подножию холма.
 Так творилась Троица Рублева,
 Музыка Давидова псалма.

Затворю уста и — тише, тише... —
 В слух преображаюсь, не дыша,
 Чтоб могла услышать Голос свыше
 И Ему покорствовать душа.
 Лучшее из наших утешений —
 Чистого безмолвия печать.
 Слово — благо. Но еще блаженней,
 Преклонившись, слушать и молчать.

* *

*

В длинной шали большая бабуся
 С нежной кожей на пухлых локтях,
 Потеплее в дорогу обуйся,
 Как-никак за порогом октябрь.

Луч рубиновый. Снега крупинки
Светофор замечает во мглу.
Лишь минуту с тобой на Ордынке
Мне пришлось постоять на углу.

В дом Фонтанный ли, в бедную «будку»
На балтийском побережье сыром
Ты отправилась по первопутку,
Остановлена красным огнем.

Фора света явилась неожиданно,
Но была мне не впрок благодать.
Тает, тает небесная манна,
Сводит, сводит уста мне печать.

Как позвать тебя голосом ломким?
Да и что я поведать смогу
Той, чье имя стрелецким бы женкам
Выводить на кремлевском снегу?

Робок отрок. С ним каши не сварить.
А московская полночь седа.
Ты меня никогда не узнаешь,
Я запомню тебя навсегда.

За горизонт

Солнце мое, красный закат,
Голову ты клонишь с высот.
Кто же тебя кличет назад
За горизонт, за горизонт?

Где-то живет голос вдали,
Робок и тих, а призовет,
И потечет дней наших клин
За горизонт, за горизонт.

Легкой рукой круг обведи,
Вечной любви краток полет,
Но без меня не уходи
За горизонт, за горизонт.

Избы

Серебристые, серые избы,
Покосившийся старческий кров —
Беспризорные чада Отчизны,
Чуть живая добыча ветров.

Где река, изгибаясь в запястье,
Простирает озябшую пясть,
Мудрено толковать вам о счастье,
Проще к ивам прибрежным припасть

И глядеть, как, глотая солому,
Красный мусор кленовых ветвей,
Затекает беспмятный омут
Равнодушной дремотой своей.

Стану я вашим верным посыльным,
Хоть осенние дни коротки,
Хоть согбенным, немым и бессильным
Не сложить ни письма, ни строки.

Вас разрыв- повязало травую,
И дожить ли до Судного дня
Вам, склоненным над темной водою,
Проплывающим мимо меня?

Но такая за вами дорога
И такая целящая жаль,
Что хвалю я сурового Бога
За великую эту печаль.

* *
*

Окрасит лес сухая окись,
Пуст и прохладен наш приют,
И белку медленно выносит
На ветку рыжий парашют.
Все отлетит, все поутихнет,
Проступит изморозь к утру.
Две капли в путях паутинки
Переливаются, как ртуть.

Не так ли мы в своих тенетах,
Две малых бусинки, скользим?
Не в нас ли, счастьем осененных,
Жива печаль минувших зим?
Не верьте нам, что мы забыли,
Как сеть натягивал паук,
Как ветхий прах и вихри пыли
Заполняли все вокруг.

Прости мне, осень, что я выжил,
Когда другие не смогли,
И что к тебе навстречу вышел,
Перед собой держа огни.
Они мелькают поздней чашей,
Они склоняются к тебе
На этой — в память уводящей —
Полузасыпанной тропе...



ИГОРЬ САВЕЛЬЕВ

*

БЛЕДНЫЙ ГОРОД

Повесть про автостоп

Почта Независимой литературной премии «Дебют» представляет собой мешки весом в десятки килограммов. В них — рукописи соискателей. Эксперты передали мне конверт из Уфы. Автор — почти земляк, я тоже с Урала, впрочем, на тот момент это почти ничего не значило. Приятно было подержать в руках предмет с малой родины — по той же причине, по какой я весь свой первый московский год каждое утро слушала прогноз погоды в Екатеринбурге.

С первых абзацев стало понятно, что Игорь Савельев — писатель.

Далее оказалось (выяснилось из письма), что молодой уфимец уже в пятый раз участвует в «Дебюте». То есть каждый год, сколько существовала наша премия, Игорь Савельев присылал на конкурс тексты. Тут вспомнились рассказы, с задатками, но уступавшие тогдашним лидерам, более профессиональным, лучше понимавшим, по каким законам делается проза. Но что это значит? Это значит, что Игорь Савельев не позволил себе впасть в уныние, но рос, оборачивая себе во благо сопротивление среды. Премия «Дебют» все эти годы служила ему спортивным снарядом, как и должно быть по большому счету.

И вот — повесть «Бледный город». Ее герои — неформальные молодые люди, путешествующие автостопом. Особый образ жизни, причины которого так же странны и так же неотменимы, как причины заниматься искусством. В поисках творческих влияний можно вспомнить, к примеру, Джека Керуака. Но когда герои, голодая, рассредоточились по трассе, и вот всех увезли, остается один, — такой гоголевской грустью, гоголевской протяжностью русской дороги веет вдруг от повествования, что отечественная словесность не может не признать Игоря Савельева за своего.

Когда я пишу это предисловие, я еще не знаю конкурсной судьбы предлагаемого текста. Я даже не знаю толком конкурсного расклада: основной поток рукописей еще впереди. Принадлежность дебютовской птички счастья будет определять жюри во главе с Чингизом Айтматовым. Но независимо ни от чего я переслала находку коллегам из «Нового мира» через несколько часов после вскрытия конверта. Ради таких ситуаций и перелопачиваем тонны почтовых отправок и компьютерных распечаток.

Ольга Славникова,

писатель, координатор

Независимой литературной премии «Дебют».

I

Видимо, этот вопрос гложет каждого, кто сел за лист бумаги: с чего же начать? Логика подсказывает, что с древних времен. Однако я не Пимен, чтобы полно описать тот город, в котором родился и живу. А впрочем, это и к лучшему. Вас не должно интересовать, что это именно

Савельев Игорь Викторович родился в 1983 году в Уфе. Студент филологического факультета Башкирского государственного университета. Неоднократно публиковался в журнале «Бельские просторы». В «Новом мире» печатается впервые.

Уфа. Вам нужно знать, что речь идет об одной из волго-уральских областных столиц, в меру промышленной, с населением чуть-чуть за миллион, пятью театрами и госциркком. Сколько музеев? Запомню. Совсем как старец Пимен стал...

Интересно, с чего бы начал пожилой монах с чернильницей, доведись ему описывать современный город. Вероятно, извернулся бы как-то насчет рек, «что несут свои воды мимо стен белокаменных». Я же начну с начала — с таблички «УФА», провозглашающей границу населенного пункта. А вы, водитель, не гудите теперь — тут вам не автотрасса.

Табличка, кстати, выполнена на двух языках, и по-башкирски «Уфа» звучит как «Эфэ». Не самое приятное на слух имечко для города, замечу в скобках, но ничего — живем. Иногда, правда, интересные мысли накатывают. Например, если Уфа — Эфэ, то как же тогда «уфимский» будет? «Эфэский»? Ладно...

Характерно, что между табличкой и милицейским КПМом вы ничего не встретите. Бывавшие в других уральских столицах, Челябинске и Екатеринбургe, поймут, о чем речь. Как монумент, как символ урбанизма в обоих городах — кладбище вдоль дороги, какое-то типовое, с белыми плитами, негрустное и почти шлакоблочное... Уменьшенная копия спальных районов. Всем своим видом сей «погост промышленных масштабов» словно бы говорит: здравствуйте, гости города, добро пожаловать. Самое смешное, когда что-то подобное вывешивают на придорожном кладбищенском заборе и непонятно, к чему же этот транспорант относится: к городу или все-таки...

Уфа лишена подобных «адовых ворот», что, согласитесь, внушает некий оптимизм.

Что дальше?.. Условно город можно поделить на две части. Первая — центр. Все очень мило, все в лучших традициях: брусчатка, бутики, витрины, огни и бульвардье (как называют в Париже публику, шатающуюся праздно). Главная улица — Имени Известно Кого. Иной раз при виде табличек и задумываешься: псевдоним-то Владимир Ильич взял в честь сибирской реки Лены, на которой отбывал ссылку, — а какие звучные могли быть варианты: Обев, дель Амур, Иртышевич... Енисенин... Рек-то много!

Да чего уж там — названия почти всех улиц так или иначе (а чаще всего непосредственно) связаны со всей этой марксистско-ленинской бодягой. Как и везде, впрочем... У нас, в отличие от Саратова, хотя бы нет улицы имени 1937 года — да-да, не удивляйтесь! Так она у них и называется: Двадцатилетия Октября.

Не-ет, центр у нас замечательный! В жару что может быть лучше мороженого, которым здесь торгуют на каждом шагу? Продащица вручает тебе стаканчик, достает сдачу, почему-то тоже из морозилки, — несколько монет, ледяных совершенно...

Мелочь, а приятно.

Другая часть Уфы — промышленная. Она представляет собой: знаменитые башкирские нефтезаводы (и с десятков побочных), а также целые кварталы насмерть прокопченных хрущевок, в которых живет пролетариат с сиреневыми лицами. Нет, не жертвы химии — просто пьют много. Оттуда, из той части города, кстати, и Земфира — известная российская певица, мастер рок-надрыва... Когда-то у Земфиры вышел — прогремел — альбом, на котором была фотокомпозиция: рушенные корпуса заводов, кривоватые трубы в жемчужной хлорциановой дымке... Очень похожие виды на названный промышленный район открывались откуда-нибудь из центра Уфы, и местная тусовка водила гостей города, ставила на тротуар и показывала, ну а те — те были сражены нашей причастностью к большому року!

Сей мощный промышленный кусок делает наш город скорее достоянием Урала, потому что Поволжье такие картины несвойственны. Приехав как-то в Самару, я видел на городском горизонте только одну высокую трубу, что было непривычно глазу. А позже вообще выяснилось, что

это вовсе не труба, а колоссальная космическая ракета-носитель — памятник С. П. Королеву...

Чтобы составить более полное впечатление, пройдемся по улицам и влезем в разговоры уфимцев.

Заумная девица в возрасте стоит перед афишей и восклицает:

— А это же Сандра Баллок! Известная актриса... — И добавляет глубококомысленно: — Одно время я под нее косила...

Местный парк культуры и отдыха, вечереет. Два друга веселятся: курят «травку», катаются по лужайке, писают в общественных местах и под воздействием «травы» — громко визгливо смеются, на высокой ноте. Заслышав этот смех за кустиками, с аллеи сворачивает солидный гражданин — в руках его бутылка вина.

— Скучаете, девочки?

— А девочек-то тут и нет! Дядя...

Девушка, страдающая клаустрофобией, впервые в солярии. Перед тем как лечь в саркофаг, в отчаянии спрашивает медсестру:

— А если что, то как вас звать?

— А зачем вам — как меня звать? Вообще-то я так с девушками не знаколюсь... Странно... Если вам так интересно, то Лариса. Освобождаюсь в полшестого!

Диалог в гастрономе. Суетливый алкаш подбегает к винно-водочному прилавку:

— А самое главное-то не купил! Бутылку! Да, одну... Одну, но хорошую — такую, какую бы ты сыну дала!..

— Я бы сыну своему этой бутылкой ка-ак съездила по башке!

Немая сцена...

Следующим к прилавку стоял несколько пофигистского вида парень, на глаз ему было за двадцать, не сказать чтобы — в обносках, но одетый довольно потрепанно. Развитые скулы и грязноватый хайр¹ до плеч — вот, в сущности, и весь портрет. Да, познакомьтесь, это один из наших героев. По паспорту — Михаил, но все его знают как Скваера — все, за исключением, быть может, профессуры из вуза да пары-тройки отставших от жизни «звероящеров», таких, например, как родители.

— Дайте баллон «Шихана». Да, крепкого. Спасибо...

Родители не в счет. Они остались в захолустном Сибее, небольшом башкирском городишке — типовой провинциальной дыре Российской Федерации...

Сам он приехал в Уфу четыре года назад поступать в авиационный университет. Поступил — успешно, но это было уже и не так важно для Скваера... С первого же дня мегаполис потряс, очаровал и проглотил его раз и навсегда. Здесь было все! *Плешки. Уголки. Местечки.* «Трубы», наконец, — несколько культовых подземных переходов, внешне бедненьких и грязных, с кафелем и месивом из мокрого картона; на деле же оттуда можно было не вылезать часами, щурясь и удивляясь потом солнцу... Единственное, чего в Уфе не было: кому-то — какого-то дела до тебя, и Скваера это вполне устраивало! В конечном счете большой город не мог быть местом победившей гопоты² — ибо это бич мелкого захолустья.

Новые друзья снисходительно смотрели на Михаила: провинциальные восторги умиляли всех, и даже называли его первое время подчеркнuto: Скваер из Сибая. Вроде как комический эффект. Сочетание несочетаемого.

¹ Хайр — длинные волосы (*сленг*). От англ. hair. Хайрастый — длинноволосый. (*Здесь и далее примеч. автора.*)

² Что такое «гопота» на сленге, сформулировать довольно сложно: уж никак не «бандиты, хулиганы», как определяет это в своем словаре жаргона Академия наук. Я бы сказал так: не-неформальная молодежь (простите за корявость), активно насаждающая свои взгляды.

Сам же Скваер хватал, глотал «столичную» жизнь, насытиться ею не мог! Гитаристы в переходах. Такси, разбивающее лужу-озеро в считанных сантиметрах от твоего обкуренного лица...

В принципе, таких в нашем городе — сотни. Приезжающих из районов за заветным студенческим, снимающих хрущевки в складчину... Их жизнь одинакова из года в год: тонкая грань грозящего отчисления, что приятно шекочет нервы, многомесячный угар прогулов и загулов, ну и батареи пустых бутылок на кухнях упомянутых хрущевок. Все это так знакомо, что не стоит и описывать.

Впрочем, справедливости ради надо сказать: Скваер не был из числа тех беспросветно бухающих, кто и при статусе студента престижного вуза де-факто потерян для общества (таких — много, не сомневайтесь). Во всем соблюдалась мера. Например, до известной степени Скваер был одиночкой, из тех, кого манит дорога и перемена мест. Несколько сезонов подряд он занимался автостопом, ездил по стране, ну а снимаемая им хрущевка стала одной из известных уфимских «вписок». Читай: местом, где ночуют или недолго гостят проезжие автостопщики. Адреса таких «вписок» ходят по разным блокнотам, по Интернету, и нет ничего удивительного в том, что на пороге всегда — незнакомые, чужие, случайные люди. Сколько таких людей помнит эта квартира? Сколько случайных знакомств, лиц и адресов, чиркнутых второпях на обоях...

Скваер вышел из гастронома. В его сумке лежал обычный набор, «двое суток холостяка»: баллон пива и серые макароны, из самых дешевых... «Разжирею. Будет брюхо. Плевать». Он направлялся к дому...

Солнце заходило, и небо стояло уже красное, с громадной панорамой подсвеченных облаков, какое-то батальное. Вечер в Уфе. Впрочем, вас и не должно интересовать, что это именно Уфа. Рядовой российский мегаполис. Та редкая точка на карте, где встречаются сразу две федеральные автотрассы: М-7 «Волга» и М-5 «Урал».

II

— Слушай, извини, вот ты говоришь: «мы». Кто это — мы?

— Я и Никита. Мой друг. Мы же вдвоем едем. Из Питера три дня назад выехали...

— Так ты же вот, один!

— Нет, вы не поняли. «Стопим»-то мы, конечно, по отдельности: двоих парней кто подберет? Таких безбашенных на трассе мало... А так едем вместе. Он сейчас, поди, в районе каких-нибудь Бавлов все еще болтается...

— Может, обогнал. Откуда ты знаешь? Я-то с малой скоростью иду...

— Он?! Не-е, не обогнал. Вы просто Никиту не знаете. Он всегда очень медленно ездит.

— Погоди, а как автостопом можно ездить всегда быстро или медленно? Не понимаю. Это же фортуна, везение!

— Не скажи-ите. Объяснить это нельзя. Вот вроде все нормально в человеке, да если бы и нет: водителю же издали все равно не видно... И все-таки! Никита всегда идет медленнее всех, тяжело, с поломками, на куче машин... Как объяснить? Не знаю. Харизма какая-нибудь, что ли.

— Это не такой... в очках, с каким-то странным синим баулом?

— Это спальный мешок... Да, он. Вот его вы же не подобрали?

— Не подобрал.

— А почему?

— Ну... Не знаю...

— Вот видите!

Последнее было сказано самым торжествующим тоном. Что ж, теорема доказана — легко и просто.

Вообще-то если бы драйвер³ и захотел, то подобрать второго пассажира не получилось бы. Легковая машина — иномарка среднего класса и средних лет, вполне, впрочем, еще презентабельная — набита была под завязку. Все заднее сиденье — вещи, самые разные: одеяла, сумки какие-то, термос и прочее — говорило о том, что путь машина держит не близкий.

И по драйверу это тоже было заметно. Эти красные набрякшие глаза... Сколько же жизнью уносит трасса! Речь тут даже не о частых придорожных обелисках, забытых и запыленных — мелькающих и примелькавшихся. Речь о водилах, идущих без сна и отдыха через области, через тысячи километров... Каждый раз, когда опускается вечер и солнце мелькает сбоку за деревьями, раздражает глаз, такой водитель решает для себя: поспать ли этой ночью несколько часов? Или опять пилить без передышки? К сожалению, часто — второе. Сколько инсультов и прочих бед на совести трассы...

Машиной драйвер управлял босиком. Вероятно, так он лучше чувствовал ее. Вероятно, холод педалей помогал не спать. Ступни у него были маленькие и пухлые. Человек ехал куда-то на Дальний Восток. Сидящий рядом автостопщик — на Урал.

— А чего ты забыл в Екатеринбурге?

— В Е-бурге⁴ клево! У нас там живут друзья. Ну, мы по имейлу переписываемся... Вот они нас и пригласили. Там есть такое место — «плотинка», типа городской площади, там большая тусовка. Со многими интересными людьми можно познакомиться. Весело время провести.

— И много ты так по стране ездешь?

— Да как сказать... Порядочно. Если до Е-бурга доберусь, то будет девять тысяч.

— Блин, парень, я тебе даже завидую! Эх, был бы я такой же молодой...

Автостопщика звали Вадим. Многие уверены, что имя это — нерусское: пришло к нам так же, как и Руслан какой-нибудь. Я и сам удивился, когда встретил в истории некоего князя Вадима Новгородского — героя каких-то запредельных времен...

Наш Вадим был из Питера. Из славного города — колыбели трех революций и российской культуры по совместительству. Из города, который гордится своими заборами. Кстати, в нежном возрасте Вадим — был мороз — прилип языком к легендарной решетке Летнего сада. Не каждый салага может таким похвастаться!

А в остальном Вадим был самым обычным парнем. В меру веселым, в меру патлатым, в меру беззаботным. В частности, один зачет, не сданный в Санкт-Петербургском государственном университете, не удержал его от турне через всю страну. «Осенью все равно это как-то разрешится, — думал Вадим с хладнокровием, которое приятно волновало его. — Или я его сдаю. Или меня того. Что, конечно, вряд ли — за один зачет...» Родителям знать было не обязательно. Вообще ни о чем.

— У меня дочка примерно как ты, — покосился драйвер. — Ну, может, чуть помладше. Как подумаю...

Он косо усмехнулся. Вадим понял его.

— Как подумаете, что она тоже может так ездить?

— Ага. Убил бы...

Они помолчали: иномарка пошла на обгон фуры. Драйвер сосредоточился, напрягся, работая босыми ногами. Затем мимо проплыл синий щит с «раскладкой» докуда — сколько. Вадим знал, что такие щиты на трассе порой откровенно ввали, не ясно почему, но все-таки: «Уфа — 72 км. Челябинск — 489 км».

³ Драйвер — водитель, подбирающий автостопщиков (*сленг*). От англ. driver.

⁴ В разговоре длинный «Екатеринбург» всегда сокращают до «Е-бурга», то же бывает и с именами других городов: Челябинск — Челяба и т. д.

— Мы же с дочкой вдвоем живем.

И снова повисло молчание. А в таких случаях автостопщик и не должен ничего спрашивать. Захотят — расскажут. Есть такой негласный порядок, по которому драйвер может лезть с расспросами о самом сокровенном (что он обычно и делает — с превеликим удовольствием), а «стопщику» со своим любопытством навязываться не следует. Несправедливо? Но вас же подбирают и везут, в конце концов. Имеют право...

— Ее мать была курва. Мы разошлись шесть лет назад.

Вадим тут же принял самый свойский, понимающий вид, мол, да, конечно, про себя отметив: драйвер хороший попался, в душу не лезет — про себя рассказывает.

— ...Мы с ней учились вместе. Я ведь историк по образованию. Это потом уже... развернулся... Так вот. Нас погнали в колхоз, а там все уже и завертелось. Вас-то небось в колхозы не возят уже?

— Нет, конечно! Но у меня знакомые есть, в пединституте, — их возили.

— ...Встречались месяца три. Родители были против, притом с обеих сторон. Мамаша ее — вот змея была, с золотыми зубами! Она даже в загс не пришла, ты представляешь?.. Зато на свадьбе нашей как весь курс погулял... Комсомольская свадьба: слышал что-нибудь про такое?

— Имею представление. С водкой в чайниках?

— Вот-вот, вроде того. Потом... Квартира, дочка... Начались скандалы, сцены все эти... Может, правда, как это в кино говорят — «не сошлись характерами»? Наверное... Вот ты сейчас смеяться будешь, когда я скажу, что ее больше всего бесило — из-за чего она изводилась прямо. Я колпачки не закрывал.

— Чего?

— Да, серьезно! Я забывал закрывать крышечки у шампуней, тюбики всякие... Пасту зубную так оставлял, крем после бритья... Она психовала чудовишно!

— Да уж...

— Потом она стала гулять направо-налево, попивать начала тоже. Красиво живешь, я ей говорю, милочка. Так мы и развелись. Что характерно! Маринка тогда еще совсем ребенком была, я ей говорю: ты с кем хочешь жить, с мамой или со мной? А она: с тобой. Ты представляешь? Это какой же ... надо быть, чтобы родная дочь...

Помолчали.

— Я вообще вот что тебе хочу сказать, Вадим, раз уж у нас такой разговор. Ты рано не женись. Да, ты парень молодой. Да, гормоны, да, любовь. Пускай. Но в загс не ходи категорически! Потому что потом такое будет... Эти студенческие семьи — они же все распадаются!

— Да я и не собираюсь пока.

— Ну а если уж женился, то хоть ребенка не заводи. А то вообще труба. Ты своей так сразу и скажи: три года вдвоем живем, без маленьких. И ни на слезы, ни на уговоры — ни на что не поддавайся! — После паузы: — У тебя хоть девушка-то есть?

— Нет!

На этот вопрос — а задавали его чаще-енько — Вадим всегда отвечал с таким вот видом: излишне беззаботно, с глуповатой полуулыбкой — не беда, мол, чего тут особенно...

Но драйвер даже оторвался от дороги:

— Чего же ты, парень... Сколько, говоришь, тебе лет?

«Ну вот. Началось». Вадим подумал о водителе плохо, сохраняя на лице все то же выражение: смесь напускной беззаботности и какой-то беспомощности. Кому приятно, когда тебя считают ущербным? Кому приятно пускаться во все тяжкие объяснений, оправданий...

— Просто я еще не нашел такого человека. Скажем так.

Казенностью фразы, долгим подыскиванием слов Вадим дал понять, что тема должна быть закрыта. И драйвер это понял, видимо, — полнотью переключился на дорогу, только крутанув головой:

— Серьезно ты подходишь к этому делу...

Судя по интонации, в «это дело» вкладывался глубокий — несколько сальный — смысл.

Вы думаете, Вадим не влюблялся? Влюблялся, да еще как! Была у него такая одноклассница, томная, с изящно припухшими веками и в кудряшках... Вы думаете, Вадим не делал романтических глупостей? Его избранница еще спала, да и весь город спал крепчайшим сном, когда он с банкой краски в пять утра отправился под окна к ней с тем, чтобы написать заклинание Ромео всех времен: «Доброе утро, любимая!»

Вышло, правда, все настолько трагикомично, что он и сам предпочитал не вспоминать, и уж точно — веселой ему эта история не казалась... Вадима застучал дворник. Вот как это произошло.

В городе уже рассвело, но было очень пусто и гулко, и казалось Вадиму, что он попал в параллельный мир... Он открыл для себя это время и потом даже гулял так иногда, замечу в скобках. А пока он прокрался в нужный двор, там мелом разметил асфальт и начал краской — аршинными буквами: «Доброе утро...» И тут вышел дворник! Кто же мог подумать, что он заступит так рано... Это был потомственный питерский алкаш, могучий и с плохими зубами, а главное — начисто лишенный всякой романтики... Как он орал! А как Вадим бежал!.. И он не видел, как жесткая метла дворника размазывала полосы из непросохшего «Доброе у».

Слоняясь в то утро, несостоявшийся юный Ромео решил даже выпить с горя, но и здесь был прокол: все «круглосуточные» точки в шесть утра оказались на замке... И здесь — усмешка судьбы. А улицы косо осветились восходящим солнцем... Сколько лет прошло с тех пор, господи!

...Машина подбегала к городу. Большегрузные «волки трасс» оказались порядком разбавлены садовыми «Москвичами» и «жигуленками», натужно везущими семьи и какую-нибудь ржавую бочку сверху. Зачем? Кому нужна эта бочка в городе? Да и в саду?.. Заходящее солнце окрашивало промышленность Уфы в багряные тона, во главе с дымом из труб.

— Хороший ты парень, — посетовал драйвер, глянув на Вадима — словно прицениваясь. — Плунуть, что ли, на все и довести тебя до Челябинска? Мне вообще-то все равно, где отдыхать. Часов пять я еще осилю, а завтра просто позже тронусь. А? Поехали?

— Спасибо большое, но нет, отдыхайте. Мне в Уфе проще заночевать — тут «вписка» есть хорошая. Да и Никита... дружок-то мой... он же меня вообще не догонит, если я до Челябинска сейчас дойду! Так что спасибо... Вы за КПМом на стоянку встанете? Там меня и высадите...

III

Последняя фура проехала мимо, прогрохотала рухнувшей надеждой. Эти большегрузы имеют неприятную особенность: проходят с таким грохотом, что хоть ты и не первый сезон на трассе — сердце все равно непроизвольно сжимается: а ну сейчас прихлопнет, как муху?..

Последняя фура проехала, а за ней — пусто, и только там, вдали, показалось несколько легковых... Настя опустила руку. Да, давно она не застревала так в какой-нибудь дыре! Трафик⁵ — чудовищный.

Итак, легковые тоже не воспылали желанием ее подобрать.

И стало тихо на трассе. Тишина воспринимается здесь очень остро, возможно, потому, что бывает-то редкой гостьей... «Ну что же. К неудачам

⁵ Трафик — плотность движения на трассе. От англ. traffic.

будем относиться философски», — усмехнулась Настя. Отойдя подальше на обочину, туда, где пробивалась уже травка, она присела на корточки возле рюкзака, нашла в нем зажигалку, пачку недорогих сигарет... Затянувшись — огляделась. По-прежнему было тихо: безмятежно и безысходно.

Дальше трассы рос лес, вроде — с корявыми соснами, а может, и смешанный. Лес, отравленный парами бензина, старыми покрышками и всякими там канистрами, мочой водителей и пассажиров. Но, кстати, как ни странно это прозвучит, придорожный лес — глух, в него редко кто заходит дальше двух метров; а может, там, в непроходимых чащах, растут грибы — невиданные и несъедобные?.. Начало леса, как было уже сказано, завалено всяческим дорожным хламом, и вековая пыль оседает на листьях. О, среди прочего мусора — обычная для трассы вещь: раздавленный и убранный с дороги труп. Собачки, разумеется.

Сейчас-то Настя уже привыкла, а вот когда-то это стало неприятным открытием для начинающей «стопщицы»... Помнится, впервые — года два назад — ее высадили километрах в семидесяти от родной Тюмени, и первое, что она увидела... раздавленную кошку. Несчастливая, по видимости, мало что успела понять. Кошка была не сбита, а именно раздавлена, и кишки аккуратненько лежали в сторонке. Это было чудовищно... Машину Настя поймала только через полчаса и с сухими глазами. В те годы она еще плакала из-за таких вещей.

По другую сторону трассы — пара бестолково состыкованных вагончиков, мятых-перемятых, крашенных-перекрашенных, являющих собой обычную дорожную закусочную, каких много на Урале... Дымок, вьющийся над железным корытом для шашлыка. Пара «КамаЗов» слева от вагончиков. Все те же тишина и безмятежность.

Вам кажется странным, что молодую девушку никто не подбирает? Да нет — такое бывает, пускай и не часто... Просто женственного в облике автостопщицы, как правило, меньше всего. Здесь все: и желание отгородиться от всяческих приставаний, и демонстративное отделение себя от «плечевых»⁶, да и просто — одежда должна быть удобной и функциональной, и только. Настя была в болоньевой ультражелтой куртке — очень тонкой, тот самый случай, когда «светит, но не греет». Грубые ботинки, джинсы. А волосы собирать ей не пришлось: прическу Настя носила «под мальчика», так было удобнее жить. И никакой косметики, естественно. Настю это вообще не очень заботило — ни здесь, ни, кстати, в городе... О мнении посторонних людей она думала меньше всего. Комфортно — и ладно.

Так и стояла она на обочине, и курила, и думала — глядя вверх деревьев, думала... О чем? Сплюнула. Бросила бычок. Не особо уже надеясь, подняла руку какой-то полной под завязку легковой. Что ж, надо было возвращаться в шашлычную, так как ловить тут было больше нечего — в прямом смысле.

А все же хорошо у леса. Воздух. Дальше, за Уфой — где-нибудь за Дюртюлями, — степи, степи пойдут...

За те пятнадцать минут, что она стояла на трассе, в кафешке ничего не изменилось. Те же лица за теми же столиками. Девке за прилавком лет шестнадцать (видимо, местная), а в глазах почему-то — тоска смертная.

Из хриплых динамиков гремит очередной хит из всех этих бесчисленных сборников, «шоферские» они называются: «А с тобой, мой мусорок, я попугала рамсы»... Почему блатняк? Почему всегда блатняк? Что, все эти люди за столами, все эти люди за рулем — они сидели, что ли? Путешествуешь по центру России, а чувство такое, что о Колыме услышал и узнал — все.

⁶ «Плечевая» — на жаргоне водителей-дальнобойщиков — дорожная проститутка. Вероятно, происходит от термина «плечо» — устаревшей меры расстояния на трассе. Есть и другие варианты этимологии.

За дальним столиком восседал хозяин заведения — мощный, немолодой, импозантный, как и все седые уже кавказцы. Сидел и перебирал какие-то бумажки, накладные. Сидел и заправлял тут всем.

— Вернулась? Я же гаварил. — Акцент не слишком, но ощущался. — Вечер уже, куда ты сейчас поедешь? Садись. Я тебя покормлю.

Настя присела, поставила рюкзак, прилипла рукавом к клеенке. Клеенка, кстати, была забавная, с довольно милыми рисунками... Отличительная черта всех этих кафешек у дороги: какие-то детали нелепой здесь, душу шемящей домашности.

А в остальном... Стены из фанеры, неглохнувший динамик под потолком, кем-то уже проковыранный... Несколько мрачных и могучих дальнотойщиков ужинали за столиками. Растворимый кофе — их бог.

Хозяин заведения вернулся из кухни, в руках его, в тарелке, дымилась двойная порция шашлыка, — поставил перед Настей. Он упивался своей кавказской щедростью. Сейчас он будет кормить голодную девочку с трассы — смотреть, как она уплетает, и получать от этого удовольствие.

А может, она просто слишком устала и злая, поэтому так думает.

— Спасибо.

— Ну, рассказывай. Ты откуда такая?

«Вечный крест автостопщика. Разговорами отрабатывать...»

— Зовут меня Настя, — начала она с легким вздохом. — Я еду из Тюмени в Москву. Вот уже два дня в дороге. Что так долго — сама виновата: вчера проспала, то да сё, пока собиралась, пока до трассы добралась... Короче, в первый день только до Екатеринбурга доехала. Вот, сегодня наверстываю. А от Уфы завтра по «семерке»⁷ поеду. Так быстрее будет.

— А что у тебя в Москве?

— Ничего.

— В смысле: ни дел, ни родных, ни друзей?

— Я же просто так еду. Интересно же! Москва... Я там только в детстве и была. А друзей — найду. У меня, во-первых, кое-какие адреса записаны...

— Баловство, — покачал головой грузин.

— Вы считаете, что это баловство. Я считаю по-другому.

Настя высказалась достаточно жестко и ледяным голосом — словом, поставила точку. Какое у него право читать ей нотации? Ну и что с того, что она ест его шашлык?..

— А ты не боишься ездить вот так, одна? Это же опасно. Молодая девушка...

— Опасно. Но не боюсь. Парадокс, да?

— А твои родители...

— А что — родители? Мы и не больно-то общаемся. Они знают, что я много езжу по стране. Путешествую, как они говорят. И что с того?

— Что говорит твой парень?

— А у меня нет парня. С мая месяца я совершенно свободная девушка!

При этом Настя улыбнулась так отчаянно и злобно, что даже кавказец понял: следует оставить эту тему.

Он несколько засуетился, встал, затем отправился к буфетной стойке. Там шелкнул выключателем — кафешка осветилась. Похоже, что здесь он властвовал безраздельно: командовал каждой паршивой лампочкой.

— Сегодня ты уже не уедешь отсюда. Темнеет.

— Вообще-то еще и не так поздно...

— Не будешь же ты ночевать на трассе! Я скажу. Тебе постелят в подсобке.

— Я вообще-то...

— Ты будешь ночевать здесь.

⁷ «Семерка» — федеральная автотрасса М-7 «Волга».

Настя стерла с губ след шашлыка тыльной стороной ладони и даже ухмыльнулась. Надо же! Она и не ожидала такой стали в голосе кавказца. Конечно, можно было предположить, что дело примет такой оборот...

— Спасибо.

Хозяин снова встал из-за столика, на сей раз отправился куда-то на кухню — наверное, распекать своих работников. Тем временем по узкому пространству вагончика направлялся к выходу человек — один из дальнубоев, основательно подкрепившись, шел продолжить свой долгий путь... Встала и Настя.

— Вы на Уфу?

Дальнубойщик кивнул. Что ж, замечательно. Отодвинутая тарелка, подобранный рюкзак, и — чао, очередное придорожное заведение, где она больше, наверное, никогда не окажется... Настя уходит по-английски, даже не обернувшись. По-английски выпутывается из очередного переплета.

А дальше... Темная кабина «КамАЗа», и почему-то ощутимо качает на кочках — сначала их самих, и только затем позади громыхает прицеп. Драйвер разрешает ей курить в кабине, и они оба устало и молча смолчат — две красных точки в темноте. Слепые фары выхватывают из мрака асфальт, неровную обочину...

— Ехал так же у вас там, в Сибири. — Водитель прервал молчание. Голос у него глухой. — А ночь чё-то была темная-темная, вообще нигде ни огонька. Смотрю — фарами осветил, — вдали на дороге (там такой вот спуск был) лежит что-то. Мешок какой-то? Я стал притормаживать... Ладно хоть пустой тогда шел — еле объехать успел, не раздавил, слава богу. Мужик лежал! Его сбили и оставили... А там места глухи-ие еще... Ну что, я вырулил и поехал дальше.

И опять — молчание. Настя горько усмехнулась. Да-с, невесело. Невеселая философия жизни. Уж какая есть. *Memento mori*...

Так они и ехали по трассе ночного Урала — молча, лишь изредка вставляя фразы, и все же в темной кабине они чувствовали присутствие друг друга.

А километровые столбы — знак федеральной автотрассы — выплывали из черноты в пронзительно синем свечении, так их покрытие отражало свет фар. Было странно наблюдать, как в кромешной ночи вдруг едва забрезжит нечто голубое, вроде привидения, как оно приближается, проплывает мимо — банальными цифрами. Четыреста двадцать три... Четыреста двадцать четыре...

IV

Поздний вечер в июле — это колоссальное небо. И только. На город, раскинувшийся под ним — бледно подсвеченный, с цепочками едва зажженных фонарей, — можно и не смотреть. А небо... (Это как у Толстого, помните: «А горы...») Оно меняется. В зависимости от стадии заката оно то странно персиковое, то вот уже и красным горит, а потом — гаснет. Четкие линии зданий на фоне погасшего неба: контраст. Уголь и металл.

Люди спешат с работы, забегают в магазины, штурмуют автобусы... Зажигаются окна. Где-то уютно, а где-то не очень.

Неловко поворачивая, троллейбус обильно посыпал крышу соседней машины искрами. Интересно, останутся ли следы.

Скваер сидел в центре своей хрущевки на диване, продавленном и даже чуть прожженном, и ремонтировал джинсы. Вернее будет сказать — реставрировал: обновлял рисунки и надписи, давно сделанные красным и черным маркерами. Судя по их виду — очень давно.

Сама квартира нуждается в детальном описании. Впрочем, вы в таких могли бывать не раз. Это съемное холостяцкое жилище в одну комнату, ремонт в котором не делался с тех самых пор... Лучше и не думать, с ка-

ких. Обои и вытерлись, и выцвели, и что только с ними не произошло на долгом жизненном пути. Мебель — только та, что хозяева оставили «на растерзание»: шифоньер, древний и несколько помоечный, пара полок — книги на них встречались реже дисков да кассет... Продавленный диван, о котором мы уже говорили. Телевизор был бы здесь ненужной роскошью.

Как то чаще всего бывает, самое страшное в этой берлоге — кухня. Конечно, когда в маленьком помещении годами наперегонки стараются и газовая колонка, и газовая плита, а их нагар, и копоть, и жирный осадок метана убираются редко и с большой неохотой — каким все будет?.. Отдельным грязным пятном смотрелся холодильник. Был он старенький, пыхтел, а эмаль его давно уж не была белой.

Вам может показаться, что это все — дыра, притон, но нет: нормальная квартирка, и Скваера она вполне устраивала. Чего уж говорить о многочисленных его друзьях, гостях, проезжих автостопщиках из многих городов... Вот и один такой сейчас здесь. Из ванной вышел знакомый нам Вадим из Санкт-Петербурга.

Он вышел с голым торсом, а длинные пряди свои тщательно тер полотенцем. Тяжело с длинными волосами на трассе. Хоть и собираешь их в хвост, резинкой затягиваешь, чтоб не больно-то пачкались, — а все равно. Их жаждешь вымыть при любом удобном случае.

— Я там свои носки постирал и на веревке повесил. Ничего?

— Норма-ально. К утру должны высохнуть.

— Подкрашиваешь? — Вадим кивнул на джинсы, над которыми трудился Скваер. — Тоже постирал их, что ли?

— Ага — если бы я их постирал... Не восстановишь потом! Я не стирал их года два.

— Ничего себе! Как так?

— Ну, сейчас-то я редко их надеваю. И стараюсь сильно не пачкать. В грязь в них не хожу, к примеру, — только когда солнышко. И нижнее белье я сейчас ношу. Вот раньше, лет в семнадцать, меня прикалывало просто так ходить. А сейчас... Старею!

Они посмеялись. До того Вадим не был знаком со Скваером (в Уфе ему вообще не приходилось бывать), и надо было как-то заполнить вечер какими-то беседами и байками. Универсальный способ: Вадим подошел к полке с кассетами. Все дальнейшее («Какая у тебя есть музыка», «А этого альбома я не знаю» и т. п.) нам с вами едва ли будет интересно.

Возобновим повествование с того момента, когда позвонили в дверь.

— О! Наверное, Никита. — Вадим обрадовался.

— Это парень, с которым вы вместе едете?

— Ага. Он всегда медленнее меня идет... Я вообще боялся, что к ночи он до Уфы не доедет!

— Ну, вообще-то это кто угодно может быть... — Скваер пошел открывать. — Половина десятого... Время детское...

«Кто угодно» оказался, видимо, гостем неожиданным и нежелательным — судя по сдавленным интонациям Скваера в прихожей. Вадим напругся. В принципе, здесь можно было ждать чего угодно, любых эксцессов и потасовок, потому что «вписка» — не жилище и не дом в полном смысле этого слова. Но в любом случае за все надо платить, и за бесплатную ночевку — тоже. Рискуешь на трассе — рискуй и на койке в чужих местах, по уму-то. Вадим и у «нарков», бывало, ночевал. Впрочем, какие это наркоманы. Просто люди курят «травку». Просто они бесятся по ночам. Просто уснуть было — невозможно.

Нет, Вадим был спокоен. Он-то всегда сможет постоять за себя.

А зашел — мент. Да, да, обычный сотрудник милиции, судя по всему, низшего звена. В отличие от многих и многих своего возраста и положения, Вадим, в общем-то, не страдал аллергией на стражей порядка, но этот ему сразу не понравился. Низенький, шербатый. Китель производит

впечатление самого неопрятного: и какой-то бесформенный, и лоснится сильно. Неприятнее всего было то, что мент не снял сапоги. Конечно, им и не положено, мало ли что... Но все-таки! Они-то со Скваером босиком!

— Так, Михаил... Да? Квартирант гражданки Хасановой... Так? Временно проживающий в Уфе студент из Кумертау...

— Из Сибая. Садитесь, пожалуйста.

«Участковый».

— Михаил, я был у тебя в апреле — так? Говорил, что снятие... съем... факт съема квартиры оформлен неправильно?

— Говорили. Но это все к гражданке Хасановой.

— Хорошо... А как быть с жалобами жильцов?

— А что жильцы?

— Да все то же! Шум, гам, иногда сутками гуляете. Какие-то типы подозрительные к тебе постоянно ходят. У меня четыре сигнала за лето!

При этом инспектор в упор посмотрел на Вадима. «Можно подумать, что я испугаюсь и побегу или брошусь в окно как минимум». Вадим усмехнулся, скорее даже непроизвольно, но усмешка эта очень не понравилась.

— Документы ваши можно посмотреть, молодой человек?

— Без проблем. — Вадим наклонился к рюкзаку. Добавил, но обращаясь к Скваеру: — Гаишники ваши тоже заколебали уже. Два раза паспорт проверяли.

— Не местный, что ли?

— Нет.

— Санкт-Петербург! — Участковый и не изумился даже, просто громко прочитал. — В гости, что ли?

— Проездом.

— Ага, понятно. Тоже бесплатно, на попутках... Ненормальные вы. Вы все!

Вадим пожал плечами: не спорю. Инспектор еще помусолил паспорт. Интересно же. Питерский. И даже отложил документ со вздохом: к приезжему претензий не было. А вот к студенту...

Как-то весь торжествуя и, можно сказать, демонстративно участковый доставал из планшета какие-то бланки, расправил замявшийся угол листа.

— Что же, будем составлять протокол. У меня четыре обращения за лето. Налицо грубое нарушение норм общежития, к тому же совершаемое лицом, живущим с нарушением...

Инспектор запутался в оборотах, задумался, сдулся.

— Я живу с нарушением?

— Вы неправильно оформили съем квартиры. Так что составим протокол на гражданку Хасанову. Составим протокол и на тебя...

Многоточие в конце фразы было слишком явным, да и медлил инспектор, занеся карающую руку над бумагами... Скваер горько хмыкнул, встал и пошлепал на кухню. Вадим не сразу понял коллизию. Не сразу «въехал» он даже тогда, когда хозяин вернулся с баллоном пива, темным и увесистым.

Участковый смотрел на баллон и на бланк протокола, на баллон и на бланк протокола. Но это были не моральные терзания, нет. Просто часть даты была уже написана. Наконец инспектор плюнул — «блин, бланк запарол все-таки» — и смял листок. Смял и бросил в угол, как у себя дома. Вот вам и все «терзания».

Перед уходом (с баллоном пива под мышкой) как-то даже повеселел. Отпускал реплики самым добродушно-покровительственным тоном.

— Из Питера, говоришь? — в частности, усмехнулся он, хотя никто и ничего не говорил: ощущение было такое, что он вообще обращается к паспорту, по-прежнему лежавшему на диване. — Ну и как там у вас?

— Никак. — Вадим пожал плечами. — Как всегда.

— Эх, был я в Питере... в Ленинграде! Школьником, с экскурсией. Понравилось. Все таки — ого-го! Эрмитаж, «Аврора»...

Как-то вдруг погрузнев и несколько задумавшись, он добавил с расстановкой:

— Вы ребята молодые... Можете поездить... Э-эх!

Впрочем, перед уходом опять был принят самый официальный вид:

— А вы с гражданкой Хасановой того... Факт съема правильно оформите!

— Обязательно...

Вадим ожидал, что Скваер расстроится. Не для того же он пиво держал, в самом деле! Гость даже чувствовал себя немножко виноватым. Ибо вся эта катавасия с участковым если и не из-за него, то из-за таких, как он... В общем, Вадим немало удивился, когда Скваер вернулся в комнату и вдруг — расхохотался:

— Вот вампир! Он ведь в третий раз так приходит, в тот раз я пузырем отделался, теперь вот... Видал, какой хитрый? Глазами так и шьет. Татарин!

— Я думал, здесь все башкиры...

— Ага, вот драйверы как узнают, что я отсюда, тоже постоянно: ты башкир? А башкир-то здесь, кстати, мало, татар — больше, да и кто вообще их различит по большому-то счету...

Скваер пошел на кухню. Стоит ли ставить чайник? Где он вообще?

— ...Гад какой! Оставил нас без энзэ! Придется бежать в киоск, за два квартала. У тебя деньги-то есть?

— Вообще-то есть, конечно, но... Во-первых, мало. Во-вторых, в Уфе я их не собирался оставлять.

— А много и не надо! Там у меня девка знакомая работает. Она мне продает просроченные баллоны из расчета по десятке за литр. Не померем ведь?

— Нет, конечно! Клево...

— Вот и ладушки. Заодно и зачетку мою выкупим!

— В смысле?

— У нее моя зачетка уже полгода лежит. В долг что-то брал... То есть как что... Пиво, конечно!

Они посмеялись. Скваер полушутя ворчал:

— И чего ты забыл в этом своем Е-бурге? Оставайся здесь! Как славно побухали бы...

— Не-е. — Вадим рассмеялся. — Нас в Е-бург зовут. У нас там куча виртуальных друзей уже завелась. Культурную программу обещают, все дела... Может, с девчонкой хорошей познакомлюсь...

Натягивая те самые расписные джинсы, Скваер, между прочим, жаловался, что зимой ходить в них невозможно: грязная джинса не греет ни-сколечко, почему?.. Когда все было надето и уже обувались кроссовки, снова зазвонили в дверь.

— Никита. Наконец-то.

— Сейчас узнаем... — Слышно было, как Скваер повернул ключ, крикнул из прихожей: — И снова нет! На сей раз — прекрасная незнакомка!

— Ты Скваер? Привет. Я Настя из Тюмени. Мы по электронке списывались на той неделе, помнишь?

— Что-то такое помню. Заходи.

Оказавшись в квартире, Настя тяжело и капитально шмякнула на пол рюкзак. Все. До Уфы до ночи добралась, а это — уже маленькая победа. Большая, как известно, состоит именно из них...

От нее пахло трассой, точнее — прогорклыми кабинами русских грузовиков.

V

Никите Марченко было двадцать лет. За полжизни до этого, в десяти-летнем возрасте, он записал в своем детском дневнике: «Сегодня мы ездили в магазин с мамой и папой. Купили резиновые сапоги 1991 года выпуска».

Да, Никита был чудак. Кроме того, он был отличником и выходцем из известной в научных кругах семьи потомственных питерских интеллиген-

тов. Марченко-дед, академик от физики, поминался в учебниках; умер он во второй половине восьмидесятых, и все, что Никита помнил о нем, — это туманные за давностью лет колючие прикосновения бороды... Отец был тоже физик и тоже известный — не такой, конечно, как дед, но все-таки: профессор, зав. кафедрой, проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного университета. Если выразаться образно: халат ученого давно был променян на respectable костюм чиновника от образования. А что? Зато: зарплата, положение, кабинет, секретарша и даже черная «Волга», по утрам отвозящая на работу.

В эти июльские дни «Волга» чудовищно грелась на солнце (черный цвет! Законы физики!), и это было невыносимо. Мини-ад. Светило купалось в крыше, капоте и стеклах, отражаясь каким-то размытым и исцарапанным. Чудовищно грелся и профессор Марченко в своем официальном костюме. Но по-другому было нельзя.

Мама Никиты работала в том же вузе, правда доцентом-филологом: славилась некоторой нервозностью и тяжелой русой косой. Никита не считал свою семью счастливой. Это была долгая история, но, в общем, с самого детства он привык к атмосфере... чего-то ужасного. Еще и такая деталь. В одном подъезде с ними жила первая семья отца (что делать! Дом ведомственный, а люди все ученые — коллеги...), и раз, было дело, он возвращался к ней — спускался этажами месяца на полтора. Мать тогда даже в больнице лежала, кажется... Да если бы и не было ее в природе, этой чертовой первой семьи! Все равно что-то не ладилось. И утром все, привезенные черной «Волгой», с великой радостью бежали друг от друга по разным этажам СПбГУ. Надо ли объяснять, что Никита был студент того же вуза?..

Вся эта атмосфера, атмосфера чопорного дома с *библиотеками* и взглядами за обедом, — вот то, от чего Никита Марченко двадцати лет от роду бежал при любом удобном случае. Бежал куда угодно, в том числе и на трассу. И — вперед, по великой матушке-России!..

Сейчас он трясся в кабине груженого «МАЗа», в добрых двух — почти — тысячах километров от родного Питера. Здесь началась уже Башкирия (проехали указатели: город Туймазы, поселок Серафимовский...), шли холмы, и было очень красиво. Широкое озеро Кандры-куль, местами поросшее камышом, местами — величественное, было совсем рядом, и казалось, оно лижет обочину. А так как вечер выдался теплым и солнечным, то машины вдоль озера стояли рядами, а их пассажиры купались с видимым удовольствием. Как Никита им завидовал! Едешь весь день, пыльный, соленый, нагретый до невозможного... Но не отпускать же «МАЗ» по такому случаю. А вот Вадим бы мог — вполне в его характере. Никита напряг зрение. Нет ли его там... Нет...

На холме стояли ветряки — машины явно импортного производства, новые, белые, изящные. Аскетизм и сила. Зрелище фантастическое: несколько ветряков, разноудаленных, медленно вертелись на фоне вечеряющего неба... Было в этой картине какое-то переосмысление старого, всех этих голландских пейзажей с мельницами. Новая Голландия? Есть такой район в его родном городе...

В гору «МАЗ» еле полз. Ощущение было такое, что если он, Никита, прыгнет и пойдет рядом, то будет быстрее, а главное — напряжение будет меньшим. Фура шла полной, везла груз из числа продуктов питания, тушенку, что ли, — водитель говорил, да вот он не запомнил.

— Может, кого другого поймаете? — прочитал драйвер его мысли. Хлопнул по рулю, словно извиняясь за скорость.

— Нет, что вы. Так я хотя бы гарантированно к ночи в Уфу доберусь.

— Поплюй!

На перекладине, перед самыми их лицами, висели несколько смежных иконок — оберег, автомобильный вариант. Никита смотрел в лики святых. А они, казалось, глядят ему прямо в душу.

...Одним из краугольных камней для семейства Марченко стала именно религия. Здесь все распределилось следующим образом. Никита... Верил ли он? Пожалуй, что да, во всяком случае — избегал мыслей об этом, как и всякий в его возрасте. Отец — как любой физик, а может, и не любой, но просто советской закалки — был не просто атеистом и материалистом, нет, он так насаждал свое мнение и проповедовал так яростно, что сектанты могли бы позавидовать... А вот Марченко-мать наоборот: стала вдруг показательно набожна. В календарях и обрядах она была как рыба в воде, и удушье ладана в маленькой церквушке отныне — ее среда.

И какие в их доме бывали баталии! Какие «крестовые походы» на убеждения друг друга! О, в схватках родителей было даже какое-то «садомазо», видимо, оба подпитывались той энергией почти ненависти... Для отца это была «война священная» (да простят мне церковную лексику!), в которой он с гневом крушил идеалы противника, и только что дым из ноздрей не шел. Мать — та упивалась ролью великомученицы, идущей на костер за веру. Короче говоря, речь шла о физзарядке духа, гимнастике эмоций, приятно щекочущей миокард. Битвы заходили далеко: в пост Марченко-старший, «в миру» конченный язвенник, ел соленое и острое из принципа: «Пусть!»

Мать тускло жевала каши, уставши его отговаривать.

Никите хорошо запомнился тот ослепительный январский день, когда мать пришла домой к обеду, в платке на голове и с большой колбой в руках. Эти колбы — здесь надо сделать отступление — валялись по всему дому, хотя отец был физик, а не химик. Кажется, в них умудрялись даже солить.

— Вот! — Мать торжествовала. — Святая вода! Сегодня же Крещение Господне. Батюшка прорубь освятил, а я — с семи часов стояла!

Дальше с благоговением было рассказано, что это за вода, как она помогает и как следует окропить все углы квартиры, чтобы изгнать все дурное.

Отец поначалу терпел, но утверждение, что святая вода не тухнет и не портится ни при каких обстоятельствах, окончательно вывело его из себя.

— Речная вода?! — взорвался он. — Ты, милая, чего — совсем уже?.. Ты, человек с высшим образованием! Кандидат наук!

В общем, праздник Крещения кончился банальным скандалом. Стоит ли описывать?.. Ярости отца Никита не понимал. Да и мама тоже... Проявляя чудеса самоотверженности на словах, никакие углы никакой водой она почему-то не окропила. Берегла на черный день? Не ясно. В общем, с чувством выполненного долга колбу задвинули в дальний шкаф, в темноту, меж бутылей уксуса и масла. Задвинули — и забыли. Прошло время. Возможно даже — года два.

И вот в один прекрасный день дом огласился радостным воплем Марченко-старшего. Чего он искал в глубинах кухонных шкафов, в «закромах нашей родины», не ясно. Возможно, тайно попивал что-либо... В общем, в итоге на свет Божий он извлек ту самую колбу. В ней плавал какой-то сгусток, сопля какая-то, короче — святая вода испортилась. И что тут началось!

«Матерый атеист» праздновал полную и убедительную победу. Враг был повержен! Опьяненный открытием, «победитель» долго и торжествующе орал на жену, да так, что та слегла с гипертоническим кризом... Такой вот «хеппи-энд» для милой рождественской истории.

...Когда «МАЗ» встал окончательно, с тяжелым стоном, — только тогда Никита наконец проснулся. Мигнул подсветкой на часах. Черт, и все-таки — ночь, учитывая тем более то, что в Уфе время по сравнению с той же Самарой — еще плюс час... Жалко! «Вадим-то, наверное, спит давно уже... А мне еще до „вписки“ добираться!» Справа от темной развилки — довольно далеко, — залитый оранжевыми огнями, стоял стандартный КПМ. Ворота города. Ну а дальше — собственно уже въезд в Уфу.

— Спасибо большое! — Никита окончательно пришел в себя, завозил-ся в темноте, собирая свое: спальник, рюкзак... — Вы мне очень помогли. Счастливого вам пути!

— Тебе тоже. Удачи.

С «МАЗа» прыгать еще не так высоко.

— Эй, парень!

Никита обернулся: перегнувшись через всю кабину, водитель крикнул из окна:

— Каскетку уронил.

— Ах да, спасибо!

Кепка и правда валялась возле колеса. Наклонившись за ней, Никита вдруг почувствовал у самой щеки вибрирующую огромную страшную машину... Стало не по себе. Затем, когда он отошел, «МАЗ» рыкнул и уехал — какое-то время было его слышно и мелькал красный огонек... И — все. Темно и тихо. Никита был один в округе, и чувство такое, что в целой вселенной!.. На минуту остановился, прислушался. Ужас вдруг почти животный. Прогнав это, Никита быстро-быстро зашагал по пустой дороге к КППу, сияющему вдаль. Одинокая и смешная фигурка с баулами, почти бегущая по темноте... И если Бог на небе был, то он, наверное, смотрел на нее.

Гаишников Никита, появившийся невзвесть откуда, не заинтересовал, и встал он сразу за КППом: все ближе к людям, все светлее. Здесь и правда было ярко от прожектора, и июльская ночь была почти изгнана из хиленького придорожного леска.

Приближаются фары. Никита поднял руку, весь напрягся: ну не любил он «стопить» ночью. Мысли все эти плохие лезут в голову... Сюжеты из дешевых фильмов... Действительно, жутко это, когда фары тормозят возле тебя и ты открываешь дверцу — навстречу неизвестности.

В салоне «девятки» было темно и накурено.

— В город? За тридцатку.

Марченко вздохнул, снимая со спины рюкзак. Ну не ночевать же на трассе только потому, что это не соответствует принципам «стопщика»? Сев уже в машину и глядя на деревья, которые быстро и низко пролетали мимо — так странно после грузовой, — он мстительно подумал: тогда я хотя бы буду молчать всю дорогу. Уплочено! Подумав так, он сел поудобнее, даже повеселел... Ладно. По крайней мере к ночи он добрался до Уфы. «Ну вот ты уже на Урале. Сбылась мечта идиота...»

Впрочем, не будем грешить на «бомбилу»⁸: Никите он достаточно толково объяснил, как выйти к проспекту, на котором нашему герою предстояло «вписываться» этой ночью. А ночь уже шла вовсю: был второй час по местному времени, когда парень бродил в лабиринтах хрущевки, разыскивая нужную. Ох, не любил он все эти полуночные шатания... В Пензе, где он провел позапрошлую ночь, к нему вот так подошла компания местных. Вид их не предвещал ничего хорошего.

— Ты из какого комплекса?

Никита запнулся мыслями. Он удивился бы меньше, спроси у него, «с какой ты планеты?».

— Не местный, что ли?

Вот так и разошлись бескровно. А комплексы у них вместо дворов, как выяснилось: район новостроек... Уфимцы могут оказаться куда менее мирными. Вон под деревьями сидит же какая-то компания... Вроде замолчали все, смотрят на него... Никита ускорил шаг. Ночной ветер тревожно шевелил листьями и мусором у баков. Крупные ночные бабочки так бились о стекла фонарей, что это было даже слышно.

Короче, когда Марченко оказался в искомом подъезде, счастьем и облегчением его не было границ. Здесь воняло, шурились разбуженные им кошки, грязь кругом, но все равно — как замечательно! Вот и нужная дверь. Секундная заминка у звонка. Как там его?.. Скваер, кажется...

⁸ «Бомбила» — водитель, который подвозит за деньги (*жарг.*). На трассе почти не встречается, как правило, только в городе или недалеко от его границ.

...Однажды его (Никиты) мама сидела за столом и выписывала в тетрадку цитаты из Библии. Этому она предавалась порой, утверждая, что такое занятие успокаивает и приводит к внутренней гармонии. Тогда, вероятно, целью Марченко-старшего, вставшего за ее спиной, было этой гармонии помешать. Но под рукой своей жены он увидел то, что и правда его привлекло. Впервые он видел в Библии что-то серьезное.

Выписывалась пространный цитата из Исхода... Как полагается, источник указывался: мать добросовестно записала в скобках «Исх. 10: 24».

— Что это? «Исходящий номер»?!

А мать открыла рот в панической растерянности, она не знала, что ответить, не знала — что это, она вообще плохо понимала, о чем идет речь в этих отрывках...

VI

Ночи на «вписке» — особая тема. Казалось бы: ночуют здесь идущие транзитом, те, чьи мысли уже далеко от этого города, — да они здесь особо и не задерживались... Был трудный день на трассе. Припекающее солнце, душныя кабины... И завтра будет то же самое — и «снова в бой». Казалось бы, логично было нырнуть в свои спальники и экономно проспать каждый час. Но нет. Надо же посидеть, поговорить! На «вписках» встречаются единомышленники, люди с одними взглядами на жизнь — а значит, ради такого и полночи убить не жалко. Тут и горькое просроченное пиво сахаром будет казаться!..

Пивом здесь, кстати, особо не увлекаются — так, баллон-второй на всех для поддержания беседы. И это понятно. Вставать рано, дорога дальняя, солнце напечет, так что похмелье и жесткий сушняк будут совершенно ни к чему. Да и нехорошо, не принято дышать перегаром на шофера. Хотя бы потому, что это — его привилегия.

И вот... За окном глубокая ночь, весь город спит, и только на страшенькой кухне Скваера бодро и светло — лампочка бьет прямо в глаз. О плафонах в таких квартирах речи не идет, как правило. А занавеску прожгли, заблевали и предали забвению лет сто тому назад... Такой вот он, здешний уют, — в жилище, где часто горько от дыма и полночи визжат гитары.

Наши герои, все четверо, собрались за столом и ритуально потягивают пиво. Скваер знает, как наклонить баллон, чтобы пена не шла вообще. Движение, отточенное годами!.. О чем разговоры? Если опустить все о музыке — иначе читатель заснет над страницей, — то тема будет одна: то, что мы называем «охотничьи байки».

Просто из каждой поездки любой автостопщик привозит с десятков ба-сен и басенок. Это — чьи-то судьбы (многие драйверы любят исповедоваться, причем начинают, едва машина трогается с места со «стопщиком» на борту). Это — случаи, когда веселые, когда не очень. Все это рассказывается и пересказывается, превращаясь в фольклор, все это перебиваемо нетерпеливым: «А я...», «А у меня...». Потому-то и «охотничьи байки», что каждый торопится заявить: «А у меня интереснее», «А со мной веселее случай был», «А я — опытнее», «А я — лучше» — в конечном-то счете.

Вот, например, рассказывает Скваер. Скваер опытен. Скваер отбрасывает волосы за плечи, чтобы они не свисали в пиво.

— ...И вот — застреваю я, значит, в этом Чебаркулэе. До дома всего триста кэмэ, вечереет уже, а мне, значит, утром на экзамен. Я еще и не мог вспомнить, по какому предмету именно... Вот, думаю, ёлы-палы! А темпы у меня были жуткие. «Стопились» все время какие-то садоводы-огородники: кто пять километров провезет, кто пятнадцать. Мне это дело надоело. И вот в Чебаркуле я написал на бумажке: «УФА», такими вот большими буквами; стою на трассе: полчаса, час... Дальнобои только рука-

ми разводят, и башкирские в том числе. Господи, думаю, хоть что-нибудь, хоть что-нибудь! Вдруг тормозит совершенно шикарный джип. Я таких и не видел никогда. Представляете, спидометр... как бы объяснить... изнутри на лобовое стекло проецируется!

— Не слабо...

— Вышел мужик. Осмотрел меня очень внимательно, садись, говорит... Оказалось, эту тачку он гонит с Дальнего Востока по какому-то крутому заказу. И вроде как его пасут всю дорогу, дважды пытались напасть. Я так понял, он и посадил-то меня для подмоги: в зеркало, там, смотреть и вообще — мало ли что... Ладно. Едем. Он справа, я слева⁹, а между нами — заряженный «макаров»!.. Всю дорогу этот мужик расхваливает мне свою супертачку. И тут... самое смешное... В самом горном месте это чудо техники ломается. Заорали все датчики сразу, оказалось — лопнул какой-то ремень. А дальше — самое интересное. Починке этот джип не поддается! Болты прикипели. Ключи не подходят. Такое вот качество японское... Блин! Слава — так того мужика звали, — наплевав на всех заказчиков, молотком разгибает эти ключи, чуть ли уже не крушит двигатель. И хоть бы одна собака остановилась помочь! Ловим-ловим... Что дальше? Часа через два Слава хватает свой «макаров» и выбегает с ним на трассу!

Все смеются, запивая пивом. Что же, вполне достойная и съедобная байка. Кто дальше? У Насти — другой случай.

— У меня все не так драматично, конечно. Я когда вчера ехала из Тюмени в Е-бург... Останавливается тоже иномарка. Дядька очень представительный. Сажусь, мы едем, и тут начинаются все эти гнилые разговоры: не боишься одна, не пристаю ли, а не хочешь ли ты этого сама и тэ дэ. В общем, гражданин начинает мне доказывать, что я хочу с ним переспать, я — доказывать, что это не так.

— Ну и кто кого убедил?

— Я его. И он меня высадил. А ведь в Свердловскую область ехал, сволочь.

Эта была история из числа тех, которые не веселят, скорее — тут все задумываются.

— А серьезно: тебе не страшно ездить без спутника? — спросил Сквер после паузы.

— Страшно, не страшно... Я всегда езжу одна. — Настя пожалала плечами, потом добавила, тщательно выбирая слова: — Скажем так, я еще не встретила того человека, который мог бы стать моим спутником. — После паузы: — И я не знаю, встречу ли вообще.

Почему Вадим решил влезть в этом месте?.. Загадка. Возможно, повлиядо пиво. Оно всегда все облегчало, опьяняло и делало нереальное — возможным. А может, Вадим просто понял, что речь идет не о банальном спутнике по автостопу, а о чем-то большем?.. Не знаю. Наверное — и то, и то.

— А как ты можешь утверждать, что до сих пор не встретила такого человека? А может быть, я подойду?

Все посмеялись. Что же, шутить так шутить!

— Видишь ли... Мне нужен не банальный парень. Мне нужен особенный. Как бы это сказать... С крыльями, вот!

Вид у Насти при этом был самый мечтательный... Дело принимало для Вадима серьезный оборот! Она ищет творческую личность? Она что, думает, он — быдло какое-то?..

— С крыльями?! А между прочим, я пишу стихи, о которых многие говорят очень хорошо. У нас в Питере есть рок-группа, «Аничкин мост», так вот, у них две песни — на мои тексты! Могу даже напеть...

⁹ Очевидно, что с Дальнего Востока никто не погонит машину с левым рулем.

— Не стоит. — Никита переживал за друга. Он знал, что позже Вадим слегка протрезвеет и будет мучительно стыдиться прочитанного и, если хотите, напетого. Слуха-то у него не было вообще...

— Сними футболку, — вдруг попросила Настя.

Вадим, конечно, удивился, но алкоголь учит нас сначала делать, а потом уже — раздумывать... Футболка была отброшена прочь!

Хорошо, что он пользуется дезодорантом. Знаете, как это: весь день на июльском солнце, в самом асфальтовом пекле...

— Напряги бицепсы, пожалуйста.

Что же, стесняться ему, пожалуй, нечего. Не качок, конечно, но и не задохлик какой-нибудь. Так, развитый в меру. Для своего возраста, для своего положения...

Одно плохо: этот несчастный дезодорант. Вам, может быть, известно, как малоэстетично, засохшими соплями, он провисает на небритых подмышках.

Она провела пальцем по его мышцам. Что, черт возьми, происходит?!

— Должна тебя огорчить: никаких «крыльев» у тебя нет и в помине. «Крыльями» у хорошо накачанных мужчин называются мышцы под бицепсами, вот здесь, которые немного выступают вниз. Тебе же для того, чтобы стать парнем «с крыльями», качаться и качаться, дорогой мой!

Настя усмехнулась. Жестоко? Так нечего было и лезть!

Полуголый, Вадим сидел как оплеванный. «Итак, тебя опустили. Бицепсы можешь расслабить». Видимо, Скваера и Никиту вся эта сцена тоже смутила: оба замялись, Скваер — тот пробормотал что-то наподобие: «Ну, все мы тут... не Гераклы...»

«Нет, какая же стерва, а! Фантастика! Как это говорят — фейсом об тейбл... Я ей: то, сё, стихи, песни, чуть ведь не зачитал! Бли-ин...» Вадима впервые приложили так цинично, и он был потрясен, потрясен до восхищения, — такое бывает. Схватив баллон, разлил остатки: себе и Насте.

— Что ж, выпьем! Веселая и находчивая...

Увидев, что пиво кончилось, Скваер вздохнул с облегчением. Ночь глубокая: давно пора спать, тем более что так хочется! И уж тем более разговор закончился на такой ноте. Пересидели сегодня.

— Все, народ, ложиться надо. Во сколько на трассу завтра собираетесь идти?

— Здесь же минут сорок из города выбираться, правильно?.. — поразмыслил Никита. — Часов в семь-восемь в таком случае. Вообще, конечно, это надо у Вади спросить...

А «Ваде» было не до того! Мосты с «обидчицей» наводились уже вовсю.

— ...И какие коллективы у вас в Тюмени нормальные есть?

(«Коллективы» — это, конечно, про музыку. Не про прядильные фабрики.)

Короче, чему было удивляться, когда Вадим предложил Скваеру пока не ложиться и ненадолго «продолжить банкет».

— Не, исключено. Вы можете сидеть. Я ложусь.

— Да, я тоже, — вмешался Никита. — Вадя, нам вставать рано...

— Ладно. — Вадим игнорировал. — Скваер, а где тут поблизости еще можно пива купить?

— Дело ваше, конечно. Я бы сейчас на улицу не совался: гопоты всякой полно шастает... Здесь недалеко есть круглосуточный «комок». Надо, как выйдешь, сразу повернуть налево, а там через дорогу. Дверь оставьте открытой...

— Долго не ходите, — добавил Никита.

— Да мы мигом! — Вадим подобрал футболку, отброшенную так эффектно, метнулся с кухни в комнату, и в следующую минуту оттуда неся его веселый голос: — Скваер, я надену твои носки?..

VII

Через густо захарканный подъезд, в котором в этот час спят даже кошки, — наружу, на волю, на воздух!..

А на улице было темно. Почему-то не работал фонарь, окна, само собой, не горели, и ночь была непроглядной. Мы даже не видим наших героев — мы слышим их голоса. Хлопнула дверь подъезда. Ветер шумит в верхушках деревьев, тревожно...

— О, сирень!

Это голос Насти. Вот у кого зрение как у кошки.

А это затрещали ветки. Видимо, Вадим принял ее слова как руководство к действию. Знаете ли, с нетрезвыми мужчинами вообще лучше того — помалкивать.

— Прелесть какая! — Снова голос Насти, и он полон сарказма. — Он, она, луна. Он лезет на газон и ломает ей сирень...

— Ага — луна. Как же! Хоть бы лампочку паршивую повесили... Ноги тут переломашь... На, держи!

— Ой, мерси, я так счастлива, так счастлива! — И Настя рассмеялась...

Они шли дальше. Направление ларька угадывалось слабо. В середине двора им встретились тюки гудрона, наваленные так, вероятно, для ремонта крыши, — и хоть что-то было чернее, чем эта ночь.

— Слушай... А ты когда-нибудь находила «счастливые» сиреньки? Ну, у которых пять лепестков?

— Да постоянно нахожу! Не в темноте, конечно...

Вадим усмехнулся:

— А я — никогда, представь себе! Особенно в детстве было обидно. Из сада привозили кучу этой сирени, и все только этим и развлекались: найдут — желание загадают — съедят, найдут — съедят... Жевали постоянно, как коровы. Я ничего не мог найти! Мама меня жалела, собирала «счастливые» цветочки для меня, я их ел... Но это было не то.

— Очень трогательно.

— Видимых примет счастья мне вообще не попадалось! Однажды ночью стою я на балконе. О чем-то думал, наверное. И тут вижу боковым зрением — сверху сорвалась звезда! Я стал судорожно загадывать желание... Мысли заметались... А звезда тем временем пролетела мимо меня, упала на газон и рассыпалась. Понимаешь? Это был окурок! Его бросили с верхних этажей...

— Да вы, молодой человек, просто — лорд Байрон, как я погляжу! Попрошу не забывать, что мы тут не под луной гуляем... Как справедливо было замечено... А в ларек идем! За «догонкой».

Они беззлобно посмеялись. Не-ет, Вадим знал, что нужно делать! Ни на что не обижаться и все гадости пропускать мимо ушей — вот то оружие, против которого нет защиты.

— ...Но потом-то я много падающих звезд видел. На трассе.

И это, кстати, чистая правда, ибо до Бельгии нам далеко. Это там все автострады залиты ночью светом большим, чем днем. У нас по-другому. У нас, если ночью ты оказался на трассе, впору впадать в отчаянье: ни души живой, по крайней мере ни огонька в радиусе... Да чего считать километры! В общем, ты один, и только звезды... Огромный купол, не подпорченный нигде земными огнями... Сама вечность, непоколебимая и печальная... Здрав голову на трассе, можно задохнуться, захлебнуться от звезд, что автор и делает, — а потому замолкаю.

...Ночь в городе совсем другая, и дело здесь даже не в электричестве, мегаватты которого мешают увидеть небо вообще. Просто ночной, в глубо-

кой спячке город — зрелище потрясающее и в чем-то абсурдное. Здесь полно своих картин вечности, печали и безлюдья. Миллионный город: если знать, какой это муравейник днем, то странно видеть потом его вымершие проспекты, дворы-пустыри... И все это в каком-то неземном свете силовых ламп, оттенки фонарей — один неестественнее и мертвее другого.

В чем же абсурд?.. А вы ходили через эти дворы часа в три ночи? Знаете же: хочется побегать. И дело даже не в каких-то абстрактных «хулиганах». Просто в этих мертвых панорамах, под эхо собственных шагов, окруженный своими же тенями, любой способен рехнуться! Особенно пугает то, что люди вроде как бы есть... Должны быть... Где-то... Но только сотни темных и темных окон. Бежишь букашкой. Паранойя? Быть может. И все-таки, все-таки...

— ...Я сама же виновата. Пропала и вышла на трассу где-то в обед. В общем, в первый день доехала только до Е-бурга. Зато сегодня... вчера?.. Короче, я мобилизовалась! Собралась! — смешок... — И прошла Челябинск, до Уфы вот доехала.

— Клево. Вот нам бы завтра так же!..

— А мне бы завтра до Нижнего добраться. Дальше вряд ли получится... А впрочем... В конце концов, там и в лесу переночевать можно. В средней полосе меня никто не съест.

— Подавятся!

Смеясь, они ступили в освещенный круг.

Почему-то до этого они не видели людей, которые шли к ним вразвалочку.

Почему-то всегда в таких случаях чувствуешь и понимаешь все сразу. Нет, человек все-таки способен на что-то чуть сверхъестественное! Без слов, в одно мгновение уловить то, что разлилось в воздухе... Чувствуешь и понимаешь, что эта компания дворовых подонков снялась с насиженной скамейки не просто так, а именно по твою душу. Во всяком случае, для двоих, вошедших в круг фонарного света, это стало ясно в одно мгновение.

Они вздрогнули, сбились с шага... Но не бежать же в самом деле. Может, пронесет. Может, «чуть-сверхъестественное» их подвело... Может, случится чудо?

— Иди по левую руку, — сказал Вадим сквозь зубы.

Настя не прореагировала.

Компания дворовых подонков вошла в свет фонаря и остановилась, всем своим видом призывая сделать то же самое (всем своим видом угрожая — вот что в первую очередь). Выглядели подонки соответственно, просто классика жанра. Один был даже в кепке-восьмилинке. Да стоит ли описывать все эти бычьи шеи.

— Эй, пацан, не спеши так... Ты откуда?

— Из Санкт-Петербурга.

Дворовым подонкам заклинило мозги. Нижегородка, Сипайлово, Затон — это всё они бы поняли. А еще в Уфе есть район с нежнейшим названием — Глумилино.

— А чё ты здесь делаешь?

— К другу приехал.

— Как друга зовут?

— Вы его не знаете.

Подонки подумали.

— Девчонка чё, с тобой?

— Да.

Сейчас спросят про волосы. Вадим вызубрил весь этот сценарий наизусть. Боже, как он устал... А может, у них у всех нет мозгов или есть ровно столько, чтобы думать одинаково? Во всяком случае, поймав «неформала», «гопы» всех городов — пролетарии всех стран, соединяйтесь! — задают один и тот же вопрос: про волосы. Или про сергу в ухе, если таковая имеется.

(С моим хорошим знакомым был такой случай. Он встретил на улице бывшего одноклассника, с которым они теперь, скажем так, принадлежали к разным слоям молодежи.

— Гы-гы-гы! — заржал одноклассник. — Ты чё, совсем «неформалом» стал? Кольцо в ухе! Ты бы его еще в правое ухо¹⁰ повесил! Гы-гы-гы...

— А это какое, по-твоему?

Бывший одноклассник замер, потрясенный... По непроверенным данным, он превратился в соляной столп.)

— Слышь, пацан, а чё ты такие длинные волосы отпустил? Чё ты этим хочешь сказать?

В следующую секунду вожак стаи поднес к Вадиму руку, так, словно это был неодушевленный предмет, и потрогал его за волосы! Помял между пальцев, словно сельдерей на рынке. Такого вынести было нельзя.

Вадим, конечно, не был героем. Ни плюнуть в лицо фашистам, ни прочие подвиги из старого советского кино он никогда не смог бы повторить. Но тут сработал рефлекс, который был быстрее мысли: к этой детали своей внешности Вадим относился очень трепетно, и так вот жамкать его волосы не позволялось никому (девушки не в счет). Рука «гопа» была отброшена очень резко. Далее события развивались со стремительной быстротой.

— Ты чё, с-с-с...

(«С-с-с...» — это совсем не значит, что я стремлюсь забить точками «нехорошее» слово. Просто эти люди так говорят. Редукция! А вы бы слышали эту «звукопись», когда они поют «блатняк» под гитару!)

Одновременно со «с-с-с...» коротким и мощным движением вожак ударил Вадима в лицо.

Все полетело, закружилось, засверкало. То, что он упал, Вадим скорее понял умом, вычислил логически. Он долго еще — как ему казалось — не мог осмыслить, что произошло, а все вокруг звенело и звенело, и прямо в глаза ему несся локомотив... Потом оказалось, что это всего лишь фонарь над его лицом. Вадима тормошила Настя.

Оказалось, все было так. После того, как Вадим упал, вероятно, «торжество» — глумление над новой жертвой — продолжилось бы полным ходом, если бы не решительность Насти. Кричать, умолять, звать на помощь — все это было бы бессмысленно: представьте, что вы в мертвом городе, где жителей давно нет. Психологически так даже лучше. К чему пустые надежды на людей из окрестных домов?..

А Настя взяла с земли камень и вышибла им окно на первом этаже. Она знала, что делать в такой ситуации. Знала, что обыватель в наше время может проявить храбрость только в одном: защищая *свое* имущество и спасая *свое* жирное пузо.

Сработало! Шпана лениво убежала. В своих дворах им было запахло бежать и прятаться всерьез, но раз все-таки выскочит взбешенный хозяин окна... Раз приедут менты... Подонки побежали, перебрасываясь репликами, — строили планы на остаток ночи.

Теперь настал черед спасаться нашим героям, потому что взбешенный хозяин разбираться в деталях не будет. Настя подняла Вадима, они побежали в другую сторону, а в центре двора, в круге фонарного света, остался лежать букет сирени. И скорее всего, «счастливые» цветочки в нем были.

И опять — ни звука, ни движенья. И никакой хозяин, кстати, так и не выскочил. Возможно — боялся, жалкий человек. А может, дома никого не было. А может... Чепуха всякая в голову лезет... Людей в городе и не было?

¹⁰ Как известно, в правом ухе серьгу носят гомосексуалисты. Вернее, самые смелые из них.

Равнодушные пустынные проспекты, здания, улочки... Ветер погнал по асфальту газету... Это сумасшествие... Нигде — ни души, и только панорамы, панорамы в духе «Сталкера».

VIII

А вот и баллоны пива, за которыми они сюда отправились. Разных оттенков коричневого, стоят на полках. В круглосуточном «комке» пахло табачком и потекшей холодильной установкой.

Настя подошла к прилавку: девица, торговавшая здесь, была, возможно, и младше ее, да только глаза уж больно уставшие.

— Девушка, извините... Не подскажите, где здесь ближайший травмопункт?

Как видите — не до пива.

«Девушка» прежде всего оглядела Настю с головы до ног в поисках видимых повреждений.

— Здесь надо вдоль проспекта останковки две пройти. Потом — за трамвайное кольцо и вдоль забора.

— Спасибо огромное!

«И чё за девка, — подумала продавщица скорее с любопытством, чем с привычным раздражением. — И одета по-лоховски... И косметики ни грамма! В наше время только психбольная может не краситься».

Сама-то она была размалевана словно в бой; да так оно и было по большому счету.

А Настя, выйдя на крыльцо, в первую минуту испугалась: ей показалось, что он ушел... Но нет. Тень отделилась от стены. К разбитому носу Вадим прижимал салфетку.

— Да что за чушь! — Он все еще слабо сопротивлялся перспективе травмопункта. — Нос расквасили! Подумаешь... Ну хочешь, сама пошупай: смещения нет никакого.

— Не говори глупостей. А если сотрясение, гематома мозга какая-нибудь, не дай бог? Тебе же завтра на трассу! Подохнешь еще где-нибудь... в районе Сысерти...

— Бо-оже, какие места ждут меня впереди!

Он усмехнулся, она же схватила его за руку и просто потащила за собой. Вадим еще пытался увещевать:

— Вот смотри. Уфимской прописки у меня нет — так? Не говоря уже о том, что паспорт дома... Тьфу, на хате у Скваера. В крови — алкоголь. Наконец, это была драка — факт! И ты думаешь, они не сообщат ментам? Да они просто обязаны...

— Перестань болтать чепуху.

После минутной паузы — опять же со смешком:

— Ты тащишь меня, как ребенка.

— А что мне остается делать, если мальчик не идет к врачу! Упирается. Ногами дрыгает. — Настя рассмеялась, а Вадим ей подыграл, приняв выражение капризного карапуза... Теперь смеялись уже оба, и обстановка таким образом была разряжена. Да и Вадим больше не сопротивлялся. Жалко, конечно, что все вот так дурацки вышло в этой чертовой Уфе! Останься он ночевать на трассе...

Салфетка промокла, мазала пальцы. К тому же там, внутри, кровь образовывала сгусток, и приходилось тяжело и нудно работать носоглоткой, чтобы от него избавиться.

— Вот черт, а! Невезуха какая-то. И откуда взялись эти сволочи?

— Гопота! — Настя пожалала плечами. — Надо было сразу вдоль проспекта идти. Знаешь, все эти дворы по ночам... Ничего хорошего. — И после паузы: — На меня однажды тоже так напали, несколько месяцев назад, — у нас там, в Тюмени. И тоже, кстати, разбили нос.

— Тебе? Девушке?!

— А что?.. И вообще, их не я — их моя торба¹¹ интересовала. Вырвали, по рожу съездили разок и — убежали... Да... А знаешь, какая у меня торба была? О-о! Поэма. Как грудь члена Политбюро!

— В смысле?

— А я на нее медали вешала, ордена... Нет, вру — орденов не было. Вообще началось это так. Я нашла какие-то кондовые значки, ну знаешь, типа «Хэ Хэ пятилетка» и все такое прочее... Повесила на торбу. Народ заценил. Кто-то принес памятную медаль «50 лет Победы» — так, ничего особенного, но я повесила. И началось... Знаешь, сколько этого добра у людей валяется, как оказалось? Несли и несли. У Людки — это моя лучшая подруга — умер дед. Мировой был старик, но это не важно. Она мне отдала какие-то его медали, обещала еще ордена, но... видишь, как получилось.

— Да, вещь жалко... Такую же себе, что ли, сделать... Ну а ты тоже хороша! Что же ты одна ночью шла?

— А я была не одна. В том-то все и дело. Это-то и было — ужаснее всего.

Настя заметно помрачнела, ушла в себя... И они брели уже молча, и по левую руку был пустой, залитый ядовито-оранжевыми лампами проспект, и только Вадим в полной тишине с усилием сглатывал кровь. Вон и трамвайное кольцо: пустое, разумеется, в четвертом-то часу... В такое время все трамваи друженько, бок о бок спят в депо, как и их пассажиры, впрочем. За кольцом белел забор. Все правильно. Они не сбились и почти у цели. Вадим хотел поделиться этим с Настей, покосился на нее — и не стал этого делать.

«Вот идем мы рядом. Казалось бы — и что у нас может быть общего? Мальчик из Питера и девочка из Сибири. Сибирочка...»

Тюмень! Он не был там. Но, может быть, окажется когда-нибудь, доедет и дотуда... Что это может быть за город? С серым снегом вдоль улиц зимой, с маршрутками, с трубами фабрик, дым которых стелется в морозном воздухе. Те же девятиэтажки... В этом городе жила Настя, ее лучшая подруга Людка и дедушка Людки, когда-то — веселый солдат.

Их были сотни и сотни таких — тип Василия Теркина, ярких, неунывающих, из тех, про кого говорят: «рубаха-парень». Имеет ли смысл называть все города и боевые операции, где Людкин дедушка терял кровь и понемногу геройствовал?... «Глядь — и орден как с куста». Это в те годы. Потом-то он и правда стал дедушкой: гордым и мудрым, в пиджаке с наградами, в обнимку с внуками... Все тот же Веселый солдат.

В гробу ему так и не смогли закрыть рот. Это было жуткое и жалкое зрелище.

Ну а потом его медали переключали на торбу к Насте. В ту пору она хипповала, пожалуй, больше, чем сейчас... К примеру, такая вот деталь: как и многие тюменские «неформалы» тех лет, в левом ухе Настя носила анодированную свастику. И те не очень вразумительные монстры, что изначально красовались на знаменитой торбе, тоже ведь были в каком-то подобии фашистских касок. Если это можно было потом рассмотреть за советскими медалями...

Вы думаете, я осуждаю? К этому веду? О нет, совершенно... Выводить из этого всего суждение наподобие «o tempora, o mores!» было бы глупо. Скорее... все это говорит нам «о вечном примирении и о жизни бесконечной». Иван Сергеевич Тургенев.

...А вот и травмопункт. Он выплыл из ночи низеньким блочным зданием, с собственной луной над входом. Да! Большой и плоский плафон,

¹¹ Торба — нечто типа маленького рюкзака или вещмешка, стягивается сверху шнурками. Обязательно с рисунком «верной идеологической направленности» — портреты рок-групп и т. п. Очень популярны сегодня.

бледно мерцающий, навевал уныния не меньше, чем ночное светило: одиноким блином горел он в темноте, привлекая разве что крупных серых бабочек и прочих ночных насекомых, отвратительных.

— Вон два окна, кажется, горят, — сказал Вадим после паузы; перед тем они долго рассматривали здание. — Уф. Мне-то показалось сначала, что там совсем никого нет.

— А мне вообще показалось, что это морг.

— Да, кстати, и правда — похоже.

Они подошли... Вокруг травмопункта было безмятежно.

— Уфа-то, оказывается, совсем спокойный город! — Вадим рассмеялся с сарказмом. — Я думал, здесь очередь из раненых...

— Поплюй! Может, они внутри толпятся.

И Вадим послушно отхаркнул кровь.

Но внутри было так же тихо и пусто. И только за дальним столом, в конце коридора, сидела сестра в нечистом халате и с телефонной трубкой у уха: окинув вошедших с бесконечной тоской, она продолжала все так же монотонно говорить:

— Глеб, прекрати, а. У тебя уже шизоид. Глеб, ну чё ты как ребенок. Я тебе объясняю, объясняю, а ты не слышишь. Глеб!..

В детстве Насте приходилось часто болеть, а может, были слишком мнительными родители, но, в общем, все эти интерьеры советской медицины с тех самых пор она люто ненавидела. И вот опять! Бугристый, закапанный чем-то раз и навсегда линолеум. Мазок крови на мертвенно-бледной кушетке. А самое главное — запах, этот запах раскисшего мыла, который совершенно нельзя переносить.

— Я тебя на улице подожду, ладно?

Медсестра тем временем повела глазами на дверь дежурного хирурга — мол, мальчик, иди и лечись. Действительно, не отвлекаться же на каждого волосатика с подбитым глазом, когда кипят такие страсти...

Настя вышла на крыльцо: о, вон скамейка. При ближайшем рассмотрении выяснилось, правда, что вся она кровью захаркана, как в гестапо: пришлось сесть на спинку и сгорбиться. И так, что мы имеем? Какая-то редкостно дурная ночь, и выспаться толком уже не придется: встать надо рано, чтобы добраться в Нижний до ночи. До следующей ночи.

А ведь был уже тот глухой предрассветный час, когда на всех окрестных улицах ты не встретишь ни машин, ни людей — никого. И можно, кстати, смело шататься по самым темным дворам и подворотням, ибо те страшные-ужасные «хулиганы» давно и крепко спят, пускают слюни на подушку и видят наивные детские сны.

Вон за травмопунктом виден дом. Знаете, такой совершенно громадный шлакоблочный монстр позднесоветской застройки. И во всех его окнах, а сколько их — не сосчитать, нигде нет огонька! Хоть бы кто-то, хоть бы где-то! Нет. Дом — вымерший.

Господи, ну почему она здесь, что она здесь забыла! Одна, одна в чужом, враждебном городе; всегда — одна, всегда — бежать, бежать — от самой себя...

Настя сидела на скамейке, плакала горько, и казалось ей, что она — одна во всей вселенной.

IX

ВАДИМ

В четырнадцать я начал слушать «альтернативу». Да, пожалуй, так оно и было. Начал, правда, с «легкого» варианта: «Мумик», «Сплин», поздняя Агузарова, ранняя Земфира... Хорошо помню, как мама прослушала песни полторы и — как отрезала:

— Ужас. Ничего не ясно. Галиматъя какая-то...

А я в ответ смертельно обиделся, хоть и понимал в текстах песен — не больше ее. Но это было не важно. Зато я понимал уже тогда (а ведь салагой был!), что слова без смысла — это позиция. Можно вообще отказаться от слов, думал я. Петть ритмичные наборы звуков, будет классно. Петть на какой-нибудь мертвой латыни. А что?.. Самым странным мне казалось тогда то, что до меня до этого никто не додумался. Тоже мне... Мелкий гений в наушниках!

В четырнадцать же лет, вернее, накануне самой днюхи¹² меня повезли в сад, и, пока все энергично копали грядки, я шатался по окрестностям. Был очень красивый солнечный вечер. Интонация пилорамы в горячем воздухе... Я сорвал ромашку и стал гадать, влюблюсь я в четырнадцать лет или нет. Гадал, помню, дважды, потому что очень хотелось, чтобы выпало: влюблюсь. Почему? Сейчас мне это тоже интересно. Какой чепухой башка была набита...

Все дело в культуре, я думаю. Во всей культуре, доступной ребенку. Посудите сами: 70 процентов книг — о любви, 90 процентов фильмов — о ней же, песни попсовые — все, из рока тоже многое... И даже та «галиматъя», как назвала это мама, я интуитивно чувствовал, — она тоже о любви.

Любовь-морковь... Четырнадцать лет... Сейчас мне — двадцать, я стою под фонарем в чужом городе и целуюсь с фантастической девушкой по имени Настя. Мы делаем это скорее осторожно, чем нежно, так как идем из травмпункта и у меня опух нос. Ничего серьезного, но больно. Нам пришлось даже зайти в круглосуточный ларек и купить эскимо на палочке, а главное — в целлофане, и не распаковывая держать его у носа. Так что теперь мы целуемся аккуратно. И наши языки любят друг друга.

А ведь когда-то я совершенно не умел целоваться, лет в шестнадцать еще. Мой первый поцелуй... Было скорее неприятно. Это внезапное ощущение чужой полости, чужого вакуума... Потом я неловко задел ее зубы своими... Это была девушка из класса, отличница: кудрявая, томная вся такая... И я влюбился — в первый раз и до безумия.

Это ее я дождался после школы. Звонил, объяснялся, дышал. Это ей я писал под окнами «Доброе утро, любимая» — вернее, пытался писать... Теперь-то я понимаю, почему мы не могли быть вместе всерьез. Я был — прыщавый, несуразный, к тому же я тогда еще и заикался, в общем — «не котировался»... Ладно, какие-то крохи счастья мне выпали, так что стоит ли ныть.

Как минимум я стал вдруг понимать «галиматъю»! Seriously, раньше я просто «тащился» от голоса какой-нибудь Земфиры, теперь же все, о чем она пела, — казалось бы, какая белиберда! — стало ясной и точной лирикой. Я даже взмок, когда вдруг понял, что каждое слово тут — про меня, каждое — правда и к месту. Это тебе не мертвая латынь.

Вот и сейчас, когда я смотрю на Настю... Господи, я обнимаю ее! — а на ум приходят целые фразы, куплеты, внешне все это бред, парадокс, на деле же... влюбленный человек растрепан. Растрепаны его мысли. Ту чепуху, которую он несет, способен понять лишь другой влюбленный — вот, собственно, рецепт и суть всей так называемой «галиматьи». И никаких гвоздей.

Я понимаю. И она, кажется, понимает.

Во всяком случае, она настроена на ту же волну и говорит про своего бывшего, кажется... Почему они расстались... Почему я ни фига не слушаю... Хорошо, что я не ревную к прошлому. Она же не знала, что встретит меня. А ты нахальный и самоуверенный, братец...

А все же интересно, сколько у нее было мужчин. Не похоже, чтобы много.

¹² Днюха — день рождения (сленг).

У меня у самого была пара женщин... корректнее сказать — девушек по возрасту, но это не имело значения. Что может значить секс без чувства? Вы же знаете этот дурацкий, студенческий, корпоративный секс.

Обычно все бывает на чьей-нибудь приличенькой квартире. Хорошая водка разливается в сервизные рюмашки-близнецы. Бывает мало закуси, но много, много снобизма. И любят свечи зажигать. От этого становится скорее неуютно, и тени ходят по стенам.

Потом, когда все разойдутся по диванам и кроватям, не заняться сексом будет пощечиной общественному вкусу. Я вспоминаю очередную... После всего было неловко отодвинуться, пришлось засыпать так, обнимая и прижимаясь к ее спине лицом. Был тоже июль, душные ночи. Это было невыносимо, и вся ночь прошла в сплошной горячке, а губы, прижатые к ее спине, чудовищно разбело — пот.

Как тяжело все это было, и как же я далек сейчас от этого! За пару тысяч километров.

Рядом со мной идет Настя, полумрак — здесь не работает фонарь, — и я четко, как-то по-античному вижу ее профиль. Нос чуточку с горбинкой, именно такой, как нужно. Брови... Короткая стрижка...

Закуривает. Профиль с сигаретой. Профиль с точкой огня.

— Хочешь?

Вообще-то я не курю, но бывает, если выпью. Или когда как-то не по себе. А сейчас такое чувство, что я не то что закурить — я и подняться могу над асфальтом, и полететь... Во всяком случае, опыта хватает, чтобы затянуться и сжать горло: не залиться кашлем.

Мы идем и молча курим. Город тихий абсолютно. У меня «отходняк» от пива, так, ничего особенного — легкий сушняк, а во рту тягуче, во рту какой-то привкус собственных зубов. А после сигареты добавляется и какой-то привкус чернослива... Извините за столь подробный анализ того, что происходит в моей ротовой полости.

Я снова обнимаю ее. Она прижимается доверчиво: свободной рукой перебирает мне волосы, и, между прочим, это чертовски приятно.

— А расстояние между Питером и Тюменью... точно будет — сколько?

Разумеется, атлас с таблицами остался лежать в моем рюкзаке, а тот в свою очередь — на «вписке» у Сквара; я закатил глаза, соображая. В уме вставала Российская Федерация. Так, так и так.

— Тысячи три. Может, чуть меньше...

— Много, — вздохнула она.

— Еще бы!

— Много, много... Миллионы людей! Подумать только, а ведь мы могли никогда не встретиться.

Вместо ответа я крепче обнял ее.

— Ты знаешь, — Настя вдруг оживилась, даже отстранилась от меня, — одна моя подружка два года назад замуж за немца вышла! Серьезно. И уехала в Германию. Какой город — не помню. Она мне часто оттуда пишет. Скучает... А этот немец за ней к нам в Тюмень приезжал!

— Старикашка какой-нибудь?

— Почему — старикашка? — Настя даже обиделась. — Нормальный мужик. Он ее старше, конечно, лет на восемь. Но вполне молодец. Лысоватый, конечно... Я вот вообще обратила внимание — по телику сколько видела, — немцы все рано лысеют. И почему? Радиация, что ли, какая-то...

— Или гормоны.

— Гормоны? У немцев? Да не смейся!.. Этот тоже: приехал и все озирался, как дикий. «Sibiria, Sibiria!» Чуть ли не шубу с собой привез! А лето было, у нас же над Сибирью — вечная озоновая дыра, и жара была градусов под тридцать пять! Вот он пожарился у нас...

Я вдруг ловлю себя на том, что улыбка у меня — снисходительная. Спohватившись, быстренько стираю ее с лица, чтобы Настя не успела за-

метить... Да — провинция. Да — иностранца раз в жизни увидели. Ну и что же теперь.

Мороженое, которое я держу у носа, практически растаяло, стало жидким, плещется там в целлофане — и, описав дугу, оно плюхается на асфальт, как лягушка... И только потом (как обычно) я подумал: может, стоило все-таки предложить его Насте?

— Не напрягайся. Я не ем сладкого.

Совсем как я... Мы — похожи. Я постоянно ловлю себя на этой мысли. И внутренне. И внешне: сейчас, при бледном свете фонарей, этого не очень видно, но правая половина ее лица — загоревшая. Это от стояния на трассе. Печать автостопщика...

Настя закуривает. Она слишком много курит.

Мимо нас по проспекту проезжает машина — может быть, даже первая за все то время, что мы тут идем. Широкий проспект щедро залит огнями и — пуст совершенно. Вот где рассекать на роликовых коньках глубокой ночью или рано утром. Просторы ровного асфальта, пустынно — ни машин, ни людей, ветер засвистит в ушах, и сам черт тебе будет не брат.

— Погоди... Давай здесь постоим.

— Зачем?

— Просто так.

Сначала я не понял, чего ради мы остановились, только покорно выполнил просьбу... Потом догадался. Просто для того, чтобы эта волшебная ночь не кончалась как можно дольше.

Мы обнимались и целовались. Настя зарывалась в мои объятия, подрагивая всем телом, точно ей было холодно, а я — отогревал ее. Пряча лицо, кутаясь в мои руки, она все продолжала как-то исступленно целовать мне шею, грудь (через футболку), плечи... В тот момент, когда губы ее коснулись моей руки повыше локтя, я припомнил разговор за столом у Скваера (недавний... несколько часов прошло... а как будто — сто лет!) и легонько напряг бицепс. Она целовала его.

— Я же не твой тип мужчины? Я же без «крыльев»...

Она засмеялась, куснула мне бицепс.

— Это неправда. А я была душой. Потому что крылья у тебя есть — самые настоящие.

Над нами было небо — городское, в меру звездное; в моей башке был полный сумбур, проплывали строчки из всех песен сразу... Я был счастлив. Я нашел свое счастье здесь, в чужом и далеком городе. Получается — не зря же я ездил. Ездил, ездил — и нашел.

Х

Перед самым восходом все в городе посерело, разбухло, наполнилось тенями. Призрачными силуэтами да неверными очертаниями полна была и квартира Скваера: похоже, здесь ничего не менялось с тех самых пор, как они ушли, а дверь оставили незапертой... Тихо-тихо, чтобы не разбудить никого, прошли сразу на кухню.

Здесь Настя налила себе прохладной воды из чайника: сушняки, сушняки мучили. Воды были самые остатки, и в стакане густо клубилась накипь: не будь темно — это было бы заметно.

Вадим же подошел к окну.

На фоне побледневшего уже неба фонари смотрелись ущербно, и света в окнах не было нигде. Начало шестого: самый мертвый час. Пройдет еще немного времени — чуть посветлеет, — и птицы запоют все разом, и будет странно, как же это они не перебудят всех в городе: так громко... А пока еще — нет, и в полной тишине только ветки колышутся, да и те не очень уверенно: серый полумрак.

— Так странно, — опять заговорил Вадим, видимо, повороту судьбы он не переставал удивляться, — встретить тебя здесь... В каком-то случайном, «левом» городе... Где-то на Урале, где-то в Азии...

— Вот это-то как раз не Азия, — рассмеялась Настя. — Уфа еще относится к Европе, а вот дальше... Завтра — уже сегодня! — километрах в двухстах пятидесяти отсюда, на пути к Челябинску, ты будешь проезжать прикольный памятник! Такая огромная каменная стела, на одной стороне выбито «Европа», на другой — «Азия». Так странно! Знаешь, какое там глухое место? Уральский хребет. Трасса — почти серпантин, горы, ущелья, нигде — никого, из цивилизации только громадные мачты ЛЭП... И вдруг — граница континента!!! Фантастика...

А Вадим стоял у окна... убитый и оглушенный совершенно. Он почти не слушал вдохновенную речь девушки. И не панорамы Урала его так потрясли... «Ты будешь проезжать».

— Ты... хочешь сказать... завтра... уже сегодня!.. мы — расстанемся?!

Дальше было несколько тяжелых минут, когда Вадим не смел повернуться от окна, а Настя все никак не могла собраться с тем, чтобы заговорить.

— Ты... едешь из Питера в Е-бург, так? А я — из Тюмени в Москву. И мы не поменяем своих планов. Поедем дальше каждый своей дорогой. Так будет лучше. Поверь мне.

— Но почему?!

Он повернулся. Он был в отчаянии.

— Почему?! Ну хочешь — я плюну на все, развернусь, и мы поедем в эту твою Москву вместе! Мне все равно — куда...

— А как же твой друг?

— Да хрен с ним! Что он... один в Е-бург не съездит...

Помолчали. Вадим лихорадочно искал варианты спасения. Цеплялся за все соломинки сразу.

— Или вот! Останемся в Уфе! Это будет как... ну не знаю... типа как медовый месяц, что ли? Романтический и неожиданный! Еще вечером мы ни о чем даже не подозревали и въезжали в этот прекрасный город... Где мы нашли друг друга...¹³

— ...И где тебе сломали нос.

— Слава Богу — не сломали.

Вымученная улыбка. Они находили в себе силы шутить! Воистину, велик дух человеческий...

— Понимаешь... — Голос Насти стал бесконечно уставшим и даже вдруг каким-то прокуренным. — Ты же знаешь... Я рассталась с близким человеком. Вернее, я думала, что это мне близкий человек, а оказалось — скотина! У меня внутри — как бы это сказать — все выжжено, что ли. Я жить не хотела! Сколько месяцев рыдала и вены пыталась разрезать. И я не хочу опять... Опять заводить какие-то трудные отношения... Как в пятницу бросаться! У меня нет сил любить, ты понимаешь?!

А Вадим и сам не знал — понимает, нет... Он вообще плохо понимал, что происходит. Со вчерашнего вечера сплошь — какой-то бред, бред...

— Вот ты говоришь: поеду с тобой в Москву. — Настя распалась, заговорила сбивчиво, с патетикой, а может, и румянец выступил: неизвестно, был ведь еще полумрак. — Да хрен бы с этой Москвой! Я же хоть куда хочу уехать! Подальше только от дома, от этих всех, извини меня, рож. Видеть никого не могу! Мне нужны новые места, в которых я не буду задерживаться... А главное — люди только случайные. Пусть появляются и исчезают. Но не будут рядом! Я лечусь одиночеством, ты пойми это, а по-настоящему одна я могу быть только на трассе. Драйверы не в счет: они

¹³ Автор просит извинить его за подобные высокопарности. Герои виноваты! Юноши в возрасте Вадима так часто говорят.

посадят, высадят, и не увидимся никогда больше... А в остальном... Никому нет дела до того, кто я, где я и куда направляюсь. Свобода и одиночество — да, это то, что мне нужно сейчас. Только это. И ничего больше.

Было раннее утро. Настроение было отличным. До города к ночи Настя не добралась, а потому заночевала там же, докуда ее довели: в селении километрах в трех от большой дороги. Теперь же шла чуть свет по проселку обратно на трассу. Ловить тут было нечего, так что пешочком, пешочком... Да и не жалко! Потому что вокруг были светлые и радостные рощи, долгие поля и выжженные местами болотца. И спокойно можно было петь: никого же нет рядом. Как хорошо...

Настя только сомневалась, в ту ли сторону — правильно ли она идет: привезли-то ее ночью... О, бензоколонка. Постучалась в окошко, спросила.

— *Правильно!* — ответил динамик высоко над ее головой. И, помолчав-пошипев: — *Удачи!*

Эхо прокатилось по роще, по дальнему полю.

...Было раннее утро. Настроение было отличным. Трафик, правда, неважный, и Настя вот уже полчаса грелась в первых лучах солнышка на обочине. Но плохого в том не было: ей же никто не мешал петь.

С поля на трассу вышла худая, чуть угловатая корова; подошла, влажно и грубовато обнюхала руку. Настя любила животных, не зря росла у бабушки в деревне.

— *Ну! Чего ты, дурочка!* — *Настя чесала корову за ухом. — Клевая...*

Вдалеке зашумел грузовик, и она поспешила увести корову от трассы. Дальнобой она, конечно, пропустила — он бы подобрал... Ну и что же! Господи, какие пустяки!

...Настя напевала песенки и шагала через крупный город транзитом — запыленная, бодрая, веселая, с такой вот походочкой — и сама себе казалась такой бесшабашно-красивой!..

Вадим молчал. Положил голову на руки, и вообще могло показаться, что он спит. Молчала и Настя, так что на кухне светало в полной тишине.

Наконец зашевелились в комнате, и в кухню босыми ногами прошлепал Никита: заспанный, в утренней полутьме, он долго тарашился на наших героев...

— Вы чего? Совсем уже?! — Он тяжело пытался сориентироваться во времени, пошарил взглядом по кухне в поисках часов: таких вещей тут никогда и не было. — Квасите до сих пор! Нам на трассу... часа через два!

«Квасите» он сказал с осуждением. Еще бы. По большому счету, им не стоило пить вообще. Сушняк вот теперь... Никита открыл кран, приложил к нему голову: стояк загудел, завибрировал на все пять этажей так, словно вот-вот развалится в воздухе... Пришлось пить очень быстро, дабы не разбудить весь дом.

— Вообще-то да, — решила Настя. — Вадим, и все-таки — надо поспать. Хоть маленько. Сам же знаешь, как хреново будет потом...

Еще бы он не знал! На трассе редко высыпаешься: что «в ландшафте» около дороги, что на какой-нибудь веселой «вписке» — один фиг. А самые мучения начинаются потом, когда садишься в теплую машину: сиденья мягкие, ход — ровный... И начинаешь бороться с собой! Шансы победить сон, прямо сказать, невелики, но держаться-то надо, особенно — если дальнобой, сами не спавшие, говорить просят. Мука смертная... Раза два Вадиму приходилось разговаривать во сне, притом снился, конечно, не водитель, так что какой бред он там нес — и представить страшно.

Еще бы он не знал всего этого! Но все-таки, все-таки...

А выбора, собственно, не было: Настя пошла спать вслед за Никитой, бегло умывшись и сполоснув рот (опять разрывался стояк). И что же оставалось: сидеть так дальше одному, слушать начинающих птиц? И тело и сознание как будто ватой обложили. Вадим пошел в комнату. Машинально разложил выдавший виды спальник, огляделся, куда бы заныкаться, —

выбрал место под столом. Стоило достать свитер и подложить его под голову... В июле-то он в основном для этого только в рюкзаке и болтается... А, черт с ним. Спать?

Первые лучи солнца, самой его крошечки, были нестерпимо желты: они прошли насквозь дома, забирались в окна... Время будильников еще не пришло, и город был пуст и светел. Трамвайные пути горели настоящим золотом и убежали вдаль.

Город встретил рассвет еще спящим, на автотрассах же были машины, хоть и очень редкие. В основном дороги стояли чистые и гладкие, как зеркала, потому что солнце идеально отражалось в накатанном асфальте, и тем редким, кто все же был в пути, ехать было очень трудно. Большинство же дальнбойщиков отдыхало. Их «КаМАЗы» целыми табунами стояли вокруг КПМов и кафешек... «Спят усталые игрушки».

Было раннее утро. Настроение было отличным.

Пока еще трасса была пустынной, и вот где надеть бы ролики и кататься, кататься в свое удовольствие, рассекать... И ветер будет свистеть в ушах.

Первый луч заглянул в окно квартиры Скваера. Здесь крепко спали.

А если кто не спал и плакал, то кому какое дело.

XI

Слышал где-то такую байку, что полноцветные и яркие сны мы видим только в юности. Так ли это на самом деле? Не знаю. Просто в зрелые годы, когда ты измордован пеленками... хорошо, пусть не пеленками, пусть дневниками подрастающих чад; когда начальство узколобо, а дома скандалы по вечерам, когда ты еле доползаешь до постели с тем, чтобы вскочить в семь, проклиная будильник, — способен ли ты увидеть сон? Биологически — да, быть может. На деле же...

Но при этом в старости, когда забывают само слово «склероз» и реальность отходит, как шелуха, очень часто все, что с человеком остается, — это сны времен его молодости. Те сны, в которых он летал и видел человечество сверху, и, если верить медикам, таким образом — рос.

Мне самому недавно снился такой сон. Я лез по лесенке громадной фабричной трубы завода РТИ, что в центре города: все было шатко, высоко и с красными огнями габаритов... Я! До патологии боящийся высоты!.. А ничего, лез и лез, и только руки мерзли очень, потому что дело было зимой. Город лежал внизу в морозной, как это принято писать, жемчужной дымке выхлопов. По той же причине — мороз — дым из трубы, нерастворимый, тянулся в небе на десятки километров. Он оказался плотным, как вата, и не токсичным абсолютно, потому что я нырял в него, нырял. Да...

Может ли сниться будущее? Дано ли? Неизвестно... Во всяком случае, Скваер спал и видел будущую зиму — ничего особенного, впрочем, такая же, как и всегда: серенькая, зябленькая зимняя Уфа. Не думаю, что города очень отличаются друг от друга в это время года. Тот же снег двух видов: один тихо падает, белый, и в известной удаленности от химических производств его можно даже ловить ртом, другой месят прохожие, и цвет его неопределяем. Те же троллейбусы, прогоркло от машин, редкие синицы, порою по утрам — иней на деревьях... Обычная городская зима.

Той зимой Скваера наконец отчислят — «наконец» не потому, что мы ждем этого, а потому, что эти чудеса академической неуспеваемости должны были уже во что-то вылиться. Было, конечно, обидно — с одной стороны, с другой же... Его будущая специальность оказалась столь далекой и чужой, что стоило ли переживать? Этим он успокаивался сам. Этим он успокаивал друзей, напустив на себя беззаботность и смешок.

А что было потом — известно, сценарий заезженный... Подленькое рвение военной кафедры. Редкая оперативность военкомата, который даже не стал ждать весеннего призыва. Медкомиссия: холодно и унижительно.

Призывная комиссия, истерика с военным комиссаром: вместо «на призывную комиссию прибыл» Скваер позволил себе сказать «на призывной пункт»... Вот, собственно, и все. Призывнику Скваеру указали, во сколько и куда он должен прибыть для отправки в часть, и дали две недели — родным и близким на прощание.

И Скваер действительно поехал в Сибай. Там даже и не плакали. Большой-то разницы не было, где именно их лоботряс. Хоть человеком станет... По возвращении в Уфу дни потянулись серенькие, зимние, а дело всего и было, что забрать документы из вуза да купить какой-то чепухи наподобие новой бритвы, термоса, постирать смену белья — а туалетная бумага уже была.

Все эти дни, пребывая в какой-то прострации — он машинально ходил, говорил ровным голосом, — Скваер никак не мог поверить: неужели... все? Неужели все могло так по-дурацки кончиться? Не студенчество, черт бы с ним, а вообще — все?!

Друзья были рядом со Скваером. В их обалдевших рожах явственно читалось полное ужаса: «На его месте мог бы быть я!..» Все последние дни перед призывом Скваера они проводили следующим образом. Бесцельно слонялись по городу. На троллейбусе ехали куда попало. Там пили пиво. Или водку. Возвращались. Иногда — ночевали вместе. Это был ритуал, прощание с «гражданкой».

Если говорить о друзьях Скваера, то эти едва ли нуждаются в детальном знакомстве с читателем. Вы все равно их не запомните, ибо таких — сотни и тысячи, этих хиппующих балбесов из приличных семей. Не учащиеся ПТУ, разумеется: все. Даже студенты серьезных вузов в очень шатком положении — один вот вылетел. Вид у них тоже стандартный. Кожаные косухи¹⁴, тяжелые боты с голенищами, шнурки в волосах... Естественно, все когда-то тусовались на «хате» у Скваера, теперь же — после его призыва — у них будет время подумать о многом долгими зимними вечерами. А может... А может, просто найти другую «хату».

Вообще-то, если быть точным, у этой компании кроме праздного шатания по городу было еще одно дело, задумка одна, а именно: продать волосы Скваера.

Тут надо пояснить. Все мы знаем порядки: призвав в армию Скваера должны будут обрить, то есть парой взмахов машинки уничтожить все то богатство, что он растил три с лишним года... Этого нельзя было допустить! Надо было спасти хоть что-то, и волосы решено было повыгодней продать, «чтобы врагу не достались». Хоть что-то... Не очень уместная в нашем случае поговорка, но все-таки: «С паршивой овцы хоть шерсти клок».

Скупщиков в городе было много. Наши герои вялотекуще ездили и торговались.

Вот и сейчас: остановились у столба, на котором чернело привычное: «Покупаем волосы». И еще более привычное вранье: «Дорого»... Был ветер, поднялась даже какая-то хилая метелька, и объявление трепетало.

Похоже, лишь одному Скваеру все это было безразлично, абсолютно... Друзья же, сгрудившись вокруг, спорили, считали, являли себя величайшими экономистами: вот бы преподаватели по основному месту учебы порадовались...

— Так, так и так! Насколько расценки повышены?

— Ты дальше-то читай... За эту сумму принимают волосы от тридцати сантиметров и длиннее.

— Эх, жалко! Тридцати эсэм у него еще не будет...

Уже не будет.

Пикантность ситуации заключалась в том, что волосы короче тридцати принимались по весу, а взвесить все это хозяйство при живом-то Сква-

¹⁴ Косуха — особый вид кожаной куртки с непропорционально широкими плечами, изначально их носили байкеры.

ере было... проблематично. Была еще масса вопросов и нюансов, к примеру, чуть ли не треть волос вычесывалась как недоброкачественное и т. д. и т. п. — от этого всего голова (еще не бритая) шла кругом, и обладатель «товара» был единственным, кто в этом ничего не понимал и понимать не хотел. Он только слушал советы друзей, которые говорили, в какие дни мыть голову, потому что умеренная сольность придает волосам вес... И весь этот абсурд ситуации призыва был, пожалуй, страшнее всего.

В этот раз у объявления толпились особенно долго, что даже вселило в Скваера маленькую надежду: наконец-то отрежут эти волосы и успокоятся... Поймав себя на этой мысли, чуть ужаснулся: сколько времени растил! А, да чего теперь. Сколько он *себя* растил, и вот ведь чем кончилось.

Тем временем единогласно было решено: по объявлению — звонить!

Номер был переписан в сухую, скрюченную от холода ладонь, и в незнакомом районе они отправились на поиски телефона-автомата. Карточки, кстати, на руках тоже не было, и ее решено было стрелкнуть на месте.

Удачно набрали на первое и на второе. Когда подходили к будке, дребезжащей от ветра и снега, оттуда вышла девушка — миленькая, замерзшая; она же любезно одолжила карточку. Вероятно, мужественные парни в косухах произвели на нее впечатление... Тут все страшно оживилось — все, за исключением, может быть, Скваера, который почувствовал себя вдруг таким «не-жилецом», и так стало ему горько. Господи, ну почему? Почему?!

Стоило ли думать об этом? Стоило ли думать о том, что его ждет и что будет? Все было бессмысленно, все не удалось, и все быстро кончилось.

Квартира, которую он снимал столько лет, была теперь возвращена законной владелице — «гражданке Хасановой», тучной, неразговорчивой, с извечной скорлупой от семечек на одежде. Накануне, в воскресный день, Скваер выволок на помойку все те завалы, которые были частью его жизни, от старых плакатов до многих кассет... Скоро *туда* вьедут новые люди и несколько брезгливо сделают ремонт. И сколько автолюбителей со всей России — молодых и ярких — будут приходить, наткаться на недоуменные взгляды, бормотать извинения, вычеркивать этот адрес из своих блокнотов.

...К вечеру столбик термометра упал еще ниже, и холод в Уфе сменился на форменный мороз. В парке Моторостроителей горели редкие (не выбитые) фонари. В его аллеях никого не было, но, в принципе, могла встретиться любая гопота, так что, возможно, стоило выбрать другую дорогу. А, все равно! Сдержанно переговариваясь, наша компания шла через парк, и волосы были отрезаны и проданы. Хотите видеть бритого Скваера? Не получится: он в лыжной шапочке. Идет молча.

Его друзья все еще нехотя перебрасываются фразами о том, сколько выручили, а сколько могли бы, сколько вычесали, на сколько обвесили *et cetera*. Но это было уже не важно. Дело сделано. И в сумке уже позвякивает.

Приземлились на скамейку под фонарем. Чего ради идти дальше.

Скваер достал первую бутылку. Она достаточно прилична. Эта молодежь не пьет палево пролетарских районов.

Стаканчики хрустят, как этот снег.

— За что выпьем? — Друзья хотят быть оптимистами. — Ну, за то, чтобы все с тобой было нормально!

Чокаться они не стали только из практических соображений: на таком холоде одно движение, прикосновение, подрагивание пальцев — и все, стаканчик сломан.

А водку пить на морозе, если уж на то пошло, — глупость, чушь, ибо не действует она ни фига, не пьянит, не ощущается... Но пить было надо. Так они и делали это все последние дни: обреченно и обязательно.

Скваер видел черный парк — галки кричали, как на дуэли, — видел освещенный фасад ДК, фонари проспекта уходили вдаль, а на трубе завода РТИ горели красные габаритные огни.

Скваер плакал. Скваер спал.

XII

В семь ровно запищал будильник. Скваер со стоном ударил его. А уже в 7.10 Никита, под радостный говор бачка, приступил к ритуалу — к чистке зубов.

Вообще-то на трассе бывает с этим тяжело, и большинство если чем-то и обходятся, то мятными жвачками: сунул в рот — и вперед, осчастлививать водителей свежим дыханием. Но не таков был наш Никита! Можно и не сомневаться в том, что, проснись он не в квартире, а у леса где-нибудь — такое бывало, — продрогнув и размявшись, он извлек бы торжественно щетку и склонился бы над канавой... Источник пресной воды? А бутылка с минералкой на что? Без нее в жару на трассе и загнуться можно — не хуже, чем в Сахаре.

Если уж на то пошло, то умывальные принадлежности Никиты кого угодно могли повергнуть в шок. Особенно в контрасте: ванная Скваера, разбомбленная совершенно, повсюду грязь и *волоски*, унитаз — треснут... А у Никиты Марченко в отдельном целлофановом мешке — и бритвенное все, и дезодоранты какие-то, и щетка в футляре, и мыло чуть тронутое, и паста в тубике с едва наметившейся вмятиной... Все, вплоть до маникюрных ножниц. А что? Разве заусенец не способен попортить нервы на отдыхе?

Никита был из того славного поколения автостопщиков, которое представляло собой домашних мальчиков из хороших семей. Карманные тысячи. Приличный костюм. Жизненный путь без кочек и ухабов. Укачивает.

И такие мальчики шли на автотрассу, сражая наповал своих замечательных родителей — когда те знали, естественно. Читайте Некрасова, «Русские женщины», потому что нежная княгиня Трубецкая на глухом сибирском тракте — это ведь то же самое.

Семь часов пятнадцать минут. Никита чистил зубы очень тщательно. Он знал, что будет преуспевать в жизни. Он знал, что будет успех, и белозубую улыбку стоило приберечь для тех не очень далеких лет.

В семь двадцать все четверо наконец сели за стол и ели макароны — без особой охоты, без соли, без масла, и было непонятно, то ли разварил их Скваер, то ли макароны такие дешевые... В любом случае это нужно было только для того, чтобы набить живот. Энная масса углеводов, не более.

— У тебя случайно кетчупа нет? — Вадим тяжело сглатывал.

— Не знаю. Посмотри там, в холодильнике. Может, кто приносил...

И завтрак продолжался в полном молчании. Все были сосредоточены. Всех охватил легкий мандраж перед выходом на трассу, и мыслями они были уже там, в дороге, так что говорить не хотелось, как и есть, по большому счету.

Половина восьмого. Последние приготовления. Они копались у рюкзаков, сворачивали потуже спальные — и оставалась еще одна традиция.

Никита подошел к Скваеру:

— Ты дай листочек какой-нибудь. Мы тебе запишем наши питерские адреса.

— А ты запиши вон там, на обоях в углу, — видишь?

Тут и правда было понаписано всякой чепухи, наклеено голых девочек вперемешку с адресами, городами и прочим. Никита старательно выводил буквы. Ручку он всегда возил с собой.

— Вадя, твой адрес писать?

Вадим кивнул. Никита выводил... Потом посмотрел на Настю, вопросительно сдвинув брови. А вот Настя покачала головой отрицательно. Он пожал плечами: дело, мол, хозяйское... Короче, велик ты, язык жестов!

А яркий, залитый желтым солнцем город начал тем временем новый день. Автобусы везли людей. Шоферы опускали специальные кармашки с потолка, надевали темные очки — рассвет бил в самые глаза, — шурились, добавляя морщин. Тут мужик лихо проскакал на тракторе. Там какой-то старичок, отправляясь погулять, взял с собой табуретку.

Сценки из утра большого города.

Весьма солидный господин выходит из дверей и, прежде чем сесть в свою иномарку, воровато озирается и кладет мешок с мусором у подъезда... Тут же с грохотом растворяются рамы. Пенсионерка только того и ждала. Она не может допустить:

— Молодой человек! Вы это кому?

— Вам. — И идет к машине.

— Помойка вообще-то вон там.

— Я не знаю, что это — помойка. — Уезжает.

А вот былых стычек в транспорте — когда от давки и хамства меж людьми искры летели — у нас сегодня почти нет: чистый коммунизм! Их победили такие существа — маршрутные такси марки «Газель»...

Нет, серьезно, «Газелька» сегодня — это больше чем газовский микроавтобус, это особая субкультура, образ жизни, особые правила движения: с третьей полосы на первую, резкие разгоны-торможения... Это и особая психология! Вы же видели такие ситуации. «Газель»-маршрутка подъезжает к остановке и, встав, ждет малейшего движения пассажиров. Ей нужны деньги. Но пассажир отчего-то стесняется метнуться через всю остановку. И вот ждут, подрагивая, следят за реакцией друг друга. Стоит дернуться хоть глазом — и «Газелька», отъезжавшая было, вновь тормознет...

Такая сценка. К остановке подъезжает лиловая «Газель». Мальчик, мечтающий занять в ней лучшее место, бежит наперерез, хватается за ручку дверцы и ведет так машину до полной остановки. Петров-Водкин. «Купание красного коня».

Нет, что ни говори, «Газельки» в большом городе — это стиль жизни.

Среди всего прочего есть в «Газелях» и такая фишка: три-четыре кресла лицом к салону. То есть ты едешь, а все вокруг на тебя тарашатся. Смотреть-то больше некуда... Ты же старательно отворачиваешься к окну, делая вид, что тебе и дела нет до того парня, который так и жрет тебя глазами. Это если ты девушка...

Настя сидела именно так: на перекрестке взглядов, лицом ко всем. «Всех», впрочем, было всего несколько, так что ничего страшного, но и эти тарашились вполне добросовестно. И правда, что за фрукт? Где килограмм косметики? И одета как-то задрипанно... И что за рюкзачище?!

Насте дела не было! Пускай глазают. Она привычная. На нее всегда глазают, как в зоопарке... «А я буду смотреть в окно!» Виды, впрочем, шли маловразумительные. Маршрутка мчалась в уфимский район с милейшим имечком Затон: Сквاعر на бумажке написал, как выйти на затонский КПП, который есть отправная точка федеральной трассы М-7 «Волга».

Наша героиня пару раз уже допекала водителя на этот счет: странно в ее положении, но у Насти был топографический кретинизм, в городе она не могла ориентироваться абсолютно. Впрочем, какой же это город. Лесочки вон какие-то пошли...

Сразу за поворотом «Газель» прижалась к обочине, подняла пыль.

— Тебе вон туда. — Водитель рубанул рукой. — Метров триста пойдешь и выйдешь на свой КПП.

— Спасибо! — Монеты, протянутые Настей, в ладони успели нагреться.

— Да ладно, выходи так, — подмигнул водила. — Автостоп так автостоп!

— Спасибо!!! — Это было сказано уже очень от души. Настя спрыгнула с подножки и пошла, не обращая внимания на взгляды пассажиров из окон — их любопытство утроилось.

Вот ведь какая мелочь! В буквальном смысле: шесть рублей. Но как же все-таки приятно!

Так и шла она по обочине: бодрая, веселая и даже почти счастливая.

Тем временем на трассу «Урал» выходили с совсем другим чувством.

Еще в городском транспорте (Скваер опять же заботливо «разжевал» все маршруты) Никита пытался расшевелить своего друга. В частности, глянув на городские окраины, он сказал со вздохом:

— А Уфу-то мы с тобой толком и не разглядели... Да?

Вадим вяло кивнул, но мысли его были далеко.

Так, в молчании, медленно и как-то устало они вышли на трассу — на то самое место, с которого свернули вчера вечером... Здесь был огромный съезд — асфальтовое кольцо, и парни брели через него — две фигурки, навьюченные рюкзаками.

Трасса была почти пустой. Только когда вышли на дорогу, мимо с грохотом промчалась фура, и тенты ее трепетали, гуляли всеми волнами.

— Челябинский. — Никита кивнул машине вслед и беззлобно добавил: — Гад, мог бы и подобрать...

— Семьдесят четвертые номера — это Челябинск? — не то чтобы оживился, но спросил Вадим. — Надо запомнить... А Свердловская область?

— Шестьдесят шесть.

Они прошли еще немного, пока не оказались на нормальном участке трассы: не спуск, не поворот. Остановились. Что же, пора разделяться.

Это, наверно, и есть самое щемящее в поездках группой: такое расставание, когда один говорит: «Ладно, я тут встану», а остальные: «Ладно, мы дальше пошли, увидимся», — и так их становится все меньше, меньше, пока все не встанут на большом промежутке... Это как в какой-то сказке, где все по очереди, прощаясь друг с другом, пропадали куда-то. Не могу вспомнить. «Изумрудный город»?

Итак, они остановились, и кто-то должен был занять позицию первым. Никита хотел, чтобы было по-честному:

— Давай ты. Сегодня твоя очередь.

— Милый мой! Не с твоей скоростью! Если я еще и стартую первым, то ты же меня вообще не догонишь!.. Так что я дальше пошел. Давай.

— Даст Бог, к ночи до Е-бурга доберемся!..

Они пожали руки, и Вадим зашагал один — и вздохнул, честно говоря, с облегчением. Никита был отличный парень и с расспросами в душу не лез, но все равно: не хотелось ничьего участия или присутствия...

Встав метров через двести, Вадим видел Никиту, видел город вдаль — имел возможность видеть что-то, потому что к восходу стоял спиной. Они же ехали на восток. Машин было немного...

Минут через тридцать подобрали наконец Никиту — какая-то семейная пара на «Москвиче», насколько он мог заметить, когда машина проехала мимо. Никита успел махнуть рукой в окне. В его жесте было что-то извиняющееся... Так Вадим остался на позиции один.

Откроем маленький секрет. Вадим никогда не отказывался становиться последним, и не в чувстве товарищества здесь было дело. Просто каждый раз он испытывал такое сильное и минорное чувство, вместе с тем и приятное... Вот хлопнет дверца, и друга твоего увезут. И ты вдруг понимаешь, что остался один на этой жестокой и бесконечной трассе! Сознание это, всегда — внезапное, бывает столь сильным, что и дух захватывает. И тут же острое-острое чувство одиночества, в «мирной жизни» не такое явное, пронизывает тебя.

Может быть, именно оно, это чувство, яркое и волнующее, и было причиной, по которой Вадим занимался автостопом?

Это ведь только словечки в автостопе все американские... А по сути это: русская *дорога* и русская *тоска*.



ТАМАРА БУКОВСКАЯ



ВИТРАЖНЫЙ ОСКОЛОК

* *
*

Какое время живет в наших домах — настоящее, прошедшее, будущее? Плюсquamперфектные лестницы в Коломне — с зияющими провалами лесчатки, но пахнущие пирогами с визигой, щами, антоновкой и довоенной, той, до 14 года, жизнью, ведут вниз и вверх уже не выводят. Лестничные площадки с недобитыми витражами в высоких окнах — равно не помнят гимназистов, реалистов, фэзэушников, лишенцев, орденосцев... Разве что гвоздем выцарапанную фразу: «Забыл ключ — ушел гулять. Вернусь поздно!» Памятник ушедшей эпохи, ушедшей жизни. Наши слова разлетелись по ветру, наши старания выучить «темный язык» — тщетны. В комнатах — пахнет пылью, старостью, предсмертным потом — и сквозняки холодного лета не могут вытеснить этот тяжелый комнатный дух, он один — наше настоящее. Он уйдет вместе с нами коридорами вечности, лестницами давнопрошедшего — в подвал, где пахнет сырыми дровами, в неразделимой братской участи сваленными грудой на каменном, известняковыми плитами выложенном полу... Останется ключ от двери, тень от окна на давно облупившейся стене, рубиновый блеск витражного осколка, широкий подоконник с консервной банкой для окурков, почтовый ящик, кнопка звонка... И гвоздем выцарапанная на стене надпись: «Сейчас вернусь. Подожди...»

Июнь 2001.

Буковская Тамара Симоновна родилась в Ленинграде. По образованию филолог. Поэт, автор статей по проблемам современного изобразительного искусства. Сотрудник Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. Автор шести поэтических сборников и многочисленных публикаций в отечественных и иностранных журналах.

* *
*

Не побрезгуй — поживи!
Выдохни и охни —
что ж мы, Господи, одни?
Сдохли все? Оглохли?
Только снег да черный мрак —
мука расстоянья,
и не видит Божий зрак
глубины отчаянья.
И такая нагота
сердца, и такое
жа-ло-ст-ли-во-е
нутро, что не успокоить,
белым снегом не застлать,
не заспать, не скинуть,
разве что забыть, как звать,
в белом поле сгинуть...

3.1.2002.

* *
*

Снег картонный,
воздух жесткий,
наждаком дерет
гортань.
Смех гортанный,
возглас хлесткий,
нож на кой берет
в карман?
Дух железный,
нож карманный,
жаркий выдох —
выход — вот!
Вот те на!
Нарочно, что ли?
Дверь раззявлена,
как рот!
Выйди вон —
а там такое,
что душа
не разберет
слово Господа
простое
и прозрачное,
как лед...

7.1.2002.

* *

*

Елкой больше
не пахнет,
и к веткам
орехи в фольге,
мандарины
и крымские
яблоки ниткой
никто не привяжет.
Остались игрушки,
еще довоенные, —
вата, фольга,
остов из проволоки,
картонные дирижабли,
летчики, парашютисты,
стеклянные бусы...
Шар серебряный.
Шар золотой.
Елкой не пахнет...

9.1.2002.

* *

*

Пахнет гнилью, и солью, и йодом
под чухонским застиранным сводом,
где тебе равно наплевать —
ять вернуть или ё потерять.
Ах ты Господи! Тянет теплом.
С жизнью вечной — похоже — облом...
А стихком ли, балладой ли, одой
ты родня — бузине, огороду,
дядьке в Киеве, прочему сброду
да Маркизовой луже, где броду
сроду не было. Чуешь породу?
Пахнет йодом, и гнилью, и солью —
как в больнице — смертью и болью,
как на кладбище — жизни тщетой,
за оградой ее — нищетой.
Под белесым, залатанным сводом
пахнет потом, и кровью, и медом.
Пахнет морем, и рыбой, и гнилью —
человеческой малою бьлью.
Под застиранным, латанным сводом
пахнет гнилью, и солью, и йодом!

Апрель 2001.

* *

*

Человек
как рука
пятипал,
пятиост,
голова
в небесах,
ноги
чуют погост,
на все стороны
крест —
ост ли, зюйд,
норд ли, вест,
но прошедшие
ГОСТ
лягут здесь
в полный рост.



ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО



ИЗ ПОРОХА В ПОРОХ

Повесть

В декабре он мне еще звонил, настойчиво просил отремонтировать электробритву «Эра», которую переслал с оказией в Москву. Но бритва оказалась совсем старой, в ремонт ее никто не брал, а на новую и хорошую («Браун») у меня не нашлось в тот момент лишних денег. Раза четыре звонил, просил прислать ему новую электробритву — желательно тоже «Эру», — снова и снова в характерном для него параноидально-настойчивом тоне возвращался и кружил вокруг одной и той же темы — новой электробритвы, которую он, бедный, уже провидел в своих снах, долбил и долбил одно и то же, обессиленный болезнью, сосредоточившись на одной точке, как заваленный породой шахтер на коснувшемся сетчатке случайном луче.

С квартирой (приватизацией ее) все представлялось странным. Он и слушать не хотел о том, чтоб оформить свою однокомнатную хрущобу в личную собственность, чтоб квартира в случае его смерти не пропала для наследников. «Я умирать не собираюсь!» — петушился он, пока еще был в силах. В случайные аварии, несчастные случаи и инфаркты не верил. Прежде всего потому, что был крайне осторожен — уходил от всего, что грозило малейшей зависимостью, малейшим напряжением или бытовым риском, который сопровождает по жизни любого зрелого мужчину. Как-то мы возвращались с дачи. У обочины стоял заглохший автомобиль его бывшего коллеги по политеху (мы ехали по территории садового товарищества политехнического института), и коллега, узнав его издали, махнул рукой: «Федя! Помоги!..» Чуть притормозив, отец мотнул головой и ударил по газам. «Что ж ты не остановился? Человек попросил тебя о помощи». — «У меня сцепление барахлит... — ответил он сквозь зубы, бережно объезжая очередную колдобину. — Найдутся помощники и без меня». Он не желал тесниться в себе, принимать груз чужих забот. Вот так же он предал В., с которым дружил много лет. Когда тому потребовалась помощь в борьбе с настойчивой невесткой, претендующей на квартиру, отец отказался пойти в суд и помочь своему другу и многолетнему покровителю.

Эти предательства старости... Его крохоборство иногда вводило в оторопь. Чего тут было больше — старости ли с ее природным эгоизмом и безразличием или же болезни, связанной с последствиями тяжелой контузии, которая, говорили, могла привести к нарушениям умственной деятельности и перестройке личности? Иногда случались светлые дни, порывы великодушия, ясного и сердечного понимания, и за эти минуты я любил его, он мне нужен был именно таким — широким, сильным, с ясным умом и памятью, готовым на ответный отклик...

Кравченко Владимир Федорович родился в 1953 году на Западной Украине. Закончил Литературный институт им. А. М. Горького. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Литературная учеба» и др. Живет в Москве.

Я сидел за письменным столом, когда в два часа ночи зазвонил телефон. Брат из Львова упавшим бесцветным голосом сообщил: пани Стефа только что сказала ему по телефону, что отец перестал дышать. «Отмучился», — повторил брат явно чужие слова. Не умер, не скончался, а именно — отмучился.

Отец после перенесенного гриппа сильно сдал, на улицу почти перестал выходить — лишь раз в день топтался с полчаса на балконе и, подышав свежим воздухом, обессиленный валялся на диван. Этот диван его и доконал. Никогда он прежде не жаловался, всегда бодрился, израненный солдат, фронтовик, переживший тяжелую контузию в сорок третьем, пролежавший несколько суток без сознания в заваленном бомбой блиндаже. «Ты должен больше гулять, дышать воздухом. Возьмись за гантели, я прошу тебя...» — уговаривал я. Лекарств он не признавал, от всех болезней лечился лимонами с медом. Сетовал только на ухудшившийся слух.

Опустив трубку на рычаг в кругу настольной лампы, окруженный непроглядной тьмой, оставшийся один на один с обрушившейся вестью, я вдруг вспомнил из детства (почему-то сразу потянуло в детство), как он мне, маленькому, рассказывал про войну, объясняя, что такое землянка с бревенчатым накатом: «Как для тебя шоколадка — так для нас были три, четыре, а еще лучше шесть накатов...» Это странное сравнение конфеты с фронтовым блиндажом почему-то надолго запомнилось, поразило своим неуклюжим алогизмом. Один лишний накат тогда, в сорок третьем, спас ему жизнь.

Проведя остаток ночи без сна, утром поехал на Киевский вокзал. Взял билет на «Верховину». До отправления поезда оставалось два часа. Направился в зал ожидания, чтоб позвонить во Львов, но дешевых карт к междугородному таксофону, как это у них водится, в наличии не оказалось. Мнечто и нужна была всего одна минута, чтобы сообщить номер поезда и вагон. Но для нынешних таксофонов переговорное время намеренно продавалось слишком большими кусками, не оставляя пассажиру другого выхода: или плати по максимуму — или забудь про телефон. За то, чтобы связаться с родными, надо было отдать четверть стоимости железнодорожного билета.

Что-то теснило в груди, давило сердце, пока ходил из зала в зал, рассматривая дремлющих, бодрствующих, листающих цветные аляповатые газеты, посасывающих пиво в ожидании поезда пассажиров, едущих на запад вдогонку за ускользящим днем. Вышел на площадь Киевского вокзала, пересек сквер и спустился по каменным ступенькам набережной к Москве-реке. Присел на чугунный кнехт у самого края причала и, продолжая ощущать колотье в левом боку, преодолевая дурноту, долго смотрел на лоснящуюся, малахитовую от мазута, серую от паводковой мути воду реки, текущей в своем бетонном ложе сквозь этот вечный город русских, отражая в себе мосты и причалы, каменные башни домов и неоновые вывески, чью-то юность, молодость, старость. Склонившись над водой, глядел на самого себя, сироту, на свой трудноразличимый контур лица, такой знакомый и такой сейчас загадочный, далекий (меняется ли что-то в лице мужчины со смертью отца?), колеблемый сплетенными, словно мышцы, потоками неустанно текущей реки, подхватывавшей мое отражение, как ролик кинопроектора отдельный кадр, и уносившей, рассыпав на отдельные черты и атомы, все дальше и дальше от причала, мимо бетонных берегов, через поля и доли Среднерусья, чтобы спустя какое-то время влиться в своем течении в Оку, которая в свою очередь сливается с Волгой... Отец родился на Волге, вырос в небольшом поселке Николаевск под Камышином. Моя зыбкая, рассыпанная по воде парсуна спустя месяц-другой, перемолотая винтами теплоходов и колесами турбин гидростанций, доплывет до родины отца, — вот о чем я вдруг подумал...

В мае позапрошлого года, с командировкой и авансом иллюстрированного журнала в кармане, я стартовал на своем сборном тримаране (перестроенный «Таймень» с поплавками, гротом и кливером) с берега валдай-

ского озера Стерж, куда впадает ручей, берущий начало из знаменитого родника у деревни Волговерховье, и за три летних месяца проплыл всю Волгу до ее устья, закончив свое путешествие на берегах Каспия. Я плыл долго и трудно, с великими усилиями переваливал через дамбы, попадал в шторма, рисковал, доверившись хрупкому сооружению из дюралевых палок и дышащей на ладан резины, тонул, страдал от палящего солнца и дождя, ел с ножа, боролся с комарьем. Спал, укрываясь парусом, обедал на парусе, постелив его у палатки на речном песочке, потом натягивал парус на шкаторины и, наполнив грот ветром, отправлялся под ним в плавание. Этот розово-белый кусок лавсановой ткани оказался накрепко связан со мной и моим образом жизни. По вечерам в палатке я подносил к лицу косою угол скомканного грота и, смахивая следы дневной усталости, вдыхал запах зюйда, речной волны, солнечного настоя из дубовых, сосновых, березовых хлоропластов. Он пахнул дымком вечерних костров, рыбацкой зорькой, речным мужским одиночеством. Он пахнул Волгой.

Спустя два месяца достиг родины отца. Обогнув мыс Ахмат, вошел в Волгоградское море с его бескрайним и немереным разливом воды, берегами у горизонта, высокими кручами доисторических меловых отложений. Третьего августа во втором часу пополудни прошел знаменитый утес Степана Разина. Потом Столбичи — умопомрачительные береговые образования из песчаника, обгесанные ветрами, похожие на соборную коринфскую колоннаду, наводящие на мысль о вмешательстве разума в дивные дела природы. Дул ровный попутный норд. Один день сменял другой, а ветер все не кончался, и я радовался этому, вылавливая по вечерам в палатке из транзисторного шороха «Маяк» с метеопрогнозом на завтра, как язычник, суеверно молился своему борею. С утра пораньше садился на воду, выплывал на середину Волги и, закрепив на утке фал распахнутого до последнего своего дюйма паруса, устраивался поудобней в кокпите, вверяя свой шип дыханию норда. Лодка ходко неслась по фарватеру, вода ровно и уютно журчала под стойкой румпеля, уходя в длинный кильватерный след, и каждый день был днем солнца, попутного свежего ветра, работающих на полную катушку парусов, веревок и килей, почти не требующих моего вмешательства. Вытянувшись на расстеленной в кокпите палатке, подставлял утреннему бризу дочерна загоревшее тело и, лениво пошевеливая педалями рулевого управления, то рассматривал, сверяясь с картой, живописный правый берег в бинокль (левый был плосок и неинтересен), то обновлял дневниковые записи и писал письма, а то и задремывал незаметно, всем телом слушая лодку, ровно поскрипывающую своими дюралевыми суставчиками и позвонками. Это были дни полнейшего покоя, одиночества и даже угадываемого счастья. Ничего лучше этого плавного и неостановимого движения вперед — за очередной мыс, за линию горизонта — река мне подарить не могла...

Над Волгой — разлив солнца. Струящийся зной дрожал над отмелями островов, на которые я ненадолго высаживался, чтобы искупаться. Песок был раскален настолько, что ступни ног не выдерживали. Я был один на всю Волгу — и я был недосыгаем: редкая лодка в те дни могла доплыть до середины реки. Бензин вдруг стал дорог, местное население и рыбаки были вынуждены пересечь на весельные плоскодонки. Река будто вымерла. Лишь изредка прошмыгнет вдоль берега моторка да проплывут три-четыре за весь день сияющие космической сталью газгольдеров безлюдные самоходки с нефтью и газоконденсатом, с которыми я вежливо расходился в фарватере, отвечая на назойливый блеск биноклей в их рубках своим блеском. Рейсовое движение пассажирских судов по Нижней Волге уже несколько лет как было прекращено за нерентабельностью. Пристанские дебаркадеры исчезли, береговые лестницы и съезды к ним обезлюдели, выросли крапивой и метровым чертополохом.

Рассматривал в бинокль разбросанные по берегам деревеньки — серые избы с озерным проблеском окон, березки у палисадов, черные баньки и сараи, скамейки и завалинки, на которых по вечерам чинно сидели бабы и малые ребятишки просветленными лицами к Волге, к угасающему божьему свету вечерней зари. Я видел себя их глазами: бегущая по волнам лодочка с парусом — сахарно-белый латинский грот с косыми алыми полосами, освещенный лучами заходящего солнца, благодаря особой прозрачности воздуха видный издалека, белеющий из самой дальней дали, как вечная цитата из классика, гениальная метафора одиночества... Солнце садилось по правому борту. Слева по борту постепенно и пасмурно притемнялась, уходя в ночь, глубокая синева восточного небосклона, при взгляде на который в душе оживали какие-то древние, предвечерние, атавистические страхи — и как освобождение и надежда — охваченный чрезмерным пожаром закат запад, где лежали сваленные вповалку лилово-красно-белые облака, словно терпящие крушение далекие прекрасные миры.

В мои планы входила небольшая, на два-три дня, остановка, включающая в себя легкий отдых и знакомство с отцовской родней, о которой у меня было довольно смутное представление. Уже вечерело, когда, не доходя до Николаевска с десяток километров, пристал к пустынному мысу и разбил лагерь на краю травяного луга, густо поросшего синими шарообразными цветами, напоминающими наши васильки. Лето в том году на Нижней Волге выдалось дождливым и одновременно солнечным, с ровным чередованием дней погожих и ненастных, поэтому не успевшие выгореть под палящим южным солнцем высокие травы сочно зеленели. Кое-где прошел второй покос, что для этих мест совсем уж редкость.

Ветер на моем мысу посвистывал, гнул ковыли, волновал ветви серебристого лоха, под сенью которого я разбил свой временный дом. Палатку поставил метрах в десяти от берега, чтобы прибой не глушил. Ужин с котра — пакетный суп, чай. На противоположном берегу, в пяти километрах от меня, величаво возвышалась Уракова гора — рельефы складок и буераков были красиво заштрихованы и затемнены в лучах садящегося за Волгу солнца. Я вспоминал рассказы отца, как они мальчишками копались в береговых откосах этой горы, пытаясь отыскать наконечники стрел и копий. В этом месте весной 1237 года через Волгу переправлялись идущие на Русь орды внука Чингисхана — хана Батыея, двинувшего свои тумены во исполнение завещания деда о «покорении вселенной» на запад, к «морю франков». «И не бе слышати от гласа, скрипения телег его, множества ревеня вельблуд его и рьжания от гласа стад конь его, и бе исполнена земля Русская ратных...» До сих пор в окрестностях Ураковой горы находят мелкие изделия из бронзы и кости, оставшиеся в почве после той памятной переправы, означавшей начало и приход на наши земли великих бедствий. В распоряжении Батыея было около 150 тысяч конных воинов, хорошо вооруженных, привычных к длительным переходам, далеко превосходящих своей численностью объединенные рати половцев, русичей, аланов и булгар. Поход впервые планировался как общемонгольский. Волга в те времена была другой, но берега были такими же пологими, пригодными для форсирования и переправы на лодках и плотах больших масс конницы.

Закинув руки за голову, я лежал на берегу кверху животом, наполненным суррогатным супом, и любовался Ураковой горой. По бокам ее стелились слоистые, с каждой минутой все более напитывающиеся предзакатными красками хвосты тумана. Волга натихла, золотой вечер опустился на плес. Река лежала в своих берегах ласковая, умиротворенная. Деревья застыли, бессильно обвиснув зрелой натруженной листвой. Я тоже лежал — ласковый, умиротворенный — и смотрел на солнце, уходящее в земляную щель копилки закатов, в которую уже столько ушло и еще уйдет. Что это за чувство — древнее, затаенное, лесное — поднимается в душе, пробитой до дна стрелами угасающих вечерних лучей?.. Где-то на лугу неуверенно

заскрипел козодой. С каждой минутой сгущались сумерки. Наконец забрался в свою выцветшую «памирку», быстро застегнул за собой молнию, отсекая дорогу комарам, и зажег свечной огарок. Неяркий дрожащий круг света высветил уголок палатки, рюкзаки с моим скудным бесценным имуществом, раскрытую тетрадь, которую я покрывал косыми буквами протокириллицы, потому что огрубевшая, натруженная шкотами и веслом рука едва удерживала шариковую ручку.

Свечного огарка хватило ровно настолько, чтобы успокоить совесть и, описав вид на Уракову гору, закончить по-солдатски короткое письмо отцу, волнующемуся за меня, ждущему вестей. Надписывал конверт уже при свете фонарика, собираясь опустить его в Николаевске, чтобы отец получил письмо с почтовым штемпелем своей малой родины...

Утром сел на воду и направил лодку на проступающий на горизонте Камышин. Ближе к середине Волги ветер неожиданно поменялся на противоположный и из слабого зефира вскоре превратился в шквальный... Волны побежали одна за другой, ударяя в борта лодки, и все с белопенным гребнем, словно петухи-альбиносы. Казалось, что это река со мной забавляется, выслая навстречу демонов, старающихся отвернуть нос лодки от цели за полдесятка километров от нее. Выжимая педали управления румпелем, рукой подтягивал рулевую бечеvu левой педали, все помыслы направляя на то, чтобы правильно встретить набегающую слева волну... Из-за высокой скорости хода и крутого курсового угла руль плохо слушался педалей. А все потому, что я его нарастил, превратив в порядочный кормовой шверт, который при сильном ветре начинало уводить с курса. Приходилось помогать руками. Приходилось волноваться.

На траверзе Камышина слева по борту выстроилась длинная очередь автофургонов к паромной переправе. Хвост ее уходил наверх и терялся за поворотом. Это была очередь арбузовозов — грузовые фуры загружены бахчевыми и направлялись в Москву и далее. Я пересек невидимую линию паромной переправы, на эти несколько недель превратившейся в настоящий арбузопровод, и нацелил лодку на причал спасательной станции... Вот и Николаевск. Погасив парус метров за двадцать до причала, подвел движущуюся по инерции лодку к мосткам. Закрепил швартовы, поднялся на берег. Дежурный моторист «спасалки» по имени Валерий согласился принять меня на постой. Я выгрузил все самое ценное из лодки и, свалив вещи в кубрик, прямо с корабля отправился знакомиться с родиной отца...

Это был заурядный поселок-городок с малоэтажными домами и деревянными избами, садами и огородами. Я быстро нашел нужную мне улицу. Еще издали вычислил дом, в котором, по рассказам отца, он родился и вырос, и с учащимся сердцебиением беззвучными шагами блудного сына, изнемогающего от волнения, подошел к калитке...

Небольшой одноэтажный дом ничем не поразил — дом как дом. Палисадник, из которого торчали морды подсолнухов. Во дворе грядки с помидорами, рядом с ними увидел женщину лет пятидесяти — невысокую, одетую в выношенный мужской пиджак, с маловыразительным лицом, на котором застыло выражение какой-то боязливой недоверчивости. «Вы Света?» — «Да». — «Я сын Федора, ваш двоюродный брат». Помолчала, глядя на меня с опаской, чего-то выжидая, потом произнесла: «Извините, я уйду, у меня нет времени... Я очень занята». Сказал ей: «Интересно получается. Повторяю: я ваш брат, привет вам от моего отца. Вы так и будете держать меня перед калиткой?» — «А разве ваш отец не умер?» — разверзла она уста и начала метать в меня все обиды, накопившиеся на моего папашку: не приезжал на похороны, не отвечал на письма и телеграммы... Оказывается, это тетя Поля из Волгограда сказала, что Федор умер. Несколько лет назад она позвонила во Львов, и глухой мужской голос на другом конце провода, выдержав паузу, сообщил ей: «Он умер». На ошеломленный вопрос — когда? — ей ответили: «Давно». (Это сам отец и был!) Так что Фе-

дор давно уже вычеркнут родней из числа живущих. Я на какое-то время потерял дар речи от услышанного, потом понял, что разговор окончен — дальше этой враждебной настороженности мне не пробиться. «Как мне хоть на кладбище пройти — объясните? Я хочу увидеть могилу деда». — «Он лежит не здесь, а на Старониколаевском кладбище. А бабушку не найдете — кладбище очень разрослось». Все ясно. Давая мне понять, что разговор окончен, женщина отошла к грядкам и с деланной озабоченностью склонилась над зреющими помидорами. Я достал фотоаппарат и, засняв сестренку посреди двора, ушел ни с чем.

Растерянный, еще долго слонялся по городку, рассматривая его во все глаза. Щелкал фотоаппаратом, покупал газеты и ел мороженое, на небольшом базарчике выбрал себе первую в сезоне дыню. В этом бесцельном блуждании по незнакомому городу, в переходах из одной улочки в другую рождалось ощущение какой-то молодой свободы, одинокой, гонимой затерянности в неизвестном, чужом, но генетически близком тебе мире, к которому ты уже принадлежишь — и не принадлежишь — по праву своего рождения. Печальная, сосущая сердце, словно большой шмель, затягивающая, как наркотик, грусть-тоска русской глубинки, затерянной русской провинции, где — стоит только шагнуть в сторону от центра — эпоха советского новостроя и старокупеческого классицизма смыкается так тесно, что и лезвие ножа не вставить, с эпохой ржавого закопченного кирпича, фабричных труб, пьяного бормочущего полураспада, вековой бревенчатой скуки, гирлянд полощущихся на ветру простыней и откровенных подштанников, этих сигнальных флагов бедности, всей грустно-человечьей жизни, надолго, если не навсегда прикованной к избушке черному тупику, к серому казарменному барaku с штукатуркой в бурых потеках и оспинах, к скособоченной, темной от дождей скамейке и калитке под отцветшим жасминовым кустом... Только в небольших городках, сияющих стать городами, поселяется эта тоска. В деревнях этого нет или почти нет, в деревне всегда больше жизни и надежды, — может быть, за счет Божьего простора, света, круговорота красок и картин, зримой связи трудов и плодов. Впрочем, город иногда выручает река — желательно большая. А лучше всего, если — великая. Это шестое чувство большой реки живет в любом жителе портового города, подсознательно уверенного в том, что, пока великая река течет, с жизнью тоже все время что-то происходит, меняется. И что каким бы ни было горе-злосчастье, его всегда можно завить веревочкой и снести к реке, смешать с волжской водицей, распустить в ней концы, развеять ветром с береговой высокой кручи...

Вышел к Волге. На берегу вдруг навалилась усталость, накопившаяся за дни плавания. Чувство горечи и какого-то детского разочарования от неудавшегося свидания с отцовской родней саднило сердце. Выбрал глухое место в лесопосадке на берегу Волги и, постелив под себя местные газеты, расположился в чахлой тени тополя, пережидая дневную жару вместе с приступом слабости. Под голову положил рюкзачок, с которым не расставался ни днем, ни ночью (документы, деньги, путевые дневники, фотоаппарат).

Я лежал, лежал. Почувствовав голод — пожевал сухарей. Почувствовав жажду — сделал пару глотков из фляги. Разрезал и попробовал «колхозницу», вдыхая дынный аромат золотой осени, райской спелости и плодородного цветения мира.

Между делом просматривал местные газеты, по очереди вытаскивая их из-под себя. Выбирал непрочитанные и укладывался на те, что успел прочитать, продвигаясь от головы к ногам, от рекламных объявлений о купле-продаже (дома, земучастки, телята, мотоциклы с коляской, газовые баллоны, стройматериалы) к цветистым некрологам. Культура провинциального русского некролога конца века, еще ждущая своего исследователя и лекционера, — виньетки, стихи, фотографии умерших с уже проявившейся печатью вечности на еще живых, как это бывает, лицах. Я распахивал

газету, как входил в город, — у каждой газеты был свой парадный въезд (передовица), улицы и переулки (статьи и прочее, вплоть до петита), и, наконец, — свое кладбище: те самые некрологи. Просмотрев несколько некрологов, я будто побывал на местном кладбище у могилы деда, умершего задолго до моего появления на свет.

Судя по рассказам отца, дед был нрава крутого, георгиевский кавалер двух солдатских крестов, в первую империалистическую служивший фельдфебелем. Он нещадно драл своих отпрысков, в том числе и моего отца, никому не давая спуска, был крепким хозяином, какое-то время жил под угрозой раскулачивания, от которого спас родственник по линии матери — ее родной брат Якубенко, член ЦК, партсекретарь Сталинградского тракторного, явившийся в поссовет в кожаной куртке, с маузером в кобуре и пригрозивший этим самым маузером, если с его сестрой что-либо произойдет. Эдакий молодой бог из властной машины, закрутивший колесо семейной драмы вспясть. (Семья слыла зажиточной, кажется, держали и работников.) Фотография этого Якубенки, который, как и многие другие кожаные любители постучать маузером о стол, был расстрелян в тридцатые годы, до сих пор висит в музее тракторного в городе Волгограде. Факт непроверенный, может быть и опровергнут в какой-то его части, потому что у отца на одно слово правды приходилось два слова вранья — невинного, избыточно-маниловского, трансформирующего прошлое и настоящее в область открытий чудных, сближений странных и парадоксов вдруг. Зато слава о моем прадеде простиралась далеко за пределы его физического бытования. Крупный земельный богатей, на земле которого теперь размещались два или три степных колхоза, любитель отменных троек и рысаков, выезжавший в свои владения санным поездом на полверсты в сопровождении работников, гайдуков и прихлебаев... Классическая линия вырождения: от степного господаря и георгиевского кавалера к рядовому сержанту Второй мировой с заочным высшим, восторженному вралю, неудачнику — и до бичующего парусного бродяги, любителя дармового норда, арбузных рассветов, дебаркадерных ночлегов и браконьерской ухи из чужого котелка...

Получивший афронт от родни, не признавшей меня за своего, я думал о том, что же за всем этим стоит... Как это все может быть связано — нагайки гайдуков, свирепые расправы с должниками и арендаторами, жестокость семейных отношений, отозвавшаяся в душах детей и сердцах внуков, идущая по восходящей неспособность к труду и трезвой жизни, безалаберность, душевная невнятица, безразличие, лень, провинциальная скудость... Я представлял себе прадеда на тройке с бубенцами, свирепо нахлестывающего коней, с его дикой страстью к охоте на волков и сайгаков, к безудержным гонкам разукрашенных, открытых овчинами саней... — на каком из ухабов вылетел в сугроб мой дед, отыгравшийся потом на моем отце, не сумевшем справиться с жизнью, выпустившем вожжи из рук, потерявшемся, не сделавшем никакой карьеры, ушедшем, как в схиму, в одинокое чудачество, фотографию, дачные грядки, чтение газет...

Эти заволжские края граничили со степью, откуда набегали на Русь волны кочевников, воровских казаков и лихих людей, разорителей и работяг, охотников за женами, зипунами, скотом, рыбой, хлебным припасом. Степное пограничье с его вечными опасностями и породило этот тип свирепого хозяина, жестокого защитника очага, крутого на расправу и с сыном, и с должником, и с татем — похитителем лошадей, женщин и детей, — вечно враждебным кочевником, не признающим никаких договоров, готовым в любую минуту ударить в спину. Одним из детских страхов отца был страх похищения — страх быть украденным и проданным в далекие улусы. Страх, подпитываемый бабьими стараниями да побасенками: вот придет бабай — он тебе покажет... И хотя уже много десятилетий о похищениях не было слышно, в певческой памяти старух, в детском фольклоре страх продолжал жить и вот — опять стал одной из реаль-

ностей, которую бытовое сознание рядового жителя окраины, запуганного телекартинками кавказской войны, уже не может скидывать со счетов...

На «спасалке» меня ждало избранное общество.

Стол над берегом у бетонного парапета был накрыт, лучшие люди в сборе, девушки хихикают, отмечая каждую удачную реплику выпивающих парней. В моих руках откуда-то оказались бутылка с пивом и очищенный рыбий хвост. После того как мы обсудили ходовые качества и внешний вид моего корабля, разговор зашел о реке, какой она была и какой стала, о безбожной травле икры и мальков во время весенних водосбросов Волгоградской плотиной, безработице, словно ползучее пламя степного пожара наступающей на поселок. Особенно горячился механизатор Саша. Горопился выложить всю правду заезжему (заплывшему) москвичу. Ощущение собственного бессилия угнетало души николаевских мужиков, чувство обиды на начальство, на противоестественный ход вещей... Долго мы так сидели, посматривая на зажигавший на другом берегу Волги свои огни город Камышин. Огни большого города, притягивающие всех поселковых — и молодых, и старых. Кому-то удается переплыть эту реку и закрепиться там, на другом берегу, даже получить ценой долгих лет неустанного труда квартиру, стать настоящим горожанином, чтобы свысока посматривать на *свой* берег, где остались родители и друзья, в выходные навещать их, щедро делясь секретами городского успеха и процветания, но с каждым годом переплыть эту реку становится все трудней. Все упирается в работу, которой мало. На всех не хватает.

Спать уложили меня в кубрике, где хранилось водолазное снаряжение и прилагаемое к нему оборудование: распятые на стенах резиновые костюмы, кислородные баллоны и т. д. Драгоценные сферы водолазных шлемов, выкованные из остродефицитной меди, с тремя круглыми окошками, одно из которых можно вкручивать и выкручивать, словно прозрачное блюдце, были благоразумно убраны подальше, в недоступные для охотников за цветными металлами места.

Спал я на жесткой кушетке под пугающими плакатами на темы спасения утопающих. На этой *технической* кушетке спасатели откачивали утонувших людей. На нее же укладывали выловленных из Волги утопленников. Что и говорить — место для сна не самое подходящее. Но другого не было.

Ночью чрезмерная доза выпитого пива подняла меня с моего жуткого ложа. Зажег карманный фонарь, в первую секунду спросонья испугался водолазных костюмов, развешанных на стенах в позах ловающих маленьких детей бабаев, толкнул дверь наружу и совершил вылазку в хлипкий, опасно накренившийся в сторону берегового укоса деревянный сортирчик. Потом погасил фонарь и застыл, тронутый красотой волжской ночи...

Южные звезды крупной солью высыпали на непривычно глубоком, страшном небосводе. Луна висела над Волгой. Под береговой кручей с ропотом плескались *темно-синие* волны, как написано в лермонтовской «Тамани», хотя ночью все предметы (как и кошки) серы, в крайнем случае — черны. От луны пролегла дорожка. У мостков стояла моя лодка со сложенной мачтой и обернутым вокруг нее гротом, со вздернутым к небу (чтоб не побило волной) пером руля, который с едва слышимым скрипом чуть покачивался из стороны в сторону, как хвост дворняги, вяло приветствующей хозяина.

Прошелся по тропке вдоль береговой кручи, сшибая ногами метелки созревших трав. Присел на вросший в землю громадный плоский валун. Цикады покрывали ночь своим стрекотанием, как тканью, которая нигде не морщит, не сквозит, словно чуть колышимый от ветра легкий театральный задник. Ночная тишина постепенно подравнивалась к тишине моей внутренней (или наоборот), я чувствовал, как после бурного дня, наполненного ветром, рекой, солнцем, во мне воцаряется уравновешенность и покой. Город Камышин лежал передо мной на другой стороне Волги, ми-

гал и манил своими цветными огнями, словно проплывающий мимо нашего берега, погруженного в степную языческую тьму, большой многопалубный пароход. Отец рассказывал, как он по ночам срывался с постели, тайком прибегал к Волге и подолгу сидел на берегу, любясь сиянием этих огней, представляя себе чужую жизнь, похожую на праздник, которую он мог видеть только на экране приехавшей по праздникам кинопередвижки. Я сидел на камне, до блеска отполированном задами многих поколений николаевцев, и смотрел своими светлыми отцовыми глазами на сияющий огнями город, потому что отец мой тоже сживал на нем, а раньше дед и, может быть, даже — прадед. Он один такой был здесь на берегу — этот камень. Громадный полувросший в землю валун, невесть какими путями занесенный на береговую кручу. Мой взгляд соединил два берега и два города, совпав с великим множеством других взглядов. Как клинок входит в давно забытые ножны, так мой взгляд вошел в темный коридор, когда-то пробитый в ночи живыми и жгучими глазами моих предков. Я был конечным звеном в этой цепи надежд и родовых устремлений. Думая о странной закольцованности семейного сюжета и своего путешествия (недаром меня вдруг с такой неодолимой силой потянуло в это плавание), я не мог не вспомнить о другой ночи, — месяц назад, заочевав в ульяновском яхт-клубе, я едва не стал жертвой несчастного случая...

...Дежурный по причалу Владислав — дружелюбный рыжий малый, руководитель детской спортсекции — зачалил мою лодку в ульяновской «марине», а для сна выделил старый продавленный диван в дежурке. От усталости и пережитого волнения я засыпал на ходу, ноги мои подкашивались, — накануне я прилетел на всех парусах из Булгар, проведя в непрерывно идущей лодке полный световой день, одолев около сотни километров, отчаянно рискуя на каждом из них, выжимая из легкой лодчонки все, что можно и нельзя, порою обмирая от «гибельного восторга», но ни разу не позволив себе зарифить парус — настолько был обрадован задувшему наконец попутному шквалистому ветру. В дежурку постоянно заходили люди, звонил телефон, мимо окон то и дело с ревом проезжали «КамАЗы» с щебенкой, которой и днем и ночью укрепляли осыпающийся городской берег, и я, быстро поняв, что никакого сна не будет, вышел наружу и отправился бродить по территории яхт-клуба в поисках тихого уголка. Под открытым навесом стояли борт о борт два огромных шестивесельных яла. Решил устроиться в одной из шлюпок. Протиснулся в оставшееся между ними пространство и, секунду поколебавшись, выбрал правый ял. Забрался в него, расстелил на дне спальник. После чего спохватился, что забыл часы в дежурке; решив вернуться за ними, одной рукой оперся о борт своего яла, другой — о борт соседнего, чтобы перекинуть тело и выбраться из лодки... и тут-то оно и случилось! Под моей рукой соседний ял с удивительной легкостью вдруг завалился набок, стукнувшись бортом о борт... Я похолодел, мгновенно поняв, какой опасности избежал. В то время, пока я в рассеянии выбирал между правым ялом и левым, один из них стоял на своем узком штевне, словно на лезвии ножа, дожидаясь лишь толчка, чтобы завалиться набок. Видно, поставили, чтобы борта не подгнивали от сырой земли, а подпереть поленились. Весу в нем было полторы тонны. Если бы я выбрал для своего ночлега левый ял и только коснулся его — лодка бы меня придавила. И пискнуть бы не смог. Просто бы не успел.

Долго я лежал на дне своей шлюпки...

Смотрел сквозь худую крышу навеса на звезды и думал: смерть разлила вокруг нас, как воздух, как сон, как утренний туман, она то и дело обдает нас своим дыханием, этот день я провел во власти солнца и воды, воды и ветра, попирая одну стихию с помощью другой, чувствуя незаконность этого состояния, в любую минуту готовый к ответному удару пространства, и это мог быть порыв ветра — дуновение силы, способной опрокинуть меня вместе с парусами и отправить на дно водохранилища;

дергая ту или иную веревку, я совершал свой выбор, думая об опасности, но когда я наконец перестал о ней думать, я вновь угодил, даже не подозревая об этом, в пограничную ситуацию, мои чувства молчали... или все-таки помогали мне? Что-то же заставило выбрать правый ял. На дне левого яла валялась смятая пачка из-под сигарет. По-видимому, я интуитивно сделал выбор в пользу более чистого. И такая невесомая мелочь перевесила балансирующую чашу весов. Без преувеличения — подарила жизнь.

Во время войны отец был курсантом ульяновского училища связи. После окончания ускоренных курсов очутился на фронте, где их, выгрузившихся из эшелона, разбирали приехавшие с передовой офицеры. Майор-узбек набирал пополнение в батальон морской пехоты. Поравнявшись с отцом, стоящим в строю, поинтересовался: «Откуда?» — «Камышин», — ответил отец и, заметив недоумение на лице (скорей всего, узбек даже не слышал о таком городе), поспешно добавил: «Ульяновск! Ленин!..» Лицо майора расплылось: «Ленин?.. Выходи!» Так отец попал в это подразделение. Однажды в разведке был ранен, но товарищи ценой невероятных усилий вынесли к своим. Он считал, что ему сильно повезло, что он попал в батальон морской пехоты, потому что морская пехота раненых всегда выносила. Остальные его сокурсники полегли кто где, бои в тех местах шли страшные. Таким образом, отец полагал, что обязан жизнью этому городу, — не потому ли своего первого сына назвал именем его главного насельника? И вот теперь судьба по какой-то странной, загадочной прихоти вывела меня, его отпрыска, на новый виток этого рокового выбора — между жизнью и смертью, лишь по счастливой случайности я избежал опасности и уклонился от расплаты... за что? За тот диалог полувекковой давности? Наверное, своей нелепой гибелью под навесом яхт-клуба я закольцевал бы красивый сюжет судьбы. Именно что красивый — сложность, красота и почти мыслительное хитроумие этой истории долго не давали мне покоя. В тот момент я даже почувствовал себя героем какого-то рассказа Борхеса. А может быть, Набокова. Подобные экивоки судьбы вызывали у Набокова довольное мурлыканье. Мне же было не до мурлыканья.

Брат встречал меня на платформе львовского вокзала. Хотя я и не сообщал, каким поездом приеду, он все рассчитал правильно. Обнялись, мазнув друг друга небритыми щеками; я не был на родине несколько лет, и мы всматривались друг в друга, отмечая перемены в лице и облике (брат еще больше погрузнел, я же, по его мнению, — наоборот). Пока шли к машине, брат поведал о последних днях отца, а также о своих — вначале казавшихся почти безнадежными — усилиях по срочной приватизации квартиры и оформлению других бумаг, связанных с уходом человека из жизни.

...Отец лежал головой к окну в затемненной, пахнущей человеческим тленом комнате, вокруг гроба стояли свечи и цветы. Лицо страшно опухло, глаза заплыли и утекли куда-то вбок, в ту сторону, на которую была чуть склонена голова. Челюсть не догадались сразу подвязать, поэтому рот остался открытым, из него уродливо торчал свернутый кляпом платок. Когда-то в разведке отец тащил на себе взятого в плен немца с кляпом во рту — теперь тащили его самого.

Увидев обезображенное смертью лицо, я содрогнулся, но родственное чувство оказалось сильнее. Рукою коснулся руки отца. Его рука была просто прохладной, у него руки вообще были зябкие, во время наших рукопожатий я всегда отмечал, что моя рука теплей. «Можно поцеловать сквозь платочек...» — прошелестела какая-то из сидевших в комнате богомольных старушек, приглашенных пани Стефой прибраться покойника и внимательно следивших за бесплатным представлением, как приехавший из самой Москвы сын припадает к мертвому телу отца, когда-то давшему ему жизнь. Окружившие отца старушки, обмывавшие и передевавшие его,

уже относились к нему как к своей собственности, и я невольно вступал в паутину сложных, сплетенных под маской ритуала отношений, когда не тело отца принадлежит тебе, а ты принадлежишь телу отца, сливаясь с похоронной челядью, встраиваясь в их общую очередь, чтобы сыграть выпавшую тебе роль. Смерть была слишком серьезным делом, чтобы пускать ее на самотек, ее следовало запутать ритуалом, задобрить подношениями — цветами, слезами, траурной музыкой, — чтобы хоть немного очеловечить и привязать к своему живому, теплому чувству обреченности и надежды, отчаяния и любви. На уме у меня поверх всех мыслей вертелось недоверчивое, кромешное недоумение: *что с тобою сделали, батя?.. что же стряслось такого, отчего твой облик принял эти небывалые черты?.. ведь я помню тебя совсем другим — да и ты ли это?..* В руках откуда-то появилась зажженная свечка. Горячий воск закапал на пальцы. Брат взвел затвор фотоаппарата и запечатлел меня рядом с гробом со свечой в сплетенных на животе руках — растерянно глядящим в объектив. Ни одна живая душа мне не подсказала (старушки на этот счет хранили некомпетентное молчание), что на похоронах ни при каких обстоятельствах на фотографа не смотрят — куда угодно, но только не в объектив. Иначе получается полнейшая двусмысленная ерунда, разоблачительное позирование, проявляющееся потом на готовых снимках. Позировать в поле объектива вправе лишь один покойник.

Отец давно не пил, не курил, не знал никаких излишеств, даже телевизора у него не было — однажды брат предложил ему свой, но он отказался из какой-то странной минутной прихоти, сразу превратившейся в принцип (не отступать же от своего). А потом телевизор стал не нужен, когда отключили все московские телерадиопрограммы. Последние годы слушал лишь радио «Свобода», пробивавшееся сквозь вымороченный карантин. Еще любил читать газеты — не книги. Хотя в послевоенные годы без отрыва от воинской службы закончил исторический факультет местного университета (заочно) и был даже старостой группы. Демобилизовался в чине старлея в середине 50-х. Незадолго до смерти ему было присвоено воинское звание майора запаса, чем он немало гордился, меняя погоны (уже не звездочки!) на своем парадном кителе, который надевал один раз в году, на 9 Мая, для совместной поездки с сыновьями и внучкой на дачный участок — не в город, который когда-то освобождал и в который избегал в этот день соваться из-за участвовавших нападений нацистов на стариков-ветеранов. Крестьянский парень из поволжского села. Три с лишним года на передовой. Морская пехота, стрелковая часть, потом гаубичный артполк. Ранения, контузия. Шесть боевых наград. Жизни его было 80 лет, 8 месяцев и 22 дня.

Полки серванта были уставлены фотографиями, присланными мною два года назад: утес Разина, Столбичи, Уракова гора, дедов дом с застигнутой в профиль норовистой племянницей у помидорных грядок, бел-горюч камень на николаевском берегу — и вид с этого камня: на Волгу и Камышин...

Он оставил нас еще в детстве, когда мне было чуть больше десяти, а брату вдвое меньше. Второй семьи так и не создал, хотя пользовался у женщин успехом и был по-старомодному привязчив к своим избранницам; избранниц было много. С некоторыми из них он нас знакомил. После развода с матерью с помощью фронтовых друзей получил эту тесную однокомнатную квартиру, заставленную обшарпанной мебелью, в которой прожил тридцать лет.

«Что ж вы ему лицо не подвязали?» — сказал брату. «Да это все Стефа... Навела старушек из церкви — той дай пять, той десять гривен, — а они только сидят по углам и вздыхают. Просил обмыть всего, а они обмыли только ноги. И не побрили. Говорят — не умеют. Одинокие бабушки, при церкви только этим и кормятся... А платок во рту — потому что изо рта уже сильно пахло». — «В военкомат звонил?» — «Нет там никого, кро-

ме дежурного. Если б не выходные, можно было бы заказать воинский оркестр». — «Вот и я о том же подумал». — «Не получится. Дежурный сказал, что раньше надо было позвонить».

Дома мать угощала меня борщом и тортом, потому что завтрашний день был еще и днем моего рождения. За обедом она не чокаясь пригубила вместе с нами за своего бывшего (в свое время попившего из нее кровушки) преставившегося супруга, а потом, уже чокнувшись, — за мой приезд. Мое завтрашнее рождение совпадало с днем погребения отца. Это совпадение, от которого меня заранее коробило, топорщилось своим слишком грубым и навязчивым, чтоб принимать его заинтересованно и всерьез, смыслом. Просто совпало — календарь ведь на всех один.

В каждый мой приезд домой (а я по-прежнему считал этот дом своим, несмотря на квартиру в Москве, в которой прожита уже добрая половина жизни) в первые минуты своего возвращения я должен был присесть и оглядеться, чтобы перевести дух, укладывая очередной виток своей жизни в эти бедные облупленные стены и этот низко нависший потолок, отвечающий нормам начала 60-х, пейзаж за окном, частично перекрытый кленом (голым сейчас), ветхие полузабытые книги на полках, притолоку двери, испещренную карандашными метками нашего с братом физического роста, часть из которых сделана еще рукой отца — с крупными буквами наших имен, чтобы опять ощутить себя отроком, потом юношей и в очередной, бесчисленный раз понять, какая большая часть меня осталась обитать в этих стенах. Я всякий раз как бы заново проживал свою жизнь, стремительно эволюционируя и приходя к себе — теперешнему, и в этом прокручивании жизни туда и сюда скрывался, по-видимому, какой-то потребный душе витамин или гормон роста, служащий устойчивости моего личного, отдельного от всех существования.

Все было как всегда: вечно разболтанные выключатели, вечно капающие краны в ванной и на кухне, дорогой румынский гарнитур темного дерева, кое-как втиснутый братом в нашу хрущевскую малогабаритку, все так же оттяпывал добрый кусок пространства вместе с памятью... Под эту пальму на этот диван я когда-то рухнул словно подкошенный, сраженный коротким письмом без обратного адреса: «Я вышла замуж за твоего врага, счастлива и жду ребенка...» А эту репродукцию с картины Леонардо «Дама с горностаем» я собирался подарить влюбленной в меня соседской девчонке — но так и не подарил... По спутниковому телеканалу шла передача, посвященная последней в этом столетии кругосветке «Around alone» (1999), в которой впервые участвовали двое россиян. У Федора Конюхова гонка с первых же дней не заладилась: сначала он обнаружил, что забыл суповую ложку на берегу, потом сломался генератор и автотопилот. Ураган «Даниель» трое суток трепал его яхту у берегов Америки. Захлестываемая волнами лодка все это время лежала на боку, от нечеловеческой усталости и отчаяния Федор пытался покончить с собой, однако нож, которым он хотел вскрыть себе вены, сломался. Зато Виктор Языков успешно прошел весь маршрут на выстроенной им сорокафутовой яхте и занял одно из призовых мест. В океане ему пришлось кухонным ножом (опять нож) делать самому себе операцию на разбитой руке, следуя передаваемым по радио советам хирурга...

Оторвавшись от телеэкрана, стал разбирать выложенные на журнальный столик старые пожелтевшие фотографии, записные книжки, письма и документы, принадлежавшие отцу. После кончины отца брат выгреб все бумаги из его письменного стола и секретера и привез домой. Все, что остается от человека: стопка обесценившихся справок, дипломов об окончании, свидетельств о достигнутом при жизни, увенчанной самой последней справкой и медсвидетельством врача... Удивило количество наших детских фотографий, о существовании которых я забыл или даже не знал, —

оказывается, отец унес с собой большую часть наших фотоснимков, словно запасался впрок вещественными напоминаниями о нас, ни в чем не повинных малышах, раздираемых надвое руками непримиримых родителей. Брат объяснил, что из целого моря снимков отобрал только наши, а также те, где отец один, — все остальное свалил в мешок и оставил в прихожей. Унибром с фотобромом, где отец то с одной дамой, то с другой, то с третьей. Некоторые снимки носили довольно откровенный характер. Все это брат собирался сжечь на костре — не выбрасывать же на помойку. Да, на помойку не стоит, согласился я. Раскрыл старый фронтной блокнот отца и стал листать жухлые страницы, испещренные карандашными и чернильными строчками:

«Украина, Мар.о., Черниговской обл. 17.12.1943 года была впервые заведена эта тетрадь». «ПОМНИ, ТОВАРИЩ, идя вперед, умнее любые преграды берет...» «С друзьями бокал поднимая, испей за отчизну свою, за правду свободы, за храбрость, за нашу победу в бою...»

«ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ АРТИЛЛЕРИСТА: *Я вас люблю сильнее пушки, вы мне милей, чем ось курка, а ваши беленькие ушки дороже мне всего замка. Ваш носик маленький задорный, он лучше лапы швырневой, милей прицельной пушки горной, шрапнельной трубки огневой. За ваши ручки белоснежны готов я муфту променять, за взгляд глазенок ваших нежных готов я щит с окном отдать...* 3.1.1944, дер. Б. Сонное, Гомельск. обл.»

«...Бедный Гриша, он хочет спокойно наслаждаться весной, но грубые девушки нечувствительны к пробуждению природы. Вот — уставил на меня глаза с выражением гневного вопроса... 20.3 — 44. Белоруссия (в час ночи, после обрыва связи)».

«Будь счастлив, хотя это чертовски мудрено...»

«ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ЖЕНИТЬСЯ» (мельчайшим почерком переписанный известный чеховский рассказ — судя по затертости страничек, часто зачитываемый на бис в мужской компании).

«...Милая Маруся! Что вы обо мне думаете? (почерком отца). *Тираны и деспоты вы, мужчины, но как вы хитры и прекрасны!* (женск. почерком). Не все, не все тираны! Пожелайте же мне что-нибудь на прощанье... *Пишу небрежною рукой, чтоб через сотни тысяч лет от жизни бурной и мятежной какой-нибудь остался след. Мария.* 23.X — 44. Польша. Краков. Висла».

«...Стало обидно, что у нас с тобой нет ребенка, что мы еще не поженились. Мне сейчас кажется самым большим богатством иметь сына или дочь. Представь себе, что война бы меня скосила, но, погибнув, я бы жил в своем сыне. Да это черт знает как хорошо! Ты понимаешь?..» (из черно-вика письма — кому? С матерью он познакомится лишь после войны).

Тут брат подsunул мне толстую коленкоровую тетрадь и, приложив палец к губам, чтобы не привлекать внимания матери, знаками предложил мне ознакомиться. Я раскрыл наугад и прочел:

«5.10. Анна Николаевна полюбила меня и под влиянием этого сильного чувства многое для меня сделала. Недавно у нее случился тяжелейший нервный срыв, объясняемый ее болезнью. Они очень плохо жили с первым мужем, нередко ругались и даже дрались, в ход шло все: кулаки, скалки, утюги (по ее рассказам) и т. д. Однажды муж в горячке нанес ей удар чем-то тяжелым в правую область черепа, после чего у нее начались затяжные головные боли. Обижать ее я не имею права.

7.10. Оставить ее не могу. Я люблю ее.

9.10. На работе ждала записка: „Федя, я забрала все свои вещи и ушла. Если я тебе нужна — подумай и позвони“».

«Аннушка! Я очень хочу сохранить нашу любовь, но первым шаг к тебе делать не буду. Делай сама...»

«„Москвич-2140“. Свечи зажигания. Гост 2043-74».

«Дружба — это прежде всего дела, поступки, значимость которых проверяет время» (Л. И. Брежнев).

«Мы, бывшие фронтовики, конечно, умеем многое, но давать взятки — не в нашем характере».

«...После долгих мучительных раздумий: 1. С Аней — надо ждать. 2. Беречь себя. 3. Не быть бедным. Черкассы — Сосновка, 14.10...»

Тетрадь оказалась интимным дневником, перемежаемым долгими страницами сердца горестных замет, актуальных выписок из газет и журналов, деловых пометок. Анну Николаевну я хорошо помнил — как-то отец даже знакомил меня с этой миловидной улыбчивой женщиной, работавшей завсекцией в ЦУМе. С чувством неловкости и бережного любопытства я перелистывал страницы этой тетради, погружаясь в мирок одинокого, закрытого от всех человека, о котором мы, оказываясь, так мало знали. Например, мы даже не подозревали, что отец на склоне лет жил такой напряженной мужской жизнью. Что был окружен таким количеством женщин — самых разных возрастов. Что оставался бойцом едва не до последних своих дней — тетрадь кончалась 1997 годом. Что давал объявления в газеты, в рубрику знакомств: «Русский, симпатичный, 72 г. Материально обеспечен. Одинок. Для создания семьи познакомлюсь с девушкой или женщиной от 32 до 45 лет. Легкомысленных любительниц развлечений и флирта прошу не тревожить. Жду содержательного, серьезного письма. Если любите запах разнотравья, шум леса и Вас не раздражает сельский быт (дача) — пишите» (газета «Высокий замок»).

Однако каков нахал — подавай ему от 32 до 45 лет! Это в 73 года (один год, конечно, себе скостил)!.. Я читал дневник со всевозраставшим чувством удивления. Станным образом тетрадь эта меня бодрила и вселяла какую-то надежду, словно не я каких-то пару часов назад побывал у смертного одра, словно бьющая с ее страниц жизнь не могла ограничиваться рамками земного бытования и обязательно должна была получить свое продолжение...

«9.05. Алла В. Был у нее дома. Очень хорошо приняла. Была изумительно мила, добра, ласкова...»

22.06. Ольга Федоровна. Была у меня. Красиво поздравила с днем рождения. Прекрасные розы, шампанское. Была влюблена в меня, нежна, ласкова».

«Елена Иосифовна, здравствуйте!

Я хочу сказать Вам честно: мне с Вами совершенно неинтересно. Одни только колкости, упреки в мой адрес и больше ничего. Я не прийду на встречу. Прощайте».

Местами дневник поражал своей откровенной чувственностью и мужской прямоотой, — оказывается, любовь отцу заменяла все: цветущий луг, лес, реку, оздоравлительные кроссы и гантели, в измене которым я так безуспешно его укорял... В своих записках он был скрупулезно точен и внимателен к деталям и подробностям чужой жизни — сказывался опыт бывшего кадровика:

«Анна Сергеевна. 2.11.61. Сын Богдан 10.08.87. Отец был русский из Калуги. Работает на заводе кинескопов. Был муж, 34 г. Сейчас живет с матерью и сыном Богданом. Отец сыну даже не звонит. Блондинка, тонкие благородные черты лица. Красивая фигура, одевается просто (нет лишних денег) и со вкусом. Приглашала к себе. Надо будет что-то купить ее сыну».

«Лидия Генриховна. Очень красивая дама с изумительной фигурой, полной грудью, смоляными волосами. С ней мне всегда бывало очень хорошо. Работает в СШ учителем мл. классов. Одно плохо — все время ходит с собачкой, которую не на кого оставить. Очень к ней привязана. Потом этот японский хин меня приревнует — запертый на кухне, будет беспрерывно лаять».

Читая все это, я улыбался, печалился, даже завидовал чему-то. Мне нравилась интонация. Соперников он не терпел — все женщины были одинокими, разведенными или вообще никогда не бывавшими замужем, нередко с детьми. Оказывается, он всем помогал: дарил продукты и цветы, устраивал врачебные консультации, сводил с опытным юристом в имуще-

ственных спорах с бывшими мужьями, помогал хоронить родственников и т. д. Легко западал на душевную тонкость и женскую самоотверженность и всегда сожалел, если человек в чем-то его разочаровывал (эгоизм, материальная корысть).

Не все протекало гладко — случались и размолвки, и расставания, после которых он долго терзался, изливая свои чувства на бумагу.

«...Собралась. Вела себя спокойно, на меня совершенно не обращала внимания. Ушли на вокзал на час раньше. Хотя можно было бы поиграть. В купе села и стала смотреть в окно. Подсел к ней и попробовал ее поцеловать. Начала прогонять: уходи, уходи. Вышел, постоял у окна, пока поезд не тронулся. Помахал ей вслед. Горько стало за себя — 5 лет ушло, а взаимности нет. Расплакался... Спал отлично».

«...31.10. Последний день. Воскресенье. Со скрипом, но погуляли по городу. Сидели в парке, молчали. Ни разу под ручку не разрешила взять. Были на базаре, все время убегала от меня. Но на конфликт не шла. В постель не пустила. Просто прогнала: уходи! Спал в кухне на кушетке, озяб».

Я закрыл тетрадь и отложил ее в сторону. На столе лежали памятные мне с детства наручные швейцарские часы «Allaine», привезенные отцом с войны, а также перочинный ножик с белым крестом, символизирующим Швейцарскую конфедерацию. В нем были: шильце, пинцет, ножницы, отвертка, кусачки, штопор, пилочка для подравнивания ногтей и даже лезвие-пила. Этот замечательный карманный ножик входил в полевую экипировку швейцарского офицера и таил в себе мечту о маленькой победоносной войне, выигранной с помощью его. Воплощенная в холодной стали швейцарская военная мысль, путающая войну с пикником. В детстве при хорошем поведении мне разрешали с этим ножом играть.

Спустя три дня мы по-братски поделим оставшееся от отца имущество. Я раскидаю на две кучки стопу старых фотографий, возьму часы и фотоаппарат «Киев-6». Еще фронтовой блокнот. Брату достанется нож, китель с наградами и квартира. Мы погрузим в машину большой пластиковый мешок с приговоренными к сожжению бумагами, приедем на дачный участок, разведем большой костер. Огонь будет сначала медленно, потом, все более входя во вкус, пожирать фотографии, письма, цветные открытки с приветом и пожеланиями здоровья и долгих лет, старые настольные перекидные календари, испещренные его пометками. Я выну из кармана черную коленкоровую тетрадь и, секунду поколебавшись, тоже брошу в костер.

В фотоаппарате, который достался мне, окажется пленка с последними прижизненными кадрами, запечатлевшими отца на балконе, за обеденным столом, на самом последнем кадре отец уже прикован к постели, жить ему осталось несколько дней... Брат участливо склонился над его изголовьем, оба смотрят в объектив. Отец изнурен и обессилен болезнью, это глубокий старик, в котором мало что осталось человеческого, его почти невозможно узнать... Кадр получился не в фокусе — видно, рука пани Стефы, нажимающей спусковую кнопку, в эту минуту дрогнула, очертания отца и брата расплывчаты и неверны, что, по счастью, смягчает грубый физиологизм этого беспощадного крупного плана...

Разглядывая спустя несколько дней получившийся снимок, я подумал о том, что смерть снимать нельзя, можно снимать живых и можно покойника, который уже не смерть — он по ту сторону смерти и принадлежит земле, воде, огню, круговороту вещества, но не смерти, смерть всегда там, где еще теплится жизнь, дотлевет плоть, тронутая полураспадом, она смотрит на нас сквозь бельма медленно стекленеющих глаз, и поэтому ее прямой *сфокусированный* взгляд для нас так невыносим.

В полдень прибыл старый «ЛиАЗ» с откидной задней дверцей. Четверо крепких парубков, призванные донести усопшего от стола яств, где гроб стоит, до места последнего упокоения, подняли свежеструганый лакиро-

ванный гроб с латунным накладным крестом. Отца в него забили без нас. Так решила пани Стефа, его компаньонка, до последнего дня вынашивавшая матримониальные планы и оставленная с носом, поэтому во всем старающаяся насолить законным наследникам. Заколотый гроб спустили во двор и поставили на табуреты перед подъездом. Вокруг сгрудилось десятка два бедно одетых людей — соседи по дому, родственники пани Стефы, еще несколько одиноких и больных, кормящихся с чужих похорон. Приглашенный примерной прихожанкой пани Стефой отец Сергей отслужил литию по греко-католическому обряду. Простые слова заупокойной службы этого слуги Ватикана, украшенные цветами христианского красноречия, окажутся последними, сказанными у разверстой глинистой ямы, в которую упрячут от нас отца. *«Из пороха мы вышли — и в порох уйдем...»* — втолковывал отец Сергей кучке потупившихся мирян. В короткой проповеди ни слова не было сказано о боевом прошлом этого безбожника-москаля с берегов далекой Волги, воевавшего на этой земле, чтобы очистить ее от фашистов и бандеровцев, а теперь уходящего в нее навсегда, отпеваемого двумя греко-униатами — вторым был певший дискантом дьячок в сером кургузом пальто и шляпе.

Гроб погрузили в автобус-катафалк, и наша бедная кавалькада тронулась по улицам города: впереди автобус, за ним темно-вишневая «восьмерка» брата. Дьячок сел в автобус. Отец Сергей — к нам. Молодой человек лет тридцати, с рыжеватой ухоженной бородкой, пухлыми щеками и белыми толстыми пальцами, сжимавшими крест. Геолог, с отличием окончивший университет, а ныне — настоятель свежевозведенного храма.

Ехали в полном молчании. На кладбище всегда едут в молчании. Души наши безмолвствовали, тела передвигались в пространстве, по которому, освящая наш путь, вела нас выставленная вперед пухлая рука отца Сергия с зажатым в ней намоленным и нацелованным пастьвой крестом. То удаляясь, то приближаясь к нам, перед глазами все маячила заляпанная грязью задняя дверца «ЛиАЗа» с выглядывающим из окна траурным венком, к нему был прикован мой взгляд, за ним скрывалась от меня давно ожидаемая, но всегда внезапная, как ожог, правда — я больше не ребенок...

Простота происходящего (сын хоронит отца) подразумевала некое ясное видение истины, глубину и прозрачность мыслей, сосредоточенность на себе и на том единственном, непостижимом предмете, воплотившем в себе телесную грубость мира, — деревянной призме из свежесбитых сосновых досок с заключенной в ней смертью человека (отца). Вот автобус выехал на окраину города и притормозил перед железнодорожным переездом, пофыркивая работающим мотором, отдавая нас выхлопной бензиновой гарью, в которой тоже растворена толика смерти — от мучительного удушья. Брат поднял боковое стекло машины. Моя жизнь тоже притормозила на месте и в то же время продолжала нестись вперед в потоке неотвязных мыслей, воспоминаний о прошлом, в которых главное место отводилось отцу, его образу — текучему, мечтательному, сильно приукрашенному данной минутой сыновней скорби. Вдруг подумалось: а ведь он никогда меня не бил, вот что. Даже в детстве, даже за явные провинности ни разу не поднял на меня руки! Лишь однажды при виде выбитого мною стекла сказал устало: ну что, снимай штаны. Но штанов я не снял, а он больше не настаивал...

То, что случилось, требовало глубокого, одинокого и ясного отклика души, в котором в удивительном всеединстве сошлось все: время, жизнь, воспоминания, вся мягкость и доброта, которую, несмотря ни на что, мой старик когда-либо выказывал мне. Все последние годы я только и делал, что возвращал ему — и возвращал назойливо и нетерпеливо, с сокрушением сердца, — полученные от него когда-то навыки и знания, с которыми вступают в жизнь: как упражняться с гантелями, как переходить улицу (в один прием — ни в коем случае не задерживаться на осевой...), как варить

себе овсянку (новомодно-фруктовую, быстрого приготовления) на завтрак, как и чем бриться. «Ну зачем тебе это старье — какая-то „Эра”? Я привезу тебе настоящий „Браун”». (Не привез.) Одноразовые шиковские станки вводили его в оторопь: как это может быть такое — одноразовая бритва? Столько стали и пластика — и все это в корзину?.. Отругиваясь от нас, он использовал станок и по второму, и по третьему разу, пока затупленное лезвие не начинало драть привычную ко всему кожу. Мы как бы поменялись с отцом возрастом — и сравнение было не в мою пользу. Возраст, возраст тяготел над ним, надо мной, над всеми нами. Довольно-таки сорокалетний, я только подходил к этой ускользающей загадке возраста, его текучей природы, эластичного многообразия форм и проявлений, а мой старик был уже по ту сторону этой черты — покоен, терпелив, ровно-настойчив, не теряющий оптимизма ни при каких обстоятельствах. Чего я от него все добивался с таким раздраженным упорством, разговаривая тоном обвинителя? Что хотел вытянуть напоследок, пока он, прихлопнутый сосновой крышкой гроба, не скрылся от нас навсегда на дне кладбищенской ямы? Все прислушивался по привычке к его дребезжащему голосу, втайне от себя надеясь, что вот-вот он скажет такое, отчего все вдруг станет так понятно и хорошо. Для чего же еще живут старики, если не для беседы. А беседы не получалось.

Все дело было, видимо, в том, что в глубине моего сознания он был все тот же обтянутый хрустящей портупеей великан в офицерском мундире с золотыми погонями, которого я увидел однажды в детстве и поразился на всю жизнь, влюбленный навсегда в этот образ, над которым ничто не было властно — ни война, ни время с его приметам, ни возраст. Все во мне топорщилось, сопротивлялось этим приметам старости, когда приходилось делать скидки на его болезни, немощь, прогрессирующую тугоухость, казавшуюся нам притворной. А он все чаще прятался от нас, прикрываясь глухотой, в раковину того ограниченного минимального пространства, плотного и замкнутого на себя, в которое сжимается человеческое «я» на пороге смерти (в старославянское «смерть»), теряя буквы вместе с зубами, обозревая открывающуюся внутреннему взору ту инопланетную пустыню, дыхание которой он уже ощущал на себе, обдумывая варианты ухода с выражением странного покоя и удовлетворения на лице, соотнося свое исчезновение с произвольным рядом предметов, на которые только ложился его взгляд, — любимой фотокамерой, черенком кухонного ножа, видом из окна, старым неисправным «Москвичом», поставленным в гараж несколько лет назад на вечный, как выяснилось, прикол...

Еще недавно здесь шумел сосновый бор с листовным подлеском, а теперь в него — и вширь, и вглубь — вращало кладбище. Одни деревья вырубались, чтобы освободить место для людей, другие оставались стоять как есть, продолжая расти и крепнуть, чтобы своими воспрявшими ветвями обозначать сень. Вот в том, какое дерево должно было пасть под ударом топора и карандашом планировщика, а какое — остаться расти, и заключалась вся соль, вся несправедливость и заведомая загадка жизни, рифмующаяся с таким же неравномерным выкашиванием рода людей. Хотя и было ясно, что оставляли, как правило, молодые, да статные, да стоящие на особицу сосны, дубки и буки — вне рядов наступающей геометрии могил и расчищенных под них участков. Протянутые ветви леса принимали в свои объятия покойников, одного за другим, кладбище проникало в него, прикидываясь лесом, оно и было — лес, поросший холмами могил, и издали трудно было понять, где начинается собственно лес и где кончается кладбище: чем дальше мы углублялись в него, тем больше встречали деревьев и меньше — могил. Где-то далеко внизу, на террасах скрытого бульдозерами оврага, из которого кладбище давно вышагнуло на простор, остались лежать те, кто упокоился в 80-х, когда еще хватало на всех и оградок для могил, и надгробий.

Уделом тех, кто умер в 90-е, все чаще становился холмик, обложенный дерном, деревянный крест с жестяным венком, и это все.

Автобус остановился. Остановились и мы. Чужие люди верно знали, куда привезли нас с братом и умершим отцом. Мы пока еще составляли одно целое — трое мужчин, молчаливо-покорных, отдавших себя во власть других. Гроб выкатили из нутра автобуса и поднесли к глинистой куче, за которой скрывалось прямоугольное жерло ямы. Опустили на землю. Накренившийся гроб стоял на краю могилы. Словно свежеструганая, готовая к плаванию лодка. Ветерок бережно шевелил ленту белого газета, опоясывающую гроб, будто полоска мелкого галечного приборья. Тишина. Кашель подтягивавшихся от автобуса женщин с цветами, с шуршащими венками в руках. Отец Сергей произнес последние слова похоронного обряда, — слова на языке, которым покойный так и не овладел. Москаль с украинской фамилией, предки которого были переселены на Волгу Екатериной Великой, разгонявшей Запорожскую Сечь. Я словно со стороны чувствовал, как все происходящее доходит до меня со странной задержкой во времени — я как бы все время на полшага отставал от других: не успел привыкнуть к отцу, положенному в домовину, как его от меня закрыли крышкой, не успел связать стоявший у подъезда гроб с выщербленными ступеньками крыльца, на котором отец столько сиживал, как его уже везут на кладбище и, не дав опомниться и осмотреться вокруг, спешат опустить в вырытую яму. И могилы-то не успел (не захотел) разглядеть — заглянуть в ее глинистый зев, чтобы ощутить глубину падения отца в вечность, в бездонную пучину утраты. В этой паузе или синкопе, отделявшей меня от остальных, которая все росла, раздувалась, обретая свою собственную жизнь или протяженность во времени, как мне казалось, таилась какая-то надежда на возрождение и вечный свет. Мартовское солнце ярко и сочно высветило вечную зелень искусственных венков. Букетики живых цветов в руках наших женщин казались вялыми и поникшими. Для них готовили банки с водой, одна банка — с лампадным маслом и опущенным в него фитилем — будет установлена у подножия большого деревянного креста с латунной табличкой, на которой уже выбито то главное, что мы знаем об отце. Гробовщики подвели под домовину стропы и стали бережно опускать ее в яму. Гробовщиков сменили могильщики с лопатами — как и всякое другое, дело это тоже требовало квалификации, заученных движений и подручных средств. Первые наши комья земли застучали о крышку, за нами в очередь последовали другие провожающие, потом вступили землекопы со своими совковыми (штыковые нужны при рытье могил). Трое молодых парней в спецодежде и бейсболках козырьком назад, для которых все деятельное многообразие жизни было сведено к этой перемене лопат — штыковой на совковую и наоборот. Если б я был их начальником, я бы посоветовал им свои кепки повернуть, но я не был им.

Могилы быстро заполнялись землею, — казалось, земля сама торопилась занять свое природное место, пробужденная от долгого сна и снова спешившая, пересыпаясь, как облако, внутри самой себя, погрузиться в сонный круговорот влаги, тепла, азота, перемалываемая челюстями невидимых существ. А тут, наверху, пробивалась молодая трава и цвели первоцветы, набухали почки на ветках. Установили крест с фамилией на табличке и черным рисованным крестом над нею, означавшим «смерть». Смерть отныне носила нашу фамилию. Обложили холмик венками. Поставили банки с нарциссами и гвоздиками. И ничто уже не напоминало об отце, оставшемся лежать на самых нижних, близких к огню этажах земли. Ни один не заплакал у свежей могилы, не утер слезы. Два сына оцепенело стояли у холмика, опустив головы, сложив руки перед ширинками. Люди, окружавшие нас, почтительно отступили, очищая пространство для каких-то последних сыновних дум и дел. Приглушенно, как покашливание в партере, звучали голоса. А вокруг шло чириканье и праздник весны. Золо-

тились сосны под косыми лучами кладбищенского солнца, обходящего дозором этот город мертвых, закончившихся календарей на пирамидах, плитах и крестах...

Брат уехал с кладбища первым — повез на своей машине отца Сергея с дьячком, чтобы успеть доставить их к вечерней службе в храм. Жизнь продолжалась. Люди медленно рассаживались в автобус и стоящий неподалеку «рафик», тоже идущий в город. Стороной обойдя автобус-катафалк, я забрался в «рафик», уселся лицом к могиле, сунув в карман испачканные глиной пальцы. В машине я оказался в кольце сочувственных женских лиц. Нас было пятеро — я и четыре женщины более чем средних лет, их взгляды сходились на мне, я был в центре внимания (сын!). Ничем не выдавая себя, неотрывно смотрел в окно, пока «рафик» осторожно выбирался по глинистой колее на асфальт мимо скучных, просевших за зиму могил и потемневших от непогоды крестов: 2000-й, 1999-й... Даже предвечернее солнце ничего не могло поделать с этой разоренной землей и скорбной анфиладой холмов, под которыми покоились люди, люди, и на память приходил физический закон о погружении тела и вытеснении объема, верный не только для жидких, но и сыпучих сред, земляной крошки, суглинка, смешанного с листовным перегноем, грибными нитями, корнями лесных цветов и трав... Физика здесь соперничала с химией за тела упокоившихся людей. Химия медленно и неуклонно брала свое — по мере распада плоти и перехода аминокислот в перегной, подпочвенную влагу, корни трав и дерев, объем растекался концентрическим облаком элементов, домовина гнивала и рушилась, земля проседала. Когда-то в студенчестве я водил нравившихся мне девушек на Ваганьково к могиле живописца Василия Сурикова. В ее оградке тогда еще росло большое старое дерево с табличкой: «Клен, посаженный В. Суриковым. Охраняется государством». После смерти жены художник посадил в изголовье могилы это дерево; позже сам лег под него. Клен рос, наливался силой, обменивался птицами с другими деревьями, корни его все крепче оплетали в одном объятии и жену и мужа, чья плоть едина растекалась древесным соком во все уголки и закоулки большого дерева, опадала отмершим листом с наступлением осенней поры. Я очаровывал девушек рассказами о тайной жизни корней и листьев — ни у одного дерева во всем Ваганькове не было таких. Я поднимал с земли кленовый лист, на котором-то все и происходило, как на крохотном батальном полотне: марс коричневый перетекал в кадмий красный, капляк в хром-кобальт и сиену. И лист был уже не лист, а *смерть художника*, навсегда ушедшего в чистую природную краску, в борьбу предзакатных тонов и оттенков. Возвращаясь в общежитие, я снимал с полки альбом репродукций и добавлял к работам живописца свежие, может быть, самые последние и любимые, — ведь мы об этом ничего не знаем, можем лишь догадываться, предполагать, фантазировать, очаровывая и пугая своих девушек и пугаясь и очаровываясь вместе с ними. Двигавшее нами молодое теплое, пугливое любопытство останавливалось перед этой чертой, отделявшей свет от тени, порох от пороха. «Порох» по-украински значит «пыль». Из пыли (праха) мы вышли и в пыль уйдем. Выпорхнули, как бабочки, из пороха страсти и любовной родительской слизи, чтобы вновь обратиться в слизь. Я не знал, как долго еще отец пробудет отцом, не хотел думать об этом, но что-то изнутри меня словно подталкивало: думай, думай...

Между тем «рафик» выехал на центральную кладбищенскую аллею, миновал ворота с вахтой и шлагбаумом и покатил по лесной дороге. Женщины негромко переговаривались, соседство их казалось неслучайным — словно какие-то узы, под стать родственным, объединяли их. Одна из них, деликатно дождавшись, пока кладбище не скрылось за поворотом, вдруг назвала меня по имени. Анна Николаевна! Только сейчас я узнал ее — старую симпатию отца, вытесненную в конце концов из его сердца пани

Стефой. Я вступил с ней в разговор, постепенно догадываясь о том, кто окружал сейчас меня и какое отношение эти женщины имели ко всему происходящему со мной и моим отцом. Это были героини его книги, выпорхнувшие вдруг из черного коленкорového переплета и очутившиеся рядом на соседних сиденьях микроавтобуса, резво катившего в сторону города. Мы познакомились. Кроме Анны Николаевны, здесь были: Лидия Генриховна (хозяйка ревнивого японского хина), Елена Иосифовна (когда-то собиравшаяся от отца рожать) и Виктория Сергеевна (дамский парикмахер, которой посвящено столько страниц)... Это отец меня осторожно, как маленького, за руку вводил в новый сюжет, возвращая к жизни и отвращая от смерти. Мысль об уходе, погруженная в отвратительные подробности смешивания человека с землей, посещающая нас на кладбище, словно утратила половину своей тяжести. Они рассказывали мне об отце, что — да, был нежен и внимателен, дарил детям одежду и игрушки, привозил продукты, устраивал консультации у врачей и юристов. Вот Вике, например, помог пробить свое дело — частную салон-парикмахерскую на Коперника, в которой всего-то одно кресло, но от клиенток отбою нет — такая она мастерица. Поглядывая на них, я угадывал вкусы отца, в глубине души страдавшего заниженной самооценкой и поэтому добивавшего другим — упорством, импульсивной всеядностью и неумением сказать своим чувствам «нет». Каждая из женщин, несмотря на возраст, болезни, уставшую жить кожу и расплывшуюся фигуру, еще что-то в себе несла. Анна Николаевна — добрая, миловидная тетка, упустившая свое счастье (отца) из рук. Елену Иосифовну отличала трудноуловимая восточная томность, плавная задумчивая речь с грудными гармониками, заставлявшими когда-то трепетать мужчин. У Лидии Генриховны — изящно вылепленные крылья носа, матовый цвет лица, по-девичьи запальчивый говорок. Виктория Сергеевна — хозяйка мини-салона — оказалась самой молодой и, в отличие от угасших соседок, живой и деятельной, практической, в том числе и женской жизнью, нацеленной на отвоевание своего места под солнцем. Итальянские очки, полная белая шея, умелая косметика. Беглый ускользающий взгляд женщины, больше думающей о том, как бы выгадать, а не о том, как не упустить.

Я все про них знал. И — словно посредственный, впервые выучивший весь урок школьник, стал выказывать свою осведомленность, задавая вопросы. Японский хин давно умер от чумки. Сын Богдан учится в университете. Дочь Надя недавно родила второго мальчика. Нет, на поминки они не пойдут — пани Стефа вряд ли обрадуется их приходу. Не удержавшись, перемыли косточки пани Стефе, вынужденной теперь освобождать квартиру, превращенную ее стараниями в хлев. Я поблагодарил всех, что пришли проводить отца.

Колеса «рафика» уже гремели по городской брусчатке. Улицы были полны гуляющей молодежи, выманенной из домов весенними будоражащими сквозняками и косыми лучами садящегося холодного солнца. Анна Николаевна попросила остановить в центре и, прощально погладив мои волосы, как маленькому, сошла у монастыря Кармелитов босых. Я помахал ей из тронувшегося «рафика». Лидия Генриховна и Елена Иосифовна вышли у памятника Мицкевичу. Мы церемонно простились, они сказали приличествующие слова, я поблагодарил.

Оставшись одна, Виктория Сергеевна расправилась на сиденье, красиво сложив ноги в сапожках с выразительными коленями. С ее слов получалось, что она могла быть даже и моей ровесницей. Действительно, отец очень ей помог с арендой помещения. Она хочет установить еще два парикмахерских кресла. Место очень бойкое. В их деле это главное. Окраска волос, мелирование, химическая завивка, модельная стрижка. Виктория Сергеевна сошла у Стрийского парка, коротко кивнула на прощанье. Развернув плечи и выпрямив спину, зашагала в толпе прохожих, перехватив

рукою ремешок сумочки, энергично печатая каблуками, всем своим видом говоря, что не такая уж она легкая добыча, как кажется. Вот она подошла к овощному лотку, остановилась, разглядывая выставленный товар, и тут угол дома скрыл ее от меня... Вдоль дороги один за другим тянулись оштукатуренные «в шубу» старые польские особняки, которые казались выстроенными на века, потому что люди собирались жить в них вечно — с круглыми «американскими» окнами, забранными горизонтальными прутьями, высокими потолками, теплыми чердаками и коморами. С верхушек парковых деревьев стекал золотой свет, в переплетении голых, неумолимо позеленевших ветвей на фоне голубого неба чудилось что-то волнующее, исполненное значения, отчего по-детски заходило сердце. Чья-то творящая воля вырвала меня из-за рабочего стола и бросила в эту летящую улицами Львова машину, в этот золотой мартовский вечер, вложив в сердце чувство потери, горечи и неизбежной вины за все, что видит, дышит, живет. За то, что родился в этот день.

Спустя две недели в один из вечеров (насмотревшись старых-новых детских фотографий: на одной я прячусь от его объектива за книжкой, закрыв пол-лица романом Конан Дойля «Затерянный мир», на другой он помогает мне обтягивать бумагой крыло планера, на третьей — обнимает...), изнывая от навалившейся тоски, я позвонил из глубин своего затянутого мороком лабиринта по номеру, найденному в телефонной книжке отца. Задал какой-то пустяковый вопрос. Видимо, Виктория Сергеевна что-то почувствовала в моем голосе, потому что вдруг неожиданно пригласила в гости. Еще не до конца догадываясь, за чем туда иду, купил бутылку вина и торт, дежурный набор соблазнителя, и отправился на Левандовку. Все оказалось так, как ожидалось: маленькая уютная квартирка без признаков мужского присутствия, итальянский гарнитур, японский многоканальный телевизор с большим экраном, включенный на Эм-ти-ви. Приглушив звук в телевизоре, Виктория Сергеевна быстро приготовила закуску, потом и вовсе его выключила. Выпили вина, поговорили о ее салоне, потом об отце; раскинувшись в кресле всем телом, которому он посвятил столько страниц, она рассказала, какой был шалун: однажды заявился в гости, разделся в прихожей, потом вдруг входит в комнату с «Киевским» тортом, подвешенным к... ну вы понимаете. Сдержанно посмеялись — двое взрослых людей, способных оценить хорошую шутку интимного свойства. Эта картинка обозначила некую новую ступень нашей близости. Я робко и благодарно, как мальчик, принял ее подсказку, вступая на это психологически сложное, но неудержимо притягивающее меня поле. Это она повела меня за собою, сам бы я, пожалуй, не отважился, что-то все равно бы меня удержало — первой поцеловала, первой отправилась принимать душ, потом встретила меня в постели, раскрывшись, словно раковина, навстречу, — как раскрывалась навстречу не одному мне. Но этот вечер был наш, мы делили с ним одну женщину, проворные ласковые руки обнимали нас, одни и те же губы считывали с нашей кожи, как с бумажного листа буквы, наши родинки, целовали мои светлые отцовы глаза, даря нам вечность, как умеет ею одаривать любая женщина, готовая без остатка раствориться в мужчине. Все оказалось именно таким, как значилось в книге его жизни.



ДМИТРИЙ ЗИНОВЬЕВ



С МУЗЫКАЛЬНЫМ БОЕМ

* *
*

Отставками далеких перемен
гуляют пересуды, свежий ветер
подробности приносит, без антенн
распространяясь обо всем на свете.

Придумаю себе другую жизнь
удачную и нужную народу,
знакомых многочисленных, теплынь,
различную счастливую погоду;

работу постоянную, притом
любимую и деньги за работу,
какой-нибудь у речки-моря дом,
рыбалку, путешествия, охоту.

Чтобы подкатывали ночь и тишина,
от края заполняя и до края,
чтобы закончилась далекая война,
не начиналась никогда другая.

* *
*

Ирина курит, глядя в окно,
мне все равно.
В окне,
во дворе
белеет зима,
колодец, дома;
в колодце видны
четыре стены,
двор — проходной,
этаж у меня второй,
дом двадцать шесть,
я еще здесь.
Куда мне деваться?
Спать? Прогуляться?

Надо прочесть
новую книжку.
Дверь на задвижку,
чудится речь.
Во дворе фонтан,
разбитый стакан,
нужная вещь,
летняя, ждущая влаги,
пришлому люду, бродяге
час — приземлиться,
опохмелиться,
пиво, девица,
новые лица,
времени — шесть,
смех, разговоры,
музыка, споры,
трудно сберечь
утро зимою,
все, что со мною,
времени течь.

* *
*

Засадим садами родные просторы,
укропом, петрушкой, редиской и луком,
порадуем зеленью глаз ненасытный,
язык наслаждается будущим вкусом,
салатом волшебным. Легко предаваться
мечтам о прекрасной, возвышенной жизни
и жить, созидая различные блага
для ближних и дальних, в быту и на службе.

Поток витаминов на разные буквы
и дачных и южных, даже полезных,
заполнит все клеточки слабого тела
энергией солнца, земли, многих микро-
частиц-элементов (смотрите таблицу),
целебных для нашей иммунной системы.
Кто хочет, запейте спиртом и пивом,
кто хочет, кефиром и чаем с вареньем.

Казалось бы, масса проблем безнадежных,
казалось бы, смертность, болезни и голод,
казалось бы, жизнь коротка, будто вспышка
(ну кто за язык тебя тянет?), преступность
и силы порядка в порядке; на сдачу
картины жестокой, бессмысленной бойни —
бесправные нации, войны за веру —
оружие мирный процесс формирует...

Под кайфом и в ясном сознании будучи,
в кафе, на работе, в гостях или дома,
единой и дружной семьей всенародной,

с центральной и местною властью в упряжке,
 друзьям улыбнемся, поможем соседям,
 среди катаклизмов природы, с мольбою
 к Создателю, в космосе необозримом,
 готовые к новым свершениям люди.

* *
 *

Сегодня октябрь бесследно исчез,
 вода почернела в каналах.
 К томительной осени мой интерес —
 пример интереса нахала

к стареющей даме. В проемах дворов
 я гулко шагаю на встречу.
 Заляпаны черные джинсы. Как лох,
 но интеллигентный отвечаю

легко на вопросы о прошлом. Слова
 раскаянья канули где-то
 камнями под воду, качнулись едва
 надежды дорожками света.

За копыя решетки, за кромки перил,
 по Летнему саду, припомни
 тяжелые ветви, как будто застыл
 рисунок судьбы на ладони.

Темнеет по небу таинственный сад,
 возможное место свиданий,
 прогулок, восторгов, любви невпопад,
 волнующих воспоминаний

о чем-то далеком, эдемский покой
 влечет, приближается остро,
 омытый Фонтанкою, Мойкой, Невой,
 Канавкой спасительный остров

спокойствия в море кипящих времен.
 Закрыто. Шепнули, как другу,
 мол, каторжник вечности приговорен
 слоняться по первому кругу.

* *
 *

Часы с музыкальным боем
 играют сами собою
 мелодию днем, к отбою
 и ночью над головою.

Скрыт в деревянном корпусе
крохотный механизм:
струны, пружинки, на конусе
шестерни — анахронизм,

если сравнить с электронными,
употребленными тоннами.

Неукоснительно тикает,
передвигается время,
кто-то за стенкой пиликает,
пишутся стихотворенья,

треск, металлический стук
и мелодический звук.

Что в них такого прекрасного,
в наших глазах интересного,
в фокусе мысли — напрасного,
слуху и духу — полезного?

Связано что-то с судьбою
наполовину и с детством.
Мы остаемся собою
с боем — нашим наследством.



АННА МАТВЕЕВА



ИТАЛЬЯНСКОЕ ВИНО

Маленькая повесть

ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА

Мы договорились, что не будем пить всю дорогу: я за рулем, а Давид — за компанию со мной. Можно было, конечно, расслабиться вечерами, но мы знали, что будем колесить до того самого места в ночи, когда все кругом равномерно зальет ночными чернилами.

Маршрут мы вычерчивали еще дома. Каждый вечер после ужина и моей первой бутылочки раскладывали на кухонном столе вспухшую от долгого внимания карту, и Давид всякий раз ворчал, что я могла бы вытирать стол аккуратнее. И это была только разминка перед главным, большим спором. Глаза Давида сжимались в острые лучи, голос наливался тяжестью, каменел, я вспоминала дорожный знак — «камнепад», где от горы отрывались тяжелые куски и еле умещались в красном треугольнике. Наш преподаватель по теории поднимал вверх указку и спрашивал: как следует себя вести в таком случае? Взрослые люди с первыми морщинами и последними надеждами, мы разглядывали свои пальцы, как это делают школьники, мы вздыхали и молчали, пока рыжий преподаватель насыщался своим превосходством, пил его из воздуха, как самое сладкое вино. «Увидев такой знак, вы должны как можно скорее преодолеть опасный участок», — снисходил он до нас, опускал указку и вдруг резко ссутуливался, как будто превосходство давило ему на плечи.

Давид не умел водить машину, это не обсуждалось, но когда я пошла учиться в автошколу, это не обсуждалось тоже. Он сказал — давай поедем в Италию, ты будешь за рулем. Давид мечтал увидеть Италию и хотел потратить на эту поездку свое наследство. Разделить его со мной, как некий символический хлеб.

Я сдавала экзамен зимой, в гремящем злобном феврале, тремя днями раньше мне исполнилось двадцать восемь лет. Инспектор ГИБДД, который судил, достойна ли я стать обладательницей маленькой пластиковой карточки с магическими знаками и буквами, этот инспектор был очень молод и поэтому хмурился и от этого выглядел еще моложе. Так и Давид — младше меня на полтора года, он переживал, что я однажды назову его мальчишкой, и сам каждый раз говорил — я тебе не мальчишка! Он всегда группировался, заранее выстраивал баррикады, как будто я собиралась его убить, обидеть, надругаться над ним — в особо жестокой, жесткой форме, он так боялся, что я его брошу, что сам всегда первым предлагал — давай разойдемся, и потом замолкал, и глаза его превращались в тонкие лучи.

Матвеева Анна Александровна родилась в Свердловске. Окончила факультет журналистики Уральского университета. Прозаик. Автор книг «Заблудившийся жокей» (1999), «Падет-трау» (2000). Печаталась в журналах «Новый мир», «Звезда», «Октябрь» и др. Живет в Екатеринбурге.

Мои подруги смеялись над его именем — Давид! Как корове — седло. Дразнили — Ринат! Альберт! Я тоже считала странным этот выбор: Давид родился в светловолосой русской семье, папа у него работал на турбомоторном заводе, мама была рядовой медсестрой. Паша, Олег, Володя — все, что угодно, но он был Давид, жертва странной фантазии родителей, никак не толковавших эту свою фантазию. Они жили в области, в маленьком городке, прославленном тем самым турбомоторным заводом, и к нам приезжали редко, ненадолго, во всяком случае, я каждый раз забывала спросить, почему — Давид?

Куда правильнее было бы спрашивать у самой себя — почему Давид? Почему из множества возможностей, которые теперь представляются мне похожими на групповой снимок с веерами почти похоронных овалов, я выбрала именно это лицо — революционера, родившегося через пять лет после революции, космонавта, не допущенного к полетам, или врача, смертельно боящегося чужой боли? Давид мог быть кем-то из них, но не был ни космонавтом, ни даже врачом, мы работали с ним в одном здании, только в разных фирмах. И долго сталкивались друг с другом возле лифтов, и меньше всего я думала в те минуты высокими патетическими словами: вот с этим человеком я проживу всю свою жизнь или важную ее часть. Я думала: что он пялится на меня, этот тихий тонкий мальчик?

Я не любила Давида. Я не была в него влюблена. Я знала, что такое любовь, — и у нас с Давидом ее не было. Было совпадение свободных состояний, нервный вечер, прокуренный кабинет, незнакомые, но нежные руки.

До ночных бдений над картой Италии оставалось три года — ее, наверное, тогда уже отпечатали, эту карту, в какой-нибудь душистой типографии. Новенькая, ловко сложенная в книжечку, она лежала в пачке с сестрами-соседками, не подозревая о том, какие войны будут разыгрываться на ее просторах...

«Зачем тебе Эльба?» — ревниво спрашивал Давид.

Апеннинский полуостров похож не только на сапог, но и на голую старческую ногу, увитую тонкими жилками дорог — синюшно-голубых и багрово-красных. Скоро мы будем мчаться по этим венозным маршрутам, думала я и проводила черенком ложки по дороге, соединявшей Питильяно и Пьомбино. Я не ждала этой поездки, я боялась, что именно там мы поссоримся навсегда — ведь я не любила Давида.

Мы поворачивали итальянскую ногу так и этак, вертели ее на столе, как праздничную индейку, и карандаши наши спорили, сталкиваясь в воздухе, будто взбесившиеся самолеты. День отъезда был назван, так выбирают день начала войны. Карта была теперь согнута не по родным прежним сгибам, на обороте ее отпечатались дыхание наших ночных споров. Точно известно одно — самолет летел до Болоньи.

Италия огромная, думала я, разглаживая карту, может быть, Давид поймет — не так и важна Эльба, разве можно всерьез спорить из-за таких вещей, тем более идти за них войной? Я не хотела воевать, меня можно было везти на Эльбу без риска, что однажды я захочу ее покинуть. Карта хрустела, как будто я ломала ей крылья.

Самолет злобно рвал тучи, насупленный Давид читал компьютерный журнал и часто смаргивал, как давно забытый мальчик из детсадовского прошлого. В последние дни у Давида обострился виртуально-телефонный роман: девушка была не то Лариса, не то Кларисса, и они переписывались с одержимостью графоманов и чирикали по телефону, так что уши Давида багровели. Он уходил вечерами на кухню, делал вид, что работает, — и только багровое ухо проговаривалось, впрочем, мне было все равно. Я не любила Давида.

Люди не должны жить с теми, кого любят. Помню, как возмущалась моя мама — мало ли кто кого любит, при чем тут жизнь, брак, семья? Ее

непутевая подруга плакала в той самой родительской кухне, где теперь Давид беседует с Ларисой-Клариссой, я впечатывала лицо в мутно-зеленую гладь стеклянной двери, но слышала только всхлипы и мамино возмущение: при чем тут любовь? Мне было странно, что взрослые тетеньки тоже умеют плакать навзрыд, будто у них мальчишки сожрали конфету или выкололи глаза любимой кукле.

Давид меня любил, потому и завел себе Клариссу-Ларису, безобидную дамочку, зависшую на границе двух миров. Он думал, моя ревность сделает за него то, чего не сделала его любовь. Но я лишь замечала его свекольное ухо и снова проваливалась в книгу, как под лед. Я только в детстве читала так много, это помогало не хуже вина. Тем более Давид всегда сердился, если я напивалась. Я не нравилась ему пьяной, да я мало кому бы могла понравиться такой. Не пей вина, Гертруда. Поэтому мы договорились заранее, что не будем пить всю Италию. Италия — страна лучшего в мире вина и людей, обиженных на Францию, страну посредственных спиртных напитков.

Это я прочитала в путеводителе, который с трудом помещался в сумочке, поэтому я не стала его впихивать обратно, а понесла в руке так, чтобы другие пассажиры не видели обложку. Давид оставил компьютерный журнал в самолете, вряд ли он заинтересует еще кого-нибудь. Рядом шла двухместная семья, маленькая девочка и мама с лицом обманутой красавицы, у девочки в руке покачивалась полупрозрачная коробочка с куклой — кукла лежала на боку, как в гробике, казалось, кукольные ручки сложены на грудке крестом. Эта поза уместна при Маренго, но не на Эльбе, уж точно, что не на Эльбе.

В очереди на паспортный контроль Давид приосанился. Наступало его время.

Кругом смущались соотечественники, мусоля в руках паспорта, Давид смотрел на них с мягкостью и сожалением. Давид изъяснялся на английском лучше, чем многие из них на родном языке, еще он вполне сносно знал немецкий, и было у него по паре сотен слов из французского, испанского, итальянского. Языки давались Давиду с болезненной неохотой, страстно сопротивлялись напору, но в итоге все равно поддавались, пасовали перед упорной последовательной осадой. Трудолюбие Давида брало самые неприступные города. «Бонджорно, синьор», — сказал Давид полицейскому, запертому в стеклянной будочке, и тот улыбнулся ему, как родному. «Молодой человек, объясните ему, что мы будем три дня здесь, а потом в Риме», — потребовала тетка, стоявшая позади нас: она была вся в детях, и Давид покорно закатывал глаза от старания — я видела его радость, он любил, когда его преимущество признавали.

«Подземная стоянка, — переводил Давид. — Место 456, „опель-вектра“, цвет „юпитер“».

Мы блуждали по этой стоянке, как в лесу, где вместо деревьев красовались блестящие тела автомобилей. Притихшие, холодные, они казались мертвыми, и темнота была здесь голубой. Наконец, отыскав заветное место, я увидела нашу машину. Она оказалась больше, чем я думала, и вообще, мне вдруг стало страшно, ведь я получила права совсем недавно и никогда не бывала прежде в Италии. «Вдруг мы разобьемся и Давид никогда не узнает, что я его не люблю», — думала я, усаживаясь за руль. Давид уложил сумку в багажник и сел рядом. Расправленная карта упала к нему на колени, как мертвая птица, носок старческой ноги был направлен мне прямо в лицо.

«Будем ночевать в Болонье», — решил Давид. Я неловко выруливала из-под земли вверх, под серый плащ итальянского неба. Дорога была гладкой, как полоса обоев, приготовленная к поклейке, и не имела ничего об-

шего с той разухабистой трассой вдоль кладбища, где нервный инструктор Юрик бросал в окно изжеванные окурки и обидные слова. Юрика сменил Гена, Гену — Саша, водительские имена менялись, будто карты, но я никак не могла научиться плавно отпускать педаль сцепления. Потом, однажды, это вдруг получилось само собой, и что Юрик, что Гена, что Саша могли быть мною довольны.

В Болонье я снова вспоминала старые уроки и советы, малопригодные для итальянских дорог. Темнело до обидного быстро, мы не успели увидеть даже малого куска города, въехали в него одновременно с ночью. «Здесь живет мой любимый писатель, — сказал Давид. — Здесь, в Болонье, быть может, в этом доме». Я хотела глянуть за окно, но боялась отвлечься от дороги.

На площади, где с трудом помещался гигантский храм, Давид велел остановиться. «Будем искать гостиницу».

Давид быстро говорил с портье, на ходу перенимая от него примечательные обиженные интонации. Скузи, синьор, объяснял портье, но в Болонье проходит международная выставка, вам придется искать отель за городом.

«Хорошо, что я не стал вынимать сумку из багажника, — сказал Давид. — Давай поедем в другой город, мы ведь так и не решили ничего с маршрутом». Он снова распял на коленях карту. «Куда бы ты хотела? — спросил он вежливо, но тут же вспомнил: — Только не говори, что на Эльбу».

Над дорогой светился синий указатель: Ravenna.

«В Равенне похоронен Данте, — примирительно сказал Давид. — Ты как насчет Данте?»

Насчет Данте я почти никак. Могу продекламировать начало «Comedia Divina» — ну, ты помнишь, что, земную жизнь пройдя до половины, я очутилась в сумрачном лесу. А следующие две строки все равно никто не помнит. «Почему? — напустился Давид. — Я помню».

Мальчик из рабочей семьи начал читать Данте, мы выехали из Болоньи, накрытой темной вуалью — или москитной сеткой? До Равенны оставалось немного — каких-то восемьдесят километров. У меня заболела голова, Давид дремал, карта шуршала на заднем сиденье, почти как живое существо. Давид — настоящий интеллеktуал, он уходит в ванную с целой стопой журналов и книг: я слышу, как он отбрасывает прочитанное в сторону, по каждому такому хлопку можно угадать, хороша ли книга. Если нехороша, она летит на холодный пол с особенным грохотом. Давид читает за столом, прислонив книгу к пепельнице, в книжных магазинах продавщицы задумчиво вздыхают ему вслед.

Не все меряется любовью, говорила моя мама и приводила показательные примеры из жизни своих подруг и своей собственной жизни. Добавляя скорости, как перца в соус, я думала, что мерить жизнь любовью — это все равно как смотреть фильм, сложенный только из лирических компонентов. Скучно и стыдно за тех, кто все это придумал, нашел денег и снял. Упиваться уж тут, во всяком случае, нечем, и где интрига?

Давид спал, мы ехали в Равенну, я думала — чем еще мерить жизнь, если не любовью?

Я хожу в оперный театр каждую зиму и слушаю одну и ту же оперу — «Трубадур». За двенадцать месяцев хорошо заметны перемены в артистах: тенор Манрико сильно похудел, Леонора, напротив, набрала пяток килограммов, Феррандо поет с больным горлом, и только Азучена не меняется — у нее голос победительницы. Давид не любит оперу, поэтому я прихожу сюда одна. Всегда беру себе место в партере и пропитываюсь Верди на год вперед. Той зимой я так же сидела в партере и слушала музыку, но после второй картины поняла, что «Трубадур» перестал что-нибудь значить для

меня. С моего места хорошо была видна яма, и свет падал на контрабасиста так, что он оказывался виден мне ясно, как на большом экране. Молодой, с капризным семитским лицом, он так небрежно играл, словно речь шла не о музыке, а о какой-нибудь штопке или склеивании коробочек. Когда монашки плавно пересекали сцену, контрабасист поморщился от боли, кажется, ему свело плечо. Я не отрываясь следила за ним все три часа, исключая антракт — пришлось выстоять в буфете очередь за вином. Можно ли считать, что я изменила Давиду в этот вечер? С моей точки зрения, да, потому что контрабасист вместе с громоздким инструментом занял мои мысли надолго и расположился в них так удобно, что ничто другое в голову просто не помещалось. Конечно, через несколько дней музыкант выпал из памяти и оставил по себе небольшое облачко грусти, вскормленной вином и Верди, а значит, несамостоятельной. И не имеющей прав на долгую жизнь.

В Равенне похоронен Данте, и мне неловко признаваться в том, что я этого прежде не знала. Давид знает в точности, кто где похоронен, кто где родился, жил, умирал, он засыпает меня подробностями, каждая из которых мало весит, но вместе набирается ошутимая куча царапающих деталей. Боюсь, однажды мне будет сложно из-под них выбраться. К счастью, он успел рассказать мне о Данте на трассе, пока не уснул. Когда Давид спит, то совсем не походит на себя самого, словно бы все его знания похищены сном. Но мне надо было смотреть на дорогу, и, когда мелькнула надпись «Равенна», я разбудила Давида.

Свободных номеров здесь тоже не было. Давид в отчаянии говорил теперь уже только на итальянском, равеннцы изумленно поднимали вверх черные брови, но ключей от свободных комнат не давали. Дождь превратился в водопад, и в такую погоду Равенна ничем не отличалась от нашего родного города — серые камни, черные лужи, холод. Зачем нам Италия? Бабушкино наследство можно было бы потратить иначе, вот и родители Давида рассуждали сходным образом.

Мы кружили по городу, как птицы, желающие отвести преследователей от гнезда. На самом деле мы всего лишь искали гнездо для себя. Я часто думаю, что не хотела бы иметь детей от Давида, вряд ли я смогу их любить.

На выезде из Равенны синела вывеска еще одного «альберго», Давид хлопнул дверцей и почти сразу вернулся — для нас нашелся свободный номер, а внизу был ресторан, он даже работал.

...Давид посмотрел на меня и махнул рукой официантке. Через минуту она проворно выкручивала пробку из литровой бутылки. Вальполичелла, нежная и темная, будто венозная кровь, хлынула в мой бокал.

Мы честно договаривались не пить в этом путешествии. Но я была благодарна Давиду.

«БАРБАРЕСКО»

В отличие от Давида я никогда не считала себя алкоголичкой. Он с первых наших дней пошел в бой за мою трезвость, хотя не мог объяснить даже самому себе — а что бы с нами стало без вина? Лично я могла бы сказать, что благословляю вино — потому что с его щедрой помощью дни проживаются быстрее, а для меня это многое значит.

Я пью только вино, и мне нравится в нем все — начиная от самого этого слова, короткого и благородного. Попробуйте слово «вино» на вкус — и поймете, сколько в нем достоинства. Мне нравится ожидание вина, когда день еще только начинается, — и я живу от одного свершения к другому. Мелкие дела копятя и множатся, в такие дни я боюсь прекратить свою суетливую деятельность даже на секунду, потому что вся моя жизнь

при этом может развалиться — как плохая мебель под грузным седоком. Я и не обедаю по этой самой причине — мне страшно вынырнуть из пучины дел, я плаваю в них до вечера, а потом ожидаю вина.

Мне нравится запах дорогого винного магазина, где бутылки выстроены на полках, словно книги, — я подолгу читаю этикетки, как названия романов. Я люблю запах пыльного стекла, люблю звуки, с которыми вино плещется в тонких стенках — как джинн, который давно не был на воле... Вино я покупаю в одном и том же магазине, но не вступаю с продавцами в переговоры, мне совсем не хочется объяснять им, почему я люблю итальянское вино.

Когда я была маленькой, моя мама уехала работать во Францию, в город Бордо. Все мамины коллеги разъезжались в такие поездки, отказываясь от них в советскую пору было безумием, поэтому мама уехала на целый год — преподавать французам русский язык. Она очень скучала без нас, писала долгие письма, полные такой любви, какую я никогда потом ни от кого не получала — даже от самой мамы. Странно, эти письма я за чем-то храню и сейчас, храню, но никогда не перечитываю. Мама вернулась ранним летом, мы встречали на перроне московский поезд. «У тебя плохо заплетены косы», — сказала мама первым делом после того, как мы смогли разлепить объятие. Мама была очень красивой, и мои косы ее расстроили.

Мама привезла бутылку французского вина и особенный сыр — он был с таким сильным запахом, что кукла, спавшая в чемодане несколько суток, накрепко пропахла странным ароматом. Я крепко закрыла рот ладонью, и взрослые смеялись надо мной, и ели этот сыр, и пили вино. У куклы были шелковистые волосы, забранные в сетку, и на поясе платья сияла серебряная пряжка. Мама налила мне немного вина в кружку, я доверчиво набрала полный рот бордовой терпкой жидкости. И тут же выплюнула обратно — с белыми слюнными пузырьками, с отворачиванием, под новый смех взрослых.

С тех пор я не люблю французское вино, и мне всегда неприятно слушать, как его кто-нибудь хвалит. И я не поехала бы в Италию, если бы не мечтала об итальянском вине — хотя мы с Давидом договаривались не пить всю дорогу.

Не помню, как назывался отель в Равенне, это Давид все и всегда помнит — не только названия, но и номера в гостиницах, не обстановку в них, а сами номера — цифры, которые мы называем вечером, чтобы получить ключ. Утром Давид поднял меня рано, хотя я просила еще времени. Давид сердился: «Мы приехали отдохнуть, смотреть город. Это Италия, а ты спишь! Ты должна вдохновляться Италией!»

Я пыталась вдохновляться, но за окном был обычный рабочий район, а еще лил дождь — грустный, как день без вина. Машина стояла под окнами, я не умею парковаться красиво, и капот торчал под углом к проезжей части. Дождевые струйки стекали по стеклам, и мне показалось, что машина тоже плачет. Давид бросил два зонтика на заднее сиденье.

В Равенну приезжают те люди, кто любит смотреть церковные мозаики, или те, кто любит Данте, или такие, как Давид. Мы объехали все церкви города, Давид внимательно следил по путеводителю, чтобы я не халтурила. У могилы Данте он торжественно молчал и хмурился, мне было скучно и стыдно за то, что мне скучно. Черно-зеленая листва намочила и отяжелела от дождя. Данте крепко спал — в дождь всегда хорошо спится.

«Ведь ты из интеллигентной семьи», — укорял меня Давид. Когда он так говорит, я думаю, что этот укор весит куда больше, чем мне кажется, — ведь Давид не мог похвастаться культурным детством, но, правда, знал больше, чем я. Я могла бы долго рассказывать только про вино, но

даже здесь у меня нет систематических познаний, скорее — неясный опыт и эмоции, всего лишь.

К обеду мы были в Сан-Марино, а вечером въезжали в Урбино. Мы так поспешно покидали города, словно бы убегали от преследования, словно бы у нас был труп в машине и чемодан долларов под трупом. Труп нашей любви, подумала я вечером: в Италии рано темнеет.

В Урбино трудно парковаться — улицы холмистые, и мне с непривычки казалось, что «опель» покатится вниз, лишь только я оставлю его без внимания. Я возвращалась к нему несколько раз, как неврастеничка — к уюту, и Давид нетерпеливо махал мне от входа в отель. Свободные номера перестали быть редкостью, лишь только мы покинули Эмилию-Романью.

Обычно я крепко сплю в гостиницах, но в Урбино была такая высокая кровать, что я упала с нее ночью. На тумбочке стояла недопитая бутылка «Барбареско», и я дожидалась, пока Давид уснет, чтобы выпить еще бокал. Почему-то вино всегда очень быстро заканчивается, и мне грустно, когда я вижу, что в бутылке осталось меньше половины. Это словно бы знак, предчувствие того, что и в моей жизни тоже осталось меньше половины.

Вино — моя кровь, я не могу без него жить. И когда я упала ночью с кровати и больно ударилась спиной, мне показалось, что сейчас вино начнет выливаться из меня вместе с кровью и я умру от внутренней засухи.

В комнате пахло так, словно бы все люди, однажды жившие в ней, собрались вместе — со своими запахами... Лежа на полу, я думала — вместила бы их эта комната или очередь уходила бы в коридор? Гостиница кажется старой, очень старой, и держит ее семья — как обычно в Италии.

Урбино выложен из кирпича. Не только стены домов, но и мостовые — кирпичные, и мы оказались словно бы внутри большого фундамента, и улицы забирали вверх так круто, будто мы поднимались лестницей. Сегодня яркое солнце, Давид надел черные очки. Статуя Рафаэля смотрит на оставшийся внизу Урбино так, словно размышляет — рисовать его или выбрать другой объект для творческого интереса. Моя тоска не исчезает на солнце, но съезживается, кроме того, я помню о том, кому было намного хуже, чем мне. Правда, вначале ему было намного лучше, чем мне, и он больше моего понимал в любви.

Моя мама, которая всегда говорит, что любовь — не главное, имела ее в избытке, поэтому я воспринимаю ее слова как слова богача о ничтожности денег.

Однажды я увидела, как родители занимаются любовью, — мне было одиннадцать лет, и я в полном соответствии моральным нормам своего времени отказывалась верить, что приличные люди делают друг с другом такие мерзости. Мы обсуждали это с подружкой Маринкой под сенью деревянной веранды — в опустевшем к вечеру детском саду. Дошатые мостки скрипели под ногами, Маринка говорила: «Только уроды так делают». И днем позже я увидела родителей, занятых друг другом так, что никому больше не было места в этом орнаменте. Я закрылась в ванной на ключ, я всегда так делаю, когда хочу быть одна, — наверное, так делают все люди, выросшие в малогабаритных квартирах. Я сидела на краю ванны и ни о чем не думала, а когда наконец открыла глаза и посмотрела на себя в зеркало, то впервые в жизни поняла — я красивая.

«Ты очень красивая», — говорил мне Давид раньше. Теперь он говорит: «Зачем ты столько пьешь?»

Мне вполне хватает одной бутылки вина в день, редко когда я покушаюсь открыть вторую. Только если для этого есть некоторые особенные условия, а они бывают редко. И я никогда не стану пить водку или пиво, потому что мне нравится именно вкус вина, а еще я люблю долгий процесс подготовки к моему ежевечернему пьянству.

Если от него отказываться, то придется отказываться от всей моей жизни. От всего, что в ней есть, от Давида. Особенно от Давида. Но если бы я сказала ему правду — я столько пью из-за тебя, — он не поверил бы мне.

Я хорошо знаю Давида.

Он захотел сделать остановку в Джуббьо, и я не спорила — мы избегали автобанов, передвигались по узким дорогам. Автобаны быстрее, но с них ничего не видно, а Давид любит красивые виды из окна. Радио поет обиженными голосами, Давид вспоминает Аполлона Григорьева — «неистовство итальянского горла».

Я не понимаю, зачем Давиду Италия. Мы подолгу ищем подьезды к старинным монастырям, но Давид не задерживается там дольше десяти минут. Он скользит взглядом по нефам, апсидам, аркадам, словно говорит — «я так и думал», и поворачивается спиной к фрескам, и не замечает изурованных потолков.

Мне бы хотелось подольше задерживаться в этих старых соборах, где пахнет замшелым камнем и пыльным покоем, где никто не будет меня подгонять в спину — ведь мы мчимся из города в город, и это уже не путешествие, а какая-то гонка. Жиро ди Италия. Желтая майка лидера.

Вот уже и Джуббьо. Город готовится к празднику, и узкие улицы покрыты красной тканью — это выглядит так странно, что мне хочется снять обувь. Давид аккуратно шагает по красной улице, надменно оглядывая дома. Джуббьо боится не понравиться Давиду.

Мне не хочется выходить из машины, и я сижу пристегнутая за рулем. Давид возвращается через полчаса, объявляет следующую остановку — Перуджа.

«БРУНЕЛЛО ДИ МОНТАЛЬЧИНО»

Мой прадед разбился на тройке, будучи пьяным в дугу. Мой дед был запойным алкоголиком и гонял чертей кочергой. Мой отец бросил пить, только когда встретил мою маму. Наверное, у меня не очень хорошая наследственность.

Иногда у меня случаются периоды ненависти к вину. Они похожи на периоды ненависти к самой себе — тем, что обязательно заканчиваются. Не могут не закончиться, иначе придет смерть. Без лишних рассуждений на тему.

Моя подруга Анна говорит, что алкоголики ищут смерти и приближают ее с каждым днем. Похмелье для них — самое главное, именно похмелье, а не опьянение.

Для меня главное — предвкушение. Я люблю каждую букву этого слова, и у меня редко бывает похмелье. Легкая слабость, не больше. Я молода и здорова, ведь мать кормила меня грудью почти до двух лет. Кажется, я помню, как это было.

Мама не знает о моей любви к вину, ведь я никогда не пью при родителях. Я прячу от них свою слабость, как прячу бутылки от Давида.

В периоды ненависти я жестоко обращаюсь с вином. Общество защиты вина может подать на меня в суд. Я могу выбросить с балкона нераспечатанную бутылку кьянти только потому, что мысленно упрекнула ее в своей тоске. Вино — идеальный подкорм для тоски, на винной почве тоска растет и множится, посылая семена в будущее. Когда я думаю об этом, то могу вылить в раковину оставшееся с вечера «Соаве»: оно уходит в сливное отверстие бурным густым потоком.

От вина я не веселею, но если совершаю безрассудства, так только в его компании. Редко я звоню по телефону и сама слушаю, удивляюсь, как странно звучит мой голос, как непросто вытащить из памяти самые простые слова...

Номера, по которым я звоню, всегда одни и те же. Это номера людей из прошлого — не такого давнего, чтобы цифры телефона успели измениться, но и не такого ближнего, чтобы абоненты узнавали меня по голосу. Я сама не знаю, зачем беспокою их, и поэтому начинаю разговаривать судорожно и быстро, придумываю на ходу дела, которыми в прошлом могли бы заинтересоваться эти люди, и заранее мучаюсь стыдом: он упадет на меня утром, как пьяница падает лицом в тарелку.

«Ты корчишь из себя эстетку, но ты обычная пьяница», — говорит Давид. Я не оправдываюсь, я слишком далеко зашла в деле изучения вина, и только.

Раньше я думала, что хотела бы стать дегустатором, но потом прочитала в журнале, что дегустаторы никогда не проглатывают вино, а выплевывают его в ведро — после того, как погоняют во рту и наслаются вкусом. Мне такая работа не подходит, хотя, даже будучи дегустатором, я точно спилась бы и меня уволили бы с позором. Наверное, только Давид даже тогда остался бы на моей стороне. Иногда мне кажется, что Давид любит меня во многом благодаря моей винной зависимости — иначе меня было бы не в чем упрекнуть, наверное.

Мы сидим в маленьком ресторанчике в городе Перуджа. Это был не первый на нашем пути ресторанчик, потому что Давид хотел осмотреть старый город.

Перуджа очень старая, это город-старуха, и дома здесь особенно темные, и арки перемычками соединяют стены. Беспольные арки, они расположены так высоко, что ими трудно любоваться, и даже кошки вряд ли будут переходить по этим перемычкам. Улицы в Перудже такие узкие, что нам пришлось загнуть зеркала у машины, иначе они остались бы на мостовой. Мы почти скребем крыльями по стенам, и редкие прохожие вжимаются в дверные проемы. Найти место для машины в этом тесно составленном городе — невозможно, и мы бросаем ее на площади и долго идем пешком. Крохотный отель на втором этаже старинного дома — мы звоним в старомодный домофон, и хозяйка открывает двери. Она инвалид и делает все очень медленно. Давид заполняет карточку гостя и втаскивает сумку в номер. Окно здесь очень маленькое, но за ним хорошо видны золотистые крыши Перуджи, словно засыпанные осенними листьями. Темное дерево дрожит длинными ветками, и я снова думаю о том, сколько людей смотрели из этого окна прежде нас с Давидом.

В ресторанчике мало народу, в основном — пары. Напротив нас сидит молодая японка с приятелем: непонятно, итальянец он или нет. Он покрывает мелкими поцелуями японскую руку — от локтя до запястья, девушка снисходительно гладит его по голове свободной рукой. Девушка очень красива, рядом с ней непозволительно есть или пить — но ее спутник успевает поедать спагетти между поцелуями. Наверное, он все же итальянец.

Официант приносит вино, Давид стелет на столе карту итальянской ноги. Синими чернилами он вычерчивает наш маршрут, такой пока еще короткий. Сейчас Давид достанет из кармана куртки записную книжку и начнет записывать свои впечатления. Он делает это каждый вечер, даже если мы очень устали.

Я ломаю зубочистку и выкладываю из обломков букву «Д». Это моя старая привычка, и когда я однажды сложила букву «Н», Давид обиделся. Официант, словно жадничая, наливает капельку вина в бокал Давида — это «Брунелло ди Монтальчино», и Давид с важным видом пробует предложенное.

Я хотела бы сказать ему, что вино не надо пробовать в таких случаях, его надо просто понюхать — и если оно не пахнет пробкой, то скорее всего нас не обманули. Определить вкус могут только асы винопития, но Давид скривится и спросит: «Такие же алкоголики, как ты?»

В нашем родном городе, в том самом магазине, где я не разговариваю с продавцами, а только ставлю перед ними выбранное вино — как факт, мне однажды продали фальшивое итальянское вино. Оно пахло женским потом. Потом старой неопрятной женщины. Конечно, я не стала даже пробовать его и долго осуждающе смотрела на продавцов, когда снова вернулась в тот же магазин — я редко могу изменить своим привычкам.

Утром дерево все так же дрожит ветками, наверное, ему холодно — как мне. Давид готов к знакомству с Перуджей, он громко рассказывает, какие достопримечательности мы будем сегодня осматривать. Он подходит близко ко мне и спрашивает, неужели красота старой Италии оставляет меня равнодушной? Неужели меня не трогает эта хрупкая вечность?

Он очень внимателен, мой Давид. Он водит меня по храмам и музеям, он очень, очень торопится.

Куда ты спешишь, Давид? Остановись, посмотри на меня, догадайся, что мне нужно на самом деле. Ты умный мальчик, ты хорошо учился в школе, и начальник называет тебя своим лучшим сотрудником. Сможешь ли ты решить простенькую задачу из моего учебника: скажи, сколько литров вина мне нужно выпить, чтобы я решилась сказать тебе правду?

«ТРЕБЬЯНО ДИ СПОЛЕТИНО»

Моя подруга Анна увлекается психологией, и каждый месяц составляет гороскопы для себя и своих близких, и свое одиночество объясняет влиянием Марса на Венеру. Или Венеры на Марс. Однажды она отыскала тест «Алкоголик ли вы» и предлагала тестироваться всем желающим. Там было десять вопросов, и если бы я ответила положительно хотя бы на один, значит, я алкоголик. Я ответила положительно на восемь или девять, но меня это не впечатлило.

Здесь, в Италии, я часто вспоминаю Анну, и родителей, и того контрабасиста из оперного: сейчас самый конец сезона, наверное, он уедет на гастроли. Я не девочка и прекрасно понимаю, что если контрабасиста перенести при помощи волшебной палочки (или волшебных красок, о которых я мечтала в детстве) в мою жизнь, то очень скоро он станет неотличимым от Давида. Если не задумываться, не приседать на некоторых мыслях, то с ними вполне можно жить. Как можно жить до вечера, терпеть, пока не прозвучит невидимый стеклянный гонг.

Мы едем по дороге в Ассизи, зеленые поля с красными кляксами маков разбегаются в стороны. Давид не любит, когда я еду быстро или нарушаю правила: нам приходится плестись в хвосте старой «альфы-ромео» только потому, что Давид не позволяет обойти ее справа. Ассизи вырастает впереди, как упрек — стоило ли тратить время на другие города? Розовый город, сложенный из неровного субазийского камня, и множество странных людей вокруг. Мне всегда интереснее смотреть на людей, чем на камни или картины. В Ассизи приезжают паломники со всей Европы, многие переодеваются в монашеское платье с капюшоном и сандалии на босу ногу — наряд можно купить в ближайшей лавочке. Это как игра.

Один такой монах на поверку оказывается настоящим — во всяком случае, он выходит из храма с очень серьезным, углубленным взглядом, поддерживает веревочный пояс и усаживается за руль немолодого «фиата». Разворачивает газету — «Коррьере делла сера». Я так внимательно смотрю на этого человека, что Давид дергает меня за руку. У входа в базилику сидит стайка монахинь в черных косынках и кормит хлебными крошками другую стайку — голубей. Но голуби не черные, а такие же серые, как у нас.

В Ассизи я впервые вижу, как молятся католики.

Я верю в Бога решительно и страстно, и я почему-то знаю, что Он любит меня. Иначе я жила бы, наверное, в теплотрассе, и алкоголь шагнул

бы на первую строчку моей жизни. Вот так — не мое любимое итальянское вино, а просто алкоголь — любой, какой только можно найти. Если я все еще держусь в рамке, как фотография, то это потому, что Богу так хочется. И еще Ему хочется, чтобы я была именно с Давидом, хотя я каждый раз спрашиваю — Господи, ну почему Давид?

В Ассизи я впервые вижу, как молятся католики. Они собираются в крипте, вокруг надгробия Франциска, они стоят на коленях и закрывают глаза. Как будто слушают музыку.

Давид рассказывает мне о Джотто, рассказывает все те вещи, которые я знаю сама. «Кто ваш любимый художник? — спрашивала мисс Броуди и поправляла ученицу: — Леонардо да Винчи — это неправильный ответ. Правильный ответ — Джотто». Эти звезды, эти сразу и размытые, и яркие цвета. Я люблю только те задачи, на которые можно дать единственный ответ. Я отстаю от Джотто неохотно, как ребенок от материнской груди, но Давид уже скрылся в толпе. Я нахожу его на смотровой площадке, откуда видны долины Умбрии — зеленовато-карие, как глаза Давида.

Нет никаких препятствий для того, чтобы расстаться, — никаких, кроме любви Давида и моей нелюбви. Они одинаково крепко держат наш союз, я даже не знаю, на что можно рассчитывать вернее. Зато я точно знаю, как бывает после расставаний, — мне приходилось переживать расставания. Вначале наступает странная эйфория, которая, наверное, преследует разрушителей и убийц. Потом, когда проходят первые дни, ты понимаешь, что мир вокруг не думал меняться, и от твоего решения не рухнуло ни одного дома, и никто не повесился, и даже не попытался это сделать... В мою подругу Маринку влюбился мальчик из соседнего дома и пытался повеситься — его вытащил из петли приятель. Циническая мама Маринки говорила: вот вырастешь большая и будешь хвастаться — из-за меня вешались, только не рассказывай, что он выжил, это портит впечатление.

Сценарий расставаний всегда один и тот же: воспоминания идут в наступление всего через несколько дней. Только хорошие, милые и светлые воспоминания. Дурное забывается — как и положено дурным снам. Даже если это не сны. Я точно знаю, что если расстанусь с Давидом, то никогда больше не смогу приехать в Италию.

Я начинаю понимать, почему он со мной. Давид — это моя мера терпения. И без него я вполне могу рассыпаться по кусочкам, склеить которые вместе можно только при помощи вина.

Я привыкаю водить машину по Италии, мне даже начинает это нравиться. Давид рассказывает мне про Блока — он любил Сполето и ненавидел Флоренцию. Вначале ненавидел, потом полюбил, или наоборот, Давид не помнит.

У Давида невероятная память, больше, чем у самого мощного компьютера. Нет — десяти компьютеров! И он забывает ее любой информацией — лишь бы не думать о реальной жизни, той, что прямо сейчас вершится перед ним. Я его понимаю — я точно так же заливаю вином сложные и непонятные строчки, написанные в моей душе. Чтобы их не читать и не делать вид, что пыталась это сделать. Похоже на родинки, рассыпанные по моей левой руке — щедро и бессмысленно, это письмо мне так и не удается расшифровать.

Вино бывает белое, красное и розовое. Розовое вино в Италии — редкость, да я и не люблю этот девичий напиток. Днем мне хочется белого, вечером — красного. Я, как в казино, недолго размышляю над цветом, и хотя черного вина не бывает, мне кажется, что кьянти можно назвать черным. Гигантские стеклянные бутылки, словно распухшие от содержимого, напоминают трехлитровые банки из нашего детства, но эти украшены эти-

кетками и выставлены перед входом в лавочку в плетеных корзинах. Мы в Сполето — я долго не могу запомнить название.

Итальянская нога испещрена синими черточками, Давид привычно шуршит картой, пока официантка приносит «Треббьяно ди Сполетино» — я делаю первый, виноватый и такой счастливый глоток.

Вина могут быть глубокими, как голоса, и тонкими, как наблюдения. Они могут пахнуть яблоками, грибами, травами, медом — или чернилами, кожей, слезами, мхом. Все зависит от того, как относиться к вину, — ну и немного от того, как это вино делали. Итальянские вина не так капризны, как швейцарские, и не так прямолинейны, как немецкие. В них нет французского желания любой ценой выйти вперед и увесить шею монистом медалей. Я думаю, что итальянские вина скромны, куда скромнее самих итальянцев — людей, которые их делают и пьют.

Я медленно качаю бокал и смотрю, как по стенкам стекает густая кровь вина. Давид убирает карту в карман куртки и достает толстый путеводитель. Он хочет прочитать мне про Сполето. Потом он опишет этот день в дневнике, он подчеркнет слово «Ассизи» тремя волнистыми чертами и не сделает ни одной ошибки в слове «Сполето».

В Сполето мы впервые расстаемся — на несколько часов. Это моя просьба, я говорю, что устала и хочу полежать в постели до отъезда. На самом деле я хочу погулять по городу одна. Какая глупость — ведь город так мал, что Давид будет встречаться мне на каждом углу.

Кошки брызгают из-под ног, испуганные голуби вспархивают с темных арок. Можно подумать, что вместо меня по Сполето гуляет великан. На улицах почти никого нет, мне попались по пути двое людей, и они были похожи на туристов больше, чем на местных жителей. Я останавливаюсь на викола дель Трибунало, прислоняюсь затылком к холодным темным камням. Через арку я вижу Давида, он медленно идет по городу, не глядя на старые дома.

«ВЕРНАЧЧА ДИ САН-ДЖИМИНЬЯНО»

Тоска. Тоскана. Узкие паруса кипарисов, виноградники взбираются вверх в гору — как альпинисты. Города-крепости крепко сидят на холмах, они золотистые, поджаристые, словно печенье. Отдельные домики примостились на склоне, Давид просит подняться в гору на машине. Ехать трудно, тем более мы не позаботились о коробке-автомате. Я старательно глохну через каждые пять минут, Давид нетерпеливо смотрит в окно. Поджаристые дома увиты разноцветным плющом. Пока Давид бродит по городу, я курю в окно — как настоящий шофер. Италия. Тоскана. Тоска. Приходит толстый кот и ложится на капоте с таким видом, словно он оказывает мне этим огромную услугу. Возможно, так и есть на самом деле. Я оставляю кота сторожить машину и ухожу вслед за Давидом. Мы так и не узнали названия этого городка, и он больше всего похож на один большой дом — он весь одна сплошная улица и один дом. Даже церкви — их здесь четыре — крепко впаяны в общий монолит. Под окнами висят керамические плоские горшки — кажется, там цикламены. Розовые цветущие пятна на облезлых стенах.

Сегодня суббота, и я не знаю, чем сегодня занимаются в таких городах. Я вижу велосипед, прислоненный к входной двери, и куклу, которая сидит на пороге другого дома. Наверное, это ответ на мой вопрос. Девушка в длинной юбке, похожая на цыганку, стремительно вылетает из-за угла и здоровается со мной. Мне так же неловко, как если бы она застала меня у себя дома — воровку и взломщицу. Ведь этот город очень похож на дом.

Я выхожу к самой высокой точке города — где маленькая церковь и смотровая площадка. Пахнет мятой — она растет здесь повсюду. В церкви

пусто, мне нравится эта осмысленная пустота. Запах ладана еще не выветрился, его пока не победил запах мшелых камней. Если сесть на скамеечку, то можно просидеть долго — слишком долго.

Стоя на смотровой площадке, я вижу черную флотилию кипарисов, распаханное поле, овец, которые громко гремят бубенчиками в долине, аллеи пиний... Я вижу Давида возле нашей машины — он озирается вокруг беспомощно, как сова в клетке. Белый кот сладко спит на капоте.

В такие минуты я могу обойтись не только без вина, но даже без мыслей о нем. И я могу не думать о любви, о том, какая она есть на самом деле и какая она у меня. Эти минуты наступают меня внезапно, как сердечный сбой, — без предупреждений. Я смотрю на мир, на ту его часть, которую мне показывают в этот момент, и чувствую всегда одно и то же — счастье, что я могу это видеть. Я смотрю на Тоскану сверху и думаю: если Господь создал Тоскану, если она у него получилась, как получилось и все другое, включая нас с Давидом и белого кота, — так неужели он не сможет исправить мою жалкую, ничтожную жизнь — вправить ее, как вывихнутый сустав?

Вниз я бежала, забыв, что от этого будут болеть ноги...

За полями вырастают средневековые небоскребы Сан-Джиминьяно, и Давид снова заводит воспитательный разговор о моем пьянстве. Он искренне считает меня больным человеком, не способным контролировать свою болезнь. При этом он взывает к моему разуму — а значит, соглашается с тем, что я им еще обладаю.

В Сан-Джиминьяно он рассказывает мне о том, что первыми пьяницами Италии были женщины — вакханки, превратившие изысканную греческую традицию в вульгарный спектакль. Я представляю себе полуголых женщин в виноградных венках и рядом с ними — козлоногих сатиров. Давид не похож на сатира, он похож на красивого античного юношу, он сам знает об этом. Давид рассказывает, как в Риме запретили женское пьянство и отец семейства должен был каждый день целовать жену, сестру, дочерей, теток и даже родную мать в губы — на предмет запретного запаха. Я смеюсь, машина виляет из стороны в сторону, Давид обижается. Он говорит, что мое нарочитое любование вином, мое надуманное эстетство — не что иное, как покров для тяжелого порока. Давид беспокоится о моем будущем. В Сан-Джиминьяно две старинные площади, и на каждой вопит рынок, и Давид снова обижается — теперь уже не на меня.

Вечером он бережно целует меня в губы и ловит запах верначчи, — она легкая, как самое близкое к коже перышко, она пахнет заиндевевшей травой, и цвет у верначчи — как у волос Давида, светло-желтый, не солома, но янтарь...

Белое вино должно быть холодным, и если мне не удастся охладить бутылку до того момента, как захочется выпить, то я не буду пить вовсе. Разве это алкоголизм? Давид, давай лучше поговорим о любви. Давид крепко спит, во сне он выглядит еще моложе, чем в жизни, но я не говорю ему об этом. Красное вино не нуждается в охлаждении, но и подогреть его ни в коем случае нельзя — оно должно быть такой же температуры, как ладонь слегка замерзшей женщины. Можно ли пить белое после красного, это каждый решает для себя сам, и по части закусок нет никаких правил. Немцы на дегустациях подают хлеб — он впитывает в себя вкус предыдущего сорта. Сыр, хлеб, оливы и вино: как будто не было долгих веков цивилизации.

Белое вино может быть цвета золота, прошлогодней травы, солнца, слюны, древесины, детской кожи, бумаги, цвета грубого льна и цвета кари, цвета лилий и цвета собачьей мочи на снегу. Красное вино бывает цвета граната и цвета корунда, цвета женского румянца и цвета женских

румян, цвета сырого мяса, закатного солнца, сицилийского апельсина, свернувшейся крови, глины, цвета борща и цвета герани.

Когда я думаю, что мне плохо в Италии, я всегда вспоминаю человека, которому было в Италии еще хуже. Я хочу приехать на остров, где жил этот человек — долгие девять месяцев: если бы он был женщиной, то смог бы зачать, выносить и разродиться. Я хочу на Эльбу, но пока мы останавливаемся в Питильяно.

Я не могу разогнуть пальцы — они привыкли к скрюченному хватанию за руль. Я понимаю, почему водители всегда раздражены и капризны, как принцессы, у которых отобрали горошину. Без горошины жить очень тяжело. Питильяно сложен из туфа, он выходит из скалы, как статуя — из куска мрамора. Он золотистый, как верначча, и такой же невесомый — дома парят в воздухе, и если посмотришь чуть подольше, то сможешь недосчитаться парочки. Старые этрусские города, объясняет Давид, посмотри, как здесь красиво.

Соседний город называется Сорано, но жители Питильяно не хотят, чтобы туристы ехали в Сорано. Они хотят, чтобы туристы наслаждались только одним из туфовых городков Тосканы. Поэтому указателей на Сорано здесь, в Питильяно, нет.

МАРСАЛА

Ревность Давида почти такого же размера, как печень алкоголика в сравнении с другими внутренними органами. Давид ревнует меня к маме, Анне и вину, но больше всего он ревнует меня к узнику Эльбы. Если бы тот был жив, то Давид обязательно уничтожил бы его — по крайней мере вербально. Вслух он никогда не признается в этой ревности, потому что тогда можно загреметь в дурдом. Тем более, что я никогда не озвучиваю даже половины своих чувств к давно умершему человеку. Мне просто хочется увидеть Эльбу.

Туда уходят паромы из Пьомбино, это суровый некрасивый город на берегу Тирренского моря. Дальнобойщики из Сардинии выстраиваются очередь в кассы, их гигантские грузовики покорно остывают в порту. Наш «опель» кажется маленькой рыбкой среди китов. Лица у дальнобойщиков обветренные и страшные.

«Опель» едет в трюме, зажатый безжалостными грузовиками: так старшие мальчишки обижают маленького брата, и даже родители не могут прекратить издевательства. За иллюминатором — тосканский вечер, ранний и густой. Я выхожу на палубу, вижу, как приближается Эльба, — цепь мелких огней много раз обвивает горизонт.

Давно умершего, знаменитого и несчастного человека намного легче любить, чем живого, молодого и влюбленного — такого, кто решил провести с тобой в Италии несколько недель. Синие чернила вылезли за пределы старческой ноги — мы плывем на Эльбу.

Я говорю Давиду, что эта нога напоминает мне другой сапог — не итальянский, а испанский, который мы видели в музее пыток. В Сан-Марино.

В детстве я никак не могла научиться радоваться настоящему моменту. В цирке я спрашивала у мамы, скоро ли закончится этот номер и когда будут гимнасты. Появились гимнасты, и я спрашивала, скоро ли будут тигры. Мама терпеливо хмурилась. Я до сих пор не умею спокойно переживать дорогу и любоваться Италией только потому, что мы все равно в нее приехали. На берег в Портоферрайо мы съезжаем в «опеле» — он сильно нагрелся в трюме, он страдал, переживая моральное превосходство грузовиков. Я берусь за руль и едва не обжигаю руки. За окном поют странные вечерние птицы. Мы останавливаемся в гостинице «Вилла Омброза», ночью я слышу вопли чаек. Вторая бутылка была лишней — Давид

почти не пьет, и теперь я просыпаюсь ночью и кручусь в постели без сна, так всегда бывает после вина. Я засыпаю за полчаса до того, как Давид объявит подъем.

Перемены случаются быстро, в один день. День может быть протяженностью в несколько месяцев. Однажды я проснулась ночью и поняла, что вся моя жизнь стала короткими перебежками от одной мелкой радости к другой. Они держат меня над пропастью, и я бегу, бегу, как с вершины того неизвестного тосканского городка. Я совершаю те же поступки, как большинство людей, я не хочу прослыть или в самом деле стать сумасшедшей. Только вино — мой маленький потайной бунт.

В бесконечные дни, составленные из мелких радостей и проложенные густыми слоями тоски — как цементом, я поняла нехитрое счастье алкоголиков: оно не в пьянстве, а в убедительном безразличии к миру — что бы он о себе ни думал, что бы ни вытворяли люди.

Давид гордится своим великодушием — мы будем искать следы на Эльбе, и он не проговорится о своей неприязни к императору. Сан-Мартино — летняя вилла — вызывает смех Давида, она походит на сарай. Унылые каменные орлы разглядывают близкое море, буква N прячется в завитушках ограды. Итальянцы никогда не любили его и никогда этого не скрывали. Русский «принц» Демидов скупал личные вещи императора по всей Европе и женился на его племяннице. Это опять рассказывает Давид — рассказывает с омерзением и превосходством. Мне до слез жаль императора. Трудно представить себе более бесполезное чувство, чем эта жалость. Мертвому человеку она ни к чему.

Мы делаем большой круг по береговой линии острова — Давид просит останавливаться на каждой смотровой площадке. Чаще всего здесь встречается знак «камнепад», и нависающие над дорогой скалы упрятаны в сетку — как волосы моей старой куклы. Дорога вдоль моря очень узка, и я стараюсь не думать о пропасти, которая открывается справа. Навстречу летит ярко-синий автобус, водитель на расстоянии улавливает мой страх — и притормаживает, и мы расходимся легко, как в балете. На одной из площадок выставлен указатель — стрелка уходит в море, там — Корсика. Император мог приезжать сюда и смотреть на родные берега, в ясную погоду можно различить очертания острова — он как ожившая карта. Эльба очень мала, я не знаю, как он жил здесь долгие месяцы. Все же это всего лишь Эльба, а не остров Святой Елены. И Корсика совсем рядом.

Эльба — розовый остров, дома в любом городе выкрашены в этот цвет. Мы возвращаемся в Портоферрайо почти к вечеру, здесь в самом центре еще один «дворец» изгнанника — грязно-розовый домик, похожий на сельскую школу. Я ненавижу Эльбу.

Здесь делают плохое вино, грубое и непереносимое, как собственное бессилие. Я заказываю сицилийскую марсалу. Давид разворачивает карту. Мы могли бы никуда не уезжать.

Однажды я обязательно уеду на Сицилию, уеду одна и буду пить марсалу, и горничная в номере отеля украдет у меня черную юбку с шитьем: только сицилийка может потерять голову при виде такой юбки. Однажды — примерно то же самое, что никогда.

Я пью марсалу поздним вечером, вино сладкое, но подают его холодным — и от этого кажется, его можно выпить сколько угодно. Давид не следит за мной, он слишком занят картой. Из ресторана мы выходим поздней ночью, я не могу идти прямо, но Давид не хочет меня поддерживать. На его лице — ненависть, как же я раньше не видела, что он ненавидит меня почти так же, как я его люблю. Я люблю Давида. В пьяном озарении я раскидываю руки, как крылья, и убегаю прочь — по незнакомым улицам розового острова.

Я пыталась убежать от Давида, и спяну мне казалось, что это сделать — легче всего прочего. Я убежала от него по странно пустым улицам Портоферрайо, забыв начисто, что это Италия, что это остров, где никто о нас не знает и до нас никому нет дела. Это остров — все равно не убежишь так далеко, как хотелось бы. Давид шел за мной быстро, но не бежал — и этим был похож на маньяка из дешевых фильмов: они тоже идут с нарочитой неспешностью — уверенные в том, что жертва никуда не денется.

Я никогда не хотела быть жертвой, но убежала и слышала, как Давид повторяет своим холодным голосом: «Зачем ты так поступаешь со мной? Это я, Давид, ты что, не узнаешь меня? Ты слишком много выпила. Пожалуйста, не убегай. Я люблю тебя».

Я убежала от него так, словно от этого зависела какая-то большая беда, какой-то особенный успех в будущем. Но Эльба — остров, и отсюда не убежать далеко даже после самого лучшего вина: оно горит в жилах, как топливо. Я нащупала в кармане гладкий камень, утром унесенный с пляжа в Марчиане. Там была большая грозная надпись: строго запрещено уносить камни с пляжа. Давид перевел мне эту надпись, как переводил все и всегда. Я ласкала камень и говорила вслух: «Ему было хуже, чем мне, ему было хуже, чем мне».

Я устала бежать и пошла быстрым шагом, Давид нагонял меня, впереди темнели паромы. Я обернулась и через секунду врезалась лбом в ограждение, выросшее из-под земли. Я заплакала.

Через секунду рядом с нами притормозила машина с карабинерами. Я до сих пор не знаю, был ли это ночной патруль или кому-то из жителей Портоферрайо надоело глядеть на нас из окошка. Знаю точно, что смотрела слишком много фильмов: двери в машину были открыты, и я через секунду сидела внутри.

Карабинеров было двое — красивые крупные итальянцы. К счастью, я помню только это — как факт, без подробностей.

Один говорил по-английски. За время, проведенное с Давидом, я научилась понимать некоторые слова.

«Взять его с собой?» — он показывал на Давида, устало севшего на корточки перед машиной.

«Да. Нет. Да. Да-Да-Нет-Да». Карабинер не мог оценить мой политический юмор, но позвал Давида.

«Вилла Омброза», — я махнула рукой, как будто в такси, и машина плавно тронулась. Давид говорил: «Что ты наделала, дура, что ты наделала!» Потом он стал переводить, покорно, по привычке: «Он говорит, ему нужно пройти с нами в номер, посмотреть документы».

«Прего», — сказала я, карабинер обрадовался. «Он говорит, синьора знает итальянский».

Они шли следом за нами в номер, ночной портъе испуганно вынырнул из-за стойки. «Алкоголь», — виновато объяснял Давид карабинеру, и тот кивал согласно: «Алкоголь».

«Он спрашивает, что у нас случилось», — переводил Давид. Он открыл дверь ключом и махнул карабинерам, как старинным друзьям. Я увидела, что на диванчике под окном валяется мой зеленый бюстгальтер, и схватила его, ведь даже спяну я не хотела показаться неаккуратной.

«Потому что ты — Гитлер». Я села на диванчик и крепко сжала бюстгальтер в руках. Слезы текли по лицу, я утирала их зеленым кружевом.

«Гитлер? — заинтересовался карабинер. — Что такое Гитлер?»

Он был очень молод и получил, по всей видимости, плохое образование. Я смотрела на него с сожалением.

«Почему я Гитлер?» — спросил Давид. Он достал наши паспорта, и молчаливый карабинер аккуратно переписывал трудные славянские фамилии в специальную тетрадошку.

Карабинеры хотели помочь мне, но я не хотела с ними разговаривать. Как с продавцами из магазина, где обычно покупаю вино. Ушибленная голова болела все сильнее, Давид хлопнул дверью ванной. Карабинеры ушли, сказав «синьора» на прощание таким голосом, как будто синьора уже умерла. Я крикнула им вслед: «Вы никогда его не любили! Ваши предки виновны в его несчастье! И у вас гадкое вино!»

Давид лег в кровать и сразу выключил ночник.

Я позвала его тихо, но он не ответил.

Я проснулась утром на диванчике — в руке был сжат зеленый лифчик. За окном шумела Эльба. Император давным-давно умер, карабинеры переписали наши паспорта, марсала негодовала в моем желудке, Давид лежал под одеялом монументальный, как гроб, обтянутый полотнищем. Даже если бы я хотела, то не смогла бы придумать ничего хуже. Коротко пискнул телефон Давида — это Кларисса прислала ему эсэмэску.

Мне показалось, что Давид умер. Мне показалось вдруг, что это было бы легче для меня — смириться с его смертью, пережить ее, чем расставаться с ним после этого странного путешествия, этого бегства — по кругу, друг за другом, подальше от себя самих. Зачем люди делают это?

Я подошла к постели, легла рядом с гробом. Давид молчал, я протянула руку к подушке, она была мокрой. Когда я была маленькой, у меня текла слюнка изо рта во сне, и на подушке оставалось пятнышко. Давид не спал и не плакал, он смотрел сквозь меня, как будто меня уже не было. Я положила голову на его мокрую подушку и сказала слова, которые были сразу и правдой, и неправдой.

Сказала: «Я люблю тебя, Давид».



ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ



ОЖИВШИЕ ЗАПАХИ

* *
*

Чайник на плите по-хозяйски булькает,
пахнет котлетами.
На столе в хлебнице — еще не порезанные
булки
радуют солнечным светом.
И все вещи:
ложки, тарелки, крупы в упаковке —
оберегают меня от напастей внешних
домашней умиротворенностью, покоем.
И вдруг осознаю: эта благостная картина
вскоре рухнет —
я здесь гость, а впереди дорога отчаянная.
И намеренно тяну пребывание на радушной
кухне,
слушая булькающий чайник.

* *
*

Меня умиляют трогательные,
с какой-то провидческой грустью глаза коров;
мокрые ноздри; парующий язык,
слизывающий с моей ладони
крупички лакомой соли.
Мне кажется, животное чувствует, что я нездоров,
и не знает, как известить о приближающейся боли.
По щедрости, бескорыстию
в суровой родимой сторонке,
где отношения даже с близкими не всегда простые,
мало кто может сравниться с доброй буренкой,
разве святые.

Карасев Евгений Кириллович родился в 1937 году. Человек сложной судьбы, много лет провел в местах заключения. Поэт, прозаик, постоянный автор «Нового мира». Живет в Твери.

Блудный сын

Как выпивоха, ведомый каким-то
внутренним поводырем,
находит дорогу, выделявая ногами жуткие кренделя,
так и я, видимо, схожим чутьем одарен,
вернулся к порогу, откуда подался ловить журавля.
...Пахнет листом смородины —
огурцы солят.
Я вернулся на родину,
на круги своя.

* *
*

Я ночевал в гостиницах,
но чаще —
под открытым небом.
И утром с чайками
делился хлебом.
Спустя много лет
в тепле и неге,
услышав крик чаек,
я вспоминаю бесприютный берег
как невозвратное счастье.

Память

Поле пшеницы.
Иду в никуда.
Тропка петляет, как птица,
Уводящая от гнезда.
Ветер налетел — и с маху
лихо раздвинул хлеба.
Словно гуляка рубаху
рванул на груди у себя.
Мне кажется поле знакомым
и жерди вон той городьбы.
А может, ожила солома,
оставшаяся от молотьбы...

1975, 2004.

В конце дороги

Я вернулся в родные свои места,
откуда меня увезли под конвоем надолго
и далеко.
На той стороне речки слабо освещивает береста,
ровно отстаиваемое за окном молоко.
Поздно начинать жизнь с чистого листа,
новый искать стержень.
И только робко теплящаяся береста
еще вселяет крохи надежды.

Момент истины

Вот и пришла пора, когда
уже не смущают поношенное пальтишко,
стопанная обувь...

Утренняя речка. Вода
дымится, будто морозная прорубь.
...Из всего в житейской чехарде найденного,
добытого,

что зашибил, спроворил,
имею печально известное корыто.
И долгую лагерную историю.
...Смотрю на курящуюся речную гладь,
цепляющееся за берег полуутонувшее
корневище.

И опять вспоминаю мать:
— Ничего не надо, сынок.
Умереть бы под родной крышей.



ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ



ИЗ-ПОД КОЗЫРЬКА

Рассказы

СЮРПРИЗ ДЛЯ ТАТЫ

О пять она с каким-то «человеком» (так она говорит), с молодым или не очень, ничего особенного, но она держит его за руку и заглядывает в глаза. Когда Тата с кем-то (почти всегда другим) и ей нужна крыша, то сначала звонит, голос такой, ну вдохновенный, что ли, сразу ясно: новое увлечение, она пойдет с ним, ладно? Конечно, пусть заходит, разве они могут ей отказать, они знают про эту ее слабость (или силу?), ну да, ей нужно быть постоянно влюбленной, постоянно быть с кем-то (хотя она и замужем).

И непременно к ним (а куда еще, особенно если дождь или вьюга?), они ей всегда рады, ее здесь любят, да, такую, как есть, странную, взбалмошную, экспансивную, как ее еще назвать? Они ее не осуждают, а только качают головами, скорее удивляясь, нежели укоризненно, как ребенок она для них, эта невысокая хрупкая женщина, девушка, девочка, да, она пойдет с «этим человеком» (даже и пожилым, помолодевшим рядом с ней лет на пятьдесят), а дальше — небольшая пирушка, вино, музыка и танцы, она ужасно любит танцевать, потом они с «этим человеком» уединятся в маленькой комнате, а может, и в ванной, и все в квартире сразу замрет, верней, все будет продолжаться, но как бы замрет, а затем они вернутся к столу и будут молча поглядывать друг на друга, что-то говорить, наливать, будто ничего не случилось, опускать глаза, смотреть в стороны и вдруг снова исчезнут — в комнате или уже из квартиры, в темных закоулках города, на неведомых полях жизни.

Впрочем, случается, что они остаются у них, в той маленькой комнатке с диваном и торшером — для гостей, там обычно останавливаются родственники из других городов и весей, и там ночует она с «этим человеком», и утром все по-семейному пьют крепкий кофе и расходятся кто куда, но иногда бывает и так, что она с новым приятелем остается, а хозяйка уходит на работу, дочь в школу — уникальная возможность побыть вдвоем... И муж в курсе, что она тут, у самой близкой подруги, а та ни за что ее не выдаст, даже под пытками.

Да, они ее любят, несмотря на все ее завихрения, особенно дочь Катька, Катерина, Катрин, теперь уже десятиклассница, почти взрослая, с большими, чуть раскосыми глазами и длинной русой косой, которую в минуты волнения или смущения теребит пальцами, перекинув на грудь, словно это не коса, а четки.

«Что, Катюха, так смотришь?» — спрашивает Тата, видя ее восхищенные глаза, ведь знает прекрасно, что Катька в полном одурении от нее,

Шкловский Евгений Александрович родился в 1954 году. Закончил филологический факультет МГУ. Автор книг прозы «Испытания», «Заложники», «Та страна», «Фата-моргана». Постоянный автор журнала. Живет в Москве.

она всех их заворожила, не иначе как магия. Они всё делают, как она скажет, ни в чем ей не отказывают, хотя мать Катюхи, лучшая Татина подруга, и морщится после ее очередного звонка: «Опять с кем-то спарилась» — цинично и грубо, но так и есть, в сущности, а все равно ведь не откажут: «Приходи!» Витя же, материн хахаль (уже лет пять вместе, хоть и не расписанные), с Катькой даже и не скрывают своей радости. Ага, значит, сейчас будет — ура! — весело, пьяно, грустно, сумасбродно, богемно, странно, обожаемый Брамс, любимые «Битлз»... All my troubles seem so far away...

В общем, праздник — когда она вот так неожиданно-негаданно объявляется, вся сияющая, тревожная, звенящая, точно натянутая струна, и все сразу начинают суетиться, что-то готовить, будто день рождения или Рождество, словно ждали ее и наконец дождались. Так-то Катерину не допросишься что-нибудь помочь, норовит слинять, а тут нате вам, снует с тарелками, хлеб режет, салат готовит, словно для нее это привычное дело (кто бы подумал?). И все — из-за нее, из-за Таты, ясное дело, Тата сейчас придет... Бывало даже так, что откладывала встречи с друзьями, если вдруг узнавала о ее неожиданном визите.

И вот уже застолье, выпивают и закусывают, новый знакомый несколько тушуетя, но рядом Тата, а с ней все просто и удобно, атмосфера все более разряжается, все более душевная и теплая. Тата то локтем коснется его, то вдруг ладошку нежно положит на его руку, то глаза на него скосит и смотрит не отрываясь, забывшись, — видно, что увлечена. И уже разряды в воздухе — в смысле флюиды, любовные, словно они все заражаются от Таты, даже мать с Виктором иначе как-то поглядывают друг на друга, более ласково, что ли, не как обычно.

«А не зажечь ли свечи?» — предлагает Тата, следующий уже этап, всем известно, но всякий раз внове и так же волнующе — конечно, отличная мысль, гаснет свет, над длинными фигурными свечками колышутся острые язычки желтого пламени, сладковатый аромат плавящегося воска...

Катюха не спускает глаз с Таты, чуть ли не гипнотизирует ее: нравится ей в Тате все — и как ест, нехотя словно, бокал с принесенным шампанским грациозно поднимает тонкими пальцами или опрокидывает лихо стопку водки, если настроение выпить именно водки (опять же принесенной), а иногда ее же, то есть водку, мелкими глотками, словно в той сладость какая; вот она разглядывает, чуть сощурившись, пламя свечи, задумчивые глаза прямо напротив глаз Катерины, желтые от пламени, тигриные. Может, самое захватывающее мгновение — Татины глаза напротив, хотя в них и нет Катерины, а есть только сквознячком колеблемое пламя да новый человек.

На Татиного приятеля Катерина даже не обращает внимания — ну еще один, ну вроде симпатичный, скольких она уже видела, приходивших вместе с Татой, всегда она так же клала ладошку сверху на мужскую грубую руку и вот так же вскидывала влюбленные (или просто заинтригованные) глаза. Кажется, Катюха сизмальства помнит, как Тата так же вот неожиданно могла нагрянуть к ним, и мать (кажется, и Виктора тогда не было, никого не было, потому что отец ушел от них, и потом они были с матерью вдвоем) так же ее привечала — лучшая подруга, сумасбродка, но как славно им вдруг становилось с ее приходом — весело, пьяно, грустно, разнузданно, богемно, странно, обожаемый Брамс, любимые «Битлз»...

Конечно, бывало и по-другому, иногда звонила мужу: «Я останусь у Нины», — и все опасались, что Сергей (не мог же он, души в Тате не чаявший, не ревновать) нагрянет — и тогда...

А что тогда?

Ну, собрались, ну, некий человек, разве не может к Нине (Тата, естественно, ни при чем) зайти мужчина? Впрочем, Сергей, похоже, предпочи-

тал не рисковать (наверняка догадывался) и ревновал издали. Тата что-то выкрикивала в трубку, со слезами в голосе: он ее не уважает, не доверяет ей, неужели она не может побыть хоть немного у подружки?.. Они же договорились, что не будут ограничивать ничьей свободы, какая жизнь без свободы, слышишь? Ты не должен так говорить! Ты не смеешь!.. А Катерина с матерью и новый приятель слышали, как она кричит, пьяная, в дальней комнате, что без свободы любовь невозможна, и пусть он не сомневается (муж) — для нее он самый близкий и родной, пусть он не дергается, завтра (или даже сегодня) она непременно будет дома, пусть спит спокойно...

«Пусть спит спокойно» — почти издевательски.

«Почему она кричит? — временами вдруг всерьез озабочивалась мать, преданная Татина подруга. — Почему?» — почти впадала она в панику. Но та снова появлялась в комнате — как ни в чем не бывало, с какой-то отчаянной улыбкой на лице, ни следа слез и криков, и тут уже начиналось что-то совсем несусветное — танцы до упаду, вино рекой, поцелуи, исчезновения и появления, убеги на улицу и возвращения, и всех захватывало это коловращенье, эта праздничная кутерьма, только ночь тревожно заглядывала в окна, прорываясь минутами сквозь завесу музыки, тихая ночь городских будней, так внезапно разорванных Татиным вторжением и ее очередной любовью.

В какую-то из пауз (приятель Таты наливает рюмки, сама же Тата топчется возле) Катерина подходит к ней, кладет ей руки на плечи: она приглашает Тату на танец. Ничего удивительного, Тата рядом с Катериной такая же девчонка, сразу и не разберешь, но она почему-то отказывается: нет-нет, она хочет танцевать только с «этим человеком», с новым приятелем, в котором Катерина ничего не находит, она почти ни в ком из новых приятелей Таты ничего не находит, все они для нее на одно мужское лицо — и что Тате в этих чужих малоинтересных людях? Правда, без них встречались бы гораздо реже, так что Катерина вынуждена смириться: они для нее — как обязательный довесок к желанному Татиному присутствию.

Когда-то катались с тетей Татой на лыжах, и Катерина с трепетом наблюдала, как та лихо скатывается с высокой горы, мелькая в своей ярко-красной куртке между деревьями. Бесстрашная. Нина говорила: без царя в голове, отчаянная, бесшабашная — про нее, про Тату, а Катерине это нравилось, ей нравилось все, что ни делала Тата, как и весь ее облик — миниатюрность, длинные кукольные ресницы, большие темные глаза, короткие волосы, стройные ноги...

Тата про нее тоже говорила: классная девчонка, дергала за косу — настоящая? — смеялась. Ах, как Катерина любила этот ее залиvistый беспечный смех, и Нина тоже, они любили втроем смеяться, до слез, до упаду, до колик в животе, причем совершенно без повода; стоило только показать палец, как снова взрыв смеха. Нинин Виктор первое время обижался на этот их «истерический», как он его определял, смех — ему казалось, что это над ним, не понять почему, смеются. А просто так, переглядывались и заходились в новом приступе. Конечно, Виктор, да и никто другой, ни один из Татиных приятелей, не понимал этого беспричинного гомерического хохота, сидели со смущенными, недоумевающими лицами, переводя взгляд с одной на другую, а тех еще пуще разбирало — корчились, умирали, вытирали платками слезы...

Ни с кем Катерина больше так не смеялась, никогда.

Она, Катрин, классная — ей это не просто льстило, а словно какую-то надежду вселяло. Все-таки Тата говорила, не кто другой. Впрочем, она и так знала, что классная, мальчишки по ней сохли. Но подруга матери — особый случай. Было в самой Тате что-то неповторимое, трудноопределимое, чего не

было в других и что возвышало ее над всеми. И эти ее бесчисленные приятели, новые, старые, можно запутаться, — до них Катерине не было дела. И Сергей, муж, ну что Сергей?.. Конечно, жаль его немного, но Тата...

Тата вне конкуренции.

Катерину даже не смушало, когда та с приятелем исчезала в их гостевой комнатке или они запирались в ванной. То есть не сказать, что она ничего не испытывала, нет, было, настроение в эти минуты резко падало, тоска, даже ненавидеть начинала Тату, но потом рассеивалось... Свобода, вспоминала крики Таты по телефону, свобода...

Катерина берет вдруг грустно задумавшуюся Тату за руку: ладошка маленькая, как у девчонки, горячая. Когда-то тетя Тата и ее брала за руку, и они шли в кино или в зоопарк. Она ослепительно хороша, эта подруга матери, Кате хочется что-то сделать для нее, ну хоть что-нибудь, чтобы та обратила на нее чуть больше внимания, дернула за косу («настоящая?»), оторвалась от этого своего мужика, к которому тесно прижимается и которого даже ни разу не назвала по имени. Если б он знал, сколько уже до него таких побывало здесь, запиравшихся с Татой в гостевой комнате или в ванной! А если б и знал, впрочем, что ему, раз он с такой обалденной женщиной. Он, а не кто иной.

Мать с Виктором тоже выпили вина и топчутся неподалеку, танцуют, ни на кого не обращая внимания. Для них очередное Татино увлечение — привычный эпизод, хотя и есть в нем нечто праздничное. Они этим пользуются, пользуются Татиной энергией, подпитываются ею. Им хорошо.

Катерина одна за столом, потягивает из бокала, голова немного кружится — желтое пламя свечей, золотистое мерцание хрусталя, тигриные глаза Таты, танцующей с «этим человеком», все повторяется и тем не менее внове, что-то завораживает Катерину в Татином лице, влечет...

Она поднимается и направляется к ним. Теперь она совсем близко, удивленный взгляд «этого человека», вопросительно-недоумевающий — Таты. «Ты должна потанцевать со мной, — твердо говорит Катерина, беря Тату за руку и оттягивая ее от партнера. — Слышишь?» — «В чем дело, деточка?» Лицо Таты темнеет. «Ты должна потанцевать со мной, должна», — машинально повторяет Катерина.

Ей еще что-то надо сказать Тате, рвется изнутри, но никак не выразить, в голове путается.

«Ты много выпила». Тата отрывается от партнера, берет Катерину под руку и ведет снова к столу. «Тогда посиди со мной, — просит Катерина, обнимая Тату. — Просто посиди». — «Ну что ты, что ты? — Тата гладит ее по волосам. — Все ведь хорошо, да? Все хорошо?» — «Я не знаю, — говорит Катерина, чувствуя, что по щекам текут неведомо откуда взявшиеся слезы. — Я не знаю...» Сквозь накатывающие волны хмеля она чувствует, что эта женщина с тигриными глазами, подруга матери, снова готова ускользнуть от нее. «Не ходи к нему, — неожиданно просит Катерина, сжимая талию Таты, и тут же повторяет почти властно: — Не ходи!»

Странное удовлетворение испытывает Катерина оттого, что эта женщина сейчас рядом с ней, что их руки соприкасаются и она чувствует тепло ее разгоряченного тела.

«Успокойся, — говорит Тата, — все хорошо...»

Она ускользает, еще немного, и ее уже не будет рядом.

«Ты очень красивая, — выдыхает Катерина. — Самая-самая...» Возможно, это не те слова, не совсем те, какие она хотела бы произнести, но почему-то вырываются именно они.

«Спасибо, — отвечает Тата, пытаясь высвободить руку. — Ты славная девочка, я тебя тоже очень люблю».

Катерина гладит ее маленькую узкую руку, которую держит у себя на коленях, будто пойманного котенка, перебирает пальцы с темными намагниченными ногтями, потом наклоняется и неожиданно целует ее.

«Ты что? — вздрагивает Тата. — Зачем это?»

Она пытается встать, но Катерина удерживает ее, тянет за руку вниз. Тата испуганно оглядывается на «этого человека», который молча курит возле полузавешенного темного окна, мать с Виктором курлыкают на диване в углу, кажется, никто не обращает внимания на то, что происходит между Катей и Татой.

«Ладно,пусти! — уже сердится Тата. — Тебе надо отдохнуть. — Она мягко, но решительно высвобождает руку, ее тигриные глаза желто вспыхивают, отражая пламя свечей. — Пустип!»

«Не пушуп! — громко выкрикивает Катерина, впиваясь еще крепче в Татину руку. — Не пушуп!»

«Слушай, так нельзя, — зло шипит Тата, беспомощно оглядываясь. — Что ты тут такое устраиваешь?»

«Нет, можно, можно, — выдыхает Катя. — Брось его, не ходи!»

«Все! — Терпение Таты кончается. — Все! Хватит!» Рука ее с силой высвобождается из Катиных цепких пальцев.

«Ах так, — кричит Катерина, — тогда уходи, убирайся! Ты...» Она сбиается, но губы ее шепчут что-то... — что ей самой страшно произнести громче. Она шепчет, но слово взрывается в комнате с шипением петарды.

«Девочке плохо», — дергается, как от удара, Тата. Она отступает к дверям в прихожую. Она пятится, пятится, пятится...

«Катя! — кричит Нина дочери. — Прекрати сейчас же, сию минуту!..»

«Пусть убирается, все выметайтесь! Видеть вас не могу!» — несется из комнаты.

Трам-с... Треск захлопнувшейся входной двери.

Сюрприз для Таты.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

Занавес уже опустился, но зал еще несколько минут погружен в молчание, потом — каскад рукоплесканий. Аплодисменты продолжают греметь и тогда, когда актеры, несколько раз выбежав на бис, похоже, уже окончательно покинули сцену.

Не унимается зал. Все хотят режиссера, и вот наконец он стремительно выходит: невысокий, голова с крупными залысинами, в тонких затемненных очках, на щеках трехдневная щетина, в коричневых вельветовых брюках и черном свитере с высоким воротом. При его появлении зал буквально взрывается овацией: режиссер знаменитый, спектакль гениальный, зрители вне себя от восторга...

Режиссер благодарно, с чуть иронической снисходительностью кланяется.

Сразу после этого К. срывается с места и бежит за кулисы, оставив Анну ждать в холле. Ему нужно непременно поймать Б., то есть режиссера, они уже сто лет не виделись, с тех самых пор, как тот уехал в столицу, а ведь когда-то были близкими приятелями, правда, тогда еще даже театра здесь не было, а было старое здание клуба и там, помимо кино, выступали приезжавшие на гастроли столичные труппы или разные известные артисты, они вместе туда пробирались — тайно. Только они и знали об этом лазе: сначала по пожарной лестнице, потом через пыльный чердак на черную лестницу, там самое трудное — приходилось спрыгивать с довольно большой высоты, а еще — чтобы дверь в фойе была не заперта, тут уж как повезет, потому что ее иногда закрывали, а иногда нет.

Лотерея... Но им чаще всего везло, они проскальзывали в фойе, а потом в зал...

Наверняка Б., знаменитый режиссер, об этом помнил, не мог же он забыть того волнения, особенно когда они, миновав все препятствия, с пересохшим от напряжения и чуть першащим от чердачной пыли горлом, усаживались в зале на ступеньки... Приятель уже тогда с ума сходил по театру, К. — тоже, пусть и не так страстно. Хотя его больше манило приключение — лестница, чердачный лаз... Впрочем, и спектакли он смотрел не без интереса, а приятель, тот участвовал во всяких школьных постановках, в десятом классе даже сам поставил «Маленького принца» и играл в нем одну из главных ролей. В зале хлопали и несколько раз вызывали на бис — у ребят и вправду неплохо получилось, азартно, вдохновенно.

Теперь же К. работает в местной газете заведующим спортивным отделом, однако ходит и в театр, уже обзаведшийся новым современным зданием, где помимо прочего еще и культурный центр, кафе с баром и Интернетом, зал для всяких выставок, в общем, все тип-топ... Они тоже щипают хлеб, у них тоже культурная жизнь...

К. усаживает Анну (свою девушку) в баре, берет для нее чашечку кофе, а сам нетерпеливо ходит вокруг. С минуты на минуту должен появиться старый приятель, теперь знаменитый режиссер. За кулисами его не оказалось (К. опоздал): все его только что видели, и нигде его не было. Потом К. сказали, что тот собирался спуститься в бар, там его уже кто-то дожидается. Но вот прошло уже минут пятнадцать, а приятеля все нет.

— У них там совещание, — говорит К. Анне, — спектакль обсуждают. Это как после футбольного матча: тренер проводит работу над ошибками, анализирует матч, дает наставления... Важно по горячим следам — пока в памяти все свежо, так эффективней.

С тех пор как они виделись в последний раз (Б. приезжал тогда в родной город на похороны отца), больше двадцати лет прошло, срок немалый, виски К. давно уже седые, да и приятель, ставший знаменитым, тоже изменился, несмотря на свитер и вельветовые брюки: постарел, стал еще сутулее, на носу очки (раньше не было).

Впрочем, какое это имеет значение? У К. своя жизнь, вполне сложившаяся, в городе и области его хорошо знают, его спортивные репортажи и заметки в их областном «Курьере» прочитываются почти всем грамотным мужским населением едва ли не прежде политических новостей, и в театр, кстати, он может ходить бесплатно, для него всегда найдется место — директриса культурного центра тоже его хорошая знакомая, до этого она работала в том же «Курьере», в отделе культуры. Но ходит он в театр не часто, хотя и охотно, всякий раз вспоминая про их с приятелем давние чердачные вылазки. Столичных гостей он никогда не пропускает, а если удастся, то всегда расспрашивает про Б. — как он и что?

«Мой старый приятель, — говорит он. — Мы с ним такое вытворяли!» — и многозначительно улыбается.

Если честно, то К. несколько обижен: в конце концов, Б. мог бы как-нибудь дать знать, что приезжает, не говоря уже о том, чтобы пригласить на спектакль, короче, вспомнить об их старой дружбе, ничем, в общем-то, не омраченной. Понятно, все они слишком заняты, задыхаются от всякой мелочевки, тогда как на главное совершенно не хватает времени. Да, на главное...

Вот тут К. внутренне осекается: опять же если честно (любимое его выражение), что — главное?..

В самом деле, все уже состоялось: он — видный журналист, в газете его очень ценят, захоти, то мог бы стать заместителем главного редактора, а то и главным (кто знает?), но его вполне устраивает должность заведующего спортивным отделом: сам себе голова, больше и не надо.

Понятно, провинциальная газета, даже и крупная по местным меркам, все равно останется провинциальной, но ведь и тут — люди, болеют, меж-

ду прочим, за свои, местные, а не только за столичные команды, любят своих спортсменов... ну и журналистов.

Да, тут тоже жизнь, не только в столицах, в каком-то смысле даже более насыщенная, так что на этот счет никаких комплексов. Он бы, наверно, и не хотел жить в большом городе, тем более в мегаполисе, в этой постоянной сумасшедшей гонке с пробками, суетой, перенапряжением. А слава, ну что слава, кого-то она, может, и греет, ему же достаточно и того, что у него есть.

Хотя бы и двадцатидвухлетняя Анна, красоты замечательной, жемчужина, можно сказать, и вот — с ним, с К., которому уже за сорок. Чем не удача, чем не успех? И ведь не потому, что ей что-то нужно от него, а вполне бескорыстно, по взаимному влечению, родству душ и т. п. Он с нежностью оглядывается на нее, сидящую за столиком, с чашечкой кофе, волнистые белокурые волосы стильно стянуты косынкой, серые глаза — как два озера. Анна — супер, вполне могла бы стать топ-моделью.

К. распирает от гордости, что такая замечательная девушка именно с ним, он даже подумывает о том, чтобы...

Впрочем, зачем забегать вперед? Он — старый холостяк и привык к вольной жизни... К тому же и разница в возрасте.

Анна любит спорт и любит театр. Театр, возможно, даже больше, и это нравится К.: спорт — это спорт, а театр — искусство. Это говорит только в пользу Анны, ее любовь к театру. Он заметил, как вспыхнули ее глаза, когда он сказал про детскую дружбу с Б. Оказывается, Анна про того много слышала и даже видела по *ящику*, надо же, кто бы мог подумать, что они когда-то были друзьями?

Как ни странно, но К. волнуется, курсируя взад-вперед в ожидании встречи с Б., которого все нет. Несколько раз он присаживается рядом с Анной, но почти тут же вскакивает и снова начинает расхаживать. Впрочем, что тут странного? Столько лет прошло... А он между тем отчетливо помнит и пожарную лестницу, и чердак с его затхлыми понурыми запахами, и даже известковый белесый скол стены в том месте, где они спрыгивали... В сумраке — сосредоточенное лицо Б., тогда еще без очков, курносое, с веснушками, чуть бледное от напряжения — то ли от сознания опасности, то ли — страсть к театру, нетерпение поскорей попасть на спектакль...

От нахлынувших внезапно чувств К. сейчас бы обнял Б., каким бы знаменитым тот ни был, и потом... ну что такое слава? — нечто абстрактное, почти неосязаемое, не дети они, почти все уже понятно про эту жизнь, которой, если опять же честно, не так-то много и осталось. Вот-вот Б. войдет, и они обнимутся крепко, по-братски, потискают друг друга, похлопают по спине, и все сразу встанет на свои места. Очень важно иногда похлопать друг друга по спине, выколачивая пыль времени, или стиснуть крепче, так, чтобы хрустнули малость заостренвшие суставы. Впрочем, они с Б. еще очень даже ничего: К., как спортивному журналисту, просто неприлично быть не в форме. Да и театральному режиссеру, вынужденному подчас — для наглядности и в назидание актерам — выделять всякие замысловатые трюки.

К. в который раз оглядывается на задумчиво отхлебывающую кофе Анну: удивительная!.. Интересно, что скажет Б., когда увидит ее. Кто-кто, а он-то наверняка сумеет оценить ее красоту, хотя ему, наверно, и не привыкать: там, у себя в Москве, постоянно ведь среди красавиц... Уж и подустал, не исключено, от такого изобилия. И что ему до провинциальных красоток, если там его потчуют по высшей категории?

А все равно. И в юности-то Б. был большим ценителем. Помнится, они за одной девочкой ухлестывали в десятом классе, голубоглазая, волосы такие же белокурые и волнистые, как у Анны, даже чуть не рассорились (что-то в этом роде), а та все-таки склонялась к Б., как-никак артист-

тическая натура, хотя пока еще и не знаменитость. В школе, впрочем, все равно был замечен — пока они в футбол гоняли или на брусках крутились, Б. в спектаклях репетировал и даже кое-что сам ставил. Футбол — это футбол, а театр — ...

Что говорить! В общем, переиграл он увлекавшегося тогда (и всегда) спортом К., увел девушку. Надо же, как-то выпало (вытеснило) из памяти, неприятный такой казус, вроде как соперничество.

К. смотрит на дверь, откуда должен вот-вот появиться Б., в свитере и вельветовых брюках, но видит в то же время и Анну, закуривающую сигарету. Как же хороша, однако, хоть сейчас на обложку модного журнала! Иногда даже не верится, что она с ним, с К., такое везение...

Сердце тревожно екает: а вдруг Анне понравится Б.?

Знаменитость как-никак, хлопала-то очень азартно.

У него тогда промелькнуло еще: ага, если он обнимется с Б., то непременно возвысится в глазах Анны, не может не возвыситься — с такой знаменитостью вась-вась, не зря, значит, она с ним... Даже как-то иначе себя ощутил сразу, будто и вправду вырос, хотя и без того немаленького роста, плечи и всё там, спортом занимался всю жизнь. Ничего, он тоже неплох, сам по себе, но и вообще, вот у него какие приятели. И все они в их небольшом городке не лыком шиты... И Анна с ними, с ним, а не где-то там, за тридевять земель, в столичных элитных клубах, с неведомыми хозяевами жизни в малиновых пиджаках и золотыми цепями на шеях, в остроконечных саламандровых туфлях и в галстуках от Диора.

Ну где ты, Б., покажись наконец!

Когда Б. появляется в баре, слегка утомленный, с красными пятнами на бледном лице — от уже принятого, и не раз, коньяка, в шумном окружении актеров и актрис, тоже уставших, но все еще возбужденных от восторженного приема (привычного и все равно хмелящего), к нему сразу подсакивают несколько из местных журналистов и завзятых театралов, кое-кто с диктофоном, кто-то с программкой для автографа, а кто и с брошюрой про него, недавно вышедшей. Девушки жмутся стайкой в уголке — вдруг удастся познакомиться? вдруг судьба сделает кульбит и знатный столичный гость положит приглядчивый острый глаз из-под затемненных круглых очков à la Джон Леннон?

Именитый режиссер крутит головой, глазами шарит по сторонам, с некоторым даже беспокойством, вроде как выглядывает в полумраке кого-то. Сейчас, одну минуту, простите... Ну да, видел же он в зале К., старого приятеля, одноклассника, ау, милый, и потом ему сообщили, что тот его искал и собирался дожидаться в баре.

Глаз постепенно привыкает к полумраку, различает настороженную чуткую стайку в уголке, готовую ринуться по первому зову, такую знакомую по всяким разным местам, где приходится бывать с гастролями, глаз ищет-рыщет, попутно срывая цветы славы, но только все равно не находит того, кого ищет.

Ни его, ни той милой (весьма, весьма, ай да К.!) барышни рядом с ним...

ЗАКОН

Так и сказала: понимаете, нельзя мне! И ведь, безусловно, была права, а в остальном...

Теперь это был главный императив ее жизни: нельзя! Именно ей, конкретно...

То есть нельзя обижаться, гневаться, злиться и прочее. Даже эмоции менее высоких степеней накала, но несущие в своей сути все тот же нега-

тив, скажем, просто неприятие другого человека, для нее теперь были недопустимы. И не только выраженные как-то внешне, вроде худого слова, но даже и сокрытые в себе. Явные или тайные, не важно, они так или иначе разрушали ее. Да, именно теперь и именно ее, когда она знала, что ей *нельзя*.

Точно, нельзя...

А знала она это совершенно твердо — теперь, когда ее, слава богу, отпустило и она была вроде бы здорова, ни болей, ни внезапных резких приступов слабости — такой, что ни рукой, ни ногой не пошевелить, ни забывания некоторых слов — как раз в ту минуту, когда нужно сказать что-то очень важное... А главное — опухоли!

Ведь было, было, причем совсем недавно, целый букет всяческих недугований — мука мученическая. И не только физическая. Когда нужно сказать что-то важное, а не можешь, и не потому, что лишилась голоса (хрип и все такое), а — слова не вспомнить, самые насущные, тоже пытка, разве что боли нет.

Сама знала...

Адские, адские мучения... Насквозь прожигало. Болью даже не назовешь — огонь, самый настоящий, раскаленный свинец по всему телу, ни одного живого места.

Нет, только не это!

Врачи, а что врачи?

Конечно, сразу же побежала к ним: анализы, исследования, рентген, биопсия — полный набор. Диагноз — хуже некуда. Немедленная операция, срочно ложиться в больницу... И все это с печальными, почти похоронными лицами, будто все, конец, даже если и операция, то не факт, что поможет.

Собственно, после того внезапного приступа она и стала бегать по разным целителям, а что оставалось? Врачи, те, конечно, разрежут, им что? Работа у них такая. Подруга подсказала: есть один, не очень известный, поговори!

Когда шла, почти не верила: у скольких уже побывала, в том числе известных, — толку-то!

А этот — обычный с виду, крепкий такой, строгий, властный. Руки сильные, плечи, лицо грубоватое, в оспинках, но хоть не отталкивающее. Биолог по профессии, все-таки что-то понимает. Но на целителя не слишком похож.

Побеседовали. Денег, сказал, не возьму, если не будет результата. Условие одно: она должна отказаться от всего прежнего. От себя прежней. Жить только по Закону. Ничего особенного: все те же десять заповедей. Но только уже всерьез — и в делах, и в мыслях. Откат чреват еще худшими последствиями. Если она согласна, можно попробовать.

Как будто от нее зависело...

Первая мысль — отказаться...

Тем не менее сделала над собой усилие. Она — и не она. Жизнь предыдущую пыталась не вспоминать, а если и вспоминала, то как бы о другом человеке. Отстраненно.

Иногда получалось. Вроде как не она, а некая другая женщина.

Было же так: вернувшись домой с работы, нашла записку от мужа: вся их совместная жизнь — ошибка, пусть простит, если может. Вот как...

В общем, рядовая ситуация. Но это когда не с тобой, самой обаятельной и неповторимой. А если с тобой, то это уже...

В общем, обвал... Пусть даже только и забрал свои вещи (полупустой шкаф), все прочее ей. Квартиру, мебель, даже машину. Никакого сутяжничества.

Благородный человек.

Ну да. Только: как же это? Пятнадцать лет все-таки! Предательство — не иначе. Ни поговорить по-человечески, ни объясниться — фиговый листочек, буковки жалкие. А все почему? А потому, что испугался, струсил! Догадывался, что будет взрыв, — знал ее. Если уж понесет — не остановить.

И раньше бывали вспышки, но ведь и любовь была, и детей она не родила, чтобы не мешать его карьере, его ученым трудам (кому они нужны?), а теперь, значит, — ошибка, да?!

Проведала, где этот благородный человек нынче обитает, пошла туда и, когда дверь открылась, выплеснула на порог помойное ведро. Вот чего стоит его благородство! Нет, не преследовала его, не звонила, даже пассиву его новую не желала лицезреть (на кого променял), тем ведром все и кончилось.

Но в душе-то...

Неужели правда про природу?

Когда вы (а не вам) случайно наступаете кому-то на ногу в набитом битком автобусе, то как вы на это реагируете?

Есть два варианта:

первый — вы сердитесь за собственную неловкость на самого себя;

второй — вы сердитесь на того, кому сделали больно, — за его неловкость.

В первом случае — вы вините себя, во втором — другого (а не надо ноги выставлять!).

С ней так и бывало, но когда *тот человек* сказал ей об этом, она ему не поверила. С чего он взял, что она реагирует именно так, а не иначе? А он вовсе и не сказал, что именно так, и только так. Сказал, что скорей всего так. Просто она никогда не задумывалась, не анализировала своих эмоций.

В ответ пожала плечами, неопределенно, и тут же поймала себя на неприязни — из-за его слов, а еще больше — что так быстро ее расколол, холодными руками в душу влез и разъял, как хирург скальпелем. По живому и теплomu, так сказать. Ответить бы что-нибудь, резкое, злое, язвительное, а потом уйти, хлопнув дверью, — пусть с другими развлекается. Тоже психоаналитик нашелся!

Так бы и случилось, если бы он не добавил неожиданно: у вас природа *огненная*...

Что-что?

Да, природа огненная, понимаете, и огонь этот вам же самой способен большое зло причинить.

А ведь и вправду, почудилось, многое объясняет. По квартире ходила босиком, редко в тапочках: жарко, ступни горячие... И ладони. Вправду горячие.

Энергетика!

Как ни странно, вдруг примирило с ним, именно: огненная природа! Сразу согласилась, приняла.

Вроде как откровение — про себя.

Да, огонь.

Багряно-желтые отблески, как в пылающем костре. А ведь когда-то и вправду любила смотреть подолгу на пламя: в лесу и дома, нарочно под-

жигала бумажки в консервной банке, а однажды чуть не устроила настоящий пожар. Любимое занятие в детстве — зажигать газ на плите. По многу раз чиркала спичками, нарочно не донося их до конфорки и давая погаснуть, чтобы иметь возможность зажечь снова. Мать сердилась, что она никак не научится.

Мать всегда на нее сердилась, все ей не нравилось, что она делала. «Иди лучше отсюда, я сама приготовлю...» — раздраженно отсылала из кухни. Сначала звала, потом выгоняла: «Руки-крюки».

А она, что ей оставалось делать? Естественно, обижалась, и как потом оказалось, обида — на всю жизнь. И теперь, хотя мать и жила, слава богу, отдельно, отношения не ладились: в каждом слове мерещился упрек, претензия, а главное, раздражало материно пристрастие к мелочам — поговорить не о чем, кроме как про стирку, готовку... или про политику. Пустое все, а мать чувствовала по голосу и тоже злилась: ничего общего!

Тут ее сразу заносило: сама меня всю жизнь отрицала, а я твоя дочь — имеешь то, что хотела. Можешь винить себя. Дальше — больше: крик и слезы, пока кто-нибудь не бросал трубку.

Потом переживала, звонила, каялась, все худо-бедно восстанавливалось — до следующего раза. Пламя вспыхивало мгновенно, даже и искры не надо — горело постоянно. Лучше б не звонила. Но мать — словно нарочно, знала, где пошевелить.

Когда муж ее бросил, даже не посочувствовала. «Удивительно, что этого раньше не случилось» — и кто говорит?! Разве что-то еще возможно после этого?

Вообще звонить перестала.

Нельзя, нельзя обижаться, а с матерью иначе не получается. Лучше уж так — никак то есть. Пусть там сама, тем более что всегда подчеркивала свою независимость. Гордая. Ну и пусть себе гордится (непонятно чем)!

Неужели не поняла?

А *он* даже не прикасался к ней — чуть поодаль сидел, положив руки на колени, смотрел прямо перед собой (не на нее). За стеной комнаты (у него дома все и происходило) иногда слышны были детские голоса, его детей, трое, младшему лет восемь, иногда женский, жены его (ни разу не встретились). Сам открывал дверь, пропускал строго.

Просто молча сидел, вполоборота к ней, метрах в трех, и вдруг — будто разряд тока, раз, другой... И тоже словно кипятко по жилам, а вслед — тишина и покой, какого никогда не испытывала. В ней самой и вокруг, и везде — в воздухе, неожиданно прохладном, в небе за окном, в серых осенних облаках. Еще почудилось — свет, чуть рассеянный, обволакивающий, нездешний.

В ту ночь тело несколько раз прошивали мгновенные разряды, до самых недр.

Он объяснил: все в порядке, это *он* проводил «уборку».

Простое такое, домашнее слово, но почему-то страшно. Имейте в виду, сказал, мы с вами продолжаем «работать» и вне сеансов, так что возможны самые неожиданные ощущения. Это он ее предупредил, чтобы она — в случае чего — не пугалась.

В общем, поразительно, почти неправдоподобно, а главное — недуги ее и в самом деле стали мало-помалу исчезать, один за другим, один за другим... Будто и не было. Похудела, наверно, килограммов на десять, кожа натянулась, одежда стала свободней, кое-что даже ушивать пришлось. Самой не верилось.

И что вы думаете? Врач, тот самый, который говорил, что нужно срочно делать операцию, долго вертел перед собой рентгеновский снимок,

поднимал, опускал, смотрел на свет, колдовал над бумажками с результатами анализов, прежними и теперешними, приятный такой пожилой лысоватый врач, доктор наук, с немного испуганными глазами. В лице — изумление:

— Невероятно...

— Что «невероятно»? — поинтересовалась.

— Я ничего не вижу.

Не находил он ничего — из того, прежнего. (Не было прежнего!) Наверно, так бы и не поверил, если бы все эти анализы не были сделаны в его же медицинском центре. Она же испытала к нему просто-таки необъятную благодарность — за это «невероятно».

Внутри — мягкое всепримиряющее тепло и... покой, тот самый, благодатный.

«Вы все поняли?» — это *он* спросил, когда передавала ему конверт с деньгами.

Разумеется, она поняла.

Только Закон...

Теперь она жила по Закону, словно пробудившись или, наоборот, уснув. Тихо ей было внутри себя, даже с матерью могла разговаривать не раздражаясь. Мать, правда, с ума начинала сходить от такого ее загадочного буддийского спокойствия, однако все ее попытки вывести дочь из равновесия терпели фиаско. Как бы ни распекала ее, в чем бы ни упрекала и ни обвиняла — все мимо. Мать терялась и неожиданно спрашивала, почти участливо: ты как? И она радостно отвечала: отлично, а что?

Сама не понимала, как так получалось, разве что вдруг волной восторг — от собственной неуязвимости. А что восторг? Восторг — не злорадство. Восторг — чувство чистое и не агрессивное, в нем не столько огонь, сколько свет, искрящийся, будто снег на солнце, холодный свет, ледяные торосы и северное заполярное сияние. Тишина и покой.

Не пронять ее.

Однажды случайно столкнулась с мужем. Бывшим. И не где-нибудь — в театре, на премьере. Тот, зная ее нрав, похоже, приготовился к паническому бегству, тем более что был с этой своей новой (ничего особенного), но она даже в лице не изменилась — настолько в ней уже утвердилось. Воссияло. Так могли бы смотреть на камень или птицу — безразлично и даже чуть снисходительно.

Скользнула взглядом словно по пустому месту и — мимо, без всякой неприязни или тем более ненависти. Заполярный восторг — светло, чисто...

Свет сильней огня, вот что. А свет — от Закона.

А они-то все думали, что вспыхнет и испепелит...

Правда, не всегда так. Случались и спады, один шаг до... И ступни ни горячи, ни холодны, и по квартире ходила в обычных домашних тапочках на войлочной подошве, пусть и на босу ногу.

Собственно, если рассматривать ситуацию объективно, жизнь ее, которая в юности обещала быть если не счастливой, то, во всяком случае, радостной и полной разнообразными приятными вещами, несмотря на все наезды матери, — что эта жизнь теперь?

Он сказал: испытание...

И сама, впрочем, догадывалась.

Ну и ладно... главное — чтоб здоровье! А молодости, понятно, все равно не вернешь. И пусть всем будет хорошо, пусть!

Кому — всем?

А всем поголовно — от матери в первую очередь до бывшего мужа с его новой. Всем-всем. И вообще...

Только так.

Поверила ему...

Закон есть закон.

И отлично. А *его* она так теперь и воспринимала — как представителя Закона. Вроде гуру, ну да. Учитель и Наставник, как бы отец или старший брат: спокойствие и безопасность.

На сеансах такой и был: в себе, отстраненный, сосредоточенный, властный, чуть вполоборота к ней — как бы связывал ее с чем-то, переправлял на нее поток исцеляющей светоносной энергии.

Эта его отстраненность даже досаду иногда вызывала. Она-то, поверив, все про себя рассказала: и про мужа, и про отношения с матерью, и про все-все (жгущее)... Молча выслушивал, кивал головой, сам говорил мало, в основном на вопросы — коротко, с явной неохотой.

Выходило, значит, так: негативная энергия ее выжигает, но она-то скорей всего сама ни при чем, возможно, родовое, генетическое, уходящее корнями в непроглядную толщу, где, собственно, и зарождается... что зарождается?... ну вот огонь. Оттого и несет ее, и жжет, и обугливает...

Про огонь понятно. Про Закон тоже. И про «нельзя».

Во время последнего сеанса вдруг положил руку (широкое, густо поросшее темным волосом запястье) на ее — будто зверушку маленькую поймал. Как бы проверял температуру ее тела — есть ли огонь? Огня не было, пока он так держал, в душе спокойно и холодно, а он все не снимал и не снимал руку, и слова, которые произносил, не сразу доходили до сознания: женщина, то есть она интересует его именно как женщина, в конце концов, он тоже живой человек, а в ней — нераскрытая женская сила, задушенная. Огонь, он чувствует, огонь. Как и в нем самом. Влечение — тоже огненной природы, но подавлять его — ошибка, да, ошибка...

И еще что-то, более откровенное, с жаром в лице и в голосе, ладонь все горячее, все крепче зажим.

Короче, она нужна ему.

«А как же Закон?» — спросила растерянно. И руку попыталась высвободить.

Тщетно.

«Закон? А что Закон? — пробормотал, склоняясь к ней низко. — У каждого свой Закон».

Крепко ее держал, а теперь еще и к себе, рукой тяжело обвивая, притягивал, ближе и ближе. Не давал ускользнуть.

«Ничего, — словно в бреду шептал, обняв властно. — Все у нас будет хорошо, все получится».

Как это «свой»? Что получится?

Тут-то и взорвалось в ней, полыхнуло, раскаленный свинец по жилам — как прежде... Боль не боль, ярость не ярость — что-то отчаянное...

Земля пламенела.

А ведь нельзя ей было!

ИЗ-ПОД КОЗЫРЬКА

Нет, не дает покоя тот его взгляд. И зачем он так?

Собственно, заехал он, чтобы отвезти меня в аэропорт на своем красном «пежо» — в бейсболке, в какой я его ни разу не видел, в слегка про-

дранных джинсах и выдавшем виды свитере, эдакий несколько замасленный, спортивный, студенческий вид, сумочка напоясная для прав и прочей мелочевки на слегка выпирающем животике. Не привык я к такому его облику — обычно костюм, галстук, вольность — расстегнутый воротничок белоснежной рубашки плюс расслабленный узел галстука. А тут — что-то из давних времен, забытое.

Я уезжал, а он оставался — здесь, в этой стране, о которой мы когда-то могли только мечтать. Тихие туманные утра на Сене, желтые расплывчатые огни фонарей и неоновая реклама ночью, мелодии аккордеона... Мы любили этот волшебный город какой-то безнадежной любовью, и вот теперь для него он — вторая родина, а я, залетный гость, возвращался к себе.

Мы не виделись больше десяти лет, но, как оказалось, мало что изменилось — он все помнил, и когда речь заходила о ком-то из друзей или однокурсников, всплывали самые неожиданные подробности — как кто-то упал в Москву-реку и его потом долго вылавливали, ноябрь, холодно, для согрева вливали водку из милой студенческому сердцу чекушки, верное лекарство, и — ничего, обошлось, еще передавали друг другу запретные стихи, на желтых, истрепавшихся по краям, истончившихся от многих рук листках бумаги, с блеклыми полустершимися буквами, а кто-то, похоже, стукнул, и пришлось что-то плести у декана, который смотрел искоса хитроватыми умными глазами из-за толстых стекол очков — непонятно было, чего он хочет: действительно ли узнать правду или чтобы придумали по-лучше отговорку, поскольку сам все прекрасно понимал и, не исключено, даже сочувствовал. А еще по пьяной лавочке красным фломастером писали большими буквами на стенах чьей-то хорошо обставленной квартиры, прямо на дорогих обоях, «мене, текел, фарес», помнишь, и сыну хозяев квартиры потом точно выпал «текел», он ходил обиженный и ни с кем не разговаривал. А еще ездили на юг, и соседка по купе, пожилая седовласая женщина из Сухуми, пригласила к себе переночевать, а утром учила варить крепчайший кофе по-турецки, с пенкой, от которого сердце потом пламенело и билось о грудную клетку...

Аркадий все помнил, словно и не уезжал, словно его жизнь не поменялась кардинально, — а ведь крепко намыкался здесь поначалу: брался за что ни попадя, квартиры ремонтировал, посуду мыл в ресторане и даже бибиситтерствовал, пока наконец не получил вид на жительство; вскоре его неожиданно взяли в довольно крупную фирму, где нельзя было появляться без пиджака и галстука, и тут он уже начал быстро подниматься — аж до системного администратора, ездил пока на не новом, принадлежавшем фирме «пежо» — и мы с ним закусывали копченой курицей в Фонтенбло, в Версале возле домика Дюма близ Марли-ле-Руа...

Да, это была Франция, Париж, где он теперь действительно чувствовал себя как дома, ездил отдыхать на Лазурный берег, расплачивался карточкой, попивал в свое удовольствие красненькое и разговаривал по-французски как записной француз, почти без акцента.

Неделю мы почти не расставались вечерами, часами просиживая в кабачках, бродя по бульварам и набережной, он рассказывал про свою работу, про здешних знакомых — русских и французов (в основном), сдержанно, без особых эмоций...

Все-таки он сильно изменился, хотя внешне и не очень заметно (разве чуть выпятившийся от сытой сидячей жизни животик), а ведь когда-то остро на все реагировал, как д'Артаньян, был стремителен и бесшабашен, собственно, благодаря этому, наверно, и оказался здесь, в этом городе городов, столице мира, — не мог он оставаться в стране, где нет воздуха, где из любого чинуши на тебя глядит усатая морда рябого дьявола, где нет ни

сортиров, ни дорог и вообще ничего нет, кроме друзей, но и те вдруг исчезают, и тогда ты чувствуешь себя (его слова) словно в космосе...

Тем более не понимаю, зачем он так сделал.

Мы уже стояли в лифте с моим чемоданом, а она нас провожала, моя квартирная хозяйка — милая пожилая француженка, всю эту неделю терпеливо сносившая мои полуночные возвращения и вообще проявившая себя с самой лучшей стороны. Радушная, она угощала меня по утрам чашечкой прекрасного черного кофе с круассаном, с искренним любопытством расспрашивала про далекую холодную Россию, вздыхала и качала головой. Перед отъездом она застенчиво вручила мне сувениры — небольшой прекрасный альбомчик моего любимого Матисса и пачку молотого кофе, так что покидал я ее дом с теплым благодарным чувством. Мы, чуть вытянув как бы для поцелуя губы, легко соприкоснулись, по местному обычаю, щеками, двери лифта вот-вот должны уже были сомкнуться, когда стоявший рядом со мной Аркадий вдруг метнул на хозяйку — из-под длинного козырька бейсболки — странный такой, быстрый взгляд и неожиданно раскатисто, на весь подъезд рыкнул:

— Au revoir.

Это и впрямь было очень неожиданно, учитывая его низкий зычный голос, в лифте прозвучавший резко и оглушительно — почти как окрик, почти как немецкое *hände hoch*, — бедная француженка обморочно побелела, и на лице ее на мгновение появилось жалкое выражение испуга.

Оно-то и не дает мне до сих пор покоя, словно это вовсе не Аркадий, которого она уже однажды видела вместе со мной, а именно я так диковато с ней простился.

Всю дорогу до аэропорта по лицу приятеля блуждала шалая довольная улыбка, будто он все еще наслаждался своей странной выходкой, а меня все подмывало задать ему вопрос: что это было и зачем?

Впрочем, так я его и не задал — то ли не успел, то ли забыл, и вот с тех пор мне почему-то не по себе.

Бейсбольная шапочка с длинным козырьком, острый мгновенный взгляд, оглушительный львиный рык, бледное испуганное лицо мадам Брижитт...

Когда-нибудь, будет случай, я все-таки еще спрошу его. Всенепременно. Здесь или там.

Нет, правда, зачем он так сделал?



ГРИГОРИЙ КОРИН

*

ОКРЫЛЕННАЯ КНИГА

* *
*

Меж злом и добром
Воздвигнут твой дом —
Прекрасный.

Меж злом и добром
Молодцом-ходоком —
Не шастай.

Меж злом и добром
Не ползай вьюнком —
Опасно.

Меж злом и добром
Не плачь о своем —
Напрасно!

* *
*

И в жизни бывшей и небывшей
Что остается от тебя,
Своей затеей дороживший,
Страничку каждую скрепя.
И зрела по листочку книга
Среди неисчислимых рук.
И каждая строка — верига,
Вверяла сердцу новый звук.
И лики в ответах иконы
Прослеживали жизнь твою,
И свет вздымался заоконный
Весь в однокомнатном раю.
Покамест двигалась работа
И я над нею вырастал,
Распалась память, словно в сотах,
Рой потерял свой интервал.
Но мне помехою не стала
И возвращалась в нужный миг,

Корин Григорий Александрович родился в городе Радомышле (на Житомирщине) в 1926 году. Автор нескольких лирических сборников. Живет в Москве. «Его стихи — одна пронзительная и очень беспощадная исповедь» (Б. Окуджава).

Пустая стая улетала,
Лист превращая в беловик.
Но все равно следы потери
Не возместить мне, не вернуть,
И только свет нетленной веры
Не даст мне потерять свой путь.
К утру из Оптиной пустыни
Молитву старцев вспомню вмиг.
И вмиг уходят мрак и иней
Со стопки окрыленных книг.

Мой дед

Мой дед хранил природу,
Вставал
Чуть свет.
Мой дед глядел
Как в воду,
А я — нет.

С утра смотрел он чутко
На божий свет.
Он был без предрассудков,
А я — нет.

В одном он прожил доме
Всю жизнь, дед.
Я — всех домов не помню,
Конца им нет.

Родню берег,
Как око,
Делился с ней.
А вот в моей — нет проку
Ни мне,
Ни ей.

В окно глядел с рассвета,
Молился дед.
А я — с утра в газету,
Потом — на свет.
Легко он делал благо,
А мне — трудней.
Он выкормил ватагу
Своих детей.

А я —
Всего лишь дочку
За жизнь одну.
Он отвечал за рошу,
Я — за страну.
Участок невеликий
Знал дед-лесник.
Одну читал он Книгу,
Я — много книг...

* *

*

Кто взошел из крыла, кто — из моря,
Кто Словом был взят, кто — измором.

Кому небо — дом, кому дом под крышей.
Кому жить землей, кому тайной свыше.

Знай, во всем, что живет, есть великая сила.
Между звезд золотых голубые стропила.

Уцепиться за них — как с бедой расквитаться,
Если даже в отрешьях до кончины скитаться.

* *

*

Все уходит безвозвратно,
Остаются только пятна
Памяти слепой, —
Лошадь водят по базару
Два цыгана под гитару,
Просят на пропой.

В гору движется паломник...
Над строкой сидит надомник...
На гвозде висит пальто, —
Пыльно в городе уездном,
Память — прорва, как известно,
Что ни вспомнишь, все не то.

* *

*

...Но как искры сыплются из печи
Буковки Его. Его слова
Загорятся, как на свадьбе свечи,
И к утру поднимется трава.

Знал я — вдохновения не просят,
Знал — оно у Бога в тайнике,
Будь голодный ты, шатайся босый,
Все равно не унесешь в руке...



КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА



ИЗГНАНИЕ ИЗ НОМЕНКЛАТУРНОГО РАЯ

Виктора Ерофеева наша критика не любит. Имя его редко употребляется с приличествующими преуспевающему писателю эпитетами: «известный», «популярный», «знаменитый». Чаще пишут: «небезызвестный», «скандально знаменитый», «эпатажный».

«Средних лет эпатажный писатель, знаменитый тем, что не признает в литературе никаких „табу“. Популярен более на Западе, в Германии, чем в России, где о Ерофееве знают только критики да литераторы», — дает Павел Басинский иронически сухую аттестацию в духе редакционных справок «коротко об авторе» («Октябрь», 1999, № 3).

Его обвиняют в назойливой саморекламе, в имморализме, в цинизме, в порнографии, в садизме, договаривались и до «сатанизма», но при этом подозревают, что звание «сатаниста» и «порнографа» ему приятно. Есть те, кто отдают ему должное как литературоведу, критику, эссеисту, но отказывают в писательском даре, находя прозу искусственной, холодной, мертвой, расчетливо скроенной по рецептам, популярным в лаборатории западных славистов. (Так, Татьяна Касаткина, рассуждая о составленном Ерофеевым сборнике «Цветы зла», сравнивает его собственную прозу с искусственными цветами — «Новый мир», 1998, № 1.)

Его часто подозревают в тщательно просчитанных пиаровских ходах и корыстных расчетах, и если кто-то из литераторов вздумает составить антологию — о ней будут писать просто как об антологии, но если это сделает Ерофеев — непременно зададутся вопросом: с какой целью? «Некоторым писателям мало быть просто писателями — хочется еще руководить литературным процессом. Составлять обоймы, сколачивать группы, двигать вперед полки, обходить с флангов etc., etc.», — начинает Владимир Шпаков рецензию на сборник «Время рожать» («Дружба народов», 2001, № 10).

Ну а уж если Ерофеев и в самом деле составит обойму, как это случилось, когда он в своей программе «Апокриф» объявил пять лучших писателей России, среди которых, разумеется, не забыл поставить собственное имя (остальные — Акунин, Сорокин, Пелевин, Толстая), — так это назовут не только «инфантильной выходкой с целью безвкусной саморекламы, эпатажем и очередной провокацией, на которые Ерофеев мастак», — как, например, это сделал Николай Климонтович в «НГ Ex libris», — но еще обвинят и в попытке соорудить фильтр, чтобы не дать просочиться вовне текстам конкурентов.

Тема «Ерофеев и Запад» постоянно присутствует в разговорах о Ерофееве. Считается, что он запудрил мозги недалеким славистам, благодаря давним связям, знанию языков и хорошим манерам сумел расположить к себе не знающих контекста издателей и внушить, что он и есть та новая литература, что пришла на смену похороненной им советской. Однако наша литературная общественность не лыком шита. «Надо же Виктору Ерофееву доказывать кому-то, что он писатель, — рассуждает Дмитрий Быков о побудительных причинах нового романа Ерофеева. — Одного не понимаю: кому он это доказывает? На Западе, кажется, уже поверили. В России, надеюсь, не поверят никогда» («Огонек», 2004, № 25). Похоже, Быков прав.

«Русский писатель Виктор Ерофеев написал книгу. Погодите ржать, вы ведь еще не дослушали — русский писатель Виктор Ерофеев написал книгу о русском боге. Вот теперь можно смеяться» — так начинает Глеб Шутьпяков в «НГ Ex libris» рецензию на «Энциклопедию русской души».

Признаюсь, я разделяю достаточно тривиальные суждения о Викторе Ерофееве как об авторе вымученно-холодной, искусственной прозы. Мне не по душе и стиль его литературного поведения, агрессивно-саморекламный. Назойливая реклама часто оказывает на людей обратное действие, и чем активнее продвигается какой-нибудь стиральный порошок, тем меньше хочется покупать этот красочно упакованный продукт. Но порой все-таки приходится, и вдруг едва ли не с досадой убеждаешься — пятна от вина на белых брюках и в самом деле исчезли.

Роман «Хороший Сталин» — последний роман Ерофеева — был разрекламирован не хуже, чем стиральный порошок. Сначала шли сообщения с Лейпцигской ярмарки в том духе, что главным ее героем стал Виктор Ерофеев, что немцы заморожены новым романом Ерофеева, печатающимся главами в газете «Франкфуртер альгемайне», потом — что книга издана в Германии. Потом роман вышел и в России, и презентация его в резиденции немецкого посла превратилась в престижную светскую тусовку, где автору раздавали неумеренные похвалы, а саму новую книгу модного писателя Ерофеева представляла модный политик Ирина Хакамада. Наконец роман появился в магазинах, тонкая книжка в твердой обложке с портретами, видимо, основных действующих лиц: молодой мужчина с мальчуганом на плече, и оба — на фоне гигантского портрета Сталина. На обложке зазывно выставлено: «Новый мировой бестселлер». Однако сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет — в выходных данных содержится скромное признание: тираж 7000 экз.

Припомнив все эти пиаровские усилия по продвижению книги, я равнодушно взяла ее в свое время с прилавка, осмотрела и положила обратно: читать не хотелось. Спустя два-три месяца все же купила и неожиданно для себя прочла не отрываясь. Книга того стоила.

Критика реагировала на новый роман традиционно вяло. Мне попала лишь констатирующая рецензия в «Книжном обозрении» Андрея Мирошкина, ехидная заметка Лизы Новиковой в «Коммерсанте», считающей, что роман скроен по модным западным лекалам (в частности, разработанным Гюнтером Грассом), предназначен для западного потребителя и малопригоден для чтения на родине, да уничтожающий отзыв Дмитрия Быкова, иронически заметившего, что книга написана «для мажоров» и писал ее «очень профессиональный интеллектуальный спекулянт (самое, кстати, мажорское занятие)». «Не знаю, сколько можно тянуть соки из истории с „Метрополем“ и из разговоров о поголовном сталинизме русских, — недоумевает Быков. — В этой книге много абсолютно пустопорожних размышлений о том, что такое Россия. И перепевов старых баек о том, как славно жила золотая молодежь во времена ненавистного застоя. И пижонства здесь тоже очень много...» («Огонек», 2004, № 25).

Насчет «Метрополя» Быков совершенно прав. Знаменитый неподцензурный альманах оказался той дойной коровой, с которой Ерофеев умудрился получить рекордное количество молока — при том, что иным досталось разве что по стаканчику. Трудно даже сосчитать количество статей и интервью, в которых была поведена миру героическая история сопротивления горстки свободных писателей во главе в Виктором Ерофеевым загнываемому тоталитарному режиму, а также репрессий, обрушенных на головы смельчаков. Евгений Попов, пострадавший наравне с Ерофеевым (разве что папы-посла не было, чтобы турнуть того с должности), давно уже добровольно ушел в тень, предоставив коллеге одному собирать урожай с совместно засеянного поля. С. И. Липкин, когда очередной журналист задавал очередной вопрос о «Метрополе», отвечал лаконично, словно досадуя, что политический жест может заслонить творческий, точно так же отмахивалась от темы И. Л. Лиснянская, да и вообще большинство «мет-

ропольцев» не любят вспоминать об альманахе, должно быть, ощущая, что тема выпита Ерофеевым до дна и что в его настойчивом стремлении конвертировать эпизод совместного порыва к свободе в литературные привилегии для одного себя есть что-то бесконечно опошляющее саму цель.

Казалось бы, что еще можно извлечь из истории с «Метрополем»? Оказалось — можно избрать ее отправной точкой для рассказа о семье, об отце, видном дипломате сталинской выделки. «В конце концов я убил своего отца. Одинокая золотая стрелка на синем циферблате башни Московского университета на Ленинских горах показывала минус сорок по Цельсию. Машины не заводились. Птицы боялись летать. Город застыл, как студень с людской начинкой» — так начинается повествование. Убийство, понятно, не физическое, а политическое. А переводя с языка метафор: из-за участия сына в неподцензурном альманахе отца отозвали с должности посла в Австрии.

Все раздражает в этом зачине: и драматизация события с бессмысленным кивком в сторону Фрейда, и красивость метафоры. Помнится, в фильме Чухрая ледоход на реке символизировал начавшуюся политическую оттепель. Здесь лютый мороз свирепствует в унисон с задубевшими политиками, стремящимися заморозить всякие ростки свободы. «Волосы у меня на висках поседел за одну ночь. Мне шел тридцать второй год. Это был самый холодный январь в моей жизни». Внезапная ранняя седина — это тоже результат разбушевавшихся морозов, иней на висках, — догадливо расшифрует метафору начинающий славист, выбравший творчество Ерофеева темой магистерской диссертации. Но русский читатель от трафаретного образа скорее всего поморщится: ну сколько можно камуфлировать фарс под трагедию? Были в СССР морозы и посильнее, когда провинившихся не на огромном собрании прорабатывали, а маленькой тройкой быстро решали все дело: 10 лет без права переписки.

А убийство отца — не слишком ли сильно сказано? Ну, лишили высокопоставленного чиновника права жить в сытой буржуазной стране и вернули в СССР. Изгнали из номенклатурного рая. Так ведь 99 процентов населения социалистической державы и помыслить не могло, чтоб ездить по заграницам, и мало что вызывало такое отвращение у интеллигенции, как стремление высокопоставленных «слуг народа», ревнителей коммунистической идеологии и ее бдительных стражей, самим улизнуть из страны, преимущества жизни в которой они так рьяно доказывают.

Продолжайся повествование Ерофеева в том же духе, книгу можно было бы отложить в сторону не читая. Но тему «Метрополя» сменяет тема родителей, их эпохи, их окружения, фраза обретает естественность, повествование набирает темп, и первоначальное раздражение уступает место читательской заинтересованности.

Есть два Ерофеева. Сравнение Венедикта Ерофеева с Виктором Ерофеевым давно набило оскомину, и нечаянный однофамилец, думаю, много крови попортил Виктору, которому постоянно ставили в упрек яркий стихийный талант, безоглядность и нерасчетливость рано сгоревшего русского гения. Но я не того Ерофеева имею в виду. Есть также два *Виктора* Ерофеева. Один — умный, наблюдательный, образованный литературовед и эссеист, часто имеющий целью шокировать и скандализировать публику демонстративно парадоксальными суждениями, но неизменно интересный, иногда — не побоюсь этого слова — блестящий. Мне уже приходилось говорить, что парадоксальным образом именно в эссеистике Ерофеева ошутим писательский дар, именно там фраза легка, наблюдения точны, сюжет движения мысли занимателен. И есть другой Ерофеев — прозаик, настойчиво пытающийся заменить вялое художественное воображение суммой искусственных приемов, шокировать читателя неслышанной свободой от «условностей», озадачить расчисленными стилистическими экспериментами, наводящими скуку.

Книгу «Хороший Сталин» писал Виктор Ерофеев номер один. Кстати, это видно уже на стилистическом уровне: она написана нормальным человеческим языком.

Ольга Славникова заметила как-то, что, перечитывая подзабытую «Русскую красавицу», поразились, что этот разрекламированный роман «удивительно плохо написан» («Октябрь», 2000, № 5). Относительно недавно Владимир Новиков, выступая на конференции, удивился тому, как плохо написан другой этапный роман Ерофеева — «Страшный суд». Не могу не согласиться. Помню, едва открыв книгу, я споткнулась на фразе: «По ночам замученной женщиной всхлипывала черная сероводородная вода, маня и пугая, которые к нам, заплетающиеся, бородастые, изможденные, неподкупные, неопрятные, жалкие серьги, со спущенными, внимали». «Опечатка, что ли?» — подумала я, тщетно пытаюсь понять, к чему относится слово «которые», почему серьги внимают не «нам», а «к нам» и почему они бородастые. То, что серьги вообще «внимают» со «спущенными» (чем — это еще можно предположить), я готова была либерально счесть если не стилистической дерзостью, то стилистическим правом автора. После первой прочитанной страницы задумываться о том, к чему относится определение, дополнение или придаточное предложение, уже не имело смысла. Невнятный синтаксис был принципиальной установкой, он имел целью закамуфлировать содержательную пустоту текста, оправить томительный рассказ о тошнотворных сексуальных экспериментах писателя Сиси-на в рамку эксперимента словесного.

В «Сталине» же синтаксис прозрачен, фраза лаконична и точна — за исключением тех случаев, когда, пыжась, автор хочет поднять частную историю до вселенских масштабов.

В 2002 году Николай Работнов, автор любопытной статьи «Колдун Ерофей и переросток Савенко» («Знамя», 2002, № 1), разругав в пух и прах «Страшный суд» Ерофеева и расхвалив его эссеистику, одобрительно цитирует мемуарный фрагмент, принадлежащий писателю, со словами: «Очень хотелось бы дожить до публикации объемистых мемуаров Ерофеева — если они будут написаны на этом же уровне».

Выполнено ли это пожелание? На страницах книги, где часто хозяйничает Ерофеев номер один, он проводит беглую литературоведческую экспертизу писательских автобиографий — Горького, Набокова, Толстого, Добычина, приходя к выводу, что это — «тупиковый жанр». «Горький и Набоков — два полюса русской литературы — превратили свои автобиографии в одинаковый продукт словоблудия». «Толстой устраивает из своей автобиографии моральный самосуд, Маяковский ерничает. Пастернак умничает. Перебивая друг друга, писатели делятся подробностями собственной жизни, уверенные в том, что это кому-то интересно». «Достаточно мне было прочитать несколько десятков автобиографий, чтобы понять, что я автобиографию никогда не напишу».

Это кокетливое заявление следует за сценами, где писатель делится подробностями собственной жизни, обнаруживающими ту же претензию на уникальность, что так раздражает его в классических автобиографиях. Воспоминания не перестают быть воспоминаниями оттого, что они смешаны с рассуждениями о родителях, семье, вожде и русском народе.

«Я родился в сентябре 1947 года. У меня было счастливое сталинское детство. Чистый, безоблачный рай. В этом смысле я готов соревноваться с подозрительно спортивным Набоковым. Я тоже был барчуком. Только он — аристократическим, я же — номенклатурным». Тень Набокова еще не раз пролетит над ерофеевским повествованием. Образ детства как рая (откуда произойдет неизбежное изгнание, ощущаемое как трагедия) — образ набоковский, но иронически переосмысленный: как-никак Ерофеев, Набоковым переболевший, написал одну из первых в еще подцензурной советской печати (в начале перестройки) и одну из самых свободных статей о нем. Есть там и предложение сыграть в жанр памфлета — проделать над самим Набоковым тот же обряд казни, что совершен в «Даре» над несчастным Чернышевским, — не пото-

му, думаю, что Ерофееву за Чернышевского обидно, а потому, что увлекательно само занятие «пересмеять пересмешника» («Лабиринт Один»). Воображаемый автор, приняв условия игры, должен запастись автобиографической книгой Набокова «Другие берега», «с небрежной усмешкой указать (беру наугад) на сомнительность кольцевой композиции и интонационные сбои» и поиронизировать над некоторыми трюизмами великого писателя вроде «Мир был создан в день отдыха», показав, как философия отдыха «уходит корнями в блаженнейшее, оранжерейно-клубничное детство <...> и вот вся нищая, дикая, надрывно-тоскливая Россия заслоняется барским пространством угодий и парков, по которым, крутя в самозабвении педали, несется на английском велосипеде <...> упитанный и чувственный *барчук*».

Велосипед этот въедет прямо в повествование «Хороший Сталин», вместе с философией праздника. И уж конечно, облекая в словесную форму неясные ощущения номенклатурного барчука: «Жизнь состоит из праздников и подарков», — имеющие продолжение в четко артикулированной взрослой фразе: «Я не понимаю, как можно работать целый день, из года в год за идиотскую зарплату, с коротким перерывом на обед, окриками начальства и мрачной грубостью коллектива», — Ерофеев прекрасно знает, что может оказаться объектом того самого памфлета, который он сочинял применительно к Набокову.

«Папа застенчиво приносил с работы из кремлевского продуктового распределителя синие пакеты со вкуснейшей едой: хрустящие молочные сосиски, тонкую „Докторскую” колбасу, буженину, семгу, балык, крабы... По кухне шел острый запах маленьких пупырчатых огурцов с желтой завязью цветка в разгаре зимы». Эти пупырчатые огурцы зимой на фоне нищей, полуголодной России стоят, конечно, набоковской «ананасной земляники». Вот только картинами собственного, волшебного, детства Набоков простодушно упивается, вспоминая о нем как о потерянном рае и нисколько не думая о «нищей России», а Ерофеев, упрекнувший писателя в отвратительном самодовольстве, ни на минуту не упускает из виду, что идиллия его собственного детства номенклатурного барчука развивалась на фоне зрелого сталинизма и огромных очередей. «Бабушка звонила маме на работу с восторженным докладом о моем завтраке: „Витюша съел целую баночку черной икры!”» — пишет он, не забывая уточнить: «В послевоенной полуголодной Москве». Так что критику, уже заготовившему фразу о картине сытой жизни и привилегий на фоне «послевоенной полуголодной Москвы», приходится эту фразу проглотить.

Самоирония пронизывает повествование о детских годах рассказчика, та самоирония, которой всегда не хватает в его натужной прозе.

Ерофеева упрекают в том, что книга «Хороший Сталин» написана по западным рецептам. «Модные лекала уже давно предложены такими бестселлерами, как, например, „Траектория краба” Гюнтера Грасса. Ход в принципе беспроектный. Берется важная и желательная болезненная общественная проблема, добавляется личная заинтересованность, горы документов, и все это рассматривается с философской неторопливостью», — пишет, как уже упоминалось, Лиза Новикова («Коммерсантъ», 2004, 11 июня).

Как раз остросюжетный роман можно состряпать по чужому образцу, но книга, сочетающая «болезненную общественную проблему» и личную заинтересованность, автобиографическая в своей основе, несет на себе слишком индивидуальный отпечаток личного опыта.

Как в интеллигентской полудиссидентской традиции оценивается труд идеологических надсмотрщиков? Как о них пишут? Правильно — с ненавистью или сарказмом. Ерофеев выбирает мягкую иронию.

«У мамы была интересная работа. Она читала то, что никто не мог читать, за что немедленно могли бы расстрелять. Скромная избранница, младшая богиня, сопричастная тайне мироздания в небоскребе на Смоленской площади, она читала американские газеты и журналы, выискивая клевету на Советский Союз и резюмируя ее начальству отдела печати» — так охарактеризован труд

мидовского референта, имеющего «допуск» к заграничной прессе, который выдается, понятно, только очень проверенным товарищам, прошедшим тщательный отбор в соответствующих органах. «Американцы вели себя некрасиво, клеветали обильно... Но от мамы американская клевета отлетала, как от стенки горох. Она понимала, что сибирские стройки коммунизма — это вам не лагерь смерти».

Близорукость достаточно образованного человека, имеющего доступ к информации и не способного ее усвоить, изображается без всякого нажима и пафоса. «Они *не использовали* систему, как проходимцы, а пропитывались ею насквозь и видели ровно то, что она хотела, чтобы они видели», — размышляет Ерофеев уже в связи с карьерой отца, которая складывается из цепи случайностей, блестяще использованных человеком с незаурядной волей и работоспособностью.

Сын бухгалтера-железнодорожника и мелкой служащей с четырьмя классами образования, Владимир Ерофеев, сложившийся «советский человек», волевой комсомолец, «закончивший школу на одни пятерки», не имея призвания к филологии, равнодушный к художественной литературе, поступает, однако, на филфак Ленинградского государственного университета, «чтобы во имя мировой революции выучить испанский язык». Война в Испании тем временем кончается, Владимир Ерофеев начинает учить французский — и здесь его жизнь меняется: второкурсник получает предложение переехать в Москву и продолжить образование на Переводческих курсах при ЦК ВКП(б).

Далее — война, спецотряд, где идет подготовка к диверсионной работе в тылу врага, неудачный прыжок с парашютом, оказавшийся спасительным: переломанная нога и угроза ампутации предотвратили переброску через линию фронта с обреченной группой, случайное же приглашение в МИД, отправка в Швецию вместе с едва не потопленным английским конвоем, работа с легендарной Коллонтай, отзыв из Швеции: Молотову срочно требуется референт с французским языком, и выбор падает на молодого дипломата. В судьбе этой много неясностей. И прежде всего: что это за случайности в жизни простого советского комсомольца, в одночасье превращающие его в курсиста привилегированной школы ЦК, в дипломата, отправленного в разгар войны за рубеж, в референта Молотова, в переводчика Сталина? Почему после смерти Сталина и падения покровителя — Молотова Владимира Ерофеева не только не отправили вслед за патроном — его карьерный рост неуклонно продолжался, менялись только дипломатические должности и страны. Повествователь объясняет взлет своего героя его волевыми качествами, «быстрым умом, невероятной работоспособностью, оптимизмом, обаянием», наконец, преданностью власти и лично «товарищу Сталину». Хорошее объяснение. Как пелось в песне тех лет: «Молодым везде у нас дорога». Ну прямо кинофильм «Светлый путь».

Однако не будем придираться: Виктор Ерофеев пишет не исследование, но книгу, основанную не столько на фактах и документах, сколько на семейных преданиях. Сталин живет в них «магнетической личностью мирового масштаба», поразившей и загипнотизировавшей молодого переводчика, так никогда и не отрешившегося от своей любви. Этот «Хороший Сталин», оторвавшись от своих прочих имиджей, движется по самостоятельной траектории, полный трогательной любви к фильму Рене Клерэ «*Sous les toits de Paris*» (отец переводил вождю и фильмы), «скромности», «добродушия», «гостеприимных манер». Он собственноручно проверяет, хороша ли комната, отведенная в сочинской резиденции молодому помощнику, и мягка ли постель, он, заметив слегка пораненную руку молодого человека (упал на скользком кремлевском паркете), вызывает бригаду врачей, заставив ждать важных участников переговоров, пока люди в белых халатах перебинтовывают припухшую кисть, он великодушно протягивает переводчику любимого фильма бокал шампанского и уговаривает выпить. «Сцена, когда Сталин угощает моего отца шампанским, мягко улыбаясь красивому молодому человеку, любясь им, приводит меня в странное умиление, — пишет Ерофеев. — Причина этого умиления безумна.

С точно таким же восторгом говорят в мемуарах о встречах с Гитлером, Мао, Ким Ир Сенем... Сталин — политический серийный убийца... Но я почему-то все равно млею, мне сладко».

Не очень понимаю, чему уж тут умиляться. Жест этот — поманил пальцем прямо в просмотровом зале переводчика фильма и протянул ему бокал шампанского, — жест очень барский и не столько поднимающий награжденного «на Эверест успеха», сколько указывающий на его место вне кремлевской иерархии. Пальцем подманивают слуг. Господа сидят в креслах. Но это вопрос интерпретации.

Каждый читатель волен сделать ее сам. Ерофеев, правда, стремится этого не допустить. Книгу портит настойчивое желание автора все разъяснить, растолковать и «обобщить». Портят сентенции и рассуждения в таком вот духе: «Сталин — создатель магического тоталитаризма. Русские любят загадки, Сталин загадал им загадку». Такие сентенции можно выдавать километрами. Похоже, Ерофеев боится, как бы его не заподозрили в грехе, который куда хуже порнографии, садизма и эксгибиционизма, — в симпатии к тоталитаризму. Страх этот, конечно, обращен к Западу — это Западу нужно разжевывать и класть в рот то, что читатель русский понимает с полуслова, это он нуждается в привычной интеллектуальной пище. А что привычнее рассуждений о загадочной склонности русского народа к деспотизму, природной неспособности к свободе, второсортной обреченности на репродукцию очередных завиральных идей?

«Какие только гениальные идеи не приходили русским в голову — каждая гениально смешна, — пишет Ерофеев. — Третий Рим создавали, отцов воскрешали, коммунизм строили. Во что только не верили! В царя, белых ангелов, Европу, Америку, православие, НКВД, соборность, общину, революцию, червонец, национальную исключительность — во все и всех верили, кроме самих себя. Но самое смешное — звать русский народ к самопознанию, бить в набат, звонить в буддийский колокольчик: „Вставайте, братья! Обнимемся! Выпьем!“ Братья встанут и обязательно выпьют».

Книга насыщена такого рода пассажами, хорошо знакомыми еще по «Энциклопедии русской души», да и по другим книгам Ерофеева. Поскольку предназначены они, по догадке Ольги Славниковой, именно для того, чтобы позлить потенциального рецензента и вызвать шквал обвинений в русофобии, хорошо конвертируемых на Западе, — я уклонюсь от роли, заранее предписанной автором. В конце концов, все эти глубокомысленные суждения читатель может и пропустить. А вот воспоминания, впечатления, семейные предания, вошедшие в книгу, вносят свои краски в палитру давно минувшей эпохи. Читать это стоит.

Книга о родителях и о своем номенклатурном детстве получилась самой теплой из всех книг Ерофеева. Возможно, история семьи оказалась тем материалом, который он не осмелился подвергнуть холодной и безжалостной деконструкции. Застрявший в глазах писателя осколок зеркала андерсеновских злых троллей (о котором давно догадалась не только критика, но и сам писатель), похоже, утратил здесь свою магическую злую силу. Вот надолго ли?



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



НАГРАДЫ МИХАИЛУ БУЛГАКОВУ ПРИ ЖИЗНИ И ПОСМЕРТНО

Из «Литературной коллекции»

...**В**от — «Дни Турбиных», как их писать? Осмелиться сказать где-то в полноту мысли, как думаешь? — сразу же будешь контрреволюционер, белогвардеец, и даже к стенке. Значит — маскируйся, изображай себя как будто непонимающим — и снисходительная тебе оценка с большевических верхов, Луначарский: в пьесе «политические разговоры... почти идиотически скудны... недостатки булгаковской пьесы вытекают из глубокого мешанства их автора... Он сам является политическим недотёпой»¹. А кто позорче, постарательней, тот и всё равно видит: «...идеализация белой гвардии, извращает по существу эпоху гражданской войны», «отрыжка великодержавного шовинизма», «дать отпор булгаковщине»!² Или так: произведения Булгакова, «за которые он всецело отвечает» (всецело — это уж значит: перед ГПУ?..). «Белая гвардия» была «контрреволюционный обывательский смешок», а «Дни Турбиных» — «неудачная попытка трагической обработки материала», в основе которого — фарс. Вывод: «Булгаков выражает настроения той обывательщины, главным контрреволюционным орудием которой является сплетня и анекдот», «Булгаков свои мысли скрывает довольно тщательно»³. Или женщина-критик с некротимой подписью Мустангова (Елена Яковлевна Рабинович): «тонкие и замаскированные приёмы» Булгакова, «автор нарочито даёт ложные следы»; «Булгаков не хочет приспособиться... идеологически к советской действительности». (Ах, возьмите её себе!) «Дьяволиада», «Роковые яйца» — «фантастический размах анекдота даёт повод для того, чтобы искать за рассказом Булгакова „другой смысл“», «советские анекдоты вырастают в угрожающую картину „большевистского рая“», «Рокки в кожаных куртках умеют только разрушать, но не умеют созидать»⁴.

В ответ на премьеру «Турбиных» Безыменский написал «Открытое письмо МХАТу I»: Булгаков — «мелкобуржуазное отродье, брызжущее бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы». — Да слабей ли громыхнул Маяковский: «Дни Турбиных» — социальный заказ кулачества. — Да три «морячка» убивали Булгакова в спину кортиками — Ф. Раскольников, Биль-Белоцерковский и В. Вишневский (зарубил «Мольера» в театре на Фонтанке, впрочем ранее его на «Мольера» выскочил О. Литовский). Не упустим и подленькую эпиграмму Ю. Олеси, что Булгаков «бел нутром». А у Б. Алперса это звучало: «реакционные домыслы Булгакова», у М. Майзеля: «апология чистой белогвардейщины». (Вынюхивали, верно вынюхивали гончие.)

Да что там! — пройдёт тридцать лет — и убеждённый позорными сяднами «излюбленный враг» О. Литовский уже в хрущёвское время в оглядку

© А. Солженицын.

¹ А. Луначарский в «Известиях» (1926, 8 октября).

² А. Орлинский в «Правде» (1926, 8 октября).

³ Ж. Эльсберг в журнале «На литературном посту» (1927, № 3).

⁴ Е. Мустангова в журнале «Печать и революция» (1927, № 4).

куснёт: «выразительное проявление внутренней эмиграции, хорошо известное под нарицательным именем „булгаковщины”»⁵.

Как было жить Мастеру среди этих ищеек и волков? ведь отвечать — не дано. И всем вкруговую — не ответишь. Сам Михаил Афанасьевич составил толстую книгу вырезок — ругательных статей против себя. Ругательных он насчитал 298, а доброжелательных — только 3. Когда-нибудь и все эти статьи вместе опубликовать бы, хоть для историков литературы, пусть ужаснутся.

Вдова Елена Сергеевна передала мне в 1967 хранимый ею список рецензентов — где открытых фамилий, где скрытых трусливых псевдонимов (а чего прятались? ведь писали в угоду властям) — и просила, поручила когда-нибудь огласить. (Это, помимо печатных рецензий, ещё не знал Михаил Афанасьевич о личных жалобах Сталину, как от Билля-Белоцерковского: что «много ставят Булгакова» и что «Бег» — контрреволюционен.) Я обещал Елене Сергеевне, что непременно этот список опубликую — и вот он тут, в том порядке фамилий, как я его получил:

В. Гейм, М. Кубатый (Моргенштерн Мануил Матвеевич), Луначарский, Ашмарин (Витольд Ахрамович), М. Загорский, В. Блюм, А. Орлинский, М. Левидов, А. Ценовский, М. Бройде, Незнакомец (Борис Давидович Флит), А. Безыменский, П. Черский (П. Ф. Червинский), Момус, О. Литовский, Театрал, Е. Мустангова (Е. Я. Рабинович), Старик (Н. Е. Эфрос), А. Флит, Лир (Натан Соломонович Рашковский), Н. Осинский, П. Краснов, Д. Маллори (всё тот же Б. Д. Флит), Уриэль (снова Осаф Семёнович Литовский, уже по какому кругу), Пингвин (Вадим Габриэлевич Шершеневич), Г. Е. Рыклин (фельетонист «Известий», «Правды», десять лет редактировал «Крокодил»), Г. Горбачёв, Садко (опять В. Блюм), Юр. Спасский, Н. Адуев, Бастос Смелый, Савелий Октябрёв (Борис Григорьевич Самсонов), Никита Крышкин (Николай Константинович Иванов), Р. Пикель, Кузьма Пруткин, В. Павлов, Ст. Ас. (Степан Александрович Асилов), А. Жаров, П. К-цев (П. М. Керженцев), П. Кр-в (опять Керженцев), И. Кор (Санжур Иван Афанасьевич), В. Орлов, И. Бачелис, Вс. Вишневский, Н. Оружейников (Колесников), В. Кирпотин, С. Дрейден, К. Эллин (Наум Давыдович Лабковский), Д'Актиль (Анатолий Адольфович Френкель), А. Бродский, Г. Немлечин, Первомай Пленумов (Абрам Маркович Гольденберг), Бис, Е. С-ой, Машбиц-Веров, В. Шкловский. (Тогда Шкловский писал: «по гамбургскому счёту — Булгаков у ковра»; а в 60-е годы уверял, как он всегда высоко ценил Булгакова, эпоха...)

И ещё отдельный список заклятых врагов «Турбиных»: Авербах, Киршон, М. Кольцов (Фридлянд), Ф. Раскольников (Ильин), Фурер, Ян Стэн (Борис Вениаминович Бернштейн), Сутырин, Пельше, И. Нусинов, С. Якубовский, К. Минский, В. Каплун, В. Алперс, В. Зархин, Я. Кут, Б. Вакс, Новов-Дубовский, Гроссман-Рощин, Т. Рокотов, А. Придорогин, М. Лиров, Г. Лелевич (Калмансон), Б. Розенцвейг, Зельцер, Грандов, В. Ермилов.

Так двигалась на Булгакова бетонная, безжалостная стена, и через бойницы её, в расписных масках, со справками о благонамеренности от ГПУ, звонко-звучно палили все эти загадочные и недосягаемые Пингины, Лиры, Театралы, Уриэли, Садко, Бастосы, Эллины, Стэны, Маллори, Незнакомцы (а какая подлость: бранить последними словами и подписываться «Незнакомец?»). Изю всех газет и журналов статьи рыгали, блевали, плевали в одинокого Мастера — и нгде было опровергнуть, ответить, оправдаться.

Блистательного как солнце Булгакова, из ярчайших во всей русской литературе, эти *пролетарские* перья и докальвали до слепоты и до смерти. (Да они ж прижигали и Замятина, и Пильняка, и Платонова.)

И вот: их смыло или изничтожило, как не было. И ныне — дети тех исподлобных критиков прочувственно ходят в поклонниках «Мастера и Маргариты».

⁵ Литовский О. Так и было. М., «Советский писатель», 1958, стр. 205.

В 1989 — 1992 кучно прошли 100-летние юбилеи Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, Булгакова и Цветаевой — и как же бы в этом трагическом ряду могли бы не выцелить Булгакова, и — еще, и ещё не нашёлкать ему к столетию?

Собрали юбилейный номер «Литературного обозрения» (1991, № 5), два десятка статей — соотечественных, западно-славистских и израильских авторов. От такого сборника ожидаешь всесторонней научной дискуссии о Булгакове. Но — что в нём?!

Он составлен пестро и довольно беспорядочно, нестройная россыпь. Есть и статьи, по сути мало относящиеся собственно к Булгакову. Есть поиски литературоведческие и философские, разного калибра и успешности, иногда с переборами, перебродами малосерьёзных парадоксальных догадок, раскладок и предположений.

Нашлось в юбилейном сборнике место и для обзора оценок «Собачьего сердца» гарвардскими студентами 80-х годов, *невежественно* не понимающими *ничего* в советской обстановке 20-х годов, для их вывороченно перевёрнутых суждений, кричащего извращения булгаковского сюжета («услышишь суд глупца...») — однако сочувственно комментируемых нынешними их наставниками из недавней советской эмиграции. (Правда, нашлось место и для глубокого объяснительного противовеса, социолог С. Шведов.) Но на сколько же десятилетий и океанских тысяч миль протягивают эту непродёрную дискуссию в оскорбительный подарок к столетнему юбилею писателя?

Впрочем тут, к уместному сопоставлению, прилегают и привременные Булгакову суждения критиков из первой русской эмиграции. Одни вовсе не заметили и существования Булгакова. — Г. Адамович (1927), оценив «толстовскую» силу в «Белой гвардии» — умудрился проигнорировать те сети *Несвободы*, в которых Булгаков немо бился; не понял, что *умолчание* в напряжённом тексте уже было формой крика из задавленного горла. А В. Ходасевич (1931), с каким же нечувствием: «Мне было трудно поверить... в отчаянную смелость Булгакова», «литературный расчёт тут налицо», «нет ни малейшего сочувствия к белому делу», «удар, который он наносит белой гвардии... хочет её унижить», «ни единого слова о смысле и цели её существования, о пафосе её борьбы».

И ещё тянется цепочка статей — фонтан догадок — с целью представить Булгакова несамостоятельным писателем, сплетённым из одних заимствований, подражаний, перефразировок, — ещё хорошо, если из Пушкина («Капитанская дочка?»), Гоголя («Мёртвые души?»), Толстого, Достоевского, Блока, — но из Кузмина, Сологуба, а то мельче, мельче, из самых третьестепенных источников, — и это редкость, когда допускают влияние Данте и Гёте. (Ещё в другом месте нам было предложено искать родство «Мастера и Маргариты» с «Двенадцатью стульями».) Тем самым собственное творчество Булгакова как бы и вовсе исключается. (Впрочем — это общее «хлебное» направление — если не болезнь — современного литературоведения: любого автора объяснять не из него самого и его неповторимой жизни, его стиля, а из «подражаний» и «влияний», где даже их и вовсе нет.) И кропотливым плетением всяких таких истолкований и запредельных предположений дотаскивают нас до того, что: «превращения Шарикова — антитеза преображения Христа», а уже в «Собачьем сердце» — «первая попытка Булгакова сконструировать новое Евангелие».

Вот так: чего Булгаков недополучил за свои 49 лет жизни — то получил к столетию — отыграть наконец стихийное восхищение им, разыгравшееся у советских читателей в 60—70-е годы?

Да ещё не упустите, как же! Сборник находит уместным напечатать здесь полностью и советскую пьеску 1928 года, которая даже в то глумливое время не нашла пути на сцену, мерзейшую топорность, более бездарного текста нельзя и составить, уж не говоря, что не лежала рядом с искусством (ругательную по отношению к Добровольческой армии, но с выхваченными искорёженными крупницами из «Дней Турбиных», что придаёт ей претензию на «пародию»). Пьеска эта когда-то довела Булгакова «до остервенения», но,

увы, совсем забыта публикою, — так вот и полезно к юбилею презентовать её неосведомлённому российскому читателю, сопроводив шаржевым портретом Булгакова. От этого сценического обрубка, предворяют нас составители, «читателя ждёт богатый материал для размышлений», а Л. Кацис ещё добавляет, что «художественные особенности» пьесы «позволяют с уверенностью говорить о возможном влиянии [этой] пародии на серьёзные вещи Булгакова». То есть не погнушался Михаил Афанасьевич черпать и из этакой лужи.

Но врывается в юбилейный сборник ещё одна статья — которой могло бы и не быть? Это — статья М. Золотоносова — в тот же май 1991 сдублированная в израильском журнале «22» (№ 76) и, кажется, ещё стриблюванная в демократическом советском издании «Согласие» (1991, № 5).

Еврейская тема? — да, оказывается, именно она! — «позволяет выявить в романе [„Мастер и Маргарита“] до сих пор не расшифрованный генезис некоторых сюжетных и образных структур».

«Говоря о Булгакове», не только «можно предположить, что он не был изолирован» от сильного интереса к еврейской теме, да к тому же — «служил в Добровольческой армии, в которой антисемитизм был развит очень сильно» (доказательство наповал), но, окончательно: «дневник Булгакова 1923 — 1925 годов показал: к „еврейской теме“ писатель не был равнодушен. Нетрудно, например, из одной записи об издательстве Льва Давидовича Френкеля... вывести элементарный антисемитизм», ненависть «„пролетария“ Булгакова к „машинно налаженному делу“ Френкеля, приносящему доход и сытую обеспеченную жизнь, которой лишён писатель». Вот, всего-то таковы мотивы этого литературоведения Булгакова. Да больше того, сюда идёт и лозунг Шарикова: «Можно даже предположить, что отношение Булгакова и к лозунгу „Всё поделить!“ не было столь уж простым и однозначным». (Булгаков — комбедовец?) А ещё же сам «интерес Булгакова к политике, к Германии и Польше, позволяет предположить некие панславистические концепции, из которых вытекало одобрение готовящейся экспансии СССР в Европе», — а? каково открытие? (Булгаков — пособник советского империализма?) Так что пора разрушить «„оптимизированную“ биографию Булгакова, неправоммерно сближенного с идеальным Мастером».

Отдышавшись, переходим к разработке подетальнее. «Мастер и Маргарита» оказывается даже «путеводителем по субкультуре русского антисемитизма». (Золотоносов так подогнал, сочинил так, чтобы мочь из больших букв составить сокращением поносное ругательство СРА. И, похоже, для него было важно не столько действительно уличить Булгакова в антисемитизме, сколько припечатать вот этой печатью-кличкой. Он находит её столь остроумной, что пронизывает ею всю статью: 28 раз (!) сорит этой, отныне неотразимой, как он думает, кличкой. Так и захлёбывается: СРА, СРА, СРА... В ряде цитат мы здесь опускаем эту жемчужину.) Еврейская тема в романе Булгакова «существует в двух ипостасях: явной и тайной». Тут кстати припоминается и «иудейское „лобби“ при римском императоре, которое делало прокуратора Иудеи Понтия Пилата послушным решениям Синедриона».

И Золотоносов кидается по следу — по следам — и даже без следов. Прежде всего — изучать по возможности зачёркнутые варианты: чего Булгаков не написал, но *мог думать*, например, реконструировать, что Иванушка кричал: «бейте арамея» (и даже «бейте жида злодея», но — зачёркнуто; в перекличке с этой темой сборник публикует и реконструкцию отвергнутых автором отрывков из 1-й редакции «Мастера»). — А вот штрих и посильней: свою дневниковую тетрадь Булгаков озаглавил: «Мой дневник», — но именно это оригинальное, неповторимое название было и у позднего махрового славянофила-шовиниста С. Шарапова. Так что «можно подозревать всю эту проблематику», уже «можно выдвинуть рабочую гипотезу о том, что первоначально [задумывая роман] Булгаков имел в виду именно готовую идею мирового еврейского заговора». Вот и найдено! Легко ж искомое добыто...

И если другие исследователи уже уличили Булгакова в сплошных литературных заимствованиях, то Золотоносов уличает его в сплошных заимствованиях антисемитских и культово-мистических. И тут из тьмы выдвигаются нам пред глаза имена иностранные и российские, полуизвестные, неизвестные, и до самого четвёртого сорта, — сколько же критик излазил! и книги о «всемирном господстве евреев», и оккультные романы дешёвых романисток (и даже столбики построчных сравнений: Булгаков — и вся та оккультистика), и «знаменитый доктор Папиус», каббалист, председатель ордена мартинистов и ещё нескольких масонских лож, а уж от него — прямая дорожка к доктору Воланду, а за этим «определённо стоят сатанинские силы зла» и «нетрудно догадаться, какова природа этих сил», это «хорошо известный мировой еврейский заговор, „тайное мировое правительство“»! И теперь остаточная трудность только: как верней истолковать первую букву Воланда — «W»: от главы иллюминатов Вейсгаупта или от министра Витте — «преподобного Ротшильда», одного из главных объектов критики антисемитов. — Правда, с теми оккультными романами не совсем без сходств: героиню перед дьявольским балом там натирают розовым маслом, она идёт на пир нагая, где выпивает чашу с кровью. Но и такое же разительное сходство: «не случайно Воланд так любит мясо и вино» — в тех романах тоже «сатанисты жадно едят мясо и много пьют» (чего мы уж никак не увидим ни у кого в жизненных реальных эпизодах всех времён). И ещё же доказательство: чёрная месса — святотатственна, а «святотатство — это прерогатива евреев». Или, не менее сразительно: «волшебные деньги, которые возникают во время сеанса в Варьете, связаны с распространённой темой власти евреев» — «вследствие концентрации в их руках значительных капиталов и золота». И как же мы сами не догадались! Да в любом цирковом фокусе наверно же есть свой хитрый намёк! — Да хуже того: «с еврейской же темой связана и *дача взятки*!» — ну разве же даёт взятки кто-нибудь кому-нибудь, кроме евреев?.. — И ещё ж мучительный намёк: сама буква «М» (буква на шапочке Мастера! Маргарита, Мессир, барон Майгель — да и Массолит!) — ведь она в ивритском алфавите «имеет *тринадцатый* порядковый номер» и «означает „некромантию“, т. е. вызывание „воздушных трупов“» — а заметьте, заметьте: у Булгакова «глава „Явление героя“ имеет *тринадцатый* номер не случайно!» Ну и ещё же: само упоминание в романе Иммануила Канта уже есть намёк на иллюминатов — ибо, да! да! — «А. Вейсгаупт теоретически мог встречаться и с И. Кантом», — а вот и Воланд встречался. Наконец и загадочное употребление Булгаковым слова «свет» — тоже явный намёк на иллюминатов, — а что значит иначе «заслужил свет»?

Все эти умоурачающие доводы критика соединяются и выстраиваются в целое такими несокрушимыми звеньями: «можно даже предположить», «можно подозревать», «не исключено, что», «нельзя исключить того, что», «не случайно, наконец», «это обстоятельство не могло не создавать подтекста», «Булгаков мог заимствовать»; «мало вероятно, что Булгаков мог» иметь в виду нечто помимо «рабочей гипотезы» критика. «Конечно, теоретически можно допустить, что... однако»... (Добавьте сюда ещё и терминологическую эрудицию критика: не какое-нибудь простое «обезглавление», а мудрая «декапитация» и пр.)

Чего не хватает тому же Золотоносову и другим сухо эрудированным критикам — это простого сердечного чутья, которое даёт воспринять автора в целом и вживе, а не сводить великого писателя к вороватым заимствованиям. Какая мелкая, жалкая трактовка выдающегося философского романа: еврейский вопрос, как стоял он в Москве в 20-е годы, застил критику все глаза. Можно поразиться, сколько же бросовой беллетристики Золотоносов методически изучал — и для чего? Для кривой цели: найти оттуда плагиатские взятки Булгакова и через то уличить «Мастера и Маргариту» в антисемитизме. А его-то — как раз в романе и нет. И к чему все эти сложные изыски? Кто понимает советские 20—30-е годы — не нуждается в них. *Всякий*, кто попытался бы тогда без иносказаний скопировать реальность, даже в малых чёрточках московского быта, — был бы обвинён в антисемитизме. Да, вся окружавшая

обстановка давала достаточно художественных импульсов, и уж куда бы проще Булгакову хлестнуть остроумием по еврейскому влиянию в московских культурных кругах 20-х годов, — но не делает он этого. — Не делает? но, небось, хотел бы? так на чистую воду его! (Кто помнит, была в Уголовном кодексе такая статья 19-я, удобно шла довеском к Пятьдесят Восьмой: «*через намерение*»...) — И было ли *ещё такое* истолкование Воланда одним из вариантов ветвистого замысла? Если мы явно видим, что Булгаков благорасположен к Воланду и его свите, — почему нужно вообразить, что он закодировал в них «еврейское мировое господство»? Или Булгаков — жаждет его? восхищается им?

Золотоносов к концу и сам почувствовал, что его занесло. И тогда с сожалением (но не вперевес всей статье) приписывает малую оговорку: «В конце концов, отсылки к СРА „затерялись“ в большом романном построении; экзистенциальная постановка всех вопросов переосмыслила отношение к силам зла, действующим в романе; на первый план вышли „вечные“ проблемы, лишённые национальной специфики».

Ну наконец-то понял. Вечные проблемы — отначала и были на первом плане.

А самой-то главной загадки романа — почему, из чего у Булгакова родилось такое кардинальное отклонение от евангельской истории, до переоборачивания её духовного смысла? — этого атеистическая, из советского праха выросшая критика даже и не потянулась поднять.

Впрочем, разноречивый этот Сборник содержит вклад и серьёзнейшей нашей исследовательницы Булгакова М. Чудаковой (известны также и веские оценки К. Икрамова — «Новое литературное обозрение», 1993, № 4), и красочное, капризное эссе М. Каганской, передающее живое ощущение личности Булгакова и понимание его заземлённости в раннесоветские годы.

А завершается статья о «Мастере» (П. Андреев) — свободной от литературоведческих канонов и приёмов, — с просторными мыслями и прозрачным видением. Что этот роман — о Христе и дьяволе, о величайших человеческих грехах, о мире всеобщего оскудения, о том, как Добро оставило мир, «человек сдался». — Но и «ясная гармоничная мелодия вступает вместе с загадочным лунным лучом», «слабая отдалённая надежда на наступление царства истины». «Очевидно, тайна всех незаурядных произведений искусства в том, что в них незримо присутствует это загадочное „иное“ измерение».



Б Е С Е Д Ы

ЛАМПАНИДУС С ГОЛУБЫМИ ФОНАРИКАМИ

Беседа Олеси Николаевой с Геннадием Снегиревым

Геннадий Снегирев (20 марта 1933 — 14 января 2004) — классик детской литературы, автор 150 книг, изданных пятидесятиmillionным тиражом — в Советском Союзе и в России, в Японии и во Франции, в Германии и в Америке, в Италии и в Польше, и там и сям. По его рассказам, напечатанным в букварях, хрестоматиях и учебниках, учатся дети. Его писательский язык сравнивали с языком детских рассказов Льва Толстого, ставили в один ряд с Пришвиным, Чарушиным и Житковым... Но как ни странно, не менее он прославился среди московской интеллигенции своими коротенькими устными — отнюдь не детскими — рассказами. Ими восхищались К. Паустовский и Ю. Олеша, М. Светлов и Ю. Домбровский, Н. Глазков и Н. Коржавин, Д. Самойлов и Е. Винокуров, Ю. Коваль и Ю. Мамлеев, Ю. Алешковский и А. Битов, художники Д. Плавинский и А. Зверев, Л. Бруни и М. Митурич. За ним пытались записывать, как В. Глоцер, его рассказы пытались воспроизводить по памяти, как Битов и ваша покорная слуга, увь! — блестящий снегиревский слог мертвел в чужих устах, ускользал, испарялся — оставался голый сюжет, афоризм, этакий эквивок мысли — всегда, впрочем, экстравагантной. И тем не менее Снегирева пересказывали, пытаясь имитировать его интонацию, цитировали, давясь от хохота.

«Пастух верхом на лошади пасет овец в Бурятии, так?.. Я подъезжаю на своей лошади, здороваюсь по-бурятски: мэнд-э-э-э — чем дольше тянешь, тем больше уважения. Спрашиваю, есть ли у него спички. Прикуриваем. И мы с ним беседуем, так? И он мне говорит: „Советский власть шибко хороший власть, только маленько долгий”».

У Битова и в «Улетающем Монахове», и в «Ожидании обезьян» Снегирев, превращенный авторским произволом в детского писателя Зябликова, то украшает повествование своими баснословными историями, то отправляет героя в гипнотическое путешествие по Италии в поисках его сбежавшего брата, с которым тот и беседует, в конце концов настигнув его где-то в Венеции...

Вот и у меня в давней повести «Маленькие сценки большой жизни» он становится художником Прохоровым и вещает: «Чтобы быть сумасшедшим, надо иметь железные нервы и крепкую психику». Так он учит юнцов уклоняться от армии, кося по психушке: «Чтобы сойти за сумасшедшего в этой стране, надо говорить правду, и только правду». А то он вдруг появляется под своим собственным именем в моих более поздних рассказах «non-fiction» («Гениальный семинар» и «Жутха»): мифологический герой, учитель жизни.

И эти мои рассказы, и это интервью я читала ему по многу раз: он выслушивал их с пристрастием профессионала, с безошибочным чутьем вылавливая из текста неточные слова и уязвляя за каждый лишний эпитет. Литературный вкус его был безупречен, изыскан и аскетичен. Рассказы были опубликованы в журналах и потом вышли в книге, а интервью предназначалось для моего моножурнала, который уже два года назад должно было выпустить издательство «Лимбус-пресс»... Жаль, потому что Снегирев очень ждал, когда же наконец выйдет это интервью. То и дело звонил мне, иногда ночью, и вносил в него «окончательные поправки»: слушай, ты там еще вот что напиши про профессора Лебедева... Я послушно хватала ручку и записывала.

Он умер 14 января этого года. Его отпевал в храме св. мученицы Татианы мой муж — священник Владимир Вигилянский. Проститься с Геннадием Снегиревым

вым пришли многие из его друзей, кто-то плакал навзрыд, расставаясь с этим прекрасным, «штучным» человеком. Но уже на поминках, когда, как водится, настало время воспоминаний о нем, вдруг зазвучал смех, который перерос в дружный хохот: какая-то вдруг радость, веселье, словно Гена сидит с нами за столом — живехонький, неповторимый, и вокруг него, как всегда, радость, веселье, приключения, парадоксы, жизнь. И — никакого ощущения кощунственности этого внезапного смеха на похоронах: словно воистину светлый, талантливый человек, проживший удивительную и достойную жизнь, не умещается в рамки отпущенного ему срока, переливается вовне, перерастает, достаёт до самых небес, где смерть упразднена, низвергнуто небытие и потому не существует никакого «нет», а есть только — да, да, да!

— **О чем ты мечтал, когда был молод?**

— Обойти под парусом вокруг света, жить среди пигмеев, побывать в тропиках, на островах Океании... Но когда я был молод, это было невозможно, а когда стало возможно — нет ни денег, ни здоровья, да и не с кем. Когда-то я с профессором Лебедевым прошел всю Лену под парусом, без мотора. А это очень сложная вещь — идти по такой широкой реке без мотора. Там очень крутая волна! Это была спасательная шлюпка — четыре на полтора, — приспособленная к морю, потому что лепится к волне. А там постоянно дует ветер с Ледовитого океана и идешь галсом все время, зигзагом, под ветер. При этом любой поворот очень опасен, потому что, как говорят в Якутии, если «падет» ветер с Верхоянских хребтов, то сразу мачту срежет. У нас были сетимелкашки, и мы питались только рыбой. Но когда были шторма, то вся рыба залегала на дно. И — голодаешь. Тогда остаются чайки. По вкусу они как утки. Сразу надо шкурку снимать, чтобы жир не проник в мясо, а то они рыбой пахнут. А так ее сварил — и наелся. Они большие — серебристые чайки. Тебе там никто не поможет, потому что на сотни километров — никого.

— **Ты любишь это ощущение «бездны на краю», риска, авантюры, дуновения смерти...**

— Конечно! Жизнь — это и есть граница смерти и жизни. Просто... Сколько мы удивительного видели! Мы — без мотора, поэтому не распугивали ни зверей, ни птиц. За это надо было расплачиваться: приходилось идти на веслах. Профессор Лебедев сидел на корме, он был сильно болен — когда мы вернулись, он сразу же умер... Мы дошли очень далеко, за могилу Делонга. Была такая американская экспедиция командора Делонга. Это самый конец века. Они все погибли... Они вошли в дельту Лены и решили вверх идти. Они все взяли с собой, даже пони, только забыли одно — лески, крючки и приспособления, чтобы делать лунки во льду. Поэтому они все погибли от голода...

— **Это что, были такие у тебя идеалы Руссо? Желание освободиться от цивилизации, слиться с природой?**

— Когда-то человечество придет к гибели от цивилизации... Уже приходит...

— **А нельзя жить обычной, неприметной «цивилизованной» жизнью и видеть в ней и глубину и высоту, и трагедию и экзотику?**

— Все перемешано в жизни. Так? Например, у него жена шлюха, а он бежит в шесть утра в очередь к газетному киоску покупать «Правду», чтобы узнать о судьбе Анджелы Дэвис. Просто... Человек пошел на кладбище — и женился! Все перемешано: мелочи жизни и большое. Без этого не обойтись. В одном из моих рассказиков «Аральское море» я пишу о просторах, о жизни сусликов и почему-то описываю, как на одной станции продавали кисель и как дикие осы садились на руки. А ты возьми Чехова, посмотри, как он пишет: у него низменный быт якобы и в то же время — такие просторы духа!

— **Ты мне когда-то говорил, что надо изменить масштаб события, чтобы его постичь...**

— Ну да, когда ты его меняешь, все приближается. Иногда я вынимаю время, и тогда события обнажают истинный свой смысл и обнаруживаются

связи между ними... Ты же видишь — у меня нет не только пишущих машинок, но и записных книжек, дневников. Чем дальше от события проходит время, тем больше обнажается главное, тем лучше композиция, потому что детали бьют друг друга. Если событие близко, то ты не хочешь от этого отказываться, от другого. А так ты свободен, потому что ты со временем помнишь главное. Для того чтобы писать для детей, да и для взрослых, нужно очень хорошо знать жизнь и иметь слух на язык. Если слуха на язык нет, лучше вообще не браться писать. С композицией ничего не выйдет, если будешь писать то, что видел, как некоторые. Еще подписывают так: «рассказ-быль». Что это такое? Если пишешь для маленьких, надо постоянно осознавать, что жизнь — это чудо: и в малых проявлениях, и в больших.

— **Какой должен быть в твоём представлении писатель? Какая должна быть литература? Должна ли она быть жизнеподобной?**

— Как бы ты ни нафантазировал, в жизни в миллион раз больше этой фантазии. Вот я пишу, а какой конец рассказа, сам не знаю. Главное — придумать первую фразу. Как только ты услышал звук, о котором писал Блок, садись и катай; и тогда не успеваешь записывать. И конец сам приходит. Запросто... А писатель не должен заниматься только писательством. Он должен все время менять свою жизнь, тогда у него будет о чем писать. Плохие писатели пишут все, что они видели, все. А писателю нужно писать то, что работает на сюжет, иначе не выйдет никакой композиции, так? И вообще, чем ты меньше видел, но ярче, ярче, тем лучше. А если ты много видел в жизни, то никогда не ошибешься, даже додумывая. Писатель обязательно должен додумывать. Я люблю таких писателей, чтобы нельзя было ни одного слова выкинуть или вставить. Ведь для того чтобы написать даже коротенький рассказ, нужно подбирать язык для него. Потому что одно слово вызывает к жизни другое. То, что годится для длинного рассказа, совершенно не годится для короткого. Мы в 60-е годы попали под влияние Хемингуэя, а это, в общем, массовая культура. Он в основном для определенного возраста: щелканье затворов, львы, траханье баб... Писательство — это тяжелый жребий, нужно ведь за каждое слово отвечать. Как говорил Корней Чуковский: «Если после смерти писателя останется хотя бы один рассказ, то это уже много, а это значит, что писатель состоялся».

— **Ты человек религиозный, считаешь ли ты себя религиозным писателем?**

— Да. Я христианин, причем православный христианин. Некоторые говорят, что Бога нет, я им говорю: «Посмотри в окно: зеленая листва, голубое небо, горы, реки, океаны... Это что, создала эволюция?» А зачем, я спрашиваю, для эволюции создавать коралловых рыб с такой окраской? Это ли не прямое доказательство бытия Божия? А зачем нас, людей, создавать с совестью? Не лучше ли быть — по эволюции — как олени, которые задумываются только раз в году, когда им нужна самка. Часто на выступлениях я говорил детям: «Вот вы, может быть, доживете до того времени, когда все будут летать на самолетах на Луну. Но и тогда, собери всех ученых мира, все научные институты, они и червяка не смогут сотворить». Материализм очень живуч. Для того чтобы вымерла старая идея, как говорил Планк, физик, нужно, чтобы вымерло все поколение людей, которое придерживалось этой идеи, чтобы возобладали новая. Израильтянам, которых выводил Моисей из Египта, потребовалось сорок лет, чтобы выветрилась рабская психология...

— **Как же ты жил при материализме?**

— Первое, что сделали материалисты, захватив власть, так это уничтожили материю. Вся эта философия, марксистско-ленинская — схоластика чистой воды. Как-то в издательстве «Малыш» был небольшой банкетик, и около меня сидел человек, по которому сразу видишь, что он принадлежит к классу ответственных работников: костюм, коньяк около него. «Простите, вы — художник?» Это я нарочно. «Нет! Я зав. кафедрой философии Московского университета». — «Ой, — говорю, — как мне повезло. Скажите, что вперед — материя или сознание?» — «Конечно материя!» — закричал он. «Как же так, — говорю, —

бифштекс за 37 копеек лежал-лежал за прилавком и вдруг замыслил?» Все заржали, и он заткнулся. Проходит минут двадцать, вдруг он выкрикивает на весь стол: «При определенных температурах это возможно!»

— **Ты много путешествовал, жил с буддистами, но как ты пришел к Христу?**

— Я верил всегда. Я видел, что делали буддисты, маги, как они перевоплощались... Как-то они в Ивалгинском дацане предложили мне обряд изгнания бесов, но я сказал, что для этого найду православного священника. Когда меня провожали, они мне вручили большой хадак в знак почета. Они на меня составили гороскоп, сказали, что я человек земли, что моя стихия — вода и что если бы я родился в XVII веке, то я был бы пиратом, предупредили, что бы в таком-то году и таком-то месяце я не подходил к воде. Я был там с детским писателем Цирен-Базар Бадмаевым, которого они почитают больше, чем ламу. Это был человек-ребенок, ему вообще ничего не нужно было... Как-то я жил у Балдарджи Бадараева, двойного перерожденца Будды, в его квартире при Институте тибетологии Бурятской академии наук. Он расшифровал 14,5 тысячи рецептов, которые зашифровали в XIV веке четверостишиями тантристы-красношапочники. Это сделал их святой Дзанкава. Они тогда прижились с желтошапочниками-ламаистами. Главная информация — в конце четверостишия. Ни одна электронно-вычислительная машина не брала их. А Балдарджи Бадараев их расшифровал спокойно. По их учению, они точно знают, каким должен быть лекарь, а каким не должен. Например, врач, сомневающийся в диагнозе, подобен лисице, сидящей на троне. Так вот, лама при том дацане сказал мне, что и у нас есть такие же мудрецы-старцы. Он, кстати, во время войны был в спецдивизионе: крошил немцев и под Сталинградом, и на Курской дуге. Он их видел на любом расстоянии, а командовал он артиллерией. Когда я вернулся оттуда, я сразу нашел старца — архимандрита Серафима Тяпочкина, который стал моим духовным отцом, хотя доехать до него было очень трудно, потому что мне мешали разные препятствия: то я напивался, то еще что-то. И он меня всегда предупреждал, когда я уезжал от него, что со мной будет. Вот как сейчас помню: пришел я к нему за благословением на отъезд: «Благословите завтра на поезд». — «Лучше послезавтра». Это был человек почти двухметрового роста, а на фотографиях — согбенный, маленький. Мы остались, а этот поезд, которым мы должны были ехать, вломился в другой поезд. Он мне говорил: «Не накапливайте никакого имущества на Земле, а накапливайте имущество на небесах». Он был очень милостивый. Уж какие к нему грешники приходили, просили епитимью — самое большое он благословлял три поклончика ежедневно, а сам молился за всех. Если он спал, то часа два, не больше.

— **В чем, как ты считаешь, суть христианской жизни?**

— В простоте. Быть довольным, что день прожит. Вот у тебя есть гречневая каша, и хлеб, и чай, и помолись после этого, что ты сыт. А то некоторые хотят так: есть первое, второе, третье, и так три дня, а потом жалуются на болезни. После того как я познакомился с разными чудесами, мне сказали, что бы я лечил. И я лечил, вылечил сотни болезней. Первый меня благословил тибетолог Балдарджи Бадараев.

— **Расскажи, чем ты занимался до того, как стал писать книги?**

— Я закончил три класса, но мне засчитали четыре — лишь бы я ушел из вечерней школы. Я был типичным мальчиком военного времени. Я приходил в школу раздетым, а когда уходил — забирал из раздевалки пальто. В ремесленном учился, чтобы рабочую карточку дали. Тогда же голод был. В эвакуации я еще не ходил в школу, я там подпаском был. И на всю жизнь я запомнил красоту степи. Жили в эвакуации мы в Поволжье, под Чапаевском. Когда была Сталинградская битва, многие местные мужики ждали немцев, не зная, что это такое. Они же помнили раскулачивание, ссылки, расстрелы. Они ждали немцев как освободителей... Родился я в Москве на Чистых прудах. Потом я устроился каким-то случайным образом работать на кафедру ихтиологии Московского университета. Это и было моим образованием, потому что я об-

шался со старыми интеллигентами, профессорами. Лебедев пришел тогда с войны, он был полярным летчиком, Герой Советского Союза, скромнейший человек. Я был у него лаборантом. Как-то я ехал с ним без билета, он положил на меня матрас, а сам на него лег. Денег-то не было, мы голодали. А ехали мы с ним на Чудское озеро, там мы раскапывали останки племен рыбоседов. По костям и чешуе рыб, которых они ели, мы восстанавливали породы и размер тех рыб, тысячелетней давности. Они тогда были значительно крупнее. Он защитил кандидатскую диссертацию «Рыбы четвертичного периода». Ему дали сразу докторскую. Но его, конечно, травили, потому что он не хотел вступать в партию. Биологи все знают Владимира Дмитриевича Лебедева. Потом оттуда я перешел во ВНИИ океанологии — там работал мой друг, художник Кондаков — лучший рисовальщик обитателей морей и океанов, специалист по головоногим моллюскам: осьминоги, кальмары. Он был похож на капитана Гранта. Однажды, когда он шел на маленьком суденышке на Дальнем Востоке, он упал в воду. Но он доплыл до берега, потом долго продирался сквозь кущи до поселка. Он был худой, как Кашей Бессмертный, и вот такая борода, как лопата. Но когда я работал в университете, я впервые развел в аквариуме амурскую креветку лимнеос и еще перепотисов, бычков: рыб-головошешек, которые охраняют свою икру. Эти креветки едят растительные останки, очищают водоемы от природной мути. Я тогда работал с удивительным человеком, стариком 80 лет, Груздевым Василием Ивановичем, бывшим рыбинским купцом I гильдии. Мы с ним ездили на пруды ВНИИ рыбного хозяйства в Выбираловке. Туда никто не ездил, потому что все предпочитали смотреть в микроскоп в своих лабораториях. У него была молодая жена, и когда мы шли к нему домой, я еле поспевал, такой он был шустрый. Он ходил в таком полущубочке. Ему ничего не надо было. Он вставал чуть свет и рисовал плакаты-пособия для павильона «Землеведения» на ВДНХ.

— Ты ведь, кажется, был и боксером, чуть ли не чемпионом...

— Я тогда при университете занимался боксом в наилегчайшем весе: мне это потом пригодилось на всю жизнь — всяким подлецам давать в морду. У меня была ангина, когда были соревнования на первенство Москвы. И я вышел на ковер больной. Тогда я получил осложнение на сердце и два года пролежал неподвижно в постели, а было мне 18 лет. Мы жили в комнате коммунальной квартиры, где кроме меня было еще 10 человек. Моя бабушка, попивая чаек, говорила: «Ну вот, теперь ты никому не нужен, и грузчиком ты быть не можешь. А вот Витя Фокин поступил в электромеханический техникум». Она пригласила какого-то профессора Шолле. И я слышал, как они шепчутся и он ей говорил, что я безнадежен, скоро умру. Но я вылежал. Оставаться в этой комнате я не хотел, и я нанялся лаборантом в экспедицию на «Витязе» по изучению глубоководных рыб Курило-Камчатской впадины. Никто не хотел идти на «Витязе», потому что он был без дополнительной ледовой обшивки. Раньше на нем возили из Южной Америки в Европу бананы. Я подумал так: или я подохну, или вернусь здоровым. Это был очень трудный рейс: надо было плыть по Охотскому морю, самому бурному и холодному, потом по Тихому океану — через Японский пролив вдоль Тускарора — до Чукотки. Я вернулся выздоровевшим, хотя с тех пор я все время чувствую себя уставшим.

— А что ты делал в этой экспедиции?

— Корабль останавливался на глубине — стоп, машина, так? И производились там всякие исследования... Гидрологи измеряли температуры на глубине 400 метров. А у нас, у ихтиологов, был сачок металлический, стакан такой. Вот мы его опускали, потом поднимали, и все, что попадалось в самый кошелечек внизу, доставали. Сверху лилась ледяная вода, корабль был весь обледеневший, и топорами рубили лед, потому что корабль мог отяжелеть. И вот я этот стаканчик приносил к себе в лабораторию и, выливая в сосуд, смотрел, что там есть. Там однажды попалась рыба-лампочка — лампанидус, которая была усеяна и светилась голубыми фонариками. Лампанидус плавал на глуби-

не 400 метров. Он у меня жил только до утра, а к утру фонарики погасли, и он умер. Я думаю, он освещал себе дорогу и другим рыбам, этого никто не знает, но иначе зачем ему эти лампочки, эти голубые фонарики?.. А потом я поступил в зооцентр на отлов бобров в Белоруссии. Там я жил с бичами с Дальнего Востока. Там я много чего насмотрелся из жизни бобров. Когда мы их везли в поезде, маленькие бобрята плакали, как дети. Кормить их, особенно черных бобров, было очень опасно, они были агрессивны и кидались. А одного мы нашли бобра, который не закрывал рта, настолько он был ленив. В Москве я ходил в клуб «Строитель» к Денисову, тренеру по боксу. Его так неудачно нокаутировали, что он стал инвалидом. И там я им рассказывал всякие истории про бобров или про морские путешествия. И вот кто-то там говорит: «Ты напиши все это». Я и написал. И кажется, Вероника Тушнова или Сенька Сорин отдали все на радио, штук 12 рассказов. Я тогда садился и писал сразу по 4 — 5 рассказов. Понимаешь, почему я лежу и ничего не делаю всю жизнь? У меня не было сопротивления, у меня все брали. Я сам ничего не делал. А нужно, чтобы было какое-то преодоление. Затем на радио позвонили из «Детгиза» и спрашивают, нет ли какого-то молодого автора. Как же, вот, пожалуйста, Снегирев. Получаю пакет с приглашением в издательство, заключаю с ними договор. Это был 1954 год. Мне было 20 лет. И повело. И пошло.

— **Писатель, а у тебя когда-нибудь был письменный стол?**

— Нет. Я свои рассказы чаще всего диктовал по телефону. Пока первая книжка была в печати, я пошел в геологическую экспедицию коллектором — минералы собирать. Нас было три человека. Мы поехали в Тоджинскую котловину в Туву. Это гигантская страна необыкновенной красоты. Я, пожалуй, никогда ничего подобного не видел. Там звери не боятся людей. Рябчики сидят, стрельнешь из мелкашки: один упадет, другой подвинется. Не поохотишься — не поешь. Проводник был Мендуме Актайбекович, он водил когда-то караваны в Пекин. Мы с ним пекли олады. Потом я поехал в экспедицию с Иоффе Николаем Абрамовичем. Рассказать, как мы познакомились?

— **Расскажи, ведь, кажется, ты считаешь его своим наставником...**

— При Сталине, на Чистопрудном бульваре я увидел человека, окруженного нашей дворовой шпаной. Человек был высокий, в куртке, сшитой из клетчатого пледа, и он держал в руке пробирку. Я подошел близко, в пробирке был скорпион заспиртованный. Детям он рассказывал про пустыню, а они слушали, что на месте пустыни было море Тетис. Потом он вытащил вот такие акульи зубы, почти с ладонь, которые были коричневые от времени. И так мы с ним познакомились. И что интересно — это и к другим настоящим ученым относится, — я никогда не чувствовал разницы в возрасте, сколь бы человеку ни было лет. Ведь Иоффе был тогда уже старик... Кстати, кто-то из иностранных ученых отметил, что если самую сложную теорию нельзя объяснить семилетнему мальчику, то это значит теория порочна. Я всегда получал от ученых ответы на самом простом уровне. Общение с ними заменило мне школу и вообще все. Я в этой атмосфере научился порядочности, честности, всему тому, что мне не позволяло всю мою жизнь врать, выступать с трибун со всякими демагогическими речами, писать хоть одно советское слово, в которое я не верю. Лучше поголодать, а голодал я достаточно и жестоко — и не один, а с молодой женой...

Так вот, этот Иоффе сидел и был эмбриологом и кистологом. Его взяли зато, что он, проходя по улице мимо церкви, всегда крестился. Каторгу он отбывал на Иртыше. Потом его сослали в лепрозорий под Одессой. Он там сидел с глазником Филатовым. Это были самые лучшие дни его жизни, потому что туда даже милиция не заходила, не то что чекисты. И когда его оттуда освободили, он был без единого пятнышка: проказа не коснулась его — по его вере. Кстати, тибетская медицина исцеляет и проказу, и сифилис, но они эти болезни не лечат — они считают, что это наказание Божье. Я 14 раз был в Средней Азии, только в Самарканде два раза. В Туркмении я лесником работал. В Батхызе я был — это плато, где запасал Александр Македонский вяленое мясо пе-

ред тем, как вторгнуться в Персию. Там гиены, леопарды, кобры, там индийская фауна, фисташковые рощи, царство дикобразов. В Туве я был два раза. Последний раз я писал книгу про оленей. Она вышла во Франции. Я ходил на китобойце «Ураган». А сейчас куда поедешь?..

— **Ты переживаешь, что рухнула Империя?**

— Не так надо было сделать. Я переживаю только об одном — что не рухнула Коммунистическая партия. Империя рухнула, а партия осталась, хотя должно было быть наоборот. Эти люди, Горбачев вообще не знали России, да и нынешние... Да все — те же самые. Кто побивал пророков, теперь их славят. Они сидят на тех же местах или же в коммерческих структурах. Но если быть христианином, то все-таки можно жить...

— **Сейчас модны эсхатологические разговоры, с удовольствием обсуждают конец мира...**

— Это никому не известно. Я в таких разговорах не участвую. Но если слушать то, что говорят экологи (я был недавно на их съезде), то осталось жить нам совсем немного, потом мы будем задыхаться. Вот тебе и конец. Или Корея будет поставлять ракеты в Иран, Ирак. Если дошло уже до того, что солдаты воруют оружие — они же голодные, они же собак жрут, им же 50 граммов мяса в день положено! Это, конечно, и раньше было, только не писали об этом. Мы распродаем сейчас оружие, и, возможно, оно будет направлено против нас. Мусульманский мир уже объединяется. Я смотрю на это очень тревожно. Болезни новые появляются, никто их не может распознать. Например, мясо отходит от кости... Ну и вода уже отравлена, в бутылках воду продают, ты видела? Воздух — им дышать нельзя. И вообще происходит то, что предсказал Иисус Христос, — землетрясения по местам... Все взаимосвязано. Лучше всего — жить в юрте, как я жил на Северной Камчатке с оленеводами, и гонять оленей и ничего не знать, потому что знания порождают скорбь.

— **Ты часто с благодарностью вспоминаешь о своих старших друзьях — ученых и писателях, тебе не хотелось бы о них написать?**

— Что я, Шекспир, чтобы «в стол» писать?.. Когда я стал зарабатывать деньги регулярно — на радио, в журналах детских, в издательствах, — мы проводили почти каждый вечер с женой в кафе «Националь». Там мы дружили с Юрием Карловичем Олешей. У меня с ним вышел однажды разговор. Я говорю: зачем же нужна эта революция, которая разрушила все? «Ну, это было нужно», — он говорит. «Ну хорошо, — я говорю, — вот рояль стоит: можно вынести его через дверь. Но зачем ломать всю стену кафе „Националь“, чтобы его подвинуть?» Там всегда бывали Светлов и много интересных людей, которых как бы считали неудачниками. Многие были удивительными рассказчиками. Например, Венья Рискинд. Помню, когда вошел в кафе с огромным альбомом в руках скульптор Шишов, который лепил всяких ответственных работников, Рискинд сказал: «Вот идет гениальный скульптор, берет глину и делает из нее дерьмо». И все это шло на юморе. Там был импресарио старик Карузо. Мы все дружили. Официантки нас знали, были романы с ними. Если у тебя нет денег, ты мог есть и пить в кредит. Бывали скандальчики, и тогда подъезжали две милицейские машины. Моя молодая жена вводила меня через кухню, когда дело доходило до стульев. Мы проводили очень веселую и свободную жизнь, несмотря на режим. И это благодаря этим людям, моим друзьям. Я всегда чувствовал себя свободным человеком.

— **А почему, каким образом?**

— Я не воспринимал гипноз страха, окружающий всех. Просто. Я — эпатировал. Например, в нашей комнатке, которую мы снимали, ничего не было, кроме медвежьей шкуры, на которой мы спали. А эпатировать можно было по-разному. Например, потом мы жили на пятом этаже, на Комсомольском проспекте. Это была правительственная трасса. Иногда, когда напивался, я безобразничал. Соседи писали на меня доносы, что я безобразничаю на правительственной трассе, тем самым оскорбляя правительство. Однажды я там ре-

шил построить аквариум на три тонны воды. Я нашел людей, которые таскали кирпичи, месили цемент, вставляли стекла. Но соседи пронюхали и решили, что пол провалится на них. Они обратились в газету, и тогда приехал корреспондент Лавров из «Вечерки», который написал, что писатель Снегирев — а представление у обывателей, что у писателя есть кабинет, пишущие машинки, телефон стоит справа, — построил у себя в новой квартире бассейн, где его жена купалась голая, а потом, выпрыгнув оттуда, выплясывала на медвежьей шкуре. Там не упоминалось то, что мы жили в однокомнатной квартире. В аквариуме я хотел сделать три отделения: для крупных рыб семейства хромисов, в другом — холодноводных, в третьем — я еще не решил. Но пока мы с женой ездили в ялтинский Дом творчества, вышел фельетон. Мой отчим прочитал его и разломал аквариум, сбросил с балкона кирпичи — ночью, чтоб никто не видел, а потом умер...

— **А кто были твои родители?**

— Мой отчим 17 лет отсидел в лагерях, строил северную Норильскую железную дорогу. Его пытали, и он перенес эти пытки, потому что его родной сын сражался на фронте, и он не хотел, чтобы на него упала тень. Но сын был уже убит, и если бы отчим знал, что он убит, он бы во всем признался и оговорил бы себя. Отца я своего не знал, потому что родители развелись до моего рождения. Но отчим любил меня, он был физик-теоретик. Он по доносу попал в лагеря, и из него сделали лагерную пыль. Просто. Я жил фактически без отца. Время было голодное, холодное, налеты немцев. Чтобы прокормиться, приходилось все время чем-то спекулировать. Особенно выгодно было торговать в розницу папиросами. Тогда были «Пушка», «Красная звезда», «Дели». У нас была своя «контора» — Трусов, Пережогин и Мутовкин. Мы продавали папиросы, и нам вполне хватало, чтобы купить сайки, хлеба и еще принести домой. А дома у меня сидел на диване дед-эсер, слепой от глаукомы, его не загребли в свое время, потому что он был слепым, и с него взяли подписку, чтобы он вообще никуда не выходил из комнаты. Он и не выходил. Иногда ему четвертиночку купят, он выпьет, так и сидел все время. К нему иногда приходил монгол, слепой совершенно, который учил читать его по системе Брайля. Я никогда не читал газет. У нас бабка постилала одну газету на стол, и она так и лежала. А дед интересовался политикой, будучи эсером... Вот он меня и просил: «Генка, почитай мне газету». Я брал газету и читал. И эта газета была одна и та же... Она и на будущий год лежала, и я ему и на будущий год ее читал. Например, так: в этом году хлеборобы Кубани начали сев на две недели раньше, чем в прошлом году. А в прошлом году — на две недели раньше позапрошлого года. И это меня немножко сместило. Я больше никогда не читал газет, потому что это была беспардонная ложь.

— **Как ты отнесся к смерти Сталина?**

— Смерть Сталина была подобна катастрофе, и я очень скрывал свою радость. Например, соседка Вера Павловна Шитикова, она всегда двигалась боком, убивалась. Как-то она ходила за картошкой и прибежала без нее и радостно объявила, что подождет покупать картошку, потому что с четверга будет коммунизм. Мне рассказывали про научную сотрудницу Института Маркса — Энгельса — Ленина по фамилии Моршинер, которая собирала материалы к биографии Сталина и жила прямо в этом институте. Вождь уже давно умер, но ей не говорили об этом, потому что она могла не пережить эту весть. В кататонию это не она впала, а детский писатель Лифшиц — когда была антисемитская кампания. Когда умер Сталин, ко всем подходил в переулках участковый Гусаров, заглядывал в глаза и говорил: «Ну что?» Нужно было закрывать глаза и говорить: «Что теперь с нами будет!»

— **Что больше всего мешает человеку жить на свете?**

— Гордыня, тщеславие, зависть, жадность...

— **А что может изменить человека?**

— Давай рассуждать так: если мы произошли от обезьяны и после нас ничего не останется, то мне ничего не мешает зарезать тебя и отнять твои сто

рублей. Так? А если бы люди жили по Христу, совсем другая жизнь была бы. Но человек тщеславен, пребывает в гордыне, завистлив. Если человек не хочет меняться, то происходит трагедия личности. А если все общество населено такими людьми? Весь этот национализм — это бред собачий. Это разжигают тщеславные люди, которые совсем не виноваты, что они родились русскими. Это не их вина, но это и не их заслуга. А если бы ты родился в Месопотамии или рабом в Древнем Египте? Мы родились в России и должны помнить, что здесь много было святых и мучеников.

— **Ты так любил путешествовать, а в последние годы вообще не выходишь из своего дома, живешь затворником, почему?**

— Я даже в церковь редко хожу. Стараюсь причащаться, исповедоваться, но редко. Вот когда апостолы спросили, как молиться, Христос дал им молитву «Отче наш». В «Отче наш» есть все. Я, например, чувствую себя хроническим грешником. А на улицу я не выхожу, потому что толпа излучает невидимые флюиды, флюиды недобра, а это очень утомляет. Когда у меня испортилось зрение, врач мне посоветовал купить очки. Я отказался — не хочу видеть социализм в резкости. Многие жалуются на усталость не от работы, а оттого, что проехали в транспорте. Потом, нельзя, например, находиться в помещении, в котором произошло убийство, даже когда не знаешь об этом. А в России — везде кровь, крики жертв. Это даже действует на погоду, случаются землетрясения от этого. Эта агрессия остается в воздухе. Мне говорили, что можно услышать звуки Куликовской битвы. Даже то, что ты говоришь, остается. Каждое действие рождает противодействие. Сейчас мы несем наказание за грехи Сталина и его времени, за лагеря, за переселение народов. И все это делали руками русских. Иногда террор продуманно творился руками инородцев. До революции русский человек в Средней Азии был уважаемым, но после того, как там прошелся Буденный, который травил колодцы, взрывал мечети, после того, как всех мулл забрали на строительство Беломорканала, они стали нас ненавидеть. Нескоро лет назад я в Ленкорани потерял паспорт и попал к границе. Здесь — колючая проволока, мост; здесь — живет мать, а там — сыновья, которые многие десятилетия не виделись. Подошли ко мне с автоматами. На той стороне какая-то женщина полощет белье, какая-то чайхана, а здесь — напряг. Ну, меня и арестовали, посадили в машину и — в тюрьму. Наутро я в окошко вижу такую картину: галдеж у ворот, выходит червяк со значком юриста и говорит, что начальник еще не пришел, мол, подождите. Потом приходит начальник и пропускает двух человек к себе. Затем открывается камера, и оттуда выходит человек со своей пиалкой и чайником и уходит за ворота. Потом мне рассказали, что это родственники принесли выкуп за убийство. И убийцу выпустили. Убийство стоило 15 тысяч. И всюду — плакаты о съездах, бюсты Ленина...

— **Ты веришь в Божий промысл?**

— Конечно. Иногда меня сам Господь выводил из переделок. Я однажды чудом не попал под поезд. Или я в Хиве шел с художником Пятницким, вдруг я замертво упал на землю — перед этим у меня была смертная тоска, — а потом через некоторое время встал и смотрю — у меня на сердце, чуть правее, огромный синяк... И старец мне говорил, что Бог пока не хочет моей смерти. Только я устал ужасно, потому что начал очень рано жить и болел сильно. Я лежу на диване и вспоминаю, как я путешествовал, моих друзей, людей, с которыми я встречался, охоту, как медведя убивал, Заполярье. Между прочим, когда вспоминаешь пустыню или степь, то там все ярко, каждый куст, каждое явление яркое... Очень плохо, когда человеку нечего вспоминать.



О П Ы Т Ы

СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ



В РУССКОМ ЖАНРЕ-27

«...Эти вопросы были легки, но не были вопросы» (Герцен, «Былое и думы»).

«Они (женщины. — С. Б.) мучат для того... как бы это сказать... а мысль совершенно оригинальная... для того, чтобы вперед вознаграждать себя за те права, которые они потом теряют» (Александр Островский).

«Герой. Как женщина, так на твердых губах у него и у нее сладость, надежда, игра, робость, и конец — юбки, безобразия, мокрота, мерзость, стыд» (Л. Толстой, Зап. кн., 2 июня 1877).

Эпиграф ко всему, что у Бунина о любви: «Неужели неизвестно, что есть странное свойство всякой сильной и вообще не совсем обычной любви даже как бы избегать брака?» («Дело корнета Елагина»).

«Эти бутончики года по два своей юности о-ча-ро-вательны, даже по три... ну а там расплываются навеки... производя в своих мужьях тот печальный индиф-фе-рентизм, который столь способствует развитию женского вопроса... если только я правильно понимаю этот вопрос...» (Ф. М. Достоевский, «Бесы»).

«Я ведь сейчас — всего за полчаса — полицеймейстершу голую видел в купальне. Я очень давно ее посмотреть собирался и двадцать раз говорил купальщику Титу: проверни ты мне, Тит милосердный, для меня щелочку в тот номер. Он, дурак, все начальства боялся; но я полицейскому солдату, что у будки на часах стоит, это поручил, он и провернул, и прекрасно, каналья, провернул: сделал, знаешь, этакую щелочку и вставной сучок... Немец бы этого ни за что не сделал» (Лесков, «Расточитель»). Это городской голова, тридцатилетний просвещенный купец приятелю рассказывает.

Джулиан Инглиш (Джон О. Хара, «Свидание в Самарре»), узнав, что его приятель ненавидит его, начинает искать в себе самом, когда же он изменился так, что его стали ненавидеть? «В последний раз перемена в нем произошла, когда он обнаружил, что он, Джулиан Инглиш, хотя сам по привычке продолжал считать себя по-детски цельным, любопытным и пугливым, внезапно обрел власть над собственными чувствами: стал способен управлять собой и пользоваться этой способностью, чтобы доставлять удовольствие и радость женщине».

То, что Бог знает где и когда живший вымышленный американец все свел к этому самообладанию, — ответ мне на нередко поражающую меня ненависть других мужчин ко мне без видимых мною оснований. И именно она возникла, когда я, как теперь вижу, похолодев, «обрел власть».

Продолжение цикла Сергея Боровикова, в последние годы публикуемого в «Новом мире», а также в других журналах и отдельных изданиях. См., например, предыдущий номер нашего журнала.

Паратов—Кторов у Протазанова, чтобы Лариса могла, не промочив ног, сесть в коляску, швыряет в весеннюю лужу свою роскошную шубу, по которой Лариса в туфельках переходит к коляске.

Паратов—Михалков у Рязанова с той же целью (но на дворе осень), натухась, как цирковой атлет, поднимает задок коляски и переносит ее к тротуару.

У Островского эпизода с коляской нет вовсе, да и действие «Бесприданницы» происходит не весной и не осенью, а летом. Яков Протазанов придумал его в ряду других кинематографических ходов своей экранизации. Рязанов же отталкивался не от Островского, а от Протазанова. Но если Паратов Протазанова—Кторова был блестящим, пусть и фатоватым, баринном, то у Рязанова—Михалкова он предстал ломовым извозчиком.

Женщина чем-то особенно нравится, притягивает, потом понимаешь: беременная.

Там, где сильный человек совершает решительный поступок, слабый — дикий.

Чтобы быть плохим человеком, нужна смелость. Надо не бояться мнения о себе как о плохом человеке. Чтобы быть хорошим человеком, нужны усилия. Надо не расслабляться ни на миг, чтобы быть хорошим человеком.

У большинства нет ни смелости, ни упорства, поэтому большинство — не плохие и не хорошие люди, а совершающие плохие или хорошие поступки в зависимости от обстоятельств.

17.2.1998.

Я слишком не молод, чтобы хвататься за первую попавшуюся юбку, и недостаточно стар, чтобы в каждой юбке видеть последнюю.

Самый некрасивый возраст у мужчин — вокруг 50. Уже не мужчина, еще не старик. Посмотрите на фото известных людей в этом возрасте — проверьте.

Любовь и похоть. Вечный спор: слитно или порознь.

Мое знание говорит, что настоящая похоть, а стало быть, и потенция, не только несоединима с любовью, но и невозможна в любви. Я никогда не вел пафосу «Темных аллей» о любви как солнечном ударе (помню, что одноименный рассказ формально не входит в цикл), в то, что «после»: «Он поцеловал ее холодную ручку с той любовью, что остается где-то в сердце на всю жизнь...» («Визитные карточки»).

Говорить о плотской любви как о духовной невозможно, глубже всех об этом сказал Толстой в «Крейцеровой сонате». Не стоит, однако, ставить плотскую любовь «ниже» духовной. Это, знаете ли, как-то, знаете ли, неправильно.

Потенция есть проявление похоти, но не любви. Осознание похоти в человеке неотделимо от сознания греха.

Любовь неотделима от самоотверженности, плотская любовь — напротив.

Общеизвестно, что у супругов, прежде всего мужа, с годами притупляется половое влечение, что обычно объясняют привычкой, привыканием. Я возражу: всем известны многолетние не разрушаемые временем и привычкой вне-супружеские половые связи. В семье же, если там все в порядке, год от года крепнет любовь и уважение супругов друг к другу, в которой все меньше остается места для проявлений похоти, которая непременно сопровождается разноуровневыми прихотями, разнузданностью, даже насилием и прочая, без чего самая похоть умрет и исчезнет потенция.

Чем более и долее любит муж жену, тем менее он может видеть возможность проделывания того, чего не может не диктовать ему плоть и фантазия, без которой опять-таки половой акт невозможен или почти невозможен.

То, что Любовь Дмитриевна «гуляла» от Блока, а Лиля Брик — от Маяковского, говорит не о том, что тот и другой были столь уж слабы, а о том, что безмерно любили своих жен. (Эльза Триоле вспоминала, чем им с сестрою не нравился в постели Володя: он был для них недостаточно похабен. Убедительно, но это не означает, что не мог быть похабен в других постелях.) От Сергея Есенина женщины не бегали (напротив, за ним, а он от них) по одной простой причине: он никогда их, да и никого не любил, ему в высшей степени была присуща тоска по невозможному, по недостижимому, по идеалу, по несбывшемуся, но реальных баб он просто презирал, ни во что не ставил и вытворял с ними все, что заблагорассудится.

Совсем грубо сформулировать можно так:

если в женщине видеть человека, да еще себе равного, то никакой половой акт в принципе невозможен.

Это — с точки зрения мужчины, однако сильно подозреваю, что примерно то же — с женской.

Возможно, всему причиной христианская этика?

Любая женщина — сзади — беззащитна.

Поэтому и обычные мужские взгляды вослед не столько похотливы или оценивают фигуру, сколько подтверждают — вот, мол, кто ты.

Он так ловко и крепко ввинтил ей прямо на балконе, что она только удивленно и блаженно поохивала, подняв голову к полной луне, тающей белым обливным светом.

Саратовский цирк, март 1988.

Гвоздь программы — второе отделение: Виктор Тихонов с тиграми. Старый господин в бордовом пиджаке, красных брюках, с выправкой, но животом, из-за кушака торчит револьвер. Гвоздь гвоздя — уникальный, единственный в мире трюк: тигр на мотоцикле. Выкатили «Урал», где поверх руля приделана обмотанная перекладина, завели, тигр, морщась от отвращения (выхлопной дым в морду), забрался и покатил...

Еще в программе клоун с петушком, пляшущим русскую в красных сапожках. Все же традиционно-цирковое очень часто выступает в юмористическом облике.

Регина Долинская, в зеленом сарафане и серебряном кокошнике, выступает с голубями. Какие-то серебряные ящики и подносы. Голуби тянут за собою серебряные тележечки и беспрепятственно роняют под себя. Регина старенькая, голуби, взлетая, садились вместо подноса ей на кокошник, и она напряженно поднимала глаза на их подхвостье.

Характерно: старухи выступают с парнями. Здесь он на лошадке, она на арене с хлыстом. Он красивый, кудрявый, работает слабо, она в собачьем сером парике, каких уже не бывает, бледные ноги из-под блестящего платья, старая шея, вся жалкость облика из-за слишком очевидного контраста между возрастом и образом «девушки».

В зрительских рядах толстые-толстые бабы и их супруги с грязными головами. Закупка ситро, пирожных, мороженого, яблок и даже колбасы. Обезумевшие девочки-подростки несутся в буфет за мороженым уже и после третьего звонка, погашен свет, а воротясь, долго мечутся по рядам под шипенье служительниц в поисках своего кресла, а мороженое, все восемь стаканчиков, зажатых в ладонях, текут, тают, мороженое капает на колени сидящих.

Кроме гимнастов была еще прелестная малышка, голая, на велосипеде, потряхивая мячиками в розовом лифчике, подпрыгивая, на заду розовые перья — вся как кукла-голыш. А вокруг по барьеру несутся в разные стороны прекрасные ловкие собачки, тянут тележечки, прыгают друг через друга, притом молча, без лая, а она носится меж них со своими розово-гуттаперчевыми подпрыгива-

ниями. Несколько минут радостной розовой вакханалии. Блеск! Обладательница Золотого Льва в Китае Марина Лобиади.

Сперва самыми благополучными показались канатоходцы, и действительно, работали они неплохо. В венгерских костюмах, худые и стройные, с густыми волосами, скорее брат с сестрой, чем муж с женой. Но она ошарашила абсолютно непристойными телодвижениями, жестами, подмигиваниями в публику, когда стояла на тумбе. Настолько непристойными (талантливо непристойными), что ее партнер, скользящий в это время на проволоке чардаш, обернулся вдруг супругом, и его стало жалко.

Она не пощадила и солдат, сидящих в первом ряду с бесстрастным старлем. Глаза у них сделались безумные.

Русское отношение к беде: или трагедия, или пустяк, но никогда не предмет для исправления, не забота, требующая немедленного и долгого труда, и тем более не урок на будущее.

«Бесконечные разговоры там, где требовалось действовать; колебания; апатия, ведущая прямым путем к катастрофе; напыщенные декларации, неискрытость и вялость, которые я повсюду наблюдал, — все это оттолкнуло меня от России и русских» (Сомерсет Моэм).

После ссор с Софьей Андреевной Лев Николаевич тут же щупал, считал и записывал в дневник пульс. Для чего?

Даже в ночь Ухода: «Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать». Это записывает восьмидесятидвухлетний старец в мучительную минуту перед недалеким концом жизни. Но кому он жалуется, кому сообщает о своих страданиях, столь подробно их фиксируя?

Опять возникает страшный безответный вопрос: зачем пишутся дневники?

Твардовский тоже мучил себя вопросом: к чему ведутся дневники? «И все еще как будто в глубине где-то тщишься поведать кому-то обо всех этих вещах, кому-то, кто пожалеет тебя с твоими переживаниями возраста и проч. А его нету и не будет».

23 августа 1860 года, в Германии Толстой «видел во сне, что я оделся мужиком, и мать не признает меня».

Идея предательства — это идея свободы. Решиться на мысль о предательстве — искутить себя возможностью выбора, то есть свободы. В предательстве — освобождение от обязательств. Но в реализации предательства теряется так много, что всякая свобода оказывается утраченной: общество слишком поработало над формированием общественной, групповой морали.

Возраст напоминает о себе, когда, ища что-то в прошлом или в том, что было до тебя, мельком решаешь: спрошу у... и тут же осознаешь, что спросить уже не у кого.

Синица летает прыжками.

Не страшно улететь в небо, страшно улететь в черное небо.

Чем больше открываешься в своем, тем больше людей тебя понимает. В литературе лучше всех это знал Достоевский.

Встретить его — значило испугаться (Лесков, «Белый орел»).

«...взял его (мальчика. — С. Б.) под мышку, как скрипку...» (Лесков).

«В 1890 году мне <...> с большим трудом удалось провести сдержанно похвальный разбор „Скомороха Памфалона” через редакцию одной бойкой провинциальной газеты с передовым направлением: рассказ признавали талантливым все, — о Лескове говорить не хотел никто» (А. В. Амфитеатров, «Власти-тели дум»).

Бунин в дневник заносит (летом семнадцатого рядом с газетами, Корниловым, Керенским, озлобленными мужиками) цвета, запахи, тона — больше всего цвета. Поразительно много он вспоминает их: ведь одно — записывать с натуры, другое — по памяти, хотя бы и свежей.

А сколько он за день видел деревьев! А два-три опишет особо тщательно. Но тщательность эта черновая, подспорная; краткости и смелости, как в прозе, здесь почти нет, это для себя, эскиз для последующей картины.

Читаю (через силу) Ремизова и понял, почему так беспредельно много он написал: *так* писать можно бесконечно. Я в пьяном виде так письма пишу. Бег фразы, поспешное движение за убегающим образом. Крайне не нужная никому, кроме автора, манера.

Его как бы нарочито стилизованная неграмотность (как, должно быть, бесила она Бунина!) проистекает не для стилизации, даже не из щегольства, а потому, что так писать проще.

Но на фразе вывеска: импрессионизм. И — взятки гладки. «А за ними серым комком — седые моржовые усы, блестя лысиной, Ф. К. Сологуб, — знакомые» («Огонь вещей»).

Но у каждого литератора такую судорогу можно обнаружить в записных книжках, из-за спешки. Но затем впечатление переводят в подходящий вид.

Изредка блестя: «оранжевый жемчуг» — о кетовой икре.

Впрочем, такое недорого стоит.

А вот и Солженицын: «пространный до не влезла в вагон». О И. Шляпкине.

Метко, хотя и мелко о Чехове. «Для нетребовательного или измученного загадками Чехов как раз. Читать Чехова, что чай пить, никогда не наскучит.

Оттого, может, так и спокойно. Чехова будут читать и перечитывать».

Почему я не поклонник Набокова? Я читаю его по строкам, словно бы вода пальцем по странице.

И хотя я также не большой поклонник штучно-фразового Бабеля, чтение Бабеля не тормозило так, как чтение Набокова.

Н. — обладатель нового зрительного инструмента, через который он заставляет глядеть и нас, с нормальным зрением. Это утомительно.

Все отразилось под размахом
Разумно-ловкого пера...

В. Бенедиктов — И. Гончарову по поводу «Фрегата „Паллады”».

«Начнете входить в положение жены, так можете приобрести дурную привычку входить в чужое положение вообще» (Александр Островский, «Невольницы»).

«Если русский человек не верит в Бога, то это значит, что он верует во что-нибудь другое» (А. П. Чехов, «На пути»).

Саратов.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЕЛЕНА НЕВЗГЛЯДОВА



«ЕГО ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ УШИ...»

О поэтике Пастернака по следам статьи М. И. Шапира

«...А ты прекрасна без извилин...»

В своих «Заметках на полях» Пушкин отмечает неточности и разного рода огрехи Батюшкова. Рядом со словами: «прекрасно», «прекрасно», «смело и счастливо» — читаем: «вяло», «темно», «дурно», «лишний стих» и даже — «какая дрянь». В самом деле, «без ночи, без зарей» нельзя сказать; на полях в этом месте стоит «зорь», а против строки «исчезнут граций лобызанья» Пушкин написал: «дрянь». Не эти ли пушкинские заметки подсказали Мандельштаму ставший для нас столь привычным эпитет — *косноязычный*? «Наше мученье и наше богатство, / Косноязычный, с собой он принес / Шум стихотворства и колокол братства / И гармонический проливень слез» («Батюшков»). В этих словах недостаток если и не превращен в достоинство, то срощен с оригинальным и бесценным даром поэта. Он стал свойством поэтической речи. Надо сказать, что «наше богатство» — богатство поколения, полюбившего поэзию при советской власти «не по программе», было связано в первую очередь с Пастернаком, и первые уроки поэтического «косноязычия» были нам преподаны им. Подозреваю даже, что, если б не Пастернак, этот подхваченный всеми эпитет еще заставил бы себя ждать¹. *Высокое косноязычие* — это, конечно, о нем.

В статье «...А ты прекрасна без извилин...» с подзаголовком «Эстетика небрежности в поэзии Пастернака» («Новый мир», 2004, № 7) М. И. Шапир приводит огромное количество нарушений нормативной стилистики (и грамматики) и — в связи с ними — рассматривает смысловую «двусмысленность» стихов Пастернака, предупреждая читателя, что рассматривает «шум», а не «информацию». «Дело не в том, — пишет он, — что какой-то фрагмент текста не допускает верной интерпретации, — дело в том, что он объективно допускает интерпретацию неверную»; «ощущение неадекватности вторых и „третьих смыслов” позволяет нам выделять оговорки среди других случаев неоднозначности». Объясняя это явление и сетуя на то, что оно не имеет терминологического выражения, исследователь пользуется «наиболее удобным», как он считает, понятием «авторской глухоты», почерпнутым из «Поэтического словаря» Квятковского, оговариваясь, впрочем, что этим понятием он пользуется безоценочно (и, как ни удивительно, это ему удается).

Поднятая Шапиром проблема и собранный им обширный материал чрезвычайно интересны, тем более интересны, что попали в поле зрения не критика, а ученого-филолога, глубоко и тонко чувствующего язык. Это не привычное историко-литературное исследование, занятое в основном биографическими фактами, не лингвистическая работа, изучающая какое-нибудь повелительное наклонение или страдательный залог на стиховом материале, не

Невзглядова Елена Всеволодовна — филолог, критик, эссеист. Родилась в Ленинграде. Автор книги «Звук и смысл», других исследований в области стиховедения, а также статей о современной русской поэзии и прозе. Лауреат премии «Северная Пальмира». Постоянный автор «Нового мира».

¹ Имею в виду не столько его появление в стихах Мандельштама, сколько ту легкость, с которой это слово было усвоено в разговорах о поэзии.

стихovedческие штудии, нередко загруженные никому не нужными графиками метрических форм. Выделив характернейшую черту поэтики Пастернака, Шапир на материале индивидуальной *речевой особенности* рассмотрел идеологические, социальные и эстетические предпосылки ее появления. Работа пионерская, серьезная, заставляющая мысль увлеченно участвовать, и как это бывает именно в таких случаях, она вызывает ряд возражений.

Дело в том, что тема в том виде, как она сформулирована Шапиром, не вполне отвечает слишком разнородному, разнообразному материалу. Во всяком случае, требует уточнений.

В предваряющем анализ материала теоретическом введении упоминаются такие понятия, как *неоднозначность, семантическая неопределенность, сдвиг значения, нарушение стилистической (и грамматической) нормы, оговорка, двусмысленность, небрежность, авторская глухота*.

Все это разные понятия и — соответственно — разные поэтические казусы.

Прежде всего *неоднозначен* поэтический смысл (об этом упоминается в самом начале статьи, это явление известное). Но не потому, что допускает несколько разных трактовок, а потому, что характер поэтического смысла другой: он «не линейен», не подчинен логике, создан образным мышлением, оттого и не поддается пересказу. Тот, кто хоть раз пытался *объяснять* кому-то стихи или, например, преподавал иностранцам поэзию, знает, как сильно отличается в стихах их подлинный смысл от буквального, связанного с лексико-грамматическим содержанием стихотворной речи; сколько нужно привлечь посторонних слов, которых в тексте нет, отстраняя и перетолковывая значения тех, которые в тексте есть, чтобы объяснить то, что сказано. Иногда смысл колеблется и двоятся в уме самого квалифицированного читателя, да и самого автора.

Всегда ли *неоднозначность* может служить синонимом *семантической неопределенности*? Думаю, что у каждого из этих понятий есть свой объем значения и область, в которой они не пересекаются.

Нарушение нормы возможно тогда, когда есть твердые представления о норме, а они есть в отношении литературного (а не художественного) языка. Выработан трафарет. С его помощью можно судить художественную речь, но судить приходится без правил. Правил не существует. Не всегда нарушение нормы ведет к ошибке и провалу. Иногда — и часто — наоборот. Л. В. Шерба даже определял художественность как обоснованное отступление от нормы.

Сдвиг значения — поэтический прием, по которому можно узнать настоящего поэта. Это не значит, что, употребляя его (сознательно или бессознательно), автор непременно достигнет желаемого результата. Сдвигая значение, легко можно попасть впросак; сам по себе прием вовсе не гарантирует удачи. Но когда слово отделяется от обозначаемого предмета и окказиональное значение расходится с узуальным, возникает то, что Мандельштам назвал «словом-психеей». Таких явлений у Пастернака очень много. И наверное, о таких случаях он сказал: «...А ошибусь, — мне это трын-трава, / Я все равно с ошибкой не расстанусь».

Что касается *оговорки*, то это ненамеренная ошибка, приводящая к нежелательному не столько, может быть, смыслу, сколько — эффекту. Таких ошибок у Пастернака тоже много — вероятно, больше, чем у кого бы то ни было из великих. Это связано с его «эстетикой небрежности» — можно согласиться с формулировкой Шапира, хотя и трудно отделаться от негативного семантического ореола в слове «небрежность». Характерно, что именно Пастернак, обращаясь к художнику, сказал: «Но поражения от победы / Ты сам не должен отличать».

Авторская глухота, по-видимому, тогда имеет место, когда автор не признает своей оплошности и по этой причине с ней не расстается.

По поводу *двусмысленности*: трудно не поддержать Пастернака, видевшего в двусмысленностях «провалы последнего сорта».

Ну а *небрежность*... О небрежности можно говорить в отношении к Пастернаку как о методе. Метафорически, конечно. При том, что небрежность как таковая, то есть неряшество, тоже имеет место. Только необходимо эти вещи различать.

Не отличать поэтический прием или природное свойство стихотворной речи (неоднозначность, неопределенность, сдвиг значения) от оговорки, может быть, и позволительно поэту, но исследователю все-таки не полагается. Об амбивалентной «небрежности» Пастернака имеет смысл говорить после того, как разведены в стороны и отдельно рассмотрены разные и даже противоположные в существенном отношении случаи.

Обратимся к этим случаям, к примерам, которые приводит автор статьи.

«Многих поклонников Пастернака, — говорит Шапир, — смущает строфа:

Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковой кистью.

(„Осень”, 1949)

Всему виной двузначное слово *платье*, под которым прежде всего понимают „вид цельной верхней женской одежды”. Это значение чревато парадоксом: платье оказывается надетым поверх халата... Но поэт использует слово не как видовое, а как родовое наименование одежды — любой, кроме белья. *Платье* и *халат* здесь обозначают одну и ту же вещь», — защищает исследователь поэта. Может быть. Но может быть и так (предлагаю версию для дотошных читателей): женщина сбрасывает платье, в котором она пришла домой с работы или из театра, накидывает халат и уже в халате падает в объятье — ведь сказано, что она падает в объятье в халате. Только надо ли эту сцену представлять в подробностях? По всей видимости, следующим ее движением будет избавление от халата, но стоит ли домысливать ситуацию? Те подробности, которые нужны, есть в тексте (например, шелковая кисть халата), а те, которых нет, — не нужны. Читатели, о которых говорит Шапир, на самом-то деле не дотошные, а поэтически неграмотные, возьму на себя смелость утверждать: они неправильно читают стихи. В сцене, обрисованной поэтом, есть три зрительных представления: движение, которым женщина сбрасывает одежду (платье как раз нет — именно движение), затем движение навстречу мужчине (падает в объятье) и халат. Халат есть; благодаря шелковой кисти ощущается его легкая ткань.

Еще пример:

Ты без него ничто.
Он, как свое изделие,
Кладет под долото
Твои мечты и цели.

(«Счастлив, кто целиком...», 1936)

Ты — это художник, он — народ. Пастернака упрекали в том, что он «клеветает на советский народ» (В. П. Ставский, возглавлявший тогда СП). «Брать чужое произведение и класть его под долото — значит портить, уродовать, уничтожать», — объясняет Шапир эту злонамеренную точку зрения. Пастернаку пришлось оправдываться, и весьма неловко: «народ — мастер (плотник и токарь), а ты, художник, — материал». Но при такой интерпретации можно было навлечь на себя еще более тяжкое обвинение: художник, положенный под долото, должен быть убит, народ — убийца художника. (Так и было, между прочим.)

Но у Пастернака сказано, что мечтами и целями художника управляет народ — формирует их. Детализация разрушает образ. Расшифровка только удаляет от верного понимания. В этих примерах нет ни сдвига значений, ни семантической неопределенности. Нежелательные толкования, которые при-

водит ученый, возникают при неверном (и тенденциозном) чтении стихотворного текста.

Еще один пример:

...И двор в дыму подавленных желаний,
В босых ступнях несущихся знамен.

(«Спекторский»)

Этот «пример грамматической непрозрачности, — говорит Шапир, — любопытен тем, что допускает сразу два прочтения, за каждым из которых стоят незапланированные смещения в картине мира... Если знамена носятся по двору сами собою, значит, у них есть босые ступни, а если знамена несомы какими-то людьми, эти люди держат их в своих босых ступнях».

Не правда ли, этот случай наглядно демонстрирует невозможность реализации метафоры? Реализация приводит к смешным — одно другого смешнее — зрительным представлениям. У знамен, конечно, нет ступней, но логически связывать эти два предмета не следует, их надо держать в уме «нераздельно и неслиянно». В таком виде они рельефно изображают картину революционно настроенной толпы, несущей хаос и неразбериху, которая в этих стихах описывается. Кстати, Шапир видит здесь «сравнение, построенное на отдаленном сходстве мельтешащих полотнищ с мелькающими босыми ступнями». Мне же кажется, что сходства между ступнями и знаменами нет даже отдаленного, но знамена — не флажки, и они, очевидно, закрывали людей с головы до пят, так что видны были только босые ступни бегущих. Здесь имеет место сдвиг по смежности, а не по сходству; впрочем, это не имеет особого значения: оба одинаково «неуклюжи» с точки зрения логики.

В том-то и дело, что «незапланированное смещение в картине мира» происходит в каждом стихотворении Пастернака. В каждой метафоре. В каждой «метонимической модели». Это его индивидуальное видение, за которое мы его любим, ценим, по двум строкам узнаем. Почему воздух рош, «как зов, беспризорен», не спрашиваем.

Такого рода образы могут и в большинстве случаев должны восприниматься *умозрительно*. Скажем, когда поэт говорит: «Прижимаюсь щекою к улитке / Вкруг себя перевитой зимы», — мы же не воображаем «улитку зимы» — что это такое в зрительном представлении? При этом сходство зимней стихии (метели, пурги, вьюги) с конфигурацией панциря улитки мгновенно возникает в восприятии. В том же стихотворении находим: «Под горячей щекой я нащупал / За подворья отброшенный шаг». Как можно нащупать шаг? Да еще щекой? Можно ли это вообразить зрительно? При этом нельзя не почувствовать остроту ощущений поэта и смелость выражения, не ведающую преград. Не надо только следовать неотступно за грамматикой и синтаксисом, безоговорочно им доверяясь. В прозе ведь тоже метафора — это метафора. Когда Пастернак пишет: «Вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды», — то «митинг дорог» совершенно не поддается представлению. В лучшем случае мы одновременно воображаем сеть дорог и митингующую толпу. Но и в том случае, когда реализация возможна, она чаще всего не нужна. Так Щерба, анализируя пушкинское «Воспоминание», в строке «змеи сердечной угрызенья» предупреждал о ненужности реализации значения слова «угрызенья».

Сказанное не означает, что подобное словоупотребление не может быть неудачным, не может вызвать смешных представлений и ощущения стихового неряшества. Все зависит от контекста. В данных же случаях, мне кажется, опытный — скажем так — читатель поэзии огражден от нелепых домыслов. Эти случаи обусловлены торопливой горячностью («гения горячка»), которая известна и ценима в Пастернаке; и не просто обусловлены, они выражают эти качества.

Кто-то, возможно, заметит, что приведенные Шапиром примеры — не лучшие образцы пастернаковской лирики и в них, даже отбросив не слишком

убедительные толкования не слишком умелых читателей, можно видеть следы небрежности, поэтического неряшества. С этим можно согласиться. Если стихи не вызывают восхищения, всегда можно найти повод для упрека в небрежности. Но возьмем другие примеры.

Открываю том «Полное собрание стихотворений» («Библиотека поэта», СПб., 2003):

...Тогда ночной фиалкой пахнет всё:
Лета и лица. Мысли. Каждый случай,
Который в прошлом может быть спасен
И в будущем из рук судьбы получен.

(«Любка», 1927)

Ну, лица еще могут пахнуть ночной фиалкой — по ассоциации. Известно явление синестезии — смешение зрительных, слуховых и обонятельных представлений. Но — лета? Но — случай? И что это за случай, спасенный в прошлом и приобретенный в будущем? Какая-то повторная встреча? В первый раз едва замеченная, а затем сыгравшая роль в судьбе? Какое-то «ружье», которое висело, висело, а затем «выстрелило»? В процессе предположений убеждаешься в том, что не надо в это вдумываться. Что сказано — то сказано. Здесь смысл образуется так, как он обычно образуется в стихах — не последовательно-логически, а «наложением». Дан ряд представлений: фиалка, случай, прошлое, будущее, судьба... Этого перечня достаточно, чтобы взволновать. Это те самые «острия», как говорил Блок, на которых держится стихотворение. Недосказанность только увеличивает волнение. Слова здесь соединяются не логико-грамматически, а как бы силой притяжения сходятся в текстовом пространстве, опережая и отстраняя логическую связь. Так, именно так образуется поэтический смысл, и надо уметь его прочесть.

Еще пример:

Я и непечатным
Словом не побрезговал бы,
Да на ком искать нам?
Не на ком и не с кого нам.

В этих чудных стихах («Елене») не все понятно. Вот вторые два стиха — о чем они? Что искать? Что значит *не с кого нам*? И последняя строфа:

Плачь, шепнуло. Гложет?
Жжет? Такую ж на щеку ей!
Пусть судьба положит —
Матерью ли, мачехой ли.

В комментариях приведены слова поэта, что эти стихи писались «неосторожно, спустя рукава». Типично пастернаковское самоуничужение. Неосторожно — да, но спустя рукава... Просто они поэту не стоили труда. Это бывает, но это ничего не значит. Я, во всяком случае, смотрю сквозь пальцы на отсутствие существительного (видимо, *слеза*), при котором должно находиться указательное местоимение «такую». Здесь так обворожительно прелестны оба коротких вопроса, выраженные подобными, однородными глаголами (*гложет? жжет?*), но произносимые с разными интонациями из-за разного положения в стиховой строке, — именно они обрисовывают чувство, окрашивают его в нужный тон. А больше ничего и не нужно. Так тонко, так точно выражено душевное движение, с такой радостью мы его узнаем! Каким-то «шестым чувством» мы понимаем, что, если бы ситуация была выражена с исчерпывающей ясностью, поэзия этих строк понесла бы урон.

Вернемся к примерам из статьи Шапира.

Всем корпусом на тучу
Ложится тень крыла...

«У самолета есть корпус (фюзеляж), от которого отходят крылья; поэтому, — говорит Шапир, — *тень крыла* не может лечь на тучу корпусом». Корпусом самолета — конечно нет, но здесь слово *корпус* употреблено метафорически; это корпус тени, а не самолета, и тем самым тени на фоне тучи придан вес и объем.

Подобные недоразумения в понимании возникают в результате отождествления стихотворной речи с прозаической. Когда Шапир говорит, что «небрежность появляется в плеонастической избыточности», хочется воскликнуть: поэзия и есть избыточность по отношению к логике! Где тут небрежность? Вот в этих, например, знаменитых строках:

Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

«Требует не читки, а гибели — вроде бы этим все сказано, — рассуждает исследователь. — Добавляя, что гибель — и полная, и всерьез, поэт словно бы допускает мысль, будто возможна „частичная гибель понарошку“». В языке такое допущение как раз и живет — ну хоть в выражении «нет на тебя погибели», которое употребляется по разным мелким поводам и вовсе не означает *всерьез* пожелания смерти.

В другом примере:

Где свидетельства мысли сухие
Не выказывали бы ума, —

ученый тоже видит погрешность против логики и нормативной стилистики: «Одно из выделенных слов, по сути, дублирует другое. Можно сказать: эта мысль обнаруживает ум писавшего, — но нельзя сказать: свидетельство этой мысли обнаруживает его ум». В самом деле, нельзя сказать: «свидетельство этой мысли». Что это такое? Но у Пастернака сказано «свидетельства мысли», что означает присутствие мысли. И так, по-моему, сказать можно. Я не вижу здесь стилистической погрешности.

Еще одна не очень понятная претензия:

Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые твои.

«Миро, — пишет Шапир, — „благовонное масло“; ни нáоги, ни другую часть тела *обмыть* им невозможно». Здесь мы как раз наблюдаем сдвиг значения, способствующий художественному эффекту. Префикс «об», как это возможно только в стихе, семантизируется, грамматическое значение здесь выступает на первый план, подавляя значение корня «мыть—очищать». Глагол «обмывать» утрачивает прямой смысл: обряд совершается независимо от чистоты тела. Это правильное употребление, сдвиг значения здесь обоснован, и вопрос, чем обмывают, а чем умащивают, так же как и вопрос, держат ли миро в ведерке, мне кажется неуместным в данном случае.

Но именно в данном случае.

Если выправить текст по правилам грамматики и стилистики, что от него останется? Что станет с Пастернаком? Это все равно, что, стоя перед полотнами, например, Пикассо, думать: нос у человека находится посередине лица, глаза должны быть симметричны друг другу, руки не бывают такими длинными, а лица такими сине-зелеными... Новое вáидение, которое предлагает нам художник, связано со способом выражения. Если сличать картину с натурой при помощи измерительных приборов, можно в ней ничего не увидеть.

Кто еще, кроме Пастернака, мог бы сказать:

...Не тени — балки месяц клал,
 А то бывал в отлучке,
 И тихо, тихо ночь текла
 Трусцой, от тучки к тучке.

Скорей со сна, чем с крыш; скорей
 Забывчивый, чем робкий,
 Топтался дождик у дверей,
 И пахло винной пробкой.

Так пахла пыль. Так пах бурьян.
 И, если разобраться,
 Так пахли прописи дворян
 О равенстве и братстве...

Ну можно ли сказать в прозе — «скорей со сна, чем с крыш»? А в стихах — можно. Вот в одном из самых прекрасных стихотворений, «Импровизация», в строках

...И самки скорей умертвят, чем умрут
 Рулады в крикливом, искривленном горле, —

не хватает дополнения к сказуемому «умертвят». Кого умертвят? Вопрос тем более глупый, что ни о каком умерщвлении нет и речи; здесь нет эллипсиса. Грамматика не справляется с этим образом, но мы с нее и не спрашиваем, вот что интересно. Она лишняя. Служанка серафима, урезанная в правах. Здесь явно царствует и преобладает в смысловом отношении фонетика: эти **л** и **р** почти в каждом слове. Они семантизируются, заставляя иначе воспринимать смысл слов.

Но правда то, что выхваченные из контекста строки Пастернака часто, слишком часто вызывают недоумение или «мучают слух» «и царапают ухо», как сказал другой поэт. Такова уж его речь — «дикая кошка». Небрежность, возведенная в прием, перестает быть просто небрежностью. Это речевое неряшество сродни поэтическому «косноязычию», которое мы упоминали вначале. А образ и выражение, приструненное нормативной стилистикой, теряет поэзию, ничего с этим не поделаешь. В языке слова — это понятия, то есть готовые смыслы, поэт же занят тем, что, смешивая их, отыскивает и именуется непоименованные.

«В пределах общепринятой семантики переименованию поддаются предметы, но не слова», — замечает Шапир по поводу строк «Для тебя я весь мир, все слова, / Если хочешь, переименую». Но для поэта слова — имена. Он только то и делает, что переименовывает, высекая поэзию из обыденной жизни, из «общепринятой семантики». Слова для поэта — что глина для ваятеля. Они не представляют собой автономных сущностей, отделенных друг от друга. Поэтический словарь — мягкая, податливая масса, из которой поэт лепит нужные формы; словарем в нашем понимании он не пользуется, он не переводчик. Стиховая строка охотно принимает «близлежащие» смыслы, иногда и вовсе непонятные, как будто говоря: не понимаешь — и не надо, тем лучше.

Кто знает, что «фирн» — крупнозернистый слежавшийся снег? А камка — шелковая цветная ткань (разве что портниха). Что такое «азиатцы», никто не догадается, даже в контексте: «Очнулись в огне. С горизонта пунцового / На лыжах спускались к лесам азиатцы, / Лизали подошвы и соснам подсовывали / Короны и звали на царство венчаться». В комментариях так и сказано: «здесь — лучи солнца».

Помню, в детстве я воспринимала «стаканчики купороса» как горячительные напитки («За стаканчиками купороса / Ничего не бывало и нет»). От этого стихи ничуть не становились хуже, может быть, даже наоборот.

На некоторых примерах хорошо прослеживается разница между общепринятой семантикой и поэтической. Известно (об этом не раз говорилось), что в стихах «Ты — вечности заложник / У времени в плену» без особого

ущерба для смысла можно поменять местами выделенные слова: «Ты времени заложник / У вечности в плену». Читатель не заметит, если не знает этих строк наизусть. И поймет правильно. «Не удивительно, — говорит об этих стихах Шапир, — что многие по ошибке уверены: пастернаковского художника в залог захватила вечность». Нет, именно удивительно! Кто-то представляет себе вечность в маске, с прорезями для глаз и художника под дулом пистолета, с кляпом во рту?

Алогизм лежит в основе поэтического выражения. В таких, например, стихах: «И жужжа, трясаясь, спираль / Тополь бурей окружила» — мы ведь не замечаем, что не спираль окружила тополь, а буря; правильно было бы сказать: буря окружила тополь спиралью. Но мы не обращаем внимания на вывернутое наизнанку сравнение, что в прозе было бы решительно невозможно. Так же, как в стихе: «В сухарнице, как мышь, копается анапест»: все-таки не анапест в сухарнице, а мышь; анапест копается (в голове автора), как мышь в сухарнице. В прозе так и было бы. А в стихах... но разве это двусмысленность? оговорка? небрежность?

«У Пастернака, — писал Георгий Адамович, — слово сошло с ума впервые в русской поэзии: слово перестало быть единицей логической, связанной в движениях логическим смыслом... Пастернак делает со словом все, что ему вздумается, и заставляет его изменять значение там, где ему это угодно. Для Пастернака существенно не то, что небо есть небо, а дерево есть дерево, для Пастернака важны... лишь данная строка или строфа, и „небо“ может утратить в ней все свои небесные признаки, признававшиеся до сих пор постоянными».

Такую возможность дает поэту специфика стихотворной речи, ее особый механизм. Примеров этого рода в русской поэзии много, даже и в XIX веке, но Пастернак здесь, конечно, чемпион. «Нечаянная двузначность у Пастернака...» — говорит Шапир, умножая примеры. Не «двузначность», хочется поправить, а нелинейность смысла, присущая поэтическому мышлению. Неудачные попытки вытянуть образ в логическую линию говорят об иных возможностях стихотворной речи и о гибкости языка, прирученного стихом.

Не Пастернак ищет и выбирает слова, а слова идут на него лавиной, вызванной его поэтической мыслью, лавиной, грозящей вот-вот захлестнуть. С этим грандиозным сраженьем мы и имеем дело в каждой строфе.

Само название исследования — «Эстетика небрежности» — явно метафорическое. Название, кстати, удачное — вполне в пастернаковском духе. Но изучение «шума» в иных случаях не есть ли извлечение поэтического смысла методом логической идентификации? Извлечение того «надстроечного» элемента, что клубится над буквальным смыслом стихотворных фраз и отличает их от деловой прозы? С сожалением замечаю, что исследователь, знаток языка, держит свое восприятие в пределах прозаической речи, не желая прорваться на территорию других возможностей, как этого требует стих. Если стихотворная речь звучит иначе, значит, она *иначе устроена и читать ее надо иначе*.

Но пойдём дальше.

«Нет, не наа дверь, не в пробой, / Если на сердце запрет, / Но на весь одной тобой / Немутимо белый свет». Компьютер подчеркивает красным слово «немутимо», и правильно делает; через строфу: «Чтоб бежал с землей знакомств, / Видев издали, с пути / Гарь на солнце под замком, / Гниль на веснах взаперти». По-моему, «видев» нельзя сказать. На соседней, предыдущей странице в стихотворении «Мухи в Мучкапской чайной» никак не могу разобраться в строфе: «Пыльный мак паршивым пашенком / Никнет в жажде берегущей / К дню, в душе его кипящему, / К дикой, терпкой божьей гуще».

«Пониклый день, серье и быдло, / Обидных выдач жалкий цикл, / По виду — жизнь для мотоциклов / И обданных повидлой игл». Что за жизнь для мотоциклов, не говоря уж об иглах, обданных повидлой?

Было бы неппростительным невниманием к поэту вовсе не замечать этот рассадник погрешностей самого разного рода. Слишком многие нарушения языковой нормы могут быть квалифицированы как *чистое неряшество*, если

так можно выразиться. Шапир приводит множество таких примеров². Небрежность как небрежность, а не как поэтическое кредо. Однако «чистые» случаи провалов и неудач выделить хотя и можно в каждом конкретном случае, но, во-первых, это требует субъективного отношения, вкусового, оценочного, которого исследователь приучен избегать, а во-вторых, метод есть метод, и если поэт на нем настаивает, то «его взыскательные уши» невольно передают понятливому читателю свой слух, свой вкус. Читатель начинает слышать его ушами, смотреть его глазами и видеть по-пастернаковски, «как образ входит в образ / и как предмет сечет предмет». Есть случаи, в которых очень трудно с уверенностью говорить об удаче; у Пастернака — и, может быть, только у него одного — поражение отличить от победы не всегда удается.

Его летучее воображение, буйные метафоры, домашние отношения с лексикой и грамматикой, пренебрежение к логике заставляют говорить об особом зрении, о сдвиге в картине мира; выраженное в языке, все это может быть метафорически названо *небрежностью*.

Тут очень важно сказать вот о чем. Поэтика Пастернака действительно может быть метафорически обрисована словом «небрежность». Но это отнюдь не значит, что стихотворная речь допускает небрежность. Допуская отклонения от литературной нормы, она не более снисходительна к огрехам, чем прозаическая, не менее требовательна к «частностям». Наоборот! Одно неудачное слово может испортить все стихотворение. Захваченный азартом художник слышит не себя, а те смыслы и звуки, которые он должен оформить словами, но, уже выразив что-то, он обязан слышать свой текст и на «авторскую глухоту» не имеет права. Тем и отличается от графомана. Пастернаковская небрежность — метафорическая. Это его метод, его вѣдение, его картина мира. И поэтому он имеет право на те отклонения от языковой нормы, которые создают эту картину и которые Шапир неточно называет «оговоркой», «ошибкой», «двусмысленностью».

Но там, где они действительно имеют место, где небрежность — буквальная, там читатель вправе констатировать «поражение», невзирая на имя. Меня не устраивает оправдание, которое находит Шапир: «Разнообразие и множественность проявлений небрежности у такого большого поэта, как Пастернак, запрещают в ней видеть исключительно следствие его недосмотра... Сдвиги и двусмысленности, корявость, неблагозвучие, грамматические погрешности для поэта настолько органичны и стилистически нейтральны, что обнаруживают себя даже в переводах» Нет! Все это разные, совершенно разные случаи (вспомним хотя бы толстовскую «корявость», о которой Шкловский сказал: он переписывал фразы по девять раз, чтобы на десятый вышло «коряво»). Одни служат художественному эффекту (если их правильно читать), другие портят стихи. «Стихи хороши или плохи независимо от этих неправильностей — не благодаря им и не вопреки», — заключает ученый. Боюсь, что такое вообще невозможно. Трудно представить, чтобы неправильность, если это действительно неправильность, никак не влияла на результат. Она либо служит искусству, либо мешает. Другое дело, что трудно отличить намеренное от ненамеренного. Поэт хватается первое попавшееся под руку слово, но оно-то как раз и бывает самым удачным. Как в шахматах. Говорят, что первое пришедшее на ум решение оказывается самым верным и время, которое игрок тратит на обдумывание, — это проверка мгновенно возникшего хода. Но, конечно, случаются и промахи.

Ошеломляющее количество огрехов, неряшество пастернаковского стиля связано с творческим методом поэта, с его «высокой небрежностью». И что

² Такое подробное и добросовестное сличение с литературной нормой могло бы быть полезной учебно-квалификационной работой для студентов литинститута — с двойной целью: выявления пастернаковского метода и предупреждения стихового неряшества; разумеется, при соответствующем объяснении преподавателя, разделяющего эти явления. (На месте преподавателя я бы посоветовала студентам, прежде чем начинать такую работу, прочесть мандельштамовские статьи о поэзии.)

дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. (Как бы быки ни набычивались, как бы изощренно ни комментировали свои творческие потуги.)

Рассматривая «грамматические вольности» Пастернака, Шапир приводит ряд режущих ухо случаев насилия над словом (*теребь, баюча, выручь* (денег), *капит...* и т. п.)³, но, как и положено исследователю, о своем восприятии молчит. Все-таки, приводя великолепные пастернаковские четырехстопные ямбы с пиррихиями на первых двух слогах (типа «*Но недоразуменья редки*» — их у него 17, как сообщает исследователь, тогда как в русской поэзии известен только один такой случай), он не может воздержаться от оценки: «достойны удивления», — говорит он. Заметим, однако, что удивление может быть связано с восхищением, а может — с неудовольствием. Большая разница.

Конечно, исследователь избегает оценок. Что правильно. И все-таки... При сличении с литературной нормой то и дело получается какой-то перевод «на русский язык с моего собственного», который иронически был предложен Пастернаком одному из его критиков. Как будто стихотворная речь — не русский язык. (Русский, но не прозаический!)

Объясняя пастернаковские погрешности разговорной речью, к которой тяготел Пастернак⁴, цитируя в этой связи Кюхельбекера, защищавшего язык Грибоедова, Шапир приводит замечательные слова о том, что только у иностранцев нет «тех мнимых неправильностей, тех оборотов и выражений, без которых живой разговорный язык не может обойтись, но о которых молчат ваши *Грамматики* и *Риторики*». При этом он говорит, что «применительно к Пастернаку... многие его неправильности — действительные, а не мнимые». Может быть, они не столько делятся на *действительные* и *мнимые*, сколько на удачные и неудачные? Между прочим, действительные от мнимых тоже отличить не просто. Если бы был хоть один пример мнимой неправильности...

Потому что то, что неправильно для прозаической речи, зачастую правильно для стихотворной. Что русскому здорово — то немцу смерть. Стихотворная речь произносится с особой интонацией, неупотребляемой в прозе. Это ее в корне меняет. Попробуйте произнести прозаический отрывок с характерной для стихов ритмической монотонией и наоборот: стихи — с обычной фразовой интонацией, адресованной собеседнику. Лингвисты знают, какое существенное значение имеет интонация и к каким важным последствиям ведет ее отличие. Меняется очень многое: синтаксис в первую очередь (в письменной речи) и лексика. Когда ученый говорит: «...с трагической тональностью лирики диссонирует почти канцелярское: *я вспомнил, по какому поводу / Слегка увлажнена подушка*», — я с прискорбием констатирую, что он не видит прелести соединения «далековатых» стилей. Благодаря бытовому, разговорному *по какому поводу* в грустный мотив стихотворения вплетается оттенок мужества и смирения. Мужественного смирения. А не увидеть, не почувствовать этого — значит не понять стихов.

И последнее. Что удачно, а что неудачно, то есть что можно, а что нельзя в стихах, — не знает никто. Для стихотворной речи нет и не может быть вы-

³ Я случайно открыла стр. 176 цитируемого издания Пастернака. *И стынула кровь...* — «стынула» вместо «стыла»; *Веселая навывказ...* — «навывказ» вместо «напоказ»; *...без конца горев...* — «горев» вместо «горя»; *...обволакивав даль...* — «обволакивав» вместо «обволакивая». Это только одна страница, открытая наугад. Однако характерно, что все эти неправильности — не в лучших стихах. Поэт мыслит стихами, и многое из того, что он пишет, похоже на те упражнения, гаммы и этюды, которыми разогревает руки пианист, или лучше — графические наброски художника.

⁴ Напрасно, мне кажется, исследователь «установку на небрежность» полагает следствием давления со стороны. Так, во всяком случае, можно понять последний абзац статьи. Стремление Пастернака к простоте, о котором Шапир интересно и убедительно рассказывает (особенно — о «конflikте понятности и простоты»), не влекло к нарушению литературной нормы: в поздних стихах, управляемых установкой на доступность, нарушений нет (или почти нет).

работано правил, сверяясь с которыми можно было бы дать оценку. Но именно в оценке таится ответ на вопрос, есть ли ошибка, погрешность, неправильность, оговорка. «Прелесть», «очарование», «волшебство» — нет в научном лексиконе всех этих слов, хотя благодаря этим неопределенным свойствам меняется смысл речи. Поэтический смысл подобен скрытому юмору. Одна и та же фраза может быть серьезной, а может иметь юмористический подтекст. Одна и та же фраза в стихах может содержать, а может не содержать поэтический смысл. Кстати, подтекст — это уже что-то более определенное, даже терминологически принятое. Так вот, поэтический смысл (или подтекст) необходимо иметь в виду, анализируя стихи. Без этого неминуемы ошибки, огрехи, двусмысленности — вся та *небрежность*, которая недопустима в исследовании.



Р Е Щ Е Н З И И . О Б З О Р Ы

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ СЛАПОВСКОГО

Алексей Славовский. Качество жизни. М., «Вагриус», 2004, 351 стр.
Алексей Славовский. Качество жизни. Книга. Адапатор. Роман. — «Знамя», 2004, № 3.

Герой книги Славовского, литератор-универсал Анисимов, главным своим делом считает адаптацию классических текстов для массовой аудитории. Эпиграфом к роману Славовский ставит текст словарной статьи, в которой адаптация определяется, в частности, как «упрощение печатного текста <...> для малоподготовленных читателей». Жест лукавый — с понятием «адаптации» и у автора, и у его героя отношения более сложные. Адаптация, которой занимается герой романа, не сводится к упрощению. Скорее это попытка перевода классики с языка одного времени на язык другого, отсечение омертвевшего. То есть герой Славовского ориентируется не столько на упрощение и сокращение текстов, сколько — на обнажение их сути. И «искусство адаптации» для него — не только вопрос литературных технологий, но и жизненная философия: «Людей мне, каюсь без раскаянья, тоже хочется адаптировать. Они безразмерны, утомительно долги и длинны во всем; не умея никакой процесс сделать четким, емким и быстрым, они придумали для себя утешение, что, дескать, истинной целью при достижении цели является не сама цель, а именно процесс достижения цели!»

Соответственно этим размышлениям героя к журнальному варианту книги, роману «Адапатор» в «знаменской» редакции, я отнесся как к своеобразной ее «адаптации». И, забегая вперед, хочу сказать, что потом, перейдя от журнала к книге, я оценил остроумие предложенной концепции. Не уверен, что автор рассчитывал на подобный эффект, но «адаптированный» (журнальный) вариант книги выглядит более «четким, емким и быстрым», нежели ее полный текст, включивший еще несколько рассказов про Анисимова. Рассказы («Пинг-понг», «Койка», «Мама») неплохие, но они уже не развивают романную мысль, а только дополняют, иллюстрируют. Поэтому разговор о новой книге Славовского я буду вести на материале романа «Адапатор».

Начну с его жанра. Точнее, со стилистики. Вопрос принципиальный и для этой книги, и для писательской манеры Славовского вообще. В «Адапаторе», как и в некоторых других своих романах и повестях, Славовскому удается сочетать, казалось бы, несочетаемое — школу русской психологической прозы и стилистику плутовского романа с использованием элементов современной массовой литературы.

Экспозиция романа предлагает вполне традиционное, трифоновского почти типа, повествование о рефлексии интеллигенте, пишущем автопортрет в интерьере: работа в издательстве вместо вольного творчества; одиночество и отчетливо горчащая свобода — жена ушла, отделившийся сын ведет собственную жизнь, в которую отца не посвящает. Плюс — первые звоночки оттуда: непонятные боли в сердце и голове, помрачения сознания, странные приступы, когда герой слышит, но перестает вдруг понимать речь окружающих. Короче, пора и о душе подумать. В манере первых главок романа ощущается даже некая медитативность, длительная сосредоточенность героя на библейских сюжетах, в частности на Книге Иова.

Это экспозиция.

Далее — само действие. Которое, естественно продолжая жизненную ситуацию героя (одиночество, маета, потребность заполнить образовавшиеся пустоты), начинает развиваться настолько стремительно, что выносит повествование почти в стилистику современного авантюрного, любовного и отчасти сатирического повествования: случайное знакомство с входящей в моду телеведущей Ириной, далее стечение обстоятельств, делающее их пока еще никакие взаимоотношения публичными и двусмысленными, — и вот Анисимов обнаруживает себя втянутым в некий медийный шоу-проект, в котором сталкиваются интересы могущественных корпораций, известных политиков, бизнесменов и звезд экрана. Самому же Анисимову в этом

действе предназначена роль чуть ли не центральная — роль писателя Асимова, явившегося миру непризнанного (до времени) гения, избранника блистательной Ирины, новейшего кумира миллионов читателей и телезрителей. Сценки из жизни политической и телевизионной элиты, сама технология пиар-акции написаны занимательно, иронично, лирично, как бы философично и проч. То есть перед нами текст по множеству признаков «сугубо функциональный», соответствующий общепринятому ныне стандарту не слишком толстой (чтобы заглотить за день-два по дороге на работу — с работы) книжки, набранной крупным шрифтом (свет в метро тускловатый), изданной в карманном формате, в бумажной обложке, и чтоб в книжке этой увлекательно и жизнеподобно было про понятное и близкое — про трудности взаимоотношений отцов и детей, про холодок надвигающейся старости и одиночества, трогательно и душеподъемно — про ласку судьбы, одарившую героя поздней любовью и славой; и сатирично — про акул политики и шоу-бизнеса, циничных телекрасоток, про интриги в «высших сферах», ну и так далее.

Слаповский как бы подставляется, он слишком демонстративно переводит свое повествование в чуждое для заявленной им в начале интонации и проблематики пространство, и его очень легко упрекнуть в закамуфлированной капитуляции перед эстетикой массовой литературы.

Но продолжим чтение.

Роль Асимова, которую вынужден играть Анисимов, почти совпадает с ним самим: по сути, это реализация его подсознательных мечтаний, — он ведь и на самом деле писатель и, как всякий писатель, мечтает о читателе, и он действительно влюблен в Ирину и мечтает о взаимности. И Анисимов получает почти все: и пишется ему (он перерабатывает свои старые романы, адаптируя их к легенде про Асимова) всласть, и читателей у него теперь толпы. И Ирина становится его подругой не только ради поддержания пиаровского проекта. Жизнь, можно сказать, удалась. Мешает мелочь — удалась жизнь Асимову, а не Анисимову. И, чувствуя, что делает ошибку, но понимая, что еще большей ошибкой будет не сделать эту ошибку, Анисимов идет на решительное выяснение отношений с Ириной и на публичный выход из проекта. И тут же теряет «любовь» Ирины, обретая в ее лице опасного врага, теряет славу и доброе имя, теряет даже права на собственные тексты. Анисимов возвращается в прежнее состояние литератора-поденщика, вдруг «задумавшегося о душе». И он если не счастлив, то — спокоен.

Читать это, скажу сразу, интересно. И поначалу кажется, что «вопреки». Вопреки обязательному для произведения, претендующего на продвинутость у массовой аудитории, набору престижных атрибутов современной жизни. Вопреки полной прогнозируемости последующего развития событий — ясно же с самого начала, что случайная встреча стареющего безвестного литератора с блистательной Ириной будет иметь продолжение почти счастливое. Ясно, что чернорабочий от литературы, мучимый ощущением профессиональной задвинутости, еще «прогремит». И что потом, «прогремев», «соскочит». Или? Или последнее не так ясно? Или это потом, дочитав до финальных страниц и будучи убежден художественной логикой этого странного повествования, я уже задним числом решил, что иначе и быть не могло. Хотя как раз по законам массовой литературы все должно было быть наоборот. Ну, скажем, легкое усложнение отношений с Ириной должно было упрочить жизнеподобность неопределенного счастливого финала, не более того. Герой массовой литературы обязан быть победителем, он должен завоевывать «большой мир», а не погружаться в себя, в «мир малый».

Слаповский же, объявив объектом своих поисков *критерии* качества жизни, основным сюжетом «легкого» повествования делает, по сути, серьезнейший сюжет искушения. Автор искушает героя попыткой достичь желаемого ценою пусть и частичного, но — отказа от себя. Он ставит Анисимова перед вопросом: чего стоит исполнение твоих заветных желаний, если исполняются они для того, кто наполовину уже и не ты? Да ничего не стоит, осознает Анисимов. То есть главным критерием качества жизни может быть только степень твоего совпадения с самим собой. А уж нравишься ты себе таким, какой есть, или не нравишься — это вопрос

второй. Это уже проблема того, насколько ясно ты видишь и понимаешь самого себя и свое предназначение.

Иными словами, начав разбираться в содержании этого «легкого» романа, вдруг обнаруживаешь в нем проблематику романа философского. И как ни парадоксально, но и сюжет, и стилистика, и тональность повествования Слаповского, словно бы полностью вышедшие из современной, торопящейся за вкусами массового читателя «актуальной» литературы, то есть противоположенные, как считается, философской прозе, проблематику эту удерживают.

Странно это только на первый взгляд. Эстетическая простота и доступность прозы Слаповского — мнимые. А бытующее у части критиков представление о Слаповском как о суперуниверсале, который может все («способен на все») и у которого за душой нет собственной литературной темы, — миф (с которым много лет, под недоуменными взглядами коллег, боролся разве только А. Немзер).

Справедливости ради замечу, что Слаповский и сам давал поводы для появления этого мифа — пишет он много, пишет разное, иногда неровно, иногда не «пропекая» свои тексты до необходимой плотности. И в том же «Адаптаторе» видны швы: декларативна, художественно не прописана, скажем, тема потаенной от самого Анисимова его любви к ушедшей жене, и диалог их в финале, где, судя по всему, предполагалось завершить, доформулировать мысль романа, выглядит внешней авторской ремаркой, — романная мысль в «Адаптаторе» разрешается логикой развития самого сюжета, тональностью финальных сцен. При желании подобных примеров авторской небрежности можно, наверное, отыскать много. Но это будет разговор о частностях — в обход того главного, что делает корпус опубликованных Слаповским текстов серьезным явлением сегодняшней литературы.

Вот, скажем, характернейший для его прозы мотив: человек выходит из дома, имея конкретную цель, имея определенное, хотя бы на ближайшие несколько часов, будущее, то есть имея себя таким, какой есть, каким был и должен быть впредь, но уже через несколько минут он оказывается втянутым в цепь непредсказуемых случайных обстоятельств, которые меняют и его маршрут, и его ближайшие планы, — и с ним происходит нечто переворачивающее не только привычное течение его жизни, но и его самого («День денег»). Писатель заморожен этим сюжетным мотивом, воспроизводя его из книги в книгу, — меняются только герои, меняется набор ситуаций, но не суть. Не холодок экзистенциального ужаса перед бесконечностью возможностей, перед «вариативностью человека». Точнее, это даже не сюжетный мотив, это скорее некая общая ситуация, в которой развивается большинство сюжетов Слаповского, это, если можно так выразиться, состав грунта, на котором он пишет. В повести «Пыльная зима» нелепая случайность — вылетевшая из проходящей машины пустая банка из-под кока-колы — переворачивает, казалось бы, прочно вписанную в «нормальное» течение жизни судьбу героини. И уже не важно, что происходящее в повести было только игрой ее воображения, что, очнувшись от морока разыгравшейся фантазии, героиня обнаруживает себя «целиком прежней», — предлагаемый в повести вариант ее судьбы читатель проживает как подлинную реальность. Для Слаповского в этой повести нет «нормальной» «налаженной жизни», за внешней ее стабильностью кроется абсолютный произвол невероятного количества случайных обстоятельств, способных полностью поглотить человека. Он остро чувствует бессилие человека перед вот этим «возможно все». Именно, с этого Слаповский и начинал — сюжет плутовского романа «Я — не я», ставший для широкой публики дебютом саратовского прозаика, был построен как раз на череде перевоплощений героя. Уже в том романе он начал формулировать один из главных своих вопросов — где кончаются обстоятельства и начинается сам человек, из чего «состоит» человек, если его так легко и так бесследно накрывает поток случайных обстоятельств. Возможно, этот вопрос и усадил Слаповского за писание романа «Анкета», где, уже почти в лоб, художественно обыгрывая структуру развернутой анкеты, он пытается очертить феномен современного человека. Не могу отнести этот роман к удачам автора, но и не могу не чувствовать уважения к задаче, которую он ставил перед собой.

Нет, Слаповский может не все. Он может только то, что может. Точнее, то, что на самом деле мучит его и заставляет писать.

Начатое им в предыдущих романах размышление имеет в «Адаптаторе» неожиданное продолжение, если не разрешение. Прежним остается все то же неприятие автором произвола случайностей, бесконечной «вариативности человека». И, кстати, такое неприятие не столь уж очевидно и бесспорно. Существует давняя философская традиция, в которой как раз это наличие множества альтернатив — мотив оптимистический, синонимичный мотиву свободы. И напротив, безальтернативность ставится в один ряд с понятиями рока, фатума. С понятием крайней несвободы человека.

«Адаптатор» в, казалось бы, неразрешимой для Слаповского (если судить по предшествующим произведениям) проблеме предлагает реальные опоры. Автор берется художественно доказать, что «вариативность человека» — это миф. Что человек обречен на равенство самому себе. И простота и очевидность вывода здесь не должна смущать. Эту прописную вроде бы истину автор предлагает читателю *пережить*.

Ощущение произвола неподконтрольных человеку сил, выстраивающих его судьбу, дается автором в начале романа на уровне почти физиологическом — это мотив болезни героя. Но непредсказуемость этих сил и неминуемость ожидаемого конца не подчиняют себе героя, а провоцируют на сопротивление. Которое, разумеется, есть манифестация его достоинства, но и, если можно так выразиться, проявление инстинкта самосохранения личности. Анисимов упирается, чтобы оставаться собой — дееспособным писателем, мужчиной, делателем, а не функциональным придатком к сложившемуся раскладу обстоятельств, скулящим от ужаса перед неотвратимым.

Далее — сюжет с медиа-проектом. Здесь уже цепь обстоятельств внешних, вроде не таких фатальных, как болезнь, но кнутом и пряником заставляющих Анисимова стать Асимовым. Мир «поймал» Анисимова. Мир грозитя подчинить героя себе целиком, но тем не менее не подчиняет. Анисимов «побеждает» Асимова. В этом тоже нет полного своеволия, потому как логику его поступков определяет сам код его личности.

Слаповский использует здесь неожиданный художественный прием: его герой — писатель, который, в свою очередь, волен по собственному, уже авторскому произволу сводить и разводить вымышленных героев, прихотливо плести их судьбы. На книжной полке Анисимова более двадцати глянцевообложечных романов, написанных им под разными именами и для разных издательских серий, любовных и детективных. Но когда сам Анисимов оказывается втянут в произвол внешних обстоятельств, он вдруг обнаруживает, что его реальный сюжет почти буквально повторяет эпизоды уже сочиненных им романов. Значит, не вполне сочинял? Значит, выйти за рамки себя и своих — далеко не беспредельных — возможностей, того, что, грубо говоря, в тебя заложено, ты не можешь даже в своем воображении.

И вся эта достаточно серьезная мысль разворачивается Слаповским, повторяю, в легком полуавантюрном повествовании. Автор, следуя за своим героем, как бы адаптирует сложную тему к возможностям современной массовой литературы. Но адаптирует в том самом, анисимовском, понимании процесса — убрать все лишнее, проверить мысль и ее пафос на уровне элементарном, общедоступном. Один из аргументов Слаповского в пользу выбранной стратегии помещен в конце книги «Качество жизни», — здесь приводится адаптация первых книг Библии, осуществленных Анисимовым, и текст ее (после Книги Екклесиаста) обрывается авторской ремаркой: «Далее А. Н. Анисимов неожиданно перестает работать над пересказом содержания (возможно, испугавшись 666-й страницы, на которой остановился) и перепечатывает зачем-то текст Библии буква в букву до последнего слова — „Аминь”». Кроме варианта с 666-й страницей, то есть испуга Анисимова перед кошунством своей затеи, я бы предложил еще одно объяснение, очевидное: Анисимов начинает перепечатывать «буква в букву», осознав полную бессмысленность переложения Библии, потому как более «адаптированной» Книги в мире не существует. И более массовой — тоже.

Сергей КОСТЫРКО.



СТЕРЕОСКОПИЧНОСТЬ ПАМЯТИ

Петр Горелик. Служба и дружба. Попытка воспоминаний. СПб., «Журнал „Нева”», 2003, 351 стр.

Прежде всего — заглавие. Оно какое-то странное — детское, что ли? Может, из-за точной рифмы? Честно говоря, я не припомню, чтобы кто-нибудь называл не то чтобы мемуары, но и просто... прозу рифмующимся названием. Тургенев, правда, спрятал в название романа подразумеваемый палиндромон: «Дым» — мы — «Дым», но это я, возможно, за Ивана Сергеевича сам придумал...

Может, назвал из-за того, что поневоле вспоминается поговорка, присловье: «Не в службу, а в дружбу»?.. Не знаю, но название — странное. Объяснение в авторском предисловии только усиливает странность: «Много лет друг моей юности и всей жизни Борис Слуцкий донимал меня вопросом: „Когда ты начнешь писать мемуары?..” Так было, пока в середине 60-х он не достал с полки общую тетрадь в кустарном переплете — салатный ситчик в розочку — и на первом листе написал: „Петр Горелик. 'СЛУЖБА И ДРУЖБА'. Мемуары. Том I-й”».

Кстати, из вышеприведенной цитаты уже видна одна особенность мемуариста Петра Горелика. Он не забывает детали. Крохотной, побочной, казалось бы, к делу не идущей, но идущей в дело. Не просто тетрадь, но «в кустарном переплете — салатный ситчик в розочку...». Впрочем, речь сейчас идет не о детальности воспоминаний полковника в отставке Петра Горелика, речь покуда идет о странном названии. Оно немножко смешное... не так ли?

Понятно, почему смешное: Слуцкий шутя придумал это название, дурачился, хохмил: «Не надеясь, что я когда-нибудь начну, Борис начал за меня: „Я рос под непосредственным идейным руководством Б. А. Слуцкого”». Шутка стала не вовсе шуткой или вовсе не шуткой.

В середине книги Горелик об этом пишет так: «За более чем полувековую дружбу мы были рядом не так много времени: всего семь школьных лет... Борис оказался стрелочником. Он вовремя перевел меня с накатанного школой и комсомолом пути, нивелировавшего личность, открыв передо мной иной мир... Борис превратил меня из „читателя газет, чесателя корост” (М. Цветаева) в „читателя стиха” (И. Сельвинский). Первоначального толчка хватило на всю оставшуюся жизнь...»

Да и с чего бы заглавие казалось таким уж шутливым? Оно (это заглавие) достаточно четко обозначает то важное, что было в жизни полковника Петра Захаровича Горелика: служба (долг, профессия, армия) и дружба (поэзия, искусство). Здесь в пору поговорить о сугубой милитаризованности советского общества и государства. Еще один харьковский друг Горелика, Михаил Кульчицкий, посвятил ему стихи, где были строчки: «Первый снег, как спуск десанта...»

В самом деле, поэт смотрит на первый снег и видит... десант. Разумеется, милитаризованное сознание; у Кульчицкого, впрочем, и повесомее есть образы: пресс-папье, которое стоит на карте как танк, — но не это мне сейчас интересно. В конце концов, в юношеской анкете с одним-единственным вопросом: «Что такое поэзия?» — молодой Борис Слуцкий позволил себе такую вот шутку: «„Мы были музыкой во льду” — единственный род музыкальности, караемый Уголовным кодексом (см. 58 ст.). К сведению ниже пишущих», что свидетельствует не о милитаризованном сознании, а о каком-то ином.

Впрочем, тут (как говорит Писатель в фильме «Сталкер») всё такие тонкие, неувловимые материи. Горелик пишет о советском обществе с двадцатых до семидесятых годов. Мемуары свои он завершает описанием последних лет двух своих друзей — Давида Самойлова и Бориса Слуцкого. Не потому завершает, что дальше вспоминать стало нечего, а потому, что закончилась целая эпоха; завершилось время.

Да, именно так — советское время, советская эпоха. Горелик со спокойной точностью описывает формирование, если угодно, воспитание чувств — советского человека, советского интеллигента. И хорошо располагает этого интеллигента:

«служба» (армия) и «дружба» (поэзия). Здесь не обойтись без парадоксов и противоречий. Здесь не обойтись без особого рода восприятия истории.

Как там было сказано у друга Горелика, Слуцкого: «История над нами пролилась, я под ее ревушим ливнем вымок. Я ощутил размах ее и вымах...» Петр Горелик не так риторичен. Он — скромн. Скромн и наблюдателен. Он умеет описывать происшедшее, случившееся так, чтобы читатель ощутил не сам факт, но ауру факта, настроение случившегося.

«Запомнившейся колоритной фигурой Змиевского переулка (Харькова 30-х годов. — *Н. Е.*) был Кузьмич, изможденный и высохший старик с желтым пергаментным лицом. Он „заведовал” водоразборной колонкой, единственным источником воды в нашем переулке. В его обязанности входило следить за исправностью колонки, а зимой скалывать лед... В 1936 году, с выходом „Краткого курса”, полуграмотного старика партячейка обязала учить историю партии. Я по дружбе помогал ему запомнить, сколько раз „Плеханов уходил в кусты”, а он рассказывал мне эпизоды живой истории... Один такой эпизод запомнился. Дело было в 1905 году. На заводе начались повальные аресты... Стало ясно, что в организации завелся предатель. Подозрение пало на помощника мастера штамповального цеха... Решено было примерно наказать предателя, но до „смертоубийства” не доводить... Несчастного связали и положили под огромный паровой молот. Один из виртуозов кузнечного дела нажал на педаль, многотонная баба рухнула вниз, но, не коснувшись носа наказуемого, остановилась. Поседевшего от страха и лишившегося чувств человека вытащили и оставили лежать на земле... Единственное, что вызвало пафос рассказчика, — это оценка мастерства кузнеца, сумевшего с точностью до миллиметра управлять тяжелым молотом... Я понял, как жестока, беспощадна и несправедлива толпа, какую силу над толпой имеет ненависть, не важно какая, классовая, религиозная или национальная...»

Вот удивительное свойство времени (а может, и текста?). Меня ведь в этой истории тоже потрясла именно профессиональная сторона: как это — за несколько миллиметров до носа остановить многотонный молот? Я как-то даже на ненависть толпы и внимания не обратил.

Такое «двойное» восприятие (автор воспринимает — так, а читатель — не так) есть почти во всех эпизодах мемуаров. Вот молодой военный видит на фронте Пастернака:

«Здесь, в штабе, я узнал, что в армию приехала группа известных писателей: А. Серафимович, К. Федин, К. Симонов, П. Антокольский и — я с трудом поверил — Борис Пастернак... В одну из своих поездок в части, проезжая деревню Ильинское, где располагался Политотдел армии, я увидел живописную группу людей, плотно окружившую начальника политотдела полковника Н. Амосова... Но я искал глазами Пастернака.

Он стоял у палатки с противоположной от меня стороны. Мне показалось, что он здесь одинок. Сейчас я думаю, что это впечатление могло быть ошибочным, возможно, представление о его одиночестве слишком глубоко сидело во мне всегда, задолго до встречи, и все-таки память сохранила именно это впечатление. Да, он был здесь одинок...

Преодолевая робость, я спросил у полковника Амосова разрешения обратиться к Борису Леонидовичу Пастернаку (таков закон армейской субординации)... Получив разрешение, я подошел к Пастернаку. Он был смущен. Я достал из планшета его книги и громко, так, чтобы все слышали, попросил надписать на память о нашей встрече... Он подписал обе книги. На одной он написал: „Тов. Горелику на память о встрече в деревне Ильинке. 31 августа 1943 года. Борис Пастернак”. На другой: „Тов. Горелику на счастье. Борис Пастернак”. Кто знает, может быть, искреннее пожелание счастья привело меня живым в поверженный Берлин».

Читатель поначалу с ходу замечает одиночество Пастернака среди его более «благополучных коллег», потом — никогда не нарушаемую армейскую субординацию: даже если встречаешься с великим и любимым тобой поэтом, надо спросить разрешения у вышестоящего командира, — и только под занавес обнаруживается (и это самое удивительное, самое... ммм... мистическое и потому незаметное) —

поразительная вера в то, что пожелание счастья великого поэта может уберечь, может спасти от гибели...

Нет, нет, что ни говори, странная книжка. Что запоминается по прочтении? Пейзажи... Горелик нигде не описывает пейзажи напрямую, непосредственно — однако видишь и Киев 20-х годов, и Харьков начала 30-х, и Одессу, и Западную Белоруссию, и послевоенную Чехословакию, и послевоенную Австрию, и Москву 40-х, и... Да вот, пожалуйста, пример: «Из киевской жизни всплывают в памяти разные, не всегда связанные между собой моменты... Почему-то запомнилась толстая, толщиной с кулак, истекавшая жиром сельдь залом, лежавшая на деревянной доске. Хозяин отрезал фунт и заворачивал в вошеную бумагу... В кредит (не больше чем на пятак) отпускала мне лоточница хрустящие бублики, обсыпанные маком. Я съедал их, возвращаясь из школы, чтобы насытиться, не подымаясь домой. Если лоточницы почему-либо не было, мама спускала мне сверху на длинной бечевке мешочек с бутербродами, а наверх подымала портфель». Вот этот портфель, который подымают вверх на бечевке в окно многоэтажного киевского дома, — он виден, а стало быть, виден и дом, и пейзаж вокруг дома... Эти все детали быта не так интересны мемуаристу, они у него получаются сами собой, потому что у него *поставлена рука*. Он умеет писать.

Ему, скажем, интересно и важно описать, как по-разному относились к потерям во время войны комфронта Захаров и генерал Горбатов. Но, описывая это важное, он не забывает о деталях, об обстановочке:

«В огромном каземате старого русского форта Рожан, очищенного от хранившегося в нем картофеля, но сохранявшего запах прошлогоднего подгнившего урожая, собралось несколько сот генералов и офицеров. Я, по-видимому, был самым младшим по должности и, определенно, самым младшим по званию...

Генерал Захаров... упрекал генералов Горбатова и Романенко в том, что они не выполнили приказ — 3-я армия не дошла до реки Ожиц, 48-я армия не овладела городом Макув. И заключил он эту часть своего выступления требованием, которое потрясло меня и запомнилось на всю жизнь: „Если даю вам столько-то дивизий, столько-то танков, столько-то орудий — *уложите все*, но задачу выполните. О дальнейшем я подумаю и решу сам”. В каземате воцарилась тишина, которую нарушил вставший генерал Горбатов: „Я, — сказал он, — так выполнять приказы не буду”».

Если вспомнить о том, что до войны генерал Горбатов сидел, то особо и особенно зауважайте его за это «оперативное неповиновение». Но запоминается оно, врезается в память, кроме всего прочего, из-за «каземата старого русского форта Рожан, очищенного от хранившегося в нем картофеля». Эта деталька, замеченная и оставленная в тексте, — периферийна, не важна; гораздо важнее то, о чем после войны напишет генералу Горбатову полковник Горелик: «Можно ли забыть фронтное совещание, на котором генерал Захаров обрушился на Вас за невыполнение приказа и где Вы мужественно и достойно отстаивали свою позицию...»; гораздо важнее то, о чем рассуждает мемуарист Горелик спустя много лет: «...выполнение приказа — закон для подчиненных, это стержень воинской службы. Что же, оказывается, в тактике и оперативном искусстве, как и в микроскоме и макроскоме, действуют разные законы?» — но эти рассуждения подкреплены писательской, необъяснимой образной точностью. Каземат форта Рожан с сохранившимся запахом прошлогоднего картофеля — совершенно не важная, но необходимая деталь. Я это и называю: у писателя поставлена рука.

По нынешним временам, писательские руки, за редким исключением, разболтаны и расшатаны, и взгляд писательский расфокусирован по нынешним-то временам. Не то у Горелика. Он четко и точно запоминает деталь, характерную, определяющую, и умело внедряет ее в читательское сознание.

Вот он описывает последнюю больницу болезни его друга Бориса Слуцкого: «Стараниями К. Симонова и генерала Цинева, фронтowego начальника Слуцкого, Борис был помещен в Центральную клиническую больницу, „кремлевку”... Лежали в отделении в основном люди пожилые, бывшие большие начальники. Некоторых Борису удалось разговорить. Он делил больных стариков на „отсажавших” и „отсидевших”. Однажды показал на двух мирно разговаривавших людей: „Вон на диване отсажавший рассказывает отсидевшему, за что его посадил”».

Рядом, на предыдущей странице, Горелик цитирует письмо Давида Самойлова: «Болезнь Бориса не умственная, как бывает у сошедших с ума, а душевная...» — и лучшего доказательства, что это было именно так, чем история про «отсажавших» и «отсидевших», не привести, но это... писательское доказательство. Оно — не впрямую, не в лоб, но — между делом, обок, не *ad veritatem* и не *ad hominem*, но — *ad marginem*.

У Горелика лучше всего получаются странные ситуации, в которых схвачено что-то очень важное для времени и для человеческой души в этом времени: «В одном из бывших общественных зданий неподалеку от комендатуры (библиотека или школа), куда я зашел в ожидании машины, я наткнулся на груды искореженных книг. Случайно мне попался обрывок книги Анатоля Франса, страниц 80 — 100 из „Современной истории“, определить автора и название не составило труда: в верхней части страниц было указано: слева — автор, справа — название. Эти несколько страниц вызвали сумятицу в мыслях... Мы знали свой солдатский долг... Успехи под Сталинградом, Курском и у нас под Орлом окрыляли нас. Как возмездие, как Божью кару воспринимали мы известия о начавшихся бомбардировках немецких городов англо-американской авиацией. Трудно было сознанию солдата, очищавшего свою землю от оккупантов, принять утверждение Франса о бессмысленности любой войны... Для моего атеистического сознания была откровением мысль, с железной логичностью изложенная Франсом: по какому праву можно требовать от человека, чтобы он жертвовал жизнью, если его лишили надежды на загробное существование?.. Всего этого было для меня чересчур... Признаюсь, я настолько был выведен из состояния душевного равновесия, что не взял эти обжигающие руки странички с собой».

Пацифистская книга Франса, изданная в двадцатые годы, искореженная войной, валяющаяся на полу орловской библиотеки; советский офицер, который не может не согласиться с железной логикой французского писателя; а вот все-таки кладет страницы на пол, туда же, где взял, — и едет воевать дальше: все это создает особый стереоскопический эффект, едва ли не символический.

Здесь одна из особенностей Горелика-мемуариста. Он не забывает. Он помнит одно рядом с другим... Не одно, вытесняющее другое, но именно так — одно рядом с другим. Он помнит, как благодаря штатному пионервожатому Коле Курганскому смог получить образование: «Коля Курганский — молодой человек лет двадцати с чем-нибудь, из бывших рабочих паровозного завода, комсомольский выдвиженец... Внешне он ничем не отличался от рабочей молодежи нашей окраины. Скулы выдавали его татарское происхождение, но в те годы национальностью почти не интересовались... Он дружил с нами, поддерживал нас и помогал... Когда передо мной стал вопрос, учиться или кустарничать в подвале отца, и я должен был решиться на отчаянный шаг ухода из дома, именно Коля Курганский поддержал меня и помог. Коля знал о моих обстоятельствах и, ничего мне не сказав, пошел к отцу. Подробности их разговора мне на первых порах остались неизвестны. Но результат был таков: отец согласился ежемесячно оплачивать мои квартирные расходы. Речь шла о том, что я сниму скромный угол...»

И так же хорошо он помнит своего отца, ремесленника-кустара, никогда не работавшего «на них»; его жизнестойкость, трудолюбие изображены с настоящей симпатией, с подлинным сочувствием: «Желание заработать на черный день постоянно толкало отца на экономические подвиги, а иногда и на авантюры. Ему казалось, что он чутко улавливает быстро меняющуюся конъюнктуру рынка, и нередко чутье его не обманывало... Небольшой темный подвал под квартирой видел многое: варка мыла сменялась изготовлением чернил, чернила сменял клей, за пуговицами из олова налаживалось производство эбонитовых пуговиц из старых граммофонных пластинок; в этом же мрачном, но слегка подбеленном помещении изготавливалось „вологодское“ сливочное масло и знаменитые в Харькове треугольные вафли, скрепленные помадкой, весьма отдаленно напоминавшей шоколадную. Эти вафли почему-то называли „Микадо“... Сейчас я вижу в отце не только деспота. Время частично стерло детали, и я должен прежде всего признать, что отец был труженик... Удивительно, но ему очень долго, до старости, удалось оставаться при своем деле, то кустарем-одиночкой, то кооперированным кустарем. С кем он кооперировался,

оставалось загадкой, но была такая возможность легализовать частную деятельность, и он ею пользовался, во всяком случае, „на них” он не работал».

Стереоскопичность, объемность памяти, располагающая рядом комсомольско-го выдвиженца, Колю Курганского, и еврейского кустаря-ремесленника, Захара Горелика, — замечательное свойство мемуариста.

Он не просто рассказывает о пережитом.

Он видит пережитое.

И я пережитое им тоже вижу.

Никита ЕЛИСЕЕВ.

С.-Петербург.



ВОЕННАЯ ТАЙНА БОРИСА СЛУЦКОГО

Григорий Ройтман. Борис Слуцкий. Очерк жизни и творчества. «Hermitage Publishers» (США), 2003, 208 стр.

Бориса Слуцкого в книжное бессмертие доставили «Лошади в океане». Со временем к своему популярнейшему стихотворению он сделал постскрипtum в стихах, не без ноты меланхолической иронии: «Про меня вспоминают и сразу же — про лошадей, / рыжих, тонущих в океане. / Ничего не осталось — ни строк, ни идей, / только лошади, тонущие в океане».

Правда здесь только в первых двух строках. Осталось то, чем, к примеру, Сергей Гандлевский написал «На смерть И. Б.» (И. Б. — женщина, а не тот, о ком первым делом подумает просвещенный читатель), — «*комом в горле, слущким слогом*». Из «слущкой шинели» вышли не только те стихотворцы, что учились у него поэтике «*гитса на ране*» (Д. Самойлов), — в частности, Бродский, который и стихописанием-то заинтересовался (по свидетельству Льва Лосева), глядя на стихи Слуцкого, или слов на ветер не бросающий поэт Эдуард Лимонов, или — через поколение — скажем, Александр Медведев, давший голос униженным и оскорбленным — пенсионерам-коммунистам и прочим разным «челнокам» — эпохи «бизнеса», но и многие иваны, родства не помнящие. Или не сознающие. Осталась после Слуцкого тайна поэтической удачи.

Я же, когда вспоминаю о Слуцком, вижу на некоем внутреннем экране памяти серый холод и человека говорящего. Пар изо рта на морозе — такой вот почему-то образ его поэзии.

От последней решительной ясности
начихать ему на опасности,
и какое-то вроде тепла
наполняет сосуды и вены,
оттого что была и сплыла
жизнь.
Сплыла, как обыкновенно.

«*Слуцкий слог*» — это не только прозаизмы вплоть до просторечий, негладкость вплоть до корявости, расшатанный ритм. «*Слуцкий слог*» — еще и то (и это главное, потому что не так уж, честно говоря, он негладок), — еще и то, что определить нельзя, но можно мгновенно узнать. Есть такие лица — опаленные; у него был *опаленный* голос.

Слуцкий «писал войною», замечает Григорий Ройтман, автор недавно вышедшей первой монографии о жизни и творчестве Слуцкого. Почему подобная книга вышла в зарубежье раньше, чем в России? После смерти Слуцкого в 1986-м было опубликовано много мемуарного материала и статей о Слуцком — Ю. Болдырева, П. Горелика, В. Огнева, Д. Самойлова и других, так что интерес к поэту, жившему мрачным затворником в последнее десятилетие своей жизни, был насыщен. С другой стороны, так существенна оказалась доля не опубликованного при жизни Слуцкого (больше половины его наследия) и в годы гласности, разумеется, изданного, что, возможно, требуется время не столь нервное, как 90-е, для про-

чтения поэта. А может быть, как раз наоборот? — столь прозрачен, понятен Слуцкий и столь жив для своего читателя, что натягивать на поэта смирительную рубашку «монографии» близким людям неохота?

Эмигрант, профессор университета в США находится в ином положении. Во-первых, на Западе Слуцкий проходит за Солженицына в поэзии с тех пор, как его антисталинские «Бог» и «Хозяин» появились в списках — еще до XX съезда. (Солженицын он по характеру резонанса, а стилистически — Чехов! С этого экстатического утверждения начинается рецензия в книжном обозрении «Нью-Йорк таймс» на вышедшее недавно в Лондоне избранное Слуцкого в переводе Джереми Смита.) Во-вторых, для покинувшего СССР поэт Борис Слуцкий — воспоминание дорогое и мучительное и потому вдохновляющее. Если для нынешнего соотечественника Слуцкого его поэзия — это живая советская эпоха, то для эмигранта — еще и живая родина. Для эмигранта место и время совпадают.

Двухсторонний труд Григория Ройтмана имеет, может быть, только один серьезный изъян — это стилистика изложения. Диссертация переведена на язык средней школы, такое ощущение. Что устроит школьника... но дисгармония содержания и формы не может не хмурить лоб читателю, избалованному классными критиками, писавшими о Слуцком. То, что первый блин комом, сомнений нет. Но столь добросовестно автор собрал все, что только смог, о Слуцком — и из уже опубликованных воспоминаний и статей, и из архивных подшивок периодики, и из разговоров с друзьями Слуцкого во время своих наездов в Россию, столь досконально поверяет он алгеброй гармонию многих известных шедевров и не столь известных стихов Слуцкого, что книга Ройтмана своего читателя найдет. В авторе этой рецензии — нашла. Слуцкий меня захватил как никогда прежде.

Раньше я ему не прощала дефицита любовной лирики, а теперь — только благодарна. Потому что весь его лиризм ушел в социальность, а это куда как интереснее — теперь, когда былой социальности не вернуть. Дух коллективизма эпохи шел на пользу очевидному свойству Слуцкого отзываться на тяжесть существования других. Может быть, это доброта, а может быть, то были просто «нервы» — повышенная чувствительность к боли другого. За себя как-то спокойнее, чем за «счастье сотен тысяч». Хоть и сказал он о себе: «Фактовик, натуралист, эмпирик, / а не беспардонный лирик! / Малое знаточество свое / не сменяю на вранье», — был он вполне лирик, когда дело касалось солидарности с горем. Ведь как завершает он вышеупомянутый постскрипtum к истории о лошадях в океане?

Оказывается, лошади все-таки не утонули. Пока. «Я плыву рядом с ними, волну пересекаю, / я плыву с лошадьми, вместе с нами беда, / лошадиная и людская. / И покида плывут — вместе с ними и я на плаву: / для забвения нету причины, / но мгновения лишнего не проживу, / когда канут в пучину».

Не любовный лирик, о женщинах писал он немало. Об одиноких, богом забытых. О русских бабах и еврейских тоже, о «старухах без стариков», о матерях-одиночках, о неудачливых «девчонках». Невидным стихом под стать невидным героиням. «Я рассказать еще могу, / Как походя их топчут воины: / За белой булки полкило, / За то, что любит крепко, / За просто так, за понесло / Как половодьем щепку».

От него не осталось любовной лирики, но зато осталось нечто более редкое, драгоценное — лирика о «культе личности». Именно лирика, особенно «Хозяин» лиричен. «Когда меня он плакать заставлял, / Ему казалось: я притворно плачу. / Когда пред ним я голову склонял, / Ему казалось: я усмешку прячу». После разоблачения «культа» «Хозяин» заметно сбавил в звуке, но прошло полвека, и вот он уже звучит с двойной... нет, не громкостью, а проникновенностью. Говорят и те баснословные года, и вечная коллизия: человек и власть. Главное же — говорит человек Борис Слуцкий как он есть.

Размышления Григория Ройтмана о судьбе Слуцкого подводят к разгадке «военной тайны» не только его языка, но и его послевоенной жизни, особенно во времена «застоя». Война есть что угодно, но только не застой. «Война? Она запомнилась по дням. / Всё прочее? Оно по пятилеткам. / Война ударом сабли метким / навеки развалила сердце нам». К слову, «военная» метафора в последних двух строках ненужно «красивее» сильного неметафорического начала. Это на нынешний слух, прошедший школу усушки и утруски «красивой» поэзии. В этой школе Слуцкий учил, сам учась.

Во время войны батальонный политрук Слуцкий стихов не писал. Побывавший во многих сражениях, не раз раненный, перенесший две трепанации черепа, он провел на госпитальных койках и дома на диване в Харькове первые послевоенные годы. «Стихи меня и столкнули с дивана, вытолкнули из положения инвалида...» Дальше — всем известное: путевка в литературную жизнь от Эренбурга. Но и — лай, вернее, повизгивание прессы. Ройтман этот подзабытый звук восстанавливает, за что ему спасибо: услышать тогдашнее повизгивание в наши зажавшиеся (свободой слова) времена — освежающе.

Слуцкий «писал войною» в той же степени, в какой «писал лошадьми и людьми». И еще — «евреями». Евреи массами пошли в революцию строить царство справедливости, в результате чего многие из их отпрысков пошли в русскую поэзию. Процесс органический, но и мучительный. Слуцкий к такой органике был чувствителен: «Я, как из веры переходят в ересь, / Отчаянно в Россию перешел». Отчаяние обернулось самозабвенным погружением в русскую поэзию вообще и богатством звучания — тематическим и интонационным — еврейских мотивов в частности. Эпос и лирика: «Как убивали мою бабку», «Мост нищих», «Еврей хлеба не сеют», «А нам, евреям, повезло». Или «Происхождение», где автор, рассказывая про своего деда — преподавателя русского языка, обожавшего Толстого, заключает: «Родословие не пустые слова. / Но вопросов о происхождении я не объеду. / От Толстого происхожу, ото Льва, / через деда». Иностранцы такого же происхождения — от Толстого — никогда не будут чувствовать себя чужими в русской культуре.

«Поэт трагедии» — предисловие с таким предсказуемым названием к книге Ройтмана написал Евгений Рейн, и оно, естественно, не расходится с пафосом книги. Ройтман подчеркивает мотивы смерти и бренности жизни в стихах даже молодого Слуцкого. Неудивительно: он писал сразу после войны, «после Освенцима», во времена ГУЛАГа, в тусклоте «застоя». Но ведь и в «оттепель»? Не отпускает мысль о связи мотивов смерти и правдивости, которая явно была стержнем Слуцкого. (За четыре — по часам — неправдивые минуты на трибуне в день товарищеского суда над автором «Доктора Живаго» Борис Абрамович расплатился нервным потрясением с долгим последствием.) Не в том только дело, что экзистенциалист Слуцкий должен был сказать свою правду о жизни и смерти, а еще и в том, что правду о жизни цензура говорить не давала, а ситуация со смертью была все же «полегче». Не сгустил ли чрезмерно подобный дисбаланс трагическую окраску поэтического наследия Слуцкого?

Все начала кончил я.
Начинается конец.
Он тяжелый, как свинец,
но правдивый. Без вранья.

Лиля ПАНН.

Нью-Йорк.



НИНА И ДРУГОЕ

А. Б. Пеньковский. Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. Издание второе, исправленное и дополненное. М., «Индрик», 2003, 638 стр.

В одной редакции редактор спрашивал, получив толстую рукопись:
— Роман?
— Роман.
— Героиня Нина?
— Нина, — обрадовался подающий.
— Возьмите обратно, — мрачно отвечал редактор.

Виктор Шкловский, «Гамбургский счет».

За последние лет десять пышно расцвела особая форма литературоведения, которую можно условно назвать «провиденциальной». Ее адепты исходят из того, что тот или иной текст (или сумма текстов) представляет собой или тщательно зашифрованный его автором ребус, или тайное послание потомкам, подлинный

смысл которого они и призваны явить миру. Работы, написанные с таких методологических позиций, называются либо «Загадки и тайны N», либо «N без тайн и загадок», либо как-то по-иному, но с обязательным употреблением слов «разгадка», «подлинный», «нетрадиционный», «тайный» или сходных с ними по смыслу. В них на основе нового, «незашоренного», прочтения и толкования самых разнообразных источников (включая «Велесову книгу» и «Протоколы сионских мудрецов») с привлечением мистических озарений самих исследователей «неопровержимо доказывается», скажем, что «Слово о полку Игореве» сочинено по приказу Екатерины II, что все творчество Пушкина — это зашифрованная история дома Романовых или что Есенина убили масоны при помощи евреев, чекистов и инопланетян.

Как это ни печально, но на первый взгляд рецензируемая книга кажется сочинением именно такого сорта. Прежде всего на иронический лад настраивает не отличающаяся скромностью аннотация, где говорится, что автору «удалось разгадать многие загадки романа („Евгений Онегин”. — А. Б.) и его творческой истории, объяснить „темные” места и разветвь некоторые укоренившиеся предрассудки и преубеждения в интерпретации романа в целом и структуры образов его героев», а также «впервые через 160 лет <...> восстановить подлинное — отвечающее общим языковым нормам эпохи и нормам пушкинской поэтической речи — значение многих ключевых слов романа, и прежде всего слов онегинской сферы». Подобно тому как театр начинается с вешалки, любое добросовестное исследование должно начинаться с точности научного аппарата; но, согласитесь, когда, даже бегло листая книгу, натыкаешься на «М. Вознесенского» вместо «М. Воскресенского», «А. Висковатова» вместо «П. Висковатова», «Р. О. Тименчика» вместо «Р. Д. Тименчика», «П. Р. Зиборова» вместо «П. Р. Заборова», когда на стр. 68 читаешь: «А. Н. Майков, „Две судьбы», 1843—1844», а на стр. 73: «А. Н. Майков, „Две судьбы», 1845», когда видишь, что в указателе имен рядом стоят «Никитенко А., цензор» и «Никитенко А. В.», здесь же присутствуют «Хлопуша, вор» и «Белый А. Н.»¹, а Бегров и Гельти оставлены вовсе без инициалов, — это не добавляет сочувствия к ней. Примеры же подобных ошибок можно многократно умножить. Впрочем, удивительную библиографическую пестроту, фактические неточности и некоторую темноту и вялость слога можно списать на то, что редактора у этой книги не было (по крайней мере в выходных данных он не значится), а корректор ее явно не перетрудились.

Словом, на эту книгу легко и непринужденно можно было бы сочинить внешне справедливую отрицательную рецензию. Достаточно было бы просто проявить чуть более дотошности и принципиальности, закрыть глаза на ее очевидные достоинства, подчеркнуть скрытые недостатки, умолчать о богатстве привлекаемого к изучению материала — и едва ли у кого-нибудь возник повод для упрека рецензенту в предвзятости.

Однако поступить подобным образом мне не хотелось по нескольким причинам. Во-первых, потому, что автор этой книги — авторитетный лингвист, добросовестный ученый, которого уважают коллеги, любят ученики, и уже хотя бы поэтому его работа заслуживает как минимум внимательного к себе отношения. Во-вторых, «Нина» выходит уже вторым изданием, а значит, она нашла отклик у специалистов и равнодушных читателей, и надо разобраться по крайней мере в причинах такого интереса. Более того, первое издание было встречено рядом рецензий (они перечислены в предисловии ко второму) как восторженных (Н. Забабуровой в «Литературной учебе», А. Либермана в «Новом журнале»), так и скептических (И. Булкиной в «Новом литературном обозрении», В. Баевского в смоленской «Русской филологии»); можно уверенно предположить, что и новое издание не пройдет незамеченным². И наконец, потому, что книга А. Б. Пеньковского затрагивает чрезвычайно интересные и актуальные для науки проблемы, прежде всего проблему понимания текста. В частности, пушкинского.

¹ Как тут не вспомнить историю про то, что в указателе к одной давно вышедшей книге фигурировал «Христос И.»; увидев это, один из остроумцев заметил, что истинный педант обязательно поставил бы «Христос И. И.».

² На момент написания этих строк мне известен пока один отклик на него — благоклонная рецензия М. Кронгауза в «Критической массе» (2004, № 2).

Свое исследовательское credo автор «Нины» излагает в завершающем книгу тексте, скромно названном «Вместо послесловия». На самом деле, во избежание многих недоумений, я рекомендую, пропустив открывающие книгу «От автора» и «Вместо предисловия», начать чтение именно с него. «Отправным пунктом предложенного читателю исследования, — пишет здесь А. Б. Пеньковский, — было складывавшееся и углублявшееся на протяжении многих лет понимание того, что <...> тот язык, на котором думал, говорил и писал Пушкин, — это язык, во многом близкий к современному, очень на него похожий, но в то же время глубоко от него отличный. <...> Речь здесь идет <...> именно о глубоких, глубинных, недоступных поверхностному взгляду сущностных отличиях в сфере словарных, коннотативных и иных значений, — отличиях, замаскированных внешним сходством, наружной близостью, кажущимся, обманчивым тождеством». В целом с этим положением нельзя не согласиться, хотя и преувеличивать «разрыв языков», пожалуй, не стоит. Разумеется, ряд слов за последние полторы сотни лет кардинально изменил свое значение (первый приходящий в голову пример — слово «обязательно»), но эти изменения едва ли затронули глубинный понятийный строй языка. Если утверждать обратное, то тогда необходимо ответить на вопрос о хронологической границе, столь кардинально разделившей современный русский язык и язык пушкинского времени. Когда носители языка перестали адекватно, «правильно» (если воспользоваться терминологией А. Б. Пеньковского) понимать Пушкина? Встает вопрос и о том, что такое «правильное» понимание, особенно если вспомнить о социальной неоднородности культурной (а следовательно, и языковой) среды в пушкинскую эпоху. «Евгения Онегина» читали и петербургские франты, и московские барышни, и нижегородские купцы — безусловно, каждый воспринимал этот текст по-своему, исходя из степени своей образованности, культурного и жизненного опыта, значит, и понимание ими его, уверен, весьма различалось. Означает ли это, что кто-то из них понимал пушкинский текст «неправильно»?..

Каким бы абсурдным ни казался этот вопрос, он логически вытекает из концепции А. Б. Пеньковского. Но вновь дадим ему слово: «Современный читатель Пушкина и других авторов этого времени пропускает их тексты через свое „современно-русское“ языковое сознание и интерпретирует их исходя из своего современного языкового опыта (а никак иначе воспринимать и интерпретировать их он не может) и закрывает книгу в полной уверенности, что он все понял. В пушкинском слове он радостно узнает свое, сегодняшнее, родное — простое и понятное — слово, не отдавая себе отчета в том, что во множестве случаев эта понятность — самообман. Еще *опаснее* то, что очень многое понимается *неправильно*: неточно, неполно или даже превратно. И это совсем не тот феномен, который, говоря о жизни литературных текстов во времени, называют „приращением смыслов“. Это на самом деле *искажение* смыслов, которое может доходить до полного их *извращения* (курсив мой. — А. Б.). Но если исходить из вышеизложенного, то получается, что едва ли не главная задача любого исследователя — это разгадка или расшифровка *правильного* смысла пушкинского текста, причем *единственно правильного* смысла, свободного от «искажения», «извращения» и «самообмана». Вот с этим я категорически не могу согласиться. Понятен ли современному человеку смысл Нагорной проповеди? Ведь с того момента, как она была произнесена, прошло гораздо больше времени, чем с момента публикации «Евгения Онегина», да и произнесена она была не по-русски. А «Горе от ума», «Дворянское гнездо» или «Братья Карамазовы» — и их современный человек обречен понимать «неточно, неполно или даже превратно»? Или только на страже Пушкина должен стоять бдительный филолог, оберегая читателей от неизбежного самообмана и опасности неправильного понимания? Безусловно, во многие свои строки поэт вкладывал не совсем те смыслы, которые теперь видим мы. Древние греки расписывали скульптуры яркими красками, мы видим лишь белый мрамор. Но задумывался ли кто-нибудь, глядя на Венеру Милосскую, что он воспринимает ее «неправильно», потому что два с лишним десятка веков назад она выглядела иначе?

Перейдем к содержанию книги. Она делится на три части. Первые две («Имена-маски лермонтовского „Маскарада“», «Скрытый сюжет „Евгения Онегина“») — это и есть основной текст, третья, названная «Примечания», представляет собой по большей части дополнения, побочные соображения, наблюдения, реплики a parte,

зачастую весьма внушительного объема. Весь же аппарат оставлен в основном тексте, без вынесения в сноски, что значительно затрудняет восприятие этой и так перегруженной шрифтовыми выделениями и многочисленными лингвистическими примерами книги.

Основная ее цель — доказать, что в начале XIX века «вырос и сложился, углубляясь и обрстая все новыми и новыми деталями, как часть великого петербургского мифа миф о *Нине*, который, как и всякий подлинный миф, задавал определенную концепцию, определенную модель человеческой личности и предопределял ее парадигму, программу ее действий, целостный сюжет ее жизни и ее судьбу. <...> Нина этого мифа — прекрасная женщина, живущая всепоглощающими страстями, которые она не может удовлетворить и во имя которых готова пренебречь принятыми в обществе нравственными законами. <...> Не подчиняющаяся никаким доводам разума, не знающая границ и свободная от „предрассуждений” света роковая страсть и неизбежная нравственная или также и физическая гибель как расплата и возмездие, но одновременно и как оправдание и возвышение, вызывающие поэтому смешанную реакцию осуждения и сочувствия, — вот обязательные слагаемые этого мифа, который наследует восходящую к глубочайшей древности архетипическую идею изначального единства Эроса и Танатоса» (стр. 67, 77). При этом А. Б. Пеньковский оговаривается, что, «как это вообще характерно для мифов нового времени, миф о Нине не имеет основного текста. Лишь с некоторой долей условности на эту роль может претендовать лишь <sic!> „Бал” Баратынского. Миф живет виртуальной жизнью в воздухе культуры, в культурном сознании своего времени, воплощаясь во множестве частных текстов (текстов литературы и искусства, но также и текстов жизни!), которые группируются вокруг имени *Нина* как организующего начала и центра, и втягивая в себя подходящий материал из множества разновременных, разнонациональных и разноименных источников» (стр. 70). Действительно, следом А. Б. Пеньковский приводит немало примеров бытования в литературе описанного им женского образа. Но вот беда: далеко не все «демонические» героини литературы тех лет носят имя Нина, и почему они являются отражением «мощного энергетического поля мифа о Нине» (стр. 157) — неясно. Встает вопрос: если этот миф действительно владел умами образованных, не чуждых литературе людей пушкинского времени, то должно было бы появиться немалое количество эпигонских текстов, эксплуатирующих его «мощное энергетическое поле». Причем, по обыкновению, именно в сочинениях эпигонов этот миф должен был окончательно оформиться и выкристаллизироваться. Так, к примеру, было с романтическим мифом о «беглеце», который стал центральным персонажем в русской романтической поэме 1820-х годов (формированию и бытованию этого мифа в литературе первой половины XIX века посвящена превосходная книга Ю. В. Манна «Поэтика русского романтизма», М., 1976). Но в случае с «мифом о Нине» ничего подобного не наблюдается. Произведений, где бы главной героиней была демоническая женщина по имени Нина, обескураживающе мало. И напрасно утверждает А. Б. Пеньковский, что «сгущение мифологического содержания в имени *Нина* оказалось настолько мощным, что силовое поле и энергетика этого имени продолжали действовать и во все последующие годы, предопределяя судьбы жизненных и литературных его носительниц...» (стр. 457). В героинях по имени Нина из перечисленных им ниже произведений более позднего времени (Писемского, Островского, Чехова, Куприна и других) почти ничего нет от «реконструированного» автором книги «мифа о Нине», «силовое поле и энергетика» которого они должны были бы непременно испытать. В этом ряду А. Б. Пеньковский называет и поэму И. П. Косыровского (не указав второй его инициал и почему-то не включив в «Указатель имен») «Нина» (1826), но, право, лучше бы он этого не делал: ведь характер заглавной героини этой поэмы совершенно не соответствует тому демоническому образу, который якобы полностью владел умами современников:

Летели годы, и она,
Мила, богата и Княжна,
Надежду скоро оправдала
Красой, талантами; притом

И добротой и умом
 В кругу подруг она блистала.

 Душа беседы, друг свободной
 Семьи домашней и гостей,
 Лучами голубых очей,
 Улыбкой, ловкостью природной
 Она пленяла всех, она
 Куда являлась — там и радость...

 Любя мечтать душою нежной,
 Любила Нина тишину,
 В степях бродящую луну
 И свежесть ночи безмятежной... —

и т. п.³.

Вообще, несмотря на внешнюю добротность аргументации и большое количество примеров, не совсем справедливыми кажутся и некоторые другие положения рецензируемой книги. Подобно тому, как прочность зданию придает не количество и размер кирпичей, а мысль архитектора, — так же и основательность той или иной концепции дает не ворох разрозненных аргументов, а продуманное их использование и употребление с таким расчетом, чтобы все они стояли на своих местах и били точно в цель. А. Б. Пеньковский же нередко грешит тем, что иллюстрирует бытование того или иного слова в пушкинскую эпоху примерами из совершенно разных текстов: как художественных, так и документальных; как прозаических, так и поэтических. Мне это представляется не совсем корректным. Ведь значение одного и того же слова в текстах разных жанров может сильно различаться. Да и трактовки иных слов автором «Нины» вызывают сильное сомнение. Так, к примеру, он стремится доказать, что в первой половине XIX века слово «дева» могло употребляться и по отношению к замужней женщине, и, приведя малоубедительные примеры из Пушкина, цитирует строки из стихотворения В. Г. Бенедиктова «Возвращение незабвенной» (1836), которые, по его мнению, «снимают все возможные сомнения на этот счет». О чем же говорится у Бенедиктова? Поэт спустя годы встречает женщину, к которой он был равнодушен в ее «дни младенческой свободы», но узнает, что она уже замужем; один из фрагментов звучит так:

Пусть блестит кольцо обета,
 Как судьбы твоей печать:
 И супругу стих поэта
 Властен девой величать⁴.

Но эти строки как раз опровергают суждение А. Б. Пеньковского! Поэт может называть замужнюю женщину «девой» только на правах давнего друга и только потому, что он поэт. Здесь как раз подчеркивается, что такое употребление — поэтическая вольность, а раз на это обращается внимание, значит, в обыденной речи оно было невозможно. Дальнейший текст стихотворения, почему-то опущенный автором книги, подтверждает именно такую интерпретацию:

Облекись же этим званьем!
 Что шум света? что молва?
 Твой певец купил страданьем
 Миру чуждые права⁵.

³ «Нина». Стихотворная повесть. Сочинение Ивана Косяровского. СПб., 1826, стр. 2—3, 5—6, 8 (курсив мой. — А. Б.).

⁴ Эти четыре строки А. Б. Пеньковский процитировал с пунктуационными неточностями и лексической ошибкой («волен» вместо «властен»); для лингвиста, декларирующего значимость каждого слова в произведении, — небрежность непростительная. Кроме того, неточно указано место публикации стихотворения: оно было напечатано не в 14-м томе «Библиотеки для чтения» за 1836 год, а в 15-м. Специально сверкой источников в «Нине» я не занимался, но на некоторых ошибках прямо спотыкаешься: так, на стр. 197 в хрестоматийном лермонтовском «И скучно и грустно, и некому руку подать...» последнее слово напечатано как «пожать». И такое себе позволяет автор, рассуждающий о тончайших коннотативных нюансах!

⁵ «Библиотека для чтения», 1836, т. 15, № 5, отд. I, стр. 226 (курсив мой. — А. Б.).

Или вот еще подобный пример. Во второй части книги целый раздел посвящен обоснованию положения, что Пушкиным слово «скука» (играющее важную роль в поэтике «Евгения Онегина») употреблялось также и в значении «тоска». Не буду вдаваться в пересказ аргументации А. Б. Пеньковского, процитирую его резюмирующие рассуждения по этому поводу: «Нет, Онегин, каким его создал Пушкин, — не герой всеобъемлющей Скуки, а герой всепоглощающей Тоски, которая в соответствии с двойственной языковой нормой этого времени могла быть <...> названа и сниженным словом *скука*» (стр. 211 — 212). Далее идут рассуждения, что «с к у к а бездумно и бесчувственно лежит в сонной или мертвой прострации, тогда как т о с к а бьется и мечется в бессильных попытках вырваться из своего заколдованного круга, напрягая все силы ума <...> и чувства» (стр. 217), что скука «представляет собой отрицательную психическую реакцию <...>: скучающему нечем и поэтому не на что реагировать», тогда как тоска — это «деятельность души» (стр. 219) и проч. Не знаю, как бы оценил такие дефиниции человек, писавший, что «скука отдохновение души», что она «есть одна из принадлежностей мыслящего существа» и что «размышление — скуки семя» (а следовательно, скука рождается из размышлений). Само понятие «скуки» в пушкинское время не имело устойчиво негативного оттенка (ср. «бес *благородный* скуки тайной» у раннего Некрасова); в 1820-е годы «зевать на балах» было даже модным среди петербургских франтов стилем поведения. Модная «скука» воспринималась как следствие не менее модной «разочарованности» и никакого отношения к «всепоглощающей тоске» не имела. К тому же, как можно заметить, Пушкин часто употреблял слово «скука» с ироническим оттенком, что совершенно не учитывает А. Б. Пеньковский, принимая все его заявления за чистую монету, тем самым безжалостно убивая блестящую пушкинскую иронию.

Не слишком тщательно мотивирует автор «Нины» и суждения, относящиеся не к лингвистике, а к истории. Вот пример удивительной передержки. Объясняя двуименность героини «Маскарада» Нины (Анастасии Павловны) Арбениной, автор «Нины» голословно утверждает, что Анастасия (Настасья) — это «скромное провинциальное имя» и что «*Настасья* не могла бы быть *Арбениной*; *Арбенина* не могла бы быть *Настасьей*» (стр. 63, 62), приводя в качестве доказательства почему-то слова матери «блестящего светского офицера и светского льва флигель-адъютанта» В. Д. Новосильцева, которая, отговаривая сына от мезальянса, аргументировала это, в частности, тем, что не хочет «иметь невесткой *Чернову Пахомовну*». Каким образом «Чернова Пахомовна» соотносится с Настасьей, непонятно, но укажем хотя бы на то, что Анастасией Петровной звалась племянница Новосильцевой, дочь ее родного брата. Вряд ли тезис А. Б. Пеньковского о «невозможности» на светском балу имени Настасья поддержали бы принадлежавшие к самым блестящим фамилиям России дочь княгини Е. Р. Дашковой Анастасия Михайловна Щербинина (1760 — 1831), жена сенатора и действительного камергера Анастасия Валентиновна Щербатова (урожденная Мусина-Пушкина; 1774 — 1841), графиня Анастасия Петровна Шувалова (1803 — 1851)... Между прочим, Настасьями звали матерей Рылеева и Грибедова, и более того — жену одного из главных, по мнению А. Б. Пеньковского, творцов «мифа о Нине» — Баратынского. Вряд ли этим женщинам приходилось отказываться от приглашений на балы из-за своего имени или маскировать его под светскими прозвищами, которые, кстати, часто не отличались возвышенностью и благозвучием.

Вернемся к содержанию основных двух частей «Нины». Первая из них называется, напомним, «Имена-маски лермонтовского „Маскарада“» и в свою очередь делится еще на четыре: «Некоторые вопросы двуименности», «Антропонимическое пространство „Маскарада“», «Миф о Нине» и «„Маскарад“ Лермонтова в ряду текстов о Нине». Она невелика по объему, но исключительно важна, так как именно здесь формулируется основная проблематика книги и задаются некоторые методологические установки. Рискую навлечь на себя гнев специалистов по антропонимике и ономастике, но мне никогда имена и фамилии лермонтовских (да и не только лермонтовских) героев не казались столь значимыми, как это пытается представить А. Б. Пеньковский. На попытки извлечь из анализа их генетических корней тайные смыслы я обычно смотрю с иронией, памятуя высказывание героя

второй части «Нины» о «значаших» фамилиях в романах Булгарина, где «убийца назван <...> Ножевым, взяточник Взяткиным, дурак Глаздуриным, и проч.»⁶. Подробно разбирать соображения автора книги у меня нет возможности; акцентирую внимание на одном из них, представляющемся мне любопытным. В первой части книги обсуждается вопрос о правильном имени второстепенного персонажа «Маскарада», который в одном из источников именуется Петровым, а в другом — Петковым. Большинство публикаторов «Маскарада» вполне резонно сочли первый вариант ошибкой переписчика (автографов «Маскарада» не сохранилось) и отдали предпочтение второму. А. Б. Пеньковскому же кажется правильным именно первый вариант, он пространно и чрезвычайно сложно обосновывает свою точку зрения, говоря, что присутствующая в первоначальной редакции «фамилия *Петров* — в силу ее подчеркнутой русскости и кричащего контраста с остальными персонажными именами — была сознательно заменена на *Петков* С. Раевским, который внес в лермонтовский текст целый ряд добавлений и изменений <...> [несколько ремарок и не разобранных переписчиком мест] и который мог, не поняв авторского замысла, счесть тончайший антропонимический выбор, сделанный Лермонтовым, неудачным и „исправить” его. <...> Классический принцип текстологии, рекомендуемый при решении вопроса о первичном авторском варианте того или иного элемента текста оказывать предпочтение сложному и несамоочевидному варианту перед простым и самоочевидным, в случае с *Петровым/Петковым*, как видим, не работает» (стр. 452, 453). И хоть рассуждения А. Б. Пеньковского мне кажутся весьма сомнительными, остановился я на них не потому, чтобы с ними спорить, пусть это, возможно, и следовало бы сделать. А потому, что у меня есть в запасе совершенно аналогичный пример, как «сложная» фамилия преобразовывается в «простую». В «Обрыве» И. А. Гончарова мелком упоминается третьестепенный персонаж, доктор Пертов, именно так именуемый и в черновой рукописи, и в первых двух изданиях романа, за корректурами которых автор тщательно следил. В третьем же издании, которое готовилось, судя по всему, без участия автора, непонятный Пертов меняется на вполне понятного Петрова — можно быть уверенным, что столь чудесным превращением мы обязаны либо наборщику, либо корректору. Как и в случае с лермонтовским Петровым/Петковым. Здесь уместно напомнить один из принципов естественных наук (а на них автор «Нины» ссылается время от времени), говорящий, что простое объяснение того или иного феномена всегда следует предпочитать сложному.

Вторая часть книги А. Б. Пеньковского, ее смысловое ядро — это глава «Скрытый сюжет „Евгения Онегина”». Увы, читая ее, понимаешь, что А. Б. Пеньковский принадлежит к сонму исследователей, главный методологический принцип которых заключен в словах Достоевского о том, что «Пушкин <...> бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну»⁷, и поэтому считающих своим священным долгом эту тайну разгадывать. Как только встречаешь выражения «тайные смыслы» (стр. 149), «т а й н ы й пушкинский ш и ф р» (стр. 279) — сразу становится скучно. Зачем эрудированному исследователю приносить свой талант и знания в жертву одной чрезвычайно сомнительной гипотезе, под которую затем будет подгоняться фактический материал?.. Подражая автору «Евгения Онегина», оставлю в своем тексте хоть одну загадку — не буду пересказывать, в чем, по мнению А. Б. Пеньковского, состоит этот «тайный сюжет». В конце концов, трактовка автора разбираемой книги не выходит за рамки цивилизованного отношения к пушкинскому тексту, а воспринимать ли ее всерьез? Не знаю... Афинские софисты могли сколь угодно убедительно доказывать, что пущенная из лука стрела никогда не упадет на землю, а Ахиллес никогда не догонит черепаху. Но даже жадно внимавшие им любопытные скифы вряд ли этому верили.

...Когда переворачиваешь последнюю страницу книги А. Б. Пеньковского, в душе остается двойственное чувство. С одной стороны, автор изучил огромный пласт исторических источников и современной исследовательской литературы, он наблюдателен, многие из его соображений и замечаний поразительно верны, и

⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 11. М. — Л., 1949, стр. 207.

⁷ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 26. Л., 1984, стр. 149.

мимо них не смогут пройти будущие комментаторы Пушкина и Лермонтова. С другой — получилось исследование, едва-едва скрепленное более чем сомнительной идеей и полное противоречий и передержек. Думается, весь вошедший в книгу материал интереснее смотрелся бы в виде цикла небольших заметок под условным названием «Лингвист читает Пушкина», а все суждения по поводу «тайного сюжета» уместнее было бы оформить в виде небольшого эссе, которое прочитывается за один присест. Еще бы не помешал указатель пушкинских произведений и анализируемой лексики. Но это уже на правах несбыточной мечты...

В заключение не могу не поделиться удивлением от разброса цен на эту книгу в магазинах Петербурга. Мне удалось ее купить в «Гуманитарной академии» за 240 рублей, в магазине филфака университета она стоит 340 рублей, а в Доме военной книги на Невском — аж 564 рубля!

Алексей БАЛАКИН.

С.-Петербург.



Р. С. к рецензии Алексея Балакина*

Этот текст привел на память одно размышление Андрея Битова — писателя и филолога. Размышление о научной работе, которая, «не содержа ни одной фактической ошибки... узаконивает и впоследствии предписывает всем свою скудость и нищету понимания». Настоящая рецензия в доброй части своей состоит в достаточно мелочной регистрации фактических ошибок или неточностей, и жаль, что рецензент не мог быть корректором разбираемой книги — потому что, если он встретил в ней такую цитату, как «некому руку пожать», и предался благородному негодованию по поводу «культуры цитирования», так неужто он подумал, что прекрасный филолог А. Б. Пеньковский так цитировал? В подражание дотошному рецензенту и в порядке встречной придирки приходится и ему заметить, что «афинские софисты» с Ахиллесом и черепахой — не совсем афинские не совсем софисты и что если никто и впрямь не подумал поверить в быstroногую черепаху, то эвристическая ценность знаменитого парадокса человечеству пригодилась весьма. Когда-то В. Розанов задавался вопросом: может ли позитивист заплакать? Мы же спросим: может ли он ошибиться? Хочется надеяться, что нашей грешной человеческой природе не чужд и он. Между тем неточность выразительная — ведь она говорит об отношении принципиального позитивиста к досужему умозрению как к «софистике».

Так вот — насчет эвристической ценности филологических фантазий. Рецензент объявил, что хочет разобраться в причинах отношения к книге, например, такого читателя, как В. Н. Топоров, рассказавшего, с каким не просто интересом — с волнением читал книгу, и оценившего в ней — «простор» созерцания. Но разобраться «в причинах» рецензент не стал, как и ничем не подтвердил дежурные заключительные слова о том, что многие замечания автора «поразительно верны и мимо них не смогут пройти...». Вообще рецензия поражает полным отсутствием рассмотрения положительного содержания замечательно интересной книги. Можно принять совет рецензента точнее определить хронологическую границу, отделившую нас от пушкинского языка. Но граница эта есть, и если преувеличивать «разрыв языков» и не стоит, то и сгладить его для нашего чтения Пушкина небезвредно. М. Л. Гаспаров по этому случаю заметил, что язык Пушкина надо филоло-

* *От редакции.* Автор рецензии на «Нину», еще до представления ее к печати, показал ее текст Сергею Георгиевичу Бочарову, интересуясь его оценкой. Свое мнение С. Г. Бочаров высказал автору устно, а затем сформулировал в виде краткого постскриптума к отзыву А. Ю. Балакина. Отдел критики счел бесполезным опубликовать эти замечания, поскольку, не оспаривая частных суждений нашего рецензента, присоединяется все же к положительному мнению о труде А. Б. Пеньковского.

От себя мы могли бы добавить, что при педантическом подходе А. Ю. Балакина к слову не слишком корректно вкладывать непосредственно в уста Пушкина афоризмы столь неоднозначного персонажа, как Мефистофель («Сцена из Фауста»).

гу учить как чужой язык, как английский или китайский. Это сказано по-гаспаровски, и за чистую монету мы это не примем, но проблему это высвечивает. Прав автор книги «Нина»: мы читаем «Онегина», и нам кажется, что мы его понимаем, проходя мимо множества исторических сдвигов значений знакомых слов. «Кто б смел искать девчонки нежной / В сей величавой, в сей небрежной / Законодательнице зал!» *Небрежной* — нашего ли языка это слово? Иная аура, семантический ореол, как называл это Ю. Тынянов. Ореол и сдвиг значения, делающий простое слово сегодня нам не совсем понятным. И «дева» пушкинская, равно как и бенедиктовская, — уже старинное слово. Да и «скука» — не совсем наша нынешняя, что и сам рецензент подтверждает. В языковое сознание пушкинское переселиться мы не можем, но тем и ценна книга «Нина», что помогает читать и слышать «Онегина» ближе «к оригиналу» (Лидия Гинзбург: «Пушкинисты никогда не читают Пушкина в оригинале»). Что же до «Нины» как культурного мифа («текста Нины», по В. Н. Топорову), то рецензент имеет право быть скептическим, только вряд ли главное здесь — количественный подсчет, статистика демонических Нин, важнее случаи знаковые и сильные, достаточно блестящей Нины Воронской рядом с Татьяной, а между тем ее-то как ненужного для его возражения случая рецензент и не замечает.

Эта реплика к рецензии — странный жанр — прошу поверить, не в защиту фактических ошибок; это, смею думать, реакция на несправедливость. Несправедливость, однако, что интересно и что и заслуживает реакции, по-своему концептуальная. Алексей Балакин — серьезный и скрупулезный филолог, но фактические ошибки застилают ему горизонт. А в этом случае, не в обиду ему, возвратимся к фразе Андрея Битова в полном ее объеме.

Сергей БОЧАРОВ.



НЕЖНАЯ ДИКОСТЬ

«Странная» поэзия и «странная» проза. Филологический сборник, посвященный 100-летию со дня рождения Н. А. Заболоцкого. М., «Пятая страна», 2003, 366 стр.

(«Новейшие исследования русской культуры». Выпуск третий).

Н. Н. Заболоцкий. Жизнь Н. А. Заболоцкого. Изд. 2-е, дораб. СПб., «Logos», 2003, 664 стр.

Столетие Николая Заболоцкого прошло в 2003 году — на десять лет позднее времени столетних юбилеев. И не было ни всенародных торжеств, ни панегириков, подобных тем, что обрушивались на публику во время празднования столетий Ахматовой или Пастернака. Заболоцкий не совпадает со временем, хронически не попадает в такт. И никогда не попадал. Это особенное качество, которое никак не связано ни с объективной значимостью творчества, ни с традиционностью, ни с новаторством, — это знак судьбы: жить поперек времен. Когда в конце 1929 года вышли «Столбцы» — они тоже были не ко времени. Как же на них набросилась с разных сторон ангажированная властью критика! Это означало конец творческой свободы в Советском Союзе, а ведь для Заболоцкого это был только дебют...

Несовпадение Заболоцкого со временем продолжается по сей день. Его друзья обэриуты, в первую очередь Введенский и Хармс, уже стали предметом пристального филологического интереса по разделу «русский поэтический авангард 20-х годов». Заболоцкий и здесь не вполне свой. Даже его стихи 1926 года — «Лицо коня» или «В жилищах наших» — это скорее напоминание об Овидиевых «Метаморфозах», чем о русском футуризме. Заболоцкий не против времени и не за. Он — «вне». Я бы сказал, что его поэзия перпендикулярна действительности. Потому она и странная. И такова она по сей день.

Конечно, филологи, издавшие книгу статей о «странной» поэзии и прозе (кроме работ о Заболоцком в сборник вошли статьи о Хармсе, Платонове и даже Венедикте Ерофееве и «подпольном» герое Достоевского), вполне сознательно взяли слово «странный» в кавычки, как бы дистанцируясь от обывательского представления о поэзии. Но то, что они выбрали именно слово «странный» в качестве за-

главного, говорит о многом. Ведь странный — это чужой и даже таящий скрытую угрозу. Это тревожно-напряженное отношение к поэзии Заболоцкого сохраняется и до сего дня.

Биография Заболоцкого, написанная его сыном Никитой Николаевичем Заболоцким, велика по объему. И это ее достоинство. Обилие фактического материала, которое приведено в книге, дает читателю возможность взглянуть на жизнь и творчество Николая Заболоцкого самостоятельно, как бы отстранившись от точки зрения биографа. Эта точка зрения, конечно, высказана, но сделано это ненавязчиво и без претензии на обладание единственной истиной.

Мне было очень интересно читать эту книгу, но я не нашел в ней ответа на самый важный, с моей точки зрения, вопрос: что же случилось с юношей, сочинявшим провинциальные стихи, в 1925 и 1926 годах? Что сделало его автором великих стихов? С чего это он взял, что «Мы тут живем умно и некрасиво»? Как это вообще пришло в голову человеку, описанному в биографии? «Человеку большой глубины, высоких моральных устоев и твердых принципов»? Такой человек достоин всяческого уважения, но поэзия Заболоцкого с легкостью выворачивает глубины и перелаживает принципы и устои. Заболоцкий-поэт — сплошь «неправильный» и «странный», и таким он остается и сегодня, несмотря на весь XX век, на все эксперименты, удачи и провалы.

Та свежесть и почти шокирующая новизна, с которой сегодня звучат «Столбцы и поэмы», говорит о том, что Заболоцкий не пережит, не адаптирован ни русской поэзией, ни — шире — философской и эстетической мыслью. Его стихи не стерты, его образы и приемы не «автоматизированы». Он не приглашен даже настолько, насколько удалось «приручить» поэзию Пастернака и Мандельштама.

Сборник статей отечественных и зарубежных авторов — это еще несколько попыток прочтения стихов и поэм Заболоцкого. В статьях «Семиотика ноля в „Столбцах“ Николая Заболоцкого» Марко Каратоццо и «„Царица мух“ Николая Заболоцкого: буква, имя, текст» Игоря Лощилова авторы обращают внимание на то, что в издании «Столбцов» 1929 года было 22 стихотворения, то есть ровно столько, сколько Великих Арканов в картах Таро. В статье Лощилова предложена интерпретация «Царицы мух» как магического заговора, оттолкнувшегося от «Деревенской магии» — третьей части «Практической магии. (Черной и Белой)», изданной под именем Папюса в 1913 году.

Каратоццо, анализируя «Столбцы», находит в них множество явных и скрытых ссылок на образ «ноля». К сожалению, эта работа недостаточно точна в самой интерпретации семиотики ноля. Автор тесно связывает «ноль» и «круг» и, находя в стихах упоминание о круге (например, изображение круглого предмета или наречие «вокруг»), сразу вспоминает о ноле. Но эта связь является анахронизмом. Каратоццо пишет: «Понятие *ноля*, намекающее на платонический миф совершенства, обнаруживается в стихах и подчеркивает оппозицию между идеальным миром советского человека, основывающимся на догмах революционной идеологии, и отсталым положением современного нэповского человека, от которого сам поэт не раз официально отказывался». Ноль и круг никак не могли быть связаны с «платоническим совершенством», поскольку в самой философии Платона ноля просто не было — ни в какой форме. А Аристотель посвятил доказательству отсутствия ноля (или ничто) в природе несколько глав «Физики». «Круглость» ноля — то есть знак, которым обозначается современный арифметический ноль, — не имеет однозначного решения в современной истории математики. В вавилонской математике ноль обозначали и крюком, и пробелом между цифрами, и одним или двумя штрихами. Связь ноля и круга — это не только не установленный факт, но скорее всего случайность, и греческая философия (и Платон в частности) к этому совпадению никакого отношения не имеет. И даже тот факт, что в первом издании «Столбцов» 22 стихотворения и Великих Арканов Таро тоже 22, кажется мне не более чем совпадением, хотя к таким совпадениям следует относиться крайне внимательно. Но авторам статей не удалось убедить меня в глубинной связи Заболоцкого и этой магической традиции. Особенно сомнительным этот тезис кажется на фоне совершенно явной натурфилософской традиции поэзии Заболоцкого (о чем статья Г. Н. Ермоленко «Поэмы Н. А. Заболоцкого 1920 — 1930 годов и древне-

римская философская поэзия»). Выявление связи между поэмами Заболоцкого и греко-римской традицией «научных» поэм бросается в глаза. Переключка «Торжества земледелия» и «Птиц» с «Природой вещей» Лукреция Кара и «Георгиками» Вергилия кажется безусловной.

Биограф напоминает о том, что Николай Заболоцкий очень интересовался работами Константина Циолковского (с которым переписывался) и «Биосферой» Владимира Вернадского. Поиски русских ученых лежат в русле широкого натурфилософского движения, к которому принадлежит и книга Тейяра де Шардена «Феномен человека». Основная идея этой книги близка поискам Заболоцкого, хотя саму книгу он не имел возможности прочесть. Тейяр (кстати, хорошо знакомый с работами Вернадского) утверждал, что нет в мире ничего неживого и что сознание присуще всему существующему. Просто в минералах жизнь и сознание присутствуют в скрытом, еще не проявленном состоянии. Когда Тейяр говорит о появлении жизни из «предбиосферы», это говорит поэт: «Склонившись над бездной прошлого, будем наблюдать ее меняющуюся окраску. Из века в век цвет сгущается. Вот-вот что-то вспыхнет на молодой Земле. Жизнь! Вот Жизнь!» Работы натурфилософов — это в гораздо большей степени поэзия, чем наука. Но размах и свобода мысли, которые являют собой эти книги, способны вдохновлять если не на научные, то на поэтические подвиги.

Очень интересен факт, приведенный в статье Darra Goldstein «Biodynamics and the Dynamics of Zabolotskian Thought» («Биодинамика и динамика мышления Заболоцкого»): антропософ Рудольф Штейнер в 20-е годы смешивает материалы животного и растительного происхождения с целью увеличить плодородность почвы. Рудольф Штейнер ищет то же единство и гармонию природных сил, что и герой поэмы Заболоцкого Безумный волк.

В другой статье, посвященной поэме «Безумный волк», близость образов Заболоцкого и Гёте исследует Sarah Pratt: «A Mad Wolf, Faust, Jesus Christ and a Holy Fool: Zabolotskij's „Bezumnyj volk“, Salvation and Transfiguration» («Безумный волк, Фауст, Христос и Юродивый: „Безумный волк“ Заболоцкого, Спасение и Преображение»). Биограф приводит слова юного поэта, сказанные в письме начала 20-х годов: «Божественный Гёте матовым куполом скрывает от меня небо, и я не вижу через него Бога». Даже с поправкой на юношескую восторженность такие впечатления бесследно не проходят. Параллели между Фаустом и Безумным волком, проведенные в статье, выглядят довольно убедительно. Но вывод автора статьи о том, что Безумный волк — это почти православный юродивый, кажется некоторой передержкой. Все-таки главный герой поэмы Заболоцкого слишком рационально мыслит и слишком верит в самодвижение природы и возможность ее полной гармонизации.

Приверженность Заболоцкого кругу натурфилософских проблем вполне очевидна. При этом он оказывается в более выигрышном положении, чем ученые, которые пытались строить натурфилософские теории. Заболоцкий в своих поэмах строго доказателен, потому что тот поэтический мир, который он выстраивает, определен и замкнут, чего в науке, конечно, добиться невозможно. Но поэмы Заболоцкого — это уже работа полностью сложившегося мастера, а чтобы попытаться понять моменты и причины становления поэта, я попробую вернуться к тому времени, когда поэт только начинает работать над «Столбцами».

20 сентября 1926 года Заболоцкий написал открытое письмо Введенскому, в котором он довольно резко противопоставляет поэтической работе товарища свою эстетическую позицию. Эта позиция абсолютно сформирована, и мне кажется, что она не претерпела радикальных изменений до самых последних стихотворений Заболоцкого, хотя инструментовка стала другой и акценты полностью сместились.

«Установим значение термина. Ни одно слово, употребляющееся в разговорной речи, не может быть бессмысленным. Каждое слово, взятое отдельно, является носителем определенного смысла. „Сапоги“ имеют за собой определенную сеть зрительных, моторных и других представлений нашего сознания. Смысл и есть наличие этих представлений. „Дыр бул шыл“ — слова порядка зауми, они смысла не имеют. Вы, поэт, употребляете слова смыслового порядка, поэтому — центр спора о бессмыслице должен быть перенесен в плоскость сцепления этих слов, того сцепления, которое должно покрываться термином „бессмыслица“. Очевидно, при

таким положении дела самый термин „бессмыслица” приобретает несколько иное, своеобразное значение. Бессмыслица не от того, что слова сами по себе не имеют смысла, а бессмыслица от того, что чисто смысловые слова поставлены в необычайную связь — алогического характера. Необычное чередование предметов, приписывание им необычайных качеств и свойств, кроме того — необычайных действий. Говоря формально — это есть линия метафоры. Всякая метафора, пока она еще жива и нова, алогична. Но самое понятие логичности есть понятие не абсолютное, — что было алогично вчера, то стало сегодня вполне логичным. Усвоению метафоры способствовали предпосылки ее возникновения. В основе возникновения метафоры лежит чисто смысловая ассоциация по смежности. Но старая метафора легко стерлась — и акмеистическая, и футуристическая. Обновление метафоры могло идти лишь за счет расширения ассоциативного круга — эту-то работу Вы и продельзываете, поэт, с той только разницей, что Вы материализуете свою метафору, т. е. из категории средства Вы ее переводите в некоторую самоценную категорию. Ваша метафора не имеет ног, чтобы стоять на земле, она делается вымыслом, легендой, откровением. Это идет в ногу с Вашим отрицанием темы, где я и сосредоточу свое возражение по этому поводу... [Ваши] стихи не стоят на земле, на той, на которой живем мы. Стихи не повествуют о жизни, происходящей вне пределов нашего наблюдения и опыта, — у них нет композиционных стержней» (З а б о л о ц к и й Н. А. Мои возражения А. И. Введенскому, авторитету бессмыслицы. Открытое письмо. — «Логос», 1993, № 4, стр. 125 — 127).

Здесь Заболоцкий оказывается в самом центре важнейшего для филологии и философии XX века спора — спора о смысле, о значении, об означаемом. «Установим значение термина» — это говорит ученый. Но в отличие от ученого-лингвиста, чьи выводы всегда будут относительно, поскольку он делает попытку охватить все языковые явления, поэт способен быть точным: он говорит об одном, и только одном, явлении языка в своей собственной поэзии и — до некоторой степени — в поэзии близких ему людей. «Смысл есть сеть зрительных, моторных и других представлений нашего сознания». Это, можно сказать, жестко позитивистское определение ничего особенно нового в себе не содержит. Но гораздо важнее здесь другое. Поэт не собирается двигаться в заданной и предопределенной плоскости. Поэт убежден, что контексты необходимо пересоздать, сотворить заново, причем сделать это нужно так, чтобы эти новые контексты были бессмысленными — алогичными. Но, сообщив словам, осмысленным «разговорным» контекстом, несвойственное им алогичное движение, Заболоцкий возвращает их на землю, заставляя работать на тему, заставляя их «стоять на земле, на той, на которой мы живем».

Слово делает полное salto — встает на голову, чтобы взлететь на новую ступеньку. Например, рождаются натурфилософские поэмы, строчка которых алогична, но структура гармонически полна и непротиворечива. Слово необходимо выбить из «разговорного» контекста, тогда оно станет подвижным, способным перемещаться по вертикали. И эта алогичность достигается средствами паразитально простыми и потому естественными.

В «Торжестве земледелия» есть такие строчки:

Сквозь окошко хлеб глядел,
В загородке конь сидел.

На самом деле здесь есть почти все. Поэтика Заболоцкого этими двумя строчками уже задана. Все слова предельно просты, элементарны — а значит, первичны. Эти небесмысленные слова настолько хорошо известны и настолько для нас убедительны, что они не нуждаются в каких-то характерных деталях, чертах и черточках. Их реальность не надо доказывать. Но в то же время это предельно общие категории: окно (окошко), хлеб. Это одновременно и примитивно-конкретная и предельно общая картина. И эта картина приводится в действие смысловой несогласованностью существительных и глаголов — столь же элементарных, первичных и всеобщих, как и существительные. Можно попробовать сказать, например, так: «За окошком хлеб лежал, в загородке конь стоял». Это может быть примитивизмом, но не может быть стихом Заболоцкого. Метафора Заболоцкого имеет иную природу, чем метафоры других русских поэтов, в том числе его современников и друзей. Заболоцкий ничего ни с чем не сравнивает и ничего ни с чем не сопоставляет. Он

противопоставляет действие и вещь, активное и пассивное. Потому пассивная природа оказывается у него действующей, а люди отдают свой мозг ослам, отказываясь от действия («Школа Жуков»). Отношение Заболоцкого к природе уникально в русской поэзии. Не потому, что он олицетворяет ее. Одухотворенной природы в поэзии сколько угодно. Например, у Пастернака «Меня деревья плохо видят», или почти есенинское «Береза со звездой в прическе», или из «Сестры моей — жизни»: «...даже антресоль / при виде плеч твоих трясло». Но деревья видят *меня*. Антресоль-то стоит на месте, а трясет опять-таки меня. Да и береза в конечном счете поглядывает на «дачу крайнюю». Природа у Заболоцкого не нуждается в субъекте-наблюдателе, потому что она сама себя пишет. Она не нуждается не в человеке вообще, а именно в активном наблюдателе — в поэте. Она равна ему. Вот это то, чего не было. Поэтому картины природы и человека, который всего лишь часть ее — не лучшая и не ба́ольшая, — последовательно безоценочны. Прекрасное и безобразное, ценное и ничтожное существуют только в эстетике и гносеологии человека. Даже мертвое и живое с точки зрения природы не может быть противопоставлено, потому что жизнь одних — это неизбежно смерть других. С точки зрения волков, медведей, коней, быков, деревьев природа только целесообразна и целостна.

Ребенок взрослеет в тот момент, когда представляет этот мир существующим без себя, в тот момент, когда понимает, что он однажды умрет, а мир по-прежнему будет существовать. Поэзия Заболоцкого — это попытка показать человеку мир без наблюдателя. Это поэзия взросления, но не отдельного субъекта, а мира как целого.

В письме Н. Л. Степанову из Караганды, возвращаясь к работе над переводом-переложением «Слова о полку Игореве», Заболоцкий писал: «Страшно, жутко подходить к нему. Невольно хочется глазу найти в нем знакомые пропорции, золотые сечения наших привычных мировых памятников. Напрасен труд! Нет в нем этих сечений, все в нем полно особой нежной дикости, иной, не нашей мерой измерил его художник. И как трогательно осыпались углы, сидят на них вороны, волки рыщут, а оно стоит — это загадочное здание, не зная равных себе, и будет стоять во веки, доколе будет жива культура русская».

Это та «нежная дикость» лап, о которой писал Блок в «Скифах»: «Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет / В тяжелых, нежных наших лапах?», но у Заболоцкого нежная дикость не угрожающая, потому что действительно всемогущая, и не направлена на человека.

Заболоцкий еще не прочитан. Его строчки еще не пропитали русскую поэзию. И поэтому издание сборника статей, посвященных в основном поэзии Заболоцкого, можно только приветствовать. Хотя я и ждал все-таки большего от такого капитального собрания. И переиздание биографии Заболоцкого тоже необходимо.

Может ли случиться так, что поэзия Заболоцкого перестанет быть «странной»? Может быть, этого никогда не случится. Может быть, человек — субъект познания — никогда не сможет посмотреть на себя с такой высоты и под таким углом, под которым его увидел великий русский поэт, а если и сможет, то такой взгляд все равно останется нежным и диким — и потому странным.

Владимир ГУБАЙЛОВСКИЙ.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ПАВЛА КРЮЧКОВА

+9

Инна Лиснянская. *Одинокий дар*. М., О.Г.И., 2003, 512 стр.

Инна Лиснянская. *Без тебя*. Стихи 2003 года. М., «Русский путь», 2004, 84 стр.

Мне приходилось слышать, что стихи, написанные и опубликованные Инной Лиснянской в последнее время — в двадцать первом календарном веке, — не только отличаются особенной силой и оригинальностью, но и в целом — как бы это

сказать? — значительнее ее предшествующей лирики. Мол, вот тут-то она и стала *классическим* поэтом, после сборников-циклов «Музыка и берег», «Тихие дни и тихие вечера» и — особенно! — «В пригороде Содома» и «Гимн»¹. В эти же времена в отношении Лиснянской активизировался так называемый «институт премий», в ее сторону повернулось и телевидение, о ней стали снимать телепередачи и целые фильмы. Станислав Рассадин, который «всю жизнь» писал про Семена Липкина, напечатал в «Континенте» огромную статью о ее поэзии. Наконец, «авангардное» издательство выпустило в своей поэтической серии ее книжку.

Думаю, что тут все сразу — и спонтанно, и закономерно. Перечитать ее старинное, тридцатипятилетней давности стихотворение «Я и время — мы так похожи!..» — и все встает на места. «Преимущества никакого / Ни ему не дано, ни мне, / Лишены очага и крова, / Мы бежим, как за словом слово / В обезумевшей тишине».

Что же до мифического, на мой взгляд, ощущения некоторой «неравноценности» старого и нового, то думаю, что во многом оно связано с появлением ее поздней (в таком объеме и такого накала) интимной лирики. Действительно, любовных стихов той силы, какая есть в «Гимне», наша современная поэзия не знала давно. Ну а поскольку любить и талантливо писать о любви — редкость, да еще и не в самые молодые годы, то изумление адекватно событию... Но вот, перечитывая объемный, пятисотстраничный, ретроспективный том, лицевая обложка которого украшена большой фотографией красивой, одухотворенной, чуть-чуть «восточной» женщины, — без дополнительных усилий вижу: ее дар был с ней изначально, всегда; «росло» лишь мастерство и житейская мудрость. Этот одинокий дар пришел к ней, очевидно, с той самой поры, как Лиснянская отказалась быть «поэтом как все» и стала писать *для себя*, а не для публикаций (а это случилось очень давно!). Вот тогда, как мне кажется, и стало являться то, что делает большинство ее стихотворений чистым волшебством: «мысль — звуковая вспышка...».

Таинственно сплавив музыку и озарение, постепенно «подобрав» свой поэтический инструментарий, где молниеносная парадоксальность (об этой ее *интенсивности* говорил когда-то Бродский) окружена чеканным, живописным орнаментом, где лексический запас честно растет вместе с веком, где речь и природа благодарно и равноправно очеловечены, где человеческие чувства — жалость и вина — нечеловечески расширены и обнажены и при этом всем сохранена древняя *песенная* традиция, — Инна Лиснянская создала совершенно новый поэтический звук, новую поэтическую вселенную и счастливо обрела своего верного читателя. И еще редкость: Лиснянская обрела не только читателя просвещенно-искушенного, но и одновременно так называемого «простого человека». Взять хотя бы тех самых обычных домохозяек, которые утирают слезы над ее книжками. А такие есть, и их немало. И дополнительно любопытное, недавно обнаруженное мной: поэзию Инны Лиснянской любят совсем молодые люди, отношения с которыми — особая проблема для любого писателя.

В связи с *песенностью* я очень люблю свидетельство поэта и литературоведа Эдуарда Бабаева о том, как один солдатик отреагировал на публичное чтение Анны Ахматовой в прифронтовом госпитале: «Сестра приходила, песни рассказывала...» Хорошо, что Инна Львовна включила в «Одинокий дар» и лучшие стихи 60-х годов, и «Госпиталь лицевого ранения», и замечательную, еще ждущую равноценного анализа двухчастную мистическую поэму «Ступени», появлению которой способствовал подарок в виде телефонной книжки и шутовское предложение — написать по стихотворению на каждую букву.

Мне равно дороги замечания о ее поэзии Юрия Кублановского, когда-то интересно сравнившего некоторую «дневниковость» поэзии Инны Лиснянской с творческой психологией Эмили Дикинсон («в небольшие лирические объемы укладывается — пропущенное сквозь душу — „трансцендентное“: „Кого бы я ни любила — / Я любила себя, / Кого бы ни хоронила — / Я хоронила себя. / Кого бы я ни жалела — / Я жалела себя <...> И если вдуматься в это, / Весь мир — это

¹ На днях я процитировал одному поэту, частично разделяющему такое мнение, пару строф из книги «Дожди и зеркала» («УМСА-press», 1983). И был рад его восхищенному удивлению, когда он узнал, *кого* я цитировал.

я сама»)), и тонкие размышления о ее стихах Семена Липкина. В эссе «Дни нашей жизни» (1986) Липкин пишет о том, что поэтическая родословная Лиснянской тянется, как ему кажется, и от тех французских поэтов, которых принято называть «праоклятыми»: «от них ее „вдохновение и усталость“, вера в Бога и неверие в себя, афористичность ее печали и противоречивость ее афористичности». В этой цитате важны все слова, тут все — правда.

Дневниковое ощущение от ее стихов относительно, потому что автопортретность ее лирики достаточно условна. Между ней и ее героиней, наверное, примерно такое же расстояние, как между матерью и дочерью или между родными сестрами. Родные, но ведь не одно и то же. Что, впрочем, не отменяет, а усугубляет естественность ее письма, то, о чем просто и внятно сказал Солженицын («...писать как дышится. Вот и весь ее метод. <...> Ни швов, ни тени усилий — верная традиция русского стихосложения»).

Лиснянская знает, *кого*, какую женщину она доозвучивает и домысливает.

Впрочем, откуда что берется? — она и в стихах это недавно обронила. «Надо только помнить, что мысль и чувство, а не замысловатость и рефлексия оставляют для читателя тайну» — тоже ее слова.

Не думая специально о читателе, Лиснянская пишет стихи как письма самой себе, где пыгается «разобраться в бытии и его предмете, в сознании и подсознании». И ее последняя по времени выхода книга — «Без тебя», плач-поминание, реквием по ушедшему спутнику жизни — тоже начиналась с *писем* ему, обычных, повествовательных посланий куда-то *туда*, чтобы хоть как-то отвлечь, заглушить незаглушаемое. Тут и пошли стихи. Кажется, в русской поэзии подобного еще не было: книга-реквием родилась за несколько месяцев, оказавшихся отдельной жизнью. Жена — о муже, поэт — о поэте, возлюбленная — о возлюбленном. Головокружительный роман в письмах, где домашняя интонация сравнялась с надмирной, а красота и энергия стиха таковы, что кажется, еще чуть-чуть — и смерть будет заговорена.

«Без тебя» — это, на мой взгляд, еще и новое свидетельство о таинственном пространстве поэтической книги. Шесть десятков стихотворений вместили в себя год жизни с его интонационными переменами в осмыслении горя, снами наяву, снами во сне, отчаянием и пустотой — и воплотили в себе «тепло жизни и свет любви». И. Л. надеется, что, несмотря на великую скорбь этих стихотворных писем, читатель почувствует и очистительное тепло, и отраженный свет.

Хочется верить, — еще мы увидим отсюда,
Что трясогузка цела и черемуха хладно бела,
Что на серебряники не польстился Иуда
И на поправку пошли на земле дела.

Л. К. Чуковская, которая понимала поэзию как никто, в свои последние годы особенно часто читала именно стихи Инны Лиснянской. Сила ее поэтического голоса будет только возрастать, — такое мнение о стихах И. Л. я услышал от Л. К. в самом начале 90-х годов прошлого века.

Юрий Кублановский. В световом году. М., «Русский путь», 2003, 276 стр.

В книгу вошли стихи (не считая последней новомирской подборки в № 5), написанные после возвращения Кублановского из политической эмиграции.

«...Я поспешил вернуться / не для того, чтоб как / следует оттянуться, / с воли в родной барак, / а заплатить по смете / и повидать родных. / Старый паром по Лете / ходит без выходных». Это один из семи «Автобиографических фрагментов», написанный, что называется, в режиме прямого высказывания.

«В световом году» — горькая, одинокая, мудрая и *богатая* книга.

Для меня давно остается загадкой тот «заговор молчания», которым наша «двустолбчатая» литературная критика окружила последние стихотворные сборники Юрия Кублановского. Нет, пишут, конечно, но уж лучше б молчали². Если кто и

² Было б не лень, я собрал бы неслабую коллекцию тотальных газетно-журнальных глупостей. И если на неопрятные извержения г-на М. Немирова в «Русском Журнале» («Все о

делился с читателем серьезными оценками поэзии Кублановского за последние десять — двенадцать лет, — так это поэты: вспоминаю, к примеру, давнишнее эссе С. Липкина в «Знамени», двухлетней давности статью Б. Кенжеева в том же журнале — о сборнике «Дольше календаря» (2001), целиком вошедшем в «Световой год», и стиховедческое размышление А. Кушнера³, — как оказалось, бесполезно отправленное в 2001-м в Комитет по государственным премиям.

Может быть, еще тяготеет как на заказ выструганный миф о националистическо-почвеннике, оруженосном «солженицынщце»? Но Ю. К. и, казалось бы, «предсказуемую» одноименную премию получил далеко не первым, да и *разделил* ее с весьма не близкой ему по эстетическому мироощущению поэтессой... Многие соображения, которые поэт годами — как гражданский человек — высказывал в своих статьях и интервью, еще вчера вечером были модным *дискурсом* и с неохотой запалом повторялись иными *бывшими* носителями либеральных ценностей. Так в чем же дело? Не понимаю. Но, как вижу по некоторым редким на эту тему стихам в книге, описанное положение вещей доставляет Кублановскому душевную боль.

Что теперь к отечеству — тест на вшивость —
Побеждает: ревность или брезгливость.

Или это такая своеобразная плата за внутреннюю независимость, отчужденность от тусовочной заданности поведения и нерасхожую ответственность за сказанное? А — заодно — и за исконное, а не дежурное чувство юмора? А может быть, не под силу вживание в чужой поэтический космос, такой и музыкально, и смыслово многослойный, как у автора «В световом году»?

...Если бы, думаю я, держа в руках этот сборник, Россия по каким-то загадочным, непостижимым причинам на время сделалась невидимой, исчезла из поля зрения, то по стихам, составившим его, можно было бы воссоздать не только историко-географический ландшафт страны, но и портретно-душевный облик нашего человека в долговременной перспективе. Юрий Кублановский всегда особенно точен в преобразенном *изображении*:

Покрытой свежим снежком Волхонки
вдруг заблестевшие огоньки
в стране нетленки и оборонки
недосягаемо далеки.

А ночной мальчишеский футбол на Сан-Марко? А обтянутое черным капроном колено случайной спутницы в пригородной электричке — «между полкой дубленки и голенищем»? А трогательный речной диспетчер в «Шли Верхневолжьем, шлюзами...»? А, казалось бы, странным образом вплавленный в смысловое пространство книги цикл «Развивая Маркузе» (1969, 1999), посвященный *Памяти 68-го*? Кушнер написал, что Кублановский — «первый и единственный поэт», у которого он «прочел стихи на эту тему, так волновавшую нас в 60 — 70-е годы, стихи, полные иронии и горечи...».

«В световом году» — еще и очень интимная книга, местами поражающая своей незащищенностью. «Но, давно изъятый из обращения, / тем не менее я ищу обще-

поэзии-165», 2003, 31 декабря) можно махнуть рукой, а «жалеющего» Кублановского В. Бондаренко («ЛГ», 2004, № 34, 1 — 7 сентября) самого пожалеть, — то чем объяснить упорные, перетекающие из небольших газетных рецензий в ежемесячные обзоры периодики через губу процеженные, почти глумливые и абсолютно недоказательные обвинения Ю. К. в... стихотворной и смысловой небрежности? Вот, например, вы, господа обозреватели, так чтите (как и я) мастерство Иосифа Бродского, а ведь он еще в июльском 1981 года интервью Анни Эпельбуан («Странник», 1991, № 1) назвал Кублановского одним из лучших, мастеровитых наших поэтов и повторил это незадолго до своей смерти, когда дружеская близость, окрепшая на Западе, была по многим причинам утрачена (в августе 2004-го не публиковавшееся ранее интервью И. Б. звучало по «Эху Москвы»).

³ А. Кушнер писал, в частности, о разработке Кублановским коротких размеров, сравнивал его работу с подобными опытами у раннего Пушкина и позднего Пастернака, о сжатости и легком дыхании этих стихов у Ю. К.

ния». Стихотворение заканчивается гибелью любимого кота, сбитого машиной какого-то крутого переделкинского братка.

Между прочим, о поэтическом простодушии *государственника* Кублановского я мог бы написать отдельно, если бы не эту оду о старике, играющем песню «Битлз» в подземном переходе: «И, не смысла, в сущности, ни аза / ни в одном из русских больших вопросов, / я спешу порою залить глаза, / не дождавшись вечера и морозов...»

Мне не от кого и не для чего защищать этого выдающегося русского поэта. Просто вслед за Бахытом Кенжеевым, написавшим в «Знамени» о том, что Юрий Кублановский многими своими стихами «за всех нас заступился», я предлагаю и прошу одно — наконец прочитать его. А пока буду продолжать радоваться переполненным, притихшим залам на его вечерах не только в Москве, но и — что, может быть, особенно ценно — в провинции и узнавать о многочисленных курсовых и дипломных работах. Студенты утверждают, что лексико-поэтический словарь, разнообразие размеров и живописно-музыкальный ряд у Кублановского — на редкость благодарный материал для исследования.

Елена Шварц. Видимая сторона жизни. СПб., «Лимбус-Пресс», 2003, 352 стр.

В аннотации к этой книге, состоящей из «литературных мемуаров и малой прозы интеллектуально-элитарного уровня», сказано, что литературные воззрения писательницы отличаются «оригинальностью, граничащей с экстравагантностью». Когда мы с музыкантом и звукорежиссером Антоном Королевым записывали в прошлом году — на ее тогда еще не сгоревшей квартире — диск авторского чтения, оказалось, что Елена Шварц не может (даже для двух человек) читать сидя. В атласной рубашке багряного цвета (как и обложка этого сборника), положив одну руку на пояс и отставив книгу, чуть-чуть покачиваясь в такт своему внутреннему ритму и глядя как-то *сквозь*, она совершала то, что обозначается единственным словом «искусство». Паркет в старой ленинградской квартире чуть-чуть поскрипывал под ее туфлями — этот звук слегка уловим в записи того, что было впоследствии названо нами «Песней птицы на дне морском». Возможно, кто-то, увидев это чтение со стороны, тоже подумал бы об «оригинальности, граничащей с экстравагантностью». А я вот теперь размышляю о том, что в записи мы произвольно сохранили *звук* прежней, «допожарной» жизни, о которой Шварц, кстати, уже написала пронзительные стихи.

Это крайне интересная, смелая, тревожащая воображение и нервную систему книга. Читая ее, я даже придумал для себя, что это такие особенные *стихотворения Елены Шварц*. Радует и то, что о книге уже написаны добросовестные статьи любящими и понимающими творчество Шварц людьми — например, Олегом Дарком.

С не любящими — сложнее, но и они иногда слагают рецензии. Вот Игорь Шайтанов, упомянув о том, что Шварц умна и проницательна («как и многое <...> когда она пишет о других»), полувсерьез опасается удара по голове бутылкой, — очевидно, за утверждение, что «биография никого не делает поэтом»⁴. Но ведь Шварц читают, любят и переводят на десятки языков не из-за биографии — разве нет?

В «Видимой стороне жизни» есть, кстати, такое маленькое произведение — «Еда для детей». Приведу его полностью.

«Русская поэзия — такой сложный миф — с ее чудищами и невинными жертвами, ухающей в ночи совой и Дервишем. Видно, мифотворчество — тоже один из наших инстинктов. Мы и свою жизнь, и чужую не можем иначе осмыслить чем как миф. И культура, и история — все это мифы. Это — единственная форма переработки реальности, делающая ее хоть сколько-нибудь удобоваримой, вроде еды для детей».

⁴ «Вопросы литературы», 2004, май — июнь.

Семен Липкин. Воля. Стихи. Поэмы. М., О.Г.И., 2003, 492 стр.

Я думаю, что Липкин — это самый значительный современный русский поэт, счастливо совместивший в своей работе эпос и лирику (тут ему, несомненно, помогла его многолетняя переводческая работа, *полное погружение* в чужую духовную культуру). А еще он соединил в себе религиозную, пророческую отвагу с фантастическим, невиданным (для прожившего *здесь и сейчас* советскую эпоху человека) поиском смирения и приятия того, что посылает Вседержитель. Ни на шаг не уходя от трех своих пожизненных, излюбленных тем (Бог, народ и история), не изменяя лирическому стержню своей поэтики (кстати, в его случае заметном не сразу).

Настоящее собрание оказалось посмертным (он успел лишь продержаться корректуру) и наиболее полным. «А строка моя произошла / От союза боли и любви, / Чтоб войти в бездушные тела, / Чтобы чудно глина ожила / от союза боли и любви» (1984). И двумя годами ранее: «Как я царствовал, раболепствуя, / Как я бедствовал на пиру! / Я принес вам свои молебствия, / Спойте их, когда я умру».

Достаточно удивительный факт выхода этой книги в издательстве, которое (вкупе с одноименным клубом, вереницей ресторанов с обязательными книжными *отделами* при них) уже давно олицетворяет собой бытие нового, молодого поколения, возможно, расширит аудиторию читателей поэзии Липкина. Говорить с иными из них, теми, кто интересуется «нерыночной» литературой, о современности поэзии человека, прожившего весь некалендарный двадцатый век с его войнами, мракобесием, искушениями и духовными подвигами, — интересно и поучительно. И это при том, что мысль стихотворца обычно предельно ясна, а конструкция высказывания чуть ли не ниша в своем пафосе: «Два тысячелетия прошло / С той поры, когда Христа распяли, / Но, познав содеянное зло, / Нам ли жить без боли и печали? // Есть и ныне острые умы, / Связанные, скажем, с Интернетом, / Но вперед продвинулись ли мы / От слепца Гомера в мире этом?..»

То, что у другого поэта может прозвучать как банальность, у Липкина почти всегда приближено к откровению. И в этом одна из его загадок. Но для этого следует прочитать не одно его стихотворение, не одну поэму. Тогда, между прочим, открывается и сдержанная, но на самом деле богатая музыка его стиха.

Двадцатый год. Разгул собраний.
Для плача не хватает слез.
А Кафка в эти дни в Меране,
Где лечит свой туберкулез.

Вот беспризорики заснули,
Друг с другом теплоту деля,
А Бунин в эти дни в Стамбуле
С женою сходит с корабля.

(Из стихотворения «Они вошли», 1991)

Как замечательны эти протяжные, как пароходно-паровозные гудки — «у» — во второй строфе! Кстати, Липкин любил поэзию Бунина, много читал его, разгадывая и домысливая загадки бунинской музыки. Он говорил мне, что сдвоенное «ку» в финале бунинского «Одиночества» («Что ж! Камин затоплю, буду пить... / Хорошо бы собаку купить») — это, возможно, сдавленное рыдание. И читал как рыдание.

Финал стихотворения «Они вошли»:

Еще АРА пришлет нам, детям,
Какао, сайку и маис,
Но что нам делать с миром этим,
Висящим головою вниз?

Что делать с этим миром, Липкин, как и все, очевидно, не знал. Но догадывался, что делать населяющим его: «...нам остается лишь одно — молиться. / А слов не находя — молчать». И продолжал беспощадно глядываться в себя, благодарая за ниспосланное.

А последнее, страшное стихотворение в этой книге, «Надеясь умереть без боли...» (2001), показалось мне стихами Иова, который, еще не зная того, уже становится пророком и мудрецом.

Александр Кушнер. Волна и камень. Стихи и проза. СПб., «LOGOS», 2003, 768 стр.

Большая часть входящих в эту книгу вещей (эссеистика) публиковалась, в том числе и на страницах «Нового мира». Любящим поэзию Кушнера стихотворения, представленные здесь же, в большинстве своем хорошо известны. Получилась тем не менее особая, многоадресная, как сейчас принято говорить, книга, соединившая в себе специальным образом выстроенный «дневник писателя» (в том числе за счет помещенных сюда интервью) с сугубо литературоведческими исследованиями. Но кто бы еще, кроме Александра Кушнера, орнаментировал подобное пространство стихами?

«Жил ли я с чувством новизны, входящей в мою работу? Вначале я ее не осознавал: практика в поэзии всегда опережает осмысление» (из интервью 1986 года). В многожанровом сборнике «Волна и камень» все по-другому: архитектором этой книги стало, конечно, *прошедшее время*, поворот головы назад — при том, что она выстроена не по хронологическому принципу. Две, а на самом деле три эпохи, накладываясь друг на друга, создают ее своеобразную, подчас, кажется, рискованную полифонию.

В интересной рецензии Сергея Арутюнова («НГ Ex libris», 2004, № 16, 29 апреля) говорится, в частности, о том, что «литературоведение лирикой у нас еще не подсвечивали», и о принятии на себя — нашим знаменитым поэтом — эстафеты от Лидии Яковлевны Гинзбург.

Я думаю, что А. К. ничего не подсвечивал: эссеистике, помещенной здесь (а разброс тем и имен невероятно обширен), не нужна никакая подсветка, ей необходим свободный *диалог* с другой частью авторского «я» — поэтической. Этот единый механизм здесь точно такой же, как и в почти пятнадцатилетней давности «Аполлоне в снегу» (по той книге, я знаю, педагоги готовились к лекциям, другие люди читали ее как роман-автобиографию, как единое исследование о поэзии и нравах двух веков — Бог знает, как чтáо!)⁵. А с эстафетой — справедливо, но для полноты этого образа Лидия Гинзбург должна была бы писать стихи.

Именно здесь, за строчками произведений об Анне Ахматовой и Анне Карениной («Анна Андреевна и Анна Аркадьевна»), об Иосифе Бродском (сложные авторские переосмысления их творческих и житейских взаимоотношений *после всего*), о Вермеере и Чехове, я почувствовал то, что часто не могут понять (а ведь это есть и во многих его стихах!) даже некоторые вольно судящие об Александре Кушнере *его* читатели. Я говорю об отношениях поэта с трагичностью бытия, о собственном драматизме его лирической интонации, вытекающей из того, что называется «правотою поэта». Это, на мой взгляд, слышно даже в цитируемом ниже отрывке из эссе о любимейшем Иннокентии Анненском: «Пора закончить эту тему, тем более что я вовсе не считаю Анненского „певцом смерти“. Назвать его „певцом смерти“ так же нелепо, как назвать „певцом жизни“. Он вообще не был певцом чего бы то ни было...» («Среди людей, которые не слышат...», 1997). Об этом же, как мне кажется, одно из самых «сердитых» стихотворений Кушнера «Кто вам сказал, что стихи я люблю? Не люблю...». Иначе говоря, по слову Пастернака, поэзия действительно — под ногами. Но это не поход по грибы.

Многолетне создаваемая поэтом гармония на самом деле не сглаживает, а с годами обостряет растворенный в музыке пресловутой «домашности» и классичности стиха — драматизм.

«Слово „нервный“ сравнительно поздно появилось у нас в словаре...»

⁵ С «Аполлоном...» мне в свое время пришлось расстаться: знакомые попросили книгу для отправки в Вермонт А. И. Солженицыну (она была ему нужна для какой-то неведомой мне работы). Эта история стала для меня *частью* судьбы книги. А теперь Александр Семенич «потерю» восполнил — в расширенном, укреплённом временем и темами варианте.

Бахыт Кенжеев. Послания. Избранные стихотворения 1972 — 2002. Алматы, «Искандер», 2004, 328 стр.

От четырехлетней давности сборника «Из семи книг» (составленного автором нынешней «Книжной полки») «Послания» отличаются двумя обстоятельствами. Первое: составителем на сей раз выступил сам Бахыт Кенжеев, включив в нее те произведения, которые более важны ему лично, а не потенциальной, «разноуровневой», как опять же принято сейчас говорить, аудитории (например, сами загадочные «Послания» — более частной и вместе с тем отсылающей нас к лицейским пушкинским временам лирики я, кажется, и не читал). В общем, он правильно сделал: автопортрет в любом случае отличается от портрета.

И второе: к книге приложен компакт-диск, озаменовавший пока еще таинственное для меня самого начало работы нашего совместного с «Новым миром» проекта «Звучащая поэзия». Книга и диск оформлены в одном стиле⁶.

Таким образом, это можно не только читать, но и слушать.

А читает Кенжеев себя превосходно, обогащая своей физической интонацией экзистенциальную сущность самого стиха. Неведомый мне Ауэзхан Кодар пишет среди прочих (*представляющих*) на задней стороне обложки, что казахские кенжеевские гены «создают особую ауру неких „суфийских” медитаций о смысле жизни и смерти. И в этом плане Бахыт Кенжеев — последний „смысловик” в эпоху, когда поэзия воспринимается преимущественно как игра и коллаж цитаций».

Ну, не последний, надеюсь, да и не всеми воспринимается. Впрочем, Кенжеев за подобные сентенции отвечать не должен, тем более что в этой цитате, за некоторым преувеличенным, на мой взгляд, «портретом» эпохи, скрывается и своя сермяжная правда.

Важная особенность этого в целом ретроспективного сборника — включение в него так и не вышедшего отдельной книжкой цикла «Невидимые» — иногда холодновато-печальных, иногда яростно-взыскующих стихотворений, отмеченных, помимо прочего, подходом к вскоре последовавшему изменению кенжеевской структуры стиха. «Дифтонгов в русском нет...» — обмолвился он как-то внутри поэтического текста.

Мне хотелось сказать о сознательных и бессознательных *шифрах* у Кенжеева, но я споткнулся на стихотворении «Алеет яблоко, бессменная змея...»: «...ни завтра нет, ни послезавтра нет, / над ямою разносится вороний / крик, на корнях чернеет перегной, / и только детский лепет посторонний / разносится с поверхности земной». Наверное, долго еще после сентябрьских событий этого года все, сказанное о детях, будет нас заставлять спотыкаться и вздрагивать. В том числе в стихах.

...кто-то корчится в муках творчества, беспокоен, подслеповат,
и густеет ночь-заговорщица, и, на радиоперехват
выхода, я дрожу от холода. Пуст мой эфир. До чего ж я влип.
Только свежего снега легчайший хруст, только ангела детский всхлип.

«Невидимые миру слезы», — сказал кто-то о названии всего этого цикла. Возможно, и так.

Геннадий Русаков. Разговоры с богом. Томск — М., «Водолей Publishers», 2003, 296 стр.

Об этой печальной книге, о которой довольно много писали критики⁷ и которую я люблю не за обозначенное в названии (тема столь деликатна, что остается только удивляться авторскому бесстрашию), а, собственно, за *сами* стихи, я хочу высказать короткую, но важную для моего читательского понимания мысль. Мо-

⁶ Художница — Екатерина Марголис.

⁷ Вспомню, например, даже озаглавленный как «Господу богу прошение от неверующего в него» критический диптих в «Дружбе народов» (2004, № 4), составленный из интересных статей Владимира Губайловского и Евгения Ермолина.

жет, это и банально, но настоящая стихия поэзии, в данном случае неповторимый, грубовато-возвышенный, отчаянный русаковский космос, проживает *свое*, как мне кажется — всегда поперек любой намеренной установки. Даже если это «просто» название сборника.

Открыл, что называется, наугад:

Уже не писанье стихов,
а просто дыханье словами.
И перечень старых грехов,
и ангелы над головами...

В этом сборнике нет и не может быть, на мой взгляд, ничего неудачного: стихи Русакова год от года только «растут в цене». Поэт оплакал смерть близкого человека только так, как это может любой настоящий поэт: подняв искаженное болью лицо вверх. «Главное, не терять отчаяния» — так, кажется, говорил Пунин Ахматовой.

Непостижимо долгая, временами совершенно *детская* — по доверительности — книга. Если бы я был издателем, то попробовал бы уговорить поэта просто оставить на обложке свое имя. А остальное — как есть, с портретом той, *из-за кого*, — еще перед титулом.

Светлана Кекова, Руслан Измаилов. Сохранившие традицию: Н. Заболоцкий, А. Тарковский, И. Бродский. Учебное пособие. Саратов, Издательство «Лицей», 2003, 192 стр.

Насколько я понимаю, это первое (на чистом энтузиазме выпущенное в провинции) пособие, представляющее сегодняшнему студенту творчество трех наших крупнейших поэтов⁸ и «параллельную» поэтическую культуру — от смогистов и «Московского времени» до Леонида Аронсона, той же Елены Шварц и Сергея Стратановского. Надеюсь, кому-то это поможет *познакомиться*. Единственная жалость: среди перечисленных смогистов почему-то не назван Аркадий Пахомов, автор пусть и одной, но чрезвычайно сильной книги «...В такие времена» (1989). Кстати, когда юные смогисты читали в конце 60-х свое — Иосифу Бродскому, он отметил именно Пахомова как наиболее самобытного, по его впечатлению, стихотворца.

Лев Шилов. Голоса, зазвучавшие вновь. Записки звукоархивиста-шестидесятника. М., «Альдаон»; «РУСАКИ», 368 стр.

Принципиально новое, отличное от предыдущего, богато иллюстрированное издание с учетом всех тех сюжетов, которые были «непроходимы» в 1987 году.

Тогда мы и не знали, что Анна Ахматова начитала ему — будущему главному звукоархивисту нашей литературы последних сорока с лишним лет — свой «Реквием», с просьбой «не открывать» запись до лучших времен. Мы не знали, как он спас архив своего учителя С. И. Бернштейна (в 20-х — руководителя Института живого слова). Спас настолько, что голос Гумилева десятилетиями жил в каком-то шкафу под именем Николая Степановича и ждал своего часа. Он «оживил» Блока, Толстого, Леонида Андреева и сделал единственную профессиональную запись авторского чтения молодого Бродского (не так давно этот диск издан).

Наконец, он издал на виниле единственное в своем роде «Звучащее собрание сочинений Корнея Чуковского»⁹ (12 пластинок) и недавно перевел его в популярный формат mp3. Он выпустил первый в стране диск Окуджавы... Первый диск Александра Кушнера тоже выпустил Шилов.

⁸ Известный поэт Светлана Кекова давно занимается изучением двух первых (о собственном подспудном поэтическом диалоге-общении с ними надо говорить отдельно), а ее муж Руслан Измаилов — Бродским.

⁹ Помимо написания книг и звукоархивистики с 1996 года и до своей недавней кончины Лев Алексеевич еще и заведовал Домом-музеем Корнея Чуковского в Переделкине.

Свою многотрудную деятельность он, думая о читателе, описал как приключение — столь же реальное, как собственная судьба, и фантазмагорическое, как эпоха, в которую ему довелось делать непонятные для многих литераторов вещи, воплотившиеся впоследствии в сотнях виниловых, а ныне и десятках компакт-дисков. Это уже не сотрешь, или, как говорят меломаны, не «запилишь». Истории о том, как с помощью шарика от ручки «за 35 копеек» снимали голос со стершегося валика или нашли в лондонском архиве матрицу пластинки с авторским чтением Бунина, рассказаны Львом Шиловым здесь так же занимательно, как некоторые описывают экспедиции туда, где еще не ступала нога человека.

Писателя, филолога, звукоархивиста Льва Алексеевича Шилова не стало в сентябре уходящего года.

В незаслуженно лестной дарственной надписи он выразил надежду, что мне удастся поучаствовать в продолжении и этой любимой мной «важной работы — записи все новых и новых русских поэтов». Так, к счастью, и получилось: недавно нам удалось выпустить компакт-диски авторского чтения всех тех, кто представлен в «плюсовой» части сегодняшней «Книжной полки». Впрочем, *пластинки* Семена Липкина и Геннадия Русакова пока еще в работе.

+1

Классики. Лучшие стихи современных детских писателей. М., «Детская литература»; ЗАО «ЭГМОНТ РОССИЯ ЛТД», 2003, 240 стр.

Большая обида. Классический перебор, или История о том, как невозможно объять необъятное. Все здесь как-то не вполне хорошо: и по избыточности жанров, и по избытку тем, и по обилию (превосходных!) имен. И по ненужной, на мой вкус, многоадресности проекта. От «семи до семидесяти» превратилось в толчею.

Некоторые литераторы даже не знали, что их произведения тут напечатаны (например, поэт Владимир Александров). А замечательный Герман Лукомников, как ни крути, вообще явственно выпадает из общего чудесного хора... Он совершенно «отдельный». В общем, получилось «22», как говорят картежники. А то и все «25».

КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ, или ХРУСТ ФРАНЦУЗСКОЙ БУЛКИ

(1) *Устная история* — такое научное направление. Сводится к интерпретации устных воспоминаний, свидетельств. «Устный историк» выясняет, каким образом не относящиеся к элите группы конструируют и модифицируют во времени культурные представления. «Устный историк» имеет возможность наблюдать, как носитель дискурсивной власти над полем коллективной памяти, будь то государство или доминирующий класс, мешает маргинальным коллективным субъектам собирать *собственную историю*.

Как правило, кино выражает точку зрения пресловутого носителя власти. Вместе с тем кино — коллективный миф, способ коллективной памяти. Таким образом, индивидуальный опыт маргинала неизбежно вступает в противоречие с легитимной версией прошлого. Например, в годы перестройки был многократно разоблачен фильм Ивана Пырьева «Кубанские казаки». В фильме показывали колхозную ярмарку, на которой столы ломались от яств. Нет, на самом деле крестьяне голодали, перебиваясь краюхой ржаного хлеба, — возражали иные критики картины, противопоставляя канонизированному *прошлому* — индивидуальный *опыт*.

Вопрос вот в чем: удалось ли «устным историкам» постсоветской эпохи хотя бы подкорректировать официальное советское прошлое, не говоря уже о том, что-

бы полностью его демонтировать, как мечталось *так называемым* демократам? Нет, даже подкорректировать не удалось. Советская система репрезентации по-прежнему определяет коллективное сознание. Выяснилась неприятная вещь. Оказывается, дремучие идеологи тоталитарного прошлого во главе с семинаристом-недоучкой Сталиным были несравненно более *продвинутыми* людьми, нежели кичливые позднесоветские демократы! Сталин и его Политбюро ясно осознавали определяющую роль *социального воображаемого*, у которого был приоритет даже по отношению к превозносимому в СССР экономическому базису. И напротив, демократы конца XX столетия оказались людьми с абсолютно архаичным сознанием. Они всерьез полагали, что *экономики достаточно*, и были в этом смысле куда более последовательными марксистами, нежели Иосиф Виссарионович. Демократы не озаботились тем, чтобы провести грамотную, целенаправленную работу с прошлым. Отдельные попытки самостоятельной коррекции носили трагикомический характер. Положим, «Хрусталеv» талантливый Алексей Германа предъявил прошлое в *жанре индивидуальной истерики*, жанре, с которым коллективное сознание в принципе не может отождествиться.

В результате однобоких криминально-экономических реформ имеем *коллективную судорогу сознания*. Сегодня индивидуальный *опыт* каждого «россиянина» находится в состоянии перманентного конфликта с коллективным *прошлым*. Пока это противоречие не будет *хотя бы* осмыслено, все попытки стабилизировать ситуацию в стране обречены на провал.

(2) У каждого набор своих устных историй. Давайте рассказывать друг другу старые истории. Давайте вытесним чужое прошлое — нашим опытом.

В 70-е постоянно слышал от старших товарищей формулы сродни магическим заклинаниям: «Мы работали, а ты!» — или: «Мы в вашем возрасте, а вы!» Короче, «мы пахали». Эта речевая стратегия, вызывавшая эффект, родственной обкуру и наркотической ломке, сильно травмировала психику моего поколения. Прошли десятилетия, страна многократно сменила имидж. Неизменными остались лишь эти самые формулы. Постаревшие «взрослые» насмерть бьются за пенсии, льготы и сопутствующую духовность. Бьются с кем?! Позвольте остаться в границах политкорректности, умолчать.

Любимый вопрос старших родственников ко *всем* моим ровесникам: «Что ты думаешь про пенсию?» Любимый ответ: «Я до нее не доживу!» Традиционный ответ на «любимый ответ»: «А если доживешь?» В смысле думай про Пенсию. Отдай Пенсии должное, сотвори Пенсии молитву. В смысле: «мы пахали, мы разбираемся». На днях кто-то оклеил Тулу совсем уже абсурдными листовками: «Дайте Достойно Умереть!» Похоже, кому-то хочется, чтобы с этим дебильным призывом идентифицировался весь народ, включая школьников и грудничков.

Окидывая взглядом нашу нервную действительность, тороплюсь поинтересоваться: «Так ли хорошо вы работали? Ту ли делянку *пахали*? Наконец, почему засеяли поле родины не зерном, а зубами дракона?»

Из романа Бориса Акунина «Алмазная колесница» с удивлением узнаю, что, объявив новую страну во второй половине XIX века, новый японский император отменил самурайские пенсии и многие сословные привилегии, насколько было возможно, уравнивал шансы старых и новых. Результат этих преобразований печально известен каждому россиянину: Цусима. Ничего не поделаешь, придется поместить микадо в личный пантеон богов. Вместо пресловутой Пенсии. Вместо аристократа из аристократов, пострадавшего императора Николая.

Особенность устной истории в том, что согласиться с ней невозможно. Устная история по определению возмутительна, непolitкорректна: *такой маленький опыт*, вдобавок не совпадающий с такой большой Историей. Откуда-то издалека доносится *отдельный голос*, звенит. Голос есть, зато правды никакой. Общеупотребимого смысла никакого. Одни оскорбления. Ничего, придется потерпеть. Таковы издержки демократических перемен.

Кстати, потерпите и лирические отступления. Не спешите делать выводы: каждая главка и каждый абзац только про кино. Любимый мной с прежнею силой философ Валерий Подорога воскликнул: «Сколько мыслей мы не в силах помыслить

(испытать на себе), и только из-за того, что не можем выработать к ним экзистенциального отношения». Когда в стране отсутствует *кинопроцесс*, то есть нет профессионального диалога критиков с практикующими кинематографистами, тогда единственный способ написать про фильм адекватно — выработать к нему экзистенциальное отношение, заинтересовать фильмом свое социальное и даже свое биологическое тело. Короче, *украсть* фильм у истории искусств и сделать его частью собственной биографии.

(3) Существует правдоподобная мосфильмовская легенда. Во второй половине 60-х Андрей Кончаловский снимает фильм про Асю Клячину, хромоножку, которая любила, родила, но замуж так и не вышла. Каждый божий, то бишь съемочный, день Кончаловский собирает группу в просмотровом зале и показывает ей одну и ту же картину — «Виридиану» Луиса Бунюэля. Кончаловский умный, внимательный, благодарный зритель. Он задумал частично воспроизвести поэтику «Виридианы». Он замечательно точно выбрал объект для подражания, не ошибся с автором, субъектом. Сегодня ясно, что Бунюэль — тот единственный из грандов мирового кино 50 — 60-х, кто не устарел ни единым кадром, ни единым мгновением экранного времени. Даже Антониони, даже Бергман — безупречны с приставкой «почти». Трансформация «Виридианы» в подцензурную советскую «Асю Клячину», в зоны умолчания, в переносы значения и смысла — тема для диссертации или книги. Здесь и сейчас придется ограничиться самыми общими замечаниями, необходимыми для того, чтобы кинообзор благополучно продолжался.

Вот «Виридиана» (1961): история католической послушницы, которая накануне монашеского пострига попадает в мир и, вопреки желанию, остается там навсегда. Происходит это не потому, что Виридиана некрепка в своей вере. Напротив, Виридиана тяготеет к миру, Виридиана чиста. Она последовательно сталкивается с представителями всевозможных социальных групп. Вначале со своим богатым дядюшкой, землевладельцем доном Хайме, а потом с людьми противоположного сорта: бедняками, нищими, калеками и прокаженными. Но вот незадача: и дон Хайме, и народ с одинаковым упорством покушаются на чистоту и непорочность несостоявшейся монахини, возжелавшей отвергнуть мир во имя торжества религиозного чувства, небесной любви. В финальном эпизоде чудом избежавшая грязного насилия девушка садится играть в карты с незаконнорожденным сыном дона Хайме и его бывшей служанкой. Мир победил. Бунюэль называл свою картину *комедией*.

Кончаловский снимает кальку с бунюэлевского «народа». В 1961 году еще свежи воспоминания об итальянском неореализме, перед народом принято заискивать. Даже анархист Пазолини аттестует своего Аккаттоне скорее как деклассированное исключение, в одноименном фильме Пазолини отделяет любимого героя от фона, оставляет надежду на социальные изменения: остальные люмпены-пролетарии скорее всего лучше. Впрочем, куда же лучше! Аккаттоне — не столько подонок общества, сколько художник, эстет, воплощение самой идеи свободы. Бунюэль идет поперек всех, не оставляя никаких иллюзий. Символизация толпы в образе *нищих и убогих* — крайне несвоевременна. Бунюэль предоставляет толпе возможность покуражиться: на одну ночь имение дон Хайме отдается ей на разграбление, но только на одну, воистину карнавальную ночь. Утром все становится на свои места. Вечное возвращение.

Теперь Кончаловский. Насколько возможно, он пытается идти след в след Бунюэлю. Что такое советское общество в параметрах официальной риторики в сравнении с миром Бунюэля? Это традиционное сословное общество, из которого последовательно изъяты: аристократ дон Хайме, служанка Рамона, незаконнорожденный барчук Хорхе, безымянная настоятельница монастыря и, наконец, непорочная Виридиана. Послевоенное советское кино *имитировало* социальную сложность, неоднородность общества. Авторы вводили героев таких и сяких, здоровых и больных, интересную личность, а рядом — еще более интересную. Строили сюжет как кальку с западного нарратива! По сути, это был путь соглашательства с буржуазным канонам. Кончаловский задумал диверсию, он решил предьявить победивший «народ» в его первоизданном виде, в том смысле, в каком ранний Маркс понимал

пролетариат: подонки общества, деклассированный сброд, изгой, калеки, прокаженные, которым назначено завершить мировую историю. Воспроизводя образную ткань «Виридианы», отталкиваясь от графики и пластики ее кадра, Кончаловский населяет мир своего фильма исключительно теми самыми *нищими и убогими*, что составляли лишь *некоторую часть* мира Бунюэля. По замыслу предельно сильный ход! Мир сжался, унифицировался, но куда важнее другое: мир утратил идеальное измерение. Ведь если *эти люди* завершают мировую историю, если они воплощают ее окончательный смысл, значит, ничего трансцендентного больше нет. Значит, их рубища, их телесность, их физические пороки вроде фурункулов, проказы и хромоты — и есть предел мира, смысл бытия!

Бунюэль знает, что делает. Захватившие власть нищие и убогие произвольно рассаживаются за барским столом, чтобы «сфотографироваться». Снимок предстоит сделать некой Энедине. «А каким аппаратом?» — (С насмешкой.) «Тем, что мне папа с мамой подарили». На какое-то мгновение кадр застывает, и стол с нищими обретает сходство с «Тайной вечерей». Теперь Священная история — это история победивших мир изгоев. Трезвый Бунюэль знает, что победа эта — до первых петухов, до утра. А экзальтированные российские марксисты полагали, что навсегда. Их атеизм закономерен.

Все это, впрочем, слишком известно. Куда менее изучены эстетические последствия. Кажется, Оскар Уайльд заметил: «Только поверхностные люди не судят по внешности». Вполне по-марксистски. Если трансцендентное преодолено, а истина предъявляет себя здесь и сейчас, значит, ее торжество будет тем более очевидным, чем более явным будет унижение плоти. В 20 — 30-е годы кино стало ведущей отраслью советского народного хозяйства. Оно было призвано закреплять в коллективном сознании визуальный эквивалент истины: равного богам изгоя, пролетария. Однако традиционная образная система, взыскующая выразительности, диктовала свои требования. Пролетарии в кино становятся все краше, а одеваются все лучше. В сущности, эксперимент Кончаловского был попыткой реанимации аутентичного марксизма: его героиня — нескладная *хромоножка*, а прочие персонажи — неприукрашенные типажи; грубые, калеченые, бедно одетые, траченные жизнью люди с улицы. Неудивительно, что мутировавшая советская власть страшно перепугалась и положила фильм на полку. Власть давно не верила, что прокаженные и хромые имеют хоть какой-нибудь смысл (это не значит, что носители власти изжили свое советское бессознательное!). Однако сами «прокаженные и хромые», то бишь советский народ, так и не осознали карнавальность своей ситуации. Они уже жили в вечности, отсюда непререкаемое, горделивое «мы пахали».

Имелось в виду, что реальное завершение мировой Истории было осуществлено ими, послевоенными советскими людьми, которые стали последним поколением, претерпевшим радикальное изменение. Мы, их дети и внуки, обреченные если не на «вечное счастье», то на стабильное благополучие, были для этих первых людей квазикоммунистической эпохи своего рода паразитами, пришедшими на все готовое. Пенсия для них — не меньше, чем бог. Пенсия — доступное их сознанию овеществление исторического смысла, его благодатная полнота. Здесь начинается самое интересное.

Советские люди, включая предательское начальство, воспринимали себя как воплощенную истину, а *потаенным эквивалентом* истины оставался для них образ прокаженного изгоя. Когда смотришь сегодня послевоенное советское кино, не покидает ощущение, что все его герои сплошь ряженые. Кажется, «когда начальство ушло», хромые с убогими вырядились в господские платья, уселись за господский стол и заговорили на чужом, птичьем языке. Чувствуешь: начальство всего лишь уехало на ночь. Оно где-то неподалеку, ибо самоуверенность ряженных ничем не обеспечена, а проблемы и конфликты ряженных — стилизованы. И все же в данный момент на твоих глазах — ряженные действительно воплощают всю полноту смысла, это чистая правда. Очень скоро про начальство забываешь вовсе: сами себе начальство!

За двумя-тремя исключениями вроде Муратовой, Панфилова и Кончаловского эпохи «Аси Клячиной», которым удалось разглядеть «хромых с убогими» без грима и карнавальных костюмов, советское кино — это затянувшаяся ночь из «Виридиана-

ны». Почему кино это столь популярно сегодня? Потому что оно безусловно воплощает внутренний опыт нашего человека, его самосознание, его имманентную спесь: «Мы пахали!» Почти все это кино сделано с позиции *ряженого хромого*. Его спесь сопряжена с физическим увечьем (конечно, в символическом смысле!), а его повседневное благодушие обеспечено реквизированным барским костюмом, которыми прикрыты и увечье, и — опять-таки символические — лохмотья, возгоняющие спесь в свою очередь.

Вот вам парадокс. Теперь, когда официальная версия отечественной истории поменяла знак, старое кино неожиданно перестало быть историческим *прошлым* наших людей, зато превратилось в их *опыт*. В старом кино закономерно нет той травматической «правды», которую преподносил перестроечный «Огонек». Зато есть другая, куда более достоверная! Пересматривая советские фильмы, люди мечтают о временах, когда они были *равными богам*.

(4) Но самое неприятное, чтобы не сказать чудовищное, — маскарад продолжается! Телевизор заполнили ретросериалы, в которых дорвавшиеся до медиальной власти *совки* с новой силой стилизуют советскую эпоху в соответствии с глянцевым западным стандартом, к которому их герои, советские люди прошлых лет, не имеют никакого отношения. Таким образом длится и длится карнавальная ночь из картины Бунюэля. Важно понимать, простая перемена знака не имеет никакого смысла: были хорошие боги, стали — боги плохие.

Попалось на глаза интервью Борхеса, которому в молодости пришлось поработать кинокритиком. Борхесу предложили сравнить героиню советского кино с героиней американского вестерна. Борхес сравнил: в советских фильмах его поразило отсутствие великодушия по отношению к врагам. Да и от самих врагов в этих фильмах ничего хорошего ждать не приходилось.

Борхес вспоминает сцену расправы моряков «Потемкина» над офицерами. Налицо разница интерпретаций критика и автора. Борхес находит, что сцена решена в *комедийном ключе*: крупный план разбитого пенсне, шаржированные гримаски, сумасшедший темп в стиле немой комической. Между тем общий строй картины предписывает считать эпизод иначе — в стиле героической победы. Я бы сказал, как миф первотворения.

Что все это значит? А вот что. Борхес исходит из существования жанровых клише. А жанровые клише, в свою очередь, характерны для многоукладного общества, они позволяют различным социальным группам ориентироваться в разлитом море массовой культуры и выбирать соответствующий уровень и склонностям продукт потребления. Сходным образом рассуждал Бунюэль, именовавший «Виридиану» комедией, что советскому человеку было решительно невозможно понять. Ведь подсознательно советский человек жил в ситуации «Аси Клячиной», то есть в однородном обществе *навсегда победивших* изгоев. Но с точки зрения новоявленного бога, роль которого всякий советский человек вынужден был бессознательно примерять, жизненный уклад — один-единственный, и никакого множества жанров не существует. Значит, никакой такой «комедии» не может быть в принципе, проблема различения жанров и кодов не актуальна. Но тогда миф первотворения реализуется самым эклектичным образом: в кучу сваливаются кони и люди, шарж и патетика, сарказм и героика. Ведь картина прилагается к социальному эксперименту, который соответствующим образом картину означает, маркирует.

Любопытна в этой связи история недавнего сериала «Идиот» и новых, грядущих экранизаций русско-советской литературной классики. У спортсменов и людей с улицы, попадающих в объектив телекамеры, считается хорошим тоном хвалить этот телевизионный продукт. «Что предпочитаете из литературы, из кино?» — «Всем коллективом смотрели сериал „Идиот“! Приобщились к классике, это все наше, родное, необходимое русской душе!» И тому подобный межеумочный вздор.

Всенародная «любовь» к «Идиоту» — факт прискорбный, трагический, специфически советский. Кто позабыл, тому напомним: Федор Достоевский творил в жанре *элитарной* философской прозы. В России XIX века этого хорошего писателя закономерно потребляла немногочисленная *элитарная же* публика: дворяне и

продвинутые разночинцы. Баловались ли Достоевским купцы со спортсменами — это большой вопрос. Адекватна интерпретация Достоевского, выполненная Сергеем Прокофьевым в элитарном оперном жанре, — без малого гениальный «Игрок». Но предельно неадекватна интерпретация Достоевского в жанре телевизионной «мыльной оперы», да еще в ситуации тотального безрыбья, когда массовому потребителю не предложено никакой альтернативной продукции, ничего качественного на современную тему.

Писал ли Достоевский «лучше» глянцевого постсоветских драмоделов? *Не вопрос*, ибо Достоевский работал в другом жанре, и не надо бы пытаться Достоевского массовым вниманием. Горделиво отчитываясь в своей любви к Достоевскому, дезориентированные потребители культивируют собственную советскую спесь. Рейтинговый успех сериала «Идиот» не есть возвращение к духовности, это возвращение в Советский Союз. Хотите?!

Мне-то все равно, у меня ни там, ни здесь — ничего.

(5) Вот очередная картина Павла Чухрая под названием «Водитель для Веры». Редкое простодушие автора снова, как и в случае с фильмом «Вор», способствует наглядности анализа. 1962 год, СССР. Десяток персонажей, и все скорее «плохие». Неудачники, карьеристы, подлецы. Главная героиня, генеральская дочь Вера, — *хромоножка*. Причем ее увечье подчеркнуто куда больше, нежели увечье Аси Клячиной.

Отец, генерал, давным-давно потерял жену, мать Веры. Теперь под него копают КГБ, вдобавок калеченая дочь неизвестно от кого забеременела. Генерал в ярости, он ищет такого личного шофера, который мог бы по карьерным соображениям осчастливить его дочь браком. Такой парень, детдомовец, действительно находится. Парень соглашается взять за себя хромоножку с чужим ребенком, однако при всяком удобном случае спит с аппетитной блондинкой из генеральской обслуги. И парня, и генерала тайком контролирует генеральский ординарец, офицер-гэбист. В результате блондинку увольняют, генерала душат агенты КГБ, подвернувшуюся под руку Веру убивают выстрелом в лоб, а временно сбежавшего от гэбистов водителя рано или поздно отловят и ликвидируют.

В этом полуграмотном, аккуратеньком чистоплюйстве Павла Чухрая больше всего раздражает имитация серьезности. Раздражают заимствованные у социально неоднородного Запада и кое-как адаптированные жанровые схемы, в которые предложено вписаться ряженым пролетариям. Гремучая смесь *ихних* схем с нашими ряжеными провоцирует комический эффект, ибо чужеродные элементы в единое художественное целое закономерно не срастаются. Ведь психологически наши — самодостаточные боги! На этом их снобизме, и только на нем одном, страна продержалась до начала 90-х. Между тем Чухрай изображает наших самоуверенных карнавалных людей — жалкими и скучными, беспомощными и обреченными. Да нет же, нет, жалкими они становятся только *поутру*, когда карнавальная ночь закончится! А до этих пор они титаны, богатыри. Единороги, козлотуры, инкубы, суккубы, хтонические монстры, но только не простые люди. Смотрите «Виридиану», сличайте Бунюэля с отечественным прошлым.

Единственная внежанровая проговорка Чухрая, единственный хтонический след в его картине — это хромота героини. Вера — персонаж, который ставит Чухрая в тупик. Все прочие заимствованы из западного жанрового искусства, автор более-менее уверенно ими манипулирует, выстраивая какой-никакой внутренний мир, какую-никакую систему мотиваций. И только меченная хромотой Вера — не поддается жанровой дрессуре! Автор попросту не знает, что с нею делать, и минут за пятнадцать до окончания фильма избавляется от героини, чье имя вынесено в заглавие (!), самым небрежным, самым неприличным образом: безымянный, едва появившийся в фильме сотрудник органов стреляет ей в лоб, несмотря на брань и протесты начальника операции, генеральского соглядатая.

Кроме прочего, беда Павла Чухрая — в отсутствии темперамента. К сожалению, то же самое можно сказать о несравненно более талантливом Андрее Кончаловском. Что называется, *ни холоден, ни горяч*. А ведь пару-тройку раз в своей неровной карьере Кончаловский приближался к бездне, то бишь к истине. Потоптался, но замора-

чиваться не стал, повернул обратно. Закончилось все телевизионной рекламой какого-то чупа-чупса. Мне очень обидно за Кончаловского, очень.

(6) Зато молодец Тарковский, который тоже любил Бунюэля больше жизни. Допустим, в «Сталкере» он очень правильно развел персонажей. Писатель, Ученый — это интеллигенция. Умные, здоровые, но с ограниченными способностями. А вот болезненная пролетарская дочка Сталкера на поверку оказывается паранормальной чудесницей, способной творить чудеса и достойной того, чтобы завершить мировую Историю. Цитируемый ею дворянский Тютчев, конечно, притянут за уши, но притянут технично, по делу, не без изящества. «Угрюмый, тусклый огонь желанья...» — это некая трансценденция, которую изгой неожиданно находит внутри своего калеченого тела. Сильное, хотя и не отработанное Тарковским до конца продолжение темы, намеченной Бунюэлем.

А ведь есть еще неожиданное стихотворение Заболоцкого «Некрасивая девочка» (1955): «...Она напоминает лягушонка... рот длинен, зубки кривы, черты лица остры и некрасивы». Разве западная культура прошлого столетия смотрела на биологических изгоев и маргиналов с такою искренней надеждой? Несмотря на отдельные контркультурные выпады, там давно возобладал культ сексапилок и манекенщиц.

Я не утверждаю, что мой бестолковый мотивный анализ безупречен. Но я настаиваю на том, что он имеет смысл. Я полагаю, что внимательное и непредвзятое изучение жизнестойкого *советского бессознательного*, всех комплексов, мотивов и образов, им инспирированных, позволило бы значительно оздоровить нашу художественную ситуацию, нашу социальную ситуацию в целом.

Возможно, впрочем, что болезнь и сопутствующее юродство — советское credo, и тогда оздоровление не входит в жизненную программу нашего человека, общества в целом. Но даже если так, об этом все равно лучше говорить прямо, без обиняков: «Больны, но довольны!» Или: «Проказа, зато своя!» И наконец, незабываемое: «Дайте Достоинно Умереть!»

(7) Если нашлась свежая рифма к «Асе Клячиной», значит, должна быть рифма и к «Виридиане». Например, последняя картина испанца Педро Альмодовара «Дурное воспитание». Конечно, опус Альмодовара — *комедия*, и это роднит его с «Виридианой». С другой стороны, у Альмодовара, как и у Чухрая, «все плохие». Но, видимо, в западном и в нашем контекстах эта формула имеет различный смысл? Попробуем найти десять отличий.

Все началось со священника-расстриги. Но расстригой-то он стал после, а вначале увлекся мальчиком из подотчетного ему закрытого католического колледжа. Итак, священник развратил мальчика, а мальчик, в свою очередь, развратил одноклассника. Влюбленный священник добился перевода малолетнего соперника в другой колледж. История получила продолжение через пятнадцать лет. Священник покинул лоно Церкви и занялся бизнесом. Развращенный им паренек подрос, превратился в отвратительного наркомана-гомосексуалиста и, припугнув оглаской, потребовал от виновника материальной компенсации за моральный ущерб. Расстрига приносит шантажисту первый взнос и тут же влюбляется в его младшего брата. Младший сильно недоволен тем, что старший дискредитирует его своим асоциальным поведением. Расстрига успешно соблазняет младшего, который, впрочем, не больно-то сопротивлялся. Новоявленным любовникам мешает порочный старший брат, и они помогают несчастному уйти из жизни. От старшего остается проза, где в деталях описывается давняя история, случившаяся с двумя мальчиками и священником в колледже. Заканчивается проза тем, что повзрослевший мальчик шантажирует растлителя, который, впрочем, по сюжету еще не расстригся. Младший брат несет прозу талантливому кинорежиссеру, в которого с годами превратился тот самый второй мальчик из приюта. Режиссер снимает фильм, умножая таким образом сущности, то бишь пороки, и параллельно ведет расследование обстоятельств смерти своего давнего приятеля.

Я сознательно нагромождаю хаос моральных преступлений, впрочем преподнесенных Альмодоваром куда более изящно, нелинейным образом. Смотрите, в этом фильме нет ни одного положительного, легитимного, богоугодного поступка.

Зло на зло сидит и злом погоняет. Тем не менее фильм не оставляет в душе подлых ощущений. У всех этих людей, говорит Альмодовар, был свободный выбор, было трансцендентное измерение. Захотел священник согрешить и расстричься — пожалуйста, разве что потом придется отвечать. Захотели мальчишки поиграть в запретную любовь — мальчишкам все права, кто же мальчишкам запретит. Эта комедия ошибок, эта энциклопедия проступков предьявляет своих «плохих» героев как всего лишь людей. *Полнота смысла* сосредоточена не в них, не в их биологических телах, поэтому перманентное беззаконие фабулы зрителя *не опустошает*.

Напротив, попирающий все жанровые законы «Водитель для Веры» оставляет душливое впечатление «конца времен», объявленного беззаконными узурпаторами *смысла*. Герои Чухрая маркированы в качестве «плохих» лишь потому, что так предписала новая идеологическая программа. Механическая перемена знака с плюса на минус не меняет сути, оставляет богов на своих местах, разве что добавляя им элегической грусти. Вся полнота исторического смысла по-прежнему сосредоточена в них самих, потому что фильм сделан с их точки зрения, с позиции ряженных, скрывающих обноски и увечья под генеральскими мундирами, под цивильными костюмами 60-х. И только Вера, чудом прокравшаяся в картину Вера, — предстает разоблаченной, достоверной: хромой и поэтому все-таки похожей на человека. Вызывающей одновременно отвращение, жалость, сочувствие. Все прочие персонажи вызывают только недоумение. То есть «хромая Вера» — это объективная характеристика советских, а «генералы с поручиками» — *самооценка* советских, их самочувствие.

Насколько понятно то, что я имею в виду? Чтобы вполне прочувствовать мою генеральную идею, необходимо помыслить социальную историю предельно грубым образом, опираясь на визуальные клише, а не на логические схемы. Социальная логика безнадежно скорректирована воображаемым. *Социальное воображаемое*, навязанное стране большевиками, куда более грандиозная конструкция, нежели все, вместе взятые, свершения индустриализации, и оно ни в малейшей степени не демонтировано.

(8) Несколько лет назад на просторах родины зазвучала эстрадная песня «Как упоительны в России вечера», одно из самых юморных произведений эпохи. В радиоконцертах по заявкам неизменно слушаю ее до конца. Песня остроумно придумана и многое объясняет. Песне предшествуют аплодисменты. Они предусмотрены фонограммой, записаны заблаговременно, и этот постмодернистский жест настраивает на игровой лад.

«Дворцы, красавицы, лакеи, юнкера, и вальсы Шуберта, и хруст французской булки...» — в этом месте я отчего-то вскакиваю, это место сводит меня с ума. Неумное воображение рисует ряженных титанов и полубогов. Одна нога упирается в уральский хребет, другая — в питерскую мостовую. Страшные ручищи, глаза навыкате. *Хруст французской булки*, соизмеримый с грохотом снежной лавины, с ревом тайфуна, разрывает перепонки. Хромой с прокаженным делят провиант. Из-под плохо прилегающих европейских камзолов торчат драные зипуны и портки. До утра еще далеко, и поэтому кажется, что наступили последние времена. Шуберт неуместен. Маскарад нестерпим.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДНЕВНИК ОЛЬГИ ГЛАДКОВОЙ

ГАЛИНА УСТВОЛЬСКАЯ: ДРАМА СО СЧАСТЛИВЫМ ФИНАЛОМ

В конце апреля этого года в Эрмитажном театре Петербурга состоялся авторский вечер Галины Уствольской. Музыкальное событие переросло в сенсацию: петербургская публика встретила композитора с «коленипреклоненным восторгом». Так сообщалось в прессе, не упоминая о том, что большинство из собравшихся

познакомилось с этой музыкой впервые. Автор с мировым именем, представляющий современное искусство на самых престижных зарубежных сценах, почти неизвестен в России.

В 2004-м Уствольской исполнилось восемьдесят пять. До семидесяти пяти лет она практически не слышала своих сочинений...

Галину Уствольскую открыли в Европе — в Германии и Голландии. Поначалу в тени другого российского композитора — Софьи Губайдулиной, усилиями отечественных исполнителей-гастролеров, а после все самостоятельней она завоевывала место в афишах музыкальных фестивалей, телепрограммах и радиоэфире. В 1990-м Пятой симфонией «Amen» Уствольская поставила последнюю точку в своем творчестве; через два-три года начинается стремительное музыкальное восхождение композитора. На авторском вечере в Амстердаме, в 1996-м после исполнения Второй симфонии произошло нечто необычное: публика Концерт-холла, покинув свои места, толпой хлынула к сцене, и подойти к автору, стоявшему перед оркестром и кланявшемуся Мстиславу Ростроповичу, выступившему в качестве дирижера, долгое время не представлялось возможным. С этой памятной премьерой был связан первый выезд Уствольской за рубеж.

В том же году она прочла в одной из рецензий:

«Работы Уствольской могут показаться захватывающими или лишенными ценности как таковой; они мощны или нелепы — в зависимости от того, как на них посмотреть. Но они должны быть услышаны!» — писал обозреватель нью-йоркского фестиваля современной музыки¹. И их услышали — в Америке, Азии, Австралии. Автор, фактически неизвестный даже коллегам-профессионалам, обрел, неожиданно для них и себя, фантастическую мировую востребованность. Шагнув в восьмой десяток и в подлинное, хоть и позднее, признание.

В творческом портфеле Уствольской всего двадцать пять сочинений, большинство из которых не превышает 17 — 20 минут. Не наскучат ли бесконечные повторы репертуара, «герметичный» язык, пронзительная оригинальность звуковых идей? «Ее бум недолговечен», — утверждали многие из музыкантов-россиян, говоря о естественном интересе Запада к новому имени советского андеграунда. И ошибаясь в главном — достаточно взглянуть на карту филармонических исполнений музыки автора за несколько произвольно взятых месяцев (к примеру, за зимний сезон 2002/2003 года): Нейхарденберг, Берлин, Гамбург, Ульм, Лозанна, Нью-Йорк, Гютерслох, Лондон, Кёльн, Чикаго, Висбаден, Амстердам, Эссен, Зальцбург, снова Гамбург...

«Апокалипсис», «апокалиптическое искусство» — эти определения мелькают применительно к эзотерическому посланию Уствольской довольно часто; можно принимать эту музыку или нет, считать ее черной или белой, религиозной или демонической, но она получила вольную — законное право звучать во всем мире. Крупная фигура — всегда и полюс притяжения, и полюс отталкивания; однако факт превращения ее сочинений в классику XX века уже не оспорит никто.

Десятилетие славы почти не изменило ее повседневной жизни и быта. Галина Уствольская все так же коротает свой век в скромной петербургской квартире на улице Гагарина, рядом с партитурами и старым пианино (теперь им пользуются редко), мужем, заботливой сиделкой и неизбежными проблемами здоровья. Сегодня на этот адрес приходит немало писем, с отечественными и иностранными марками, — от студентов консерваторий, начинающих и маститых инструменталистов, знаменитых дирижеров. На столике в прихожей все чаще звонит телефон: издатели, администраторы, редакторы энциклопедий. Упоминание о самом значительном и самом неповторимом российском композиторе наших дней уверенно входит в зарубежные справочники, музыкальные словари и фестивальные буклеты. Не только фамилия автора, но и «уствольский дух», «уствольская аура» встречаются на страницах статей; и даже нечто «мусоргское» — «уствольщина», духовная сила, противостоявшая официальной советской культуре и верноподданнической идеологии.

¹ Росс А. Духовность музыки и черный юмор. — «New York Times», 1996, 15 apr.

«Само ее имя сделалось нарицательным, обозначая целый стиль музыки и самую драматичную легенду в практике современного искусства», — говорилось в газетном отзыве о том самом юбилейном авторском вечере². Мистически-мрачную легенду со счастливым концом.

— Вашу музыку часто сравнивают с живописью Малевича, с фильмами Тарковского. Как Вы к этому относитесь?
— Я не знаю этих фамилий.

Галина Уствольская — радиоинтервью, 2000 год.

На одной из лекций, посвященных творчеству композитора (дело происходило в московской Академии музыки имени Гнесиных), мне был задан провокационный вопрос — при полной тишине и напряженном внимании зала: «А не миф ли — пресловутый феномен Уствольской, не создает ли она его сама?» Она или ее окружение — читалось в подтексте; куда же без этого в наш броско-рекламный век?

И дара, и откровений музыки Уствольской в России всегда боялись: необъяснимое пугает. Называли автора вещуньей, музыкальной Вангой, попирающей авторитеты заслуженных ученых мужей. Ее искусство — без подробных толкований и музыковедческого анализа — говорит само за себя, отвечая на все вопросы с невербальной ясностью и глубиной. Замкнутая система звуков, циркулирующая в ограниченном пространстве мощной энергетической воронки, столь же загадочна, как Черный квадрат. И столь же связана с «отображением реальной действительности», фотографически точным или намеренно, гротескно искаженным, решительно не укладывающаяся ни в общую картину западной концертной жизни, ни в пейзаж соцреализма. Галина Уствольская никогда не писала о войне, хотя ей пришлось испытать и бомбежки, и эвакуацию, и работу в военном госпитале; магистральная тема советского искусства времен ее молодости и зрелости, тема, богатая премиями, наградами и званиями для многих коллег, прошла для нее стороной.

Вероятно, ей были глубоко антипатичны любые попытки приближения к житейским проблемам, общественным событиям и «животрепещущим темам» в искусстве; ее музыка, подчеркнута аполитичная и антипублицистичная, существовала в другом измерении — наедине с абсолютным временем. Должно быть, поэтому реальное время и конкретная эпоха над ней не властны: многократные исполнения, возможно, притупили ощущение шокирующей новизны жестких кластеров, свинцовых «стоячих» аккордов или мертвенных ударов деревянного куба (43×43 см, стенки 1,5 см, бить деревянными молотками), но не стерли впечатления первозданности и истинности музыки. Точности музыкального слова — емкого и афористичного.

Вне времени, эпохи и места и ее излюбленные жанры — сонаты, композиции, симфонии, прелюдии, сюиты... Которые в течение долгой творческой жизни сочинялись «в стол», без надежды на скорое издание и исполнение. Музыка написана, она состоялась — этого достаточно.

«Свои опусы выношу на публику очень трудно... Досадно, что я совершенно не могу общаться с людьми. Порой это просто мучительно, пытаюсь бороться с собой, но, очевидно, то, что у меня внутри, — то есть то, чем вызвана моя нелюдимость и болезненная замкнутость, имеет настолько глубокие корни, что это сильнее меня самой, сильнее моих желаний», — сказала Галина Уствольская в редкую минуту откровенности.

Ни контакта с аудиторией, ни крепкой профессиональной поддержки Уствольская не знала в одиночной камере своей добровольной творческой изоляции. Двадцатый век презирал ее за некоммуникабельность и профессиональный аскетизм, монотонию и первобытную грубость средств. Рубеж тысячелетий принес место лидера: имя Уствольской сегодня упоминают в ряду крупнейших композиторов столетия — от Веберна до Лютославского и Лигети. Музыка которых она не знает — так же, как фамилии Малевича — действительно не знает, без эпатажа и бравады,

² Раннев В. Пугающие откровения. — «Культура», 2004, май.

и не стремится узнать. Она никогда не интересовалась творениями ближайших коллег-петербуржцев, и не снобизм тому причиной, но желание сберечь свою индивидуальность, музыкальное эго и художественную волю.

Ее стилевой островок слишком мал и неприступен для других; прочные, гранитные конструкции не позволяют разять их. Монолит един, а образный мир специфичен: музыка Уствольской балансирует на грани искусства и неискусства, приемлемого и недопустимого. У последней черты, крайности, вызывающей порой бессознательное, интуитивное неприятие... «Посредственное вынуждает рассуждать, талантливое — умолкнуть»³.

Как нечто болезненное воспринимается и нежелание автора продвигать свои сочинения на сцену, формировать круг преданных исполнителей. В те годы, когда решалась судьба ее музыки, Галина Ивановна позволяла себе быть резкой с пианистами и певцами, которые — как казалось композитору — исказили ее замыслы.

Исполнительские традиции складывались сами; контролировать все концерты и записи было так же бессмысленно, как шпионить за взрослыми детьми. Параллельно с ними формировались байки о странностях натуры автора — о разбитых телекамерах и пострадавших операторах, пытавшихся снять Уствольскую, о хитростях журналистов, не терявших надежды на личные интервью и потаенные, «запретные» темы.

Я не провидец, но, видимо, близка к этому; совершенно точно знаю, что чувствую *правильно и уверенно*. Потому и сочинения мне даются несравненно труднее... Стою на коленях перед Богом.

Галина Уствольская — в письме к композитору Виктору Суслину.

«Если б поднимался дым из рояля, никто не удивился бы. Эта музыка имеет запах: палящая музыка, которая повышает температуру», — писал очевидец клавирабенда, где исполнялись фортепианные сонаты Уствольской.

Если б зазмеились трещины в каменных стенах одного из старейших польских храмов — костела Посещения Пресвятой Девы Марии, где прозвучали четыре симфонии композитора (фестиваль «Варшавская осень — 2001»), никто не сомневался бы: это сделала музыка.

На миг показалось, что темные своды огромного собора рухнут под тяжестью звуков — давящих, властных, подчиняющих тело и душу. Погребут под обломками многочисленных слушателей, всех тех, кто сидел, закутавшись в плащи и шарфы (в храме было довольно холодно), стоял у стен и скамей, заглядывал внутрь через решетку у входа... Но даже после того, как музыка кончилась, после шумных аплодисментов, цветов и поздравлений многие еще оставались на местах и долго сидели как зачарованные — не то молясь, не то пытаясь осмыслить впечатление... О магии воздействия сочинений Уствольской приходилось читать и слышать много; сеанс «музыкального гипноза» наблюдать воочию довелось впервые.

При всей закрытости тематики и замкнутости системы, к которой ничего нельзя добавить и ничего — извлечь, ее искусству свойственна особая диалогичность. Эффект духовного собеседника. Обращение к божественным силам, молитвенный экстаз и молитвенное оцепенение, заметные в поздних, важнейших работах автора — Композициях (№ 1 — «Dona nobis pacem», № 2 — «Dies irae», № 3 — «Benedictus, qui venit») и Симфониях (Второй — «Истинная, вечная Благодать!», Третьей — «Иисусе Мессия, спаси нас!», Четвертой — «Молитва» и более всего Пятой — «Amen», «буквальном предстоянии перед Абсолютом»⁴).

Никогда! — вопреки желанию композитора — ее сочинения не исполнялись на родине в храмах. Для того, чтобы услышать истоиво-фанатичную музыку в соборе, духовная атмосфера которого придает звучанию особый смысл, нужно ехать в Австрию, Голландию или на берега Вислы — костел Посещения Пресвятой Девы Марии расположен на высоком холме: с него открывается живописный, подсве-

³ Перельман Н. В классе рояля. М., 2002, стр. 7.

⁴ Определение принадлежит петербургскому режиссеру Татьяне Валерич.

ченный нарядными красками осени вид на широкую реку, не скованную гранитом парапетов и набережных, свободную и изменчивую, как горделивая польская пани.

Сосредоточенность. Молитва. Прощение. В этом главная, сквозная мысль большинства работ Уствольской. Тему покаяния, мотив духовной вины — своей ли, общечеловеческой — не раз называли ведущими в ее творчестве... Маниакальное, спасительное затворничество, аскетизм отшельника — одиночки в жизни и музыке, отстраненной от мира, навязчивого звукового окружения, преходящего быта. И властно, упорно подчиняющей слушателя любого возраста, опыта, вероисповедания — перед этой силой все равны.

«Прямо-таки физически, с ошеломляющим натиском атакует нас „Dies irae”, агрессия и силовое внушение господствуют и в ее талантливой, ритуально монотонной Четвертой симфонии „Gebet”», без сомнения, воплощающей спиритуальный призыв к Всевышнему». Именно этот опус критики сравнивали с трагически-мрачным «Прощанием» из «Песни о земле» Густава Малера, искали параллели с темой смерти у Мусоргского и Стравинского. Семиминутную симфонию, написанную для голоса и трех инструментов, именовали: «Арнольд Шёнберг в камерной оправе»; подчеркивали традиции Баха и Бетховена в оригинальном, причудливом сочетании⁵.

Глубоко религиозный Бах и вольнодумец Бетховен; обрядовая музыка первого и светское, концертное начало у второго — преемственность не исключает противоположности. Столь же контрастны (а может быть, несовместимы?) духовные тексты в сочинениях Уствольской — и черное энергетическое поле ее искусства, отрицательный заряд звукового излучения, — и светлые слова молитвы.

От этой музыки не оторваться — она затягивает мощным магнетизмом, хотя подчас ее невыносимо трудно слушать, а еще сложнее играть: не каждый исполнитель способен выдержать «радиоактивную» силу звуков; соната или симфония «съедает» без остатка. Один из пианистов рассказывал о некоей батисфере, мысленно оберегавшей его в море темной, бушующей музыки; другой — о плотной мантии, которой укутывает Композиция № 2, «ткани» несъемной, надолго прилипающей к телу. В жаркий летний день, на даче, мне довелось услышать записи поздних симфоний Уствольской; прекрасные царскосельские пейзажи навечно слились с роковой, мистической аурой звуков, с «дьявольскими» трелями духовых и тяжелой поступью остинатных четвертей...

Эта музыка рождает фобии, а вместе с тем — сильнейшее ощущение истины, аксиомы, не требующей доказательств. В ней и подлинная вера, и глубокое нравственное чувство.

Христианка Галина Уствольская, человек крещеный, искренне религиозный, использует в своих произведениях и «Отче наш», и древние тексты Германна Контрактуса («Памятники средневековой латинской литературы X — XII веков»). Сочетает в названиях и словесных рядах сочинений (декламируемых? распетых? просто читаемых? — «вглубь себя», не на публику) латынь и славянский язык. «Кошунство!» — говорят об исполнении симфоний в храме, особенно *таких* симфоний, многие верующие. Кошунственным кажется появление инструментов в русской церкви, неточное цитирование молитвенных слов, смешение православного и католического.

Ее музыку озвучивают оперные солисты, «камерники», чтецы, однако ни классический вокал, ни традиционное сценическое слово здесь не требуются — они бессильны; любая условность, притворство, театральность неуместны и бессмысленны. Быть может, обыденность и даже неказистость тембра, хрипотца, срывающийся в крике голос ближе к сути экстатической симфонии-молитвы. В костеле, кирхе, православном соборе — нет разницы, и не имеет значения, где и когда звучит эта музыка: она спиритуальна, но не обрядова. Духовна — в первичном, «очищенном» виде, без внешних покровов и оболочек, без кожи, естественной, защищающей.

⁵ Из газетных рецензий, посвященных фестивалю современной музыки в Люцерне весной 2002 года.

Почему о Шедрине не говорят, что он — ученик Шапорина? О Слонимском, что он — ученик Евлахова? Почему обо мне только и слышно: ученица Шостаковича, аспирантка Шостаковича?!

Галина Уствольская — из дневниковых записей.

«Госпожа Уствольская позволяет узнать о себе очень немного, — сообщалось в одной из концертных программ. — Информация разрознена и открывается редко». Но этот факт известен: желание Уствольской отмежеваться от имени консерваторского учителя. Наряду со всегдашним муссированием темы «преподаватель и студентка» в отзывах все чаще появляется другое: «Галина Уствольская — одна из наиболее оригинальных личностей в современной русской музыке и единственная ученица Шостаковича, которая нашла свою собственную эстетику, полностью независимую от стиля ее великого учителя»⁶. Престижные издания публикуют статьи о сходстве и антагонизме двух творческих фигур; два имени соседствуют в концертных программах, выходят в свет тандемные компакт-диски (Скрипичный концерт Дмитрия Шостаковича — Фортепианный концерт Галины Уствольской).

Именно оригинальность и отвращение ко всякого рода тусовкам удерживало Уствольскую «за кадром» в дни ее молодости. «Казалось чудом, что в 1950 году, спустя всего два года после выхода печально известного „Постановления“ о формализме в музыке, она вышла, при содействии Мравинского и Ленинградской филармонии, на музыкальную арену со „Сном Степана Разина“ для баритона и большого оркестра. Все это... оказалось лишь прелюдией к многолетнему периоду молчания, когда ее произведения не исполнялись совсем»⁷.

Разумеется, во времена культурного конформизма она звучать не могла. Но и позже, в эпоху «развинчивания гаек» и духовного плюрализма, ее музыка не спешила возвращаться на сцену. С другим, последующим поколением: Альфред Шнитке, Софья Губайдулина, Эдисон Денисов, Арво Пярт, на гребне их уверенной известности — им было около шестидесяти, Уствольской под восемьдесят — она попала на мировую музыкальную орбиту. Не заплатив за это эмиграцией и не пополнив элит русского зарубежья — единственная из многих. Среди своих ровесников Уствольская оказалась практически уникальной в сохранении творческого кредо, упорно, от опуса к опусу, продолжая восхождение к космосу, восхождение в одиночку.

Эта музыка сопротивлялась каждой попытке включить ее автора в ту или иную творческую группировку. Несколько концертных сезонов и считанное число исполнений навсегда оторвали Галину Уствольскую от близкого — как казалось вначале — музыкального окружения. Не поглотил ее и мощный авангардный поток; подземное течение ее музыки было более глубоким и скрытым. В конце сороковых, младенческую пору европейского авангарда (и эмбриональную — российского), она писала так же, как полвека спустя: тот же стиль и образы, та же самобытность. Точная цель движения и гигантский духовный импульс, излучаемый партитурой как таковой: ее рукописи — больше чем просто нотная запись музыки; только взгляд в них порождает необъяснимо-тревожное чувство, желание рассмотреть каждую черточку, каждый штрих...

Манускрипты Уствольской интересны не только музыкантам; для графологов и психоаналитиков это материал не менее любопытный: крутые повороты пути. Падкие на сенсации журналисты много писали о безвременной смерти Юрия Балкашина, талантливого композитора и близкого друга Галины Ивановны, погибшего во время приступа болезни фактически у нее на глазах; о долгом, почти десятилетнем кризисе в работе Уствольской, тяжело переживавшей это событие. Действительно, с 1960-го по 1970-й она закончила только одно сочинение — Дуэт для скрипки и фортепиано (1964), но, вероятно, зрели новые замыслы — будущих трех Композиций: шаг автора неспешен. Немногие знали о том, что в 1966-м она вышла замуж; это обстоятельство и сегодня — откровение для «непосвященных». Взгляд на-

⁶ Аллисон Д. Фестиваль, который избежал советского влияния. — «New York Times», 2001, 28 oct.

⁷ Бредшоу С. Друг святого Петра. — «The Musical Times», 2000, Summer, p. 25.

зад, моменты детской биографии Уствольской, положение одной из сестер-двойняшек — сестры, нелюбимой в семье, — возможно, объясняют ее непростой характер, склонность к уединению, непрактичность натуры композитора, отличающегося редкой бескомпромиссностью.

К восьмидесятилетию она получила именную правительственную пенсию. В свои восемьдесят пять дождалась приглашения на авторский вечер. Следующая круглая дата, быть может, приведет к фестивалю Уствольской, первому в Петербурге, — кто знает?

Время разбрасывать камни... Время собирать их.

С.-Петербург.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

Сугубо информационное: издательства в Интернете

Вот проблема — книг прорва, в том числе и хороших, и часто очень нужных, но найти их трудно. Иногда — невозможно. Причины в общем-то понятны: резкое падение тиражей, многократно увеличившееся количество издательств и их слабая, как правило, система распространения, ну и, разумеется, неразвитость служб отслеживания новинок. Достойные восхищения усилия газет «Книжное обозрение» и «НГ Ex Libris», пытающихся объять необъятное, ситуации, увы, не меняют. Слишком узкое горлышко для такого потока. Спасение, на мой взгляд, только в возможностях Интернета. Последние годы Сеть активно налаживает системы отслеживания новых книг, как вышедших, так и готовящихся к изданию. И делает это довольно успешно. Во всяком случае, наводя справки с помощью Яндекса и Гугла, три книги из пяти я нахожу всегда. Процент, на мой взгляд, высокий. Правда, искать информацию о книге, про существование которой вы уже знаете, просто. Здесь достаточно навыков работы с поисковыми системами.

Гораздо сложнее отслеживать появление новых книг. Но «сложно» не значит невозможно. В Интернете стремительно множатся издательские и книготорговые сайты. Достаточно составить для себя более или менее полный их каталог со ссылками и регулярно просматривать на их титульных страницах новости. Или, как предлагают сайты некоторых издательств (скажем, лидера в издании современной зарубежной литературы, сумевшего грамотно построить системы распространения и оповещения, — издательства «Иностранка»), вы можете подписаться на рассылку по электронной почте анонсов вышедших и готовящихся к изданию книг.

В этом обзоре я намерен предложить список ведущих издательств, который вполне может стать основой для вашего будущего каталога. Список небольшой — в выборе предлагаемых адресов я, во-первых, ограничивал себя сам, представляя издателей только художественной и гуманитарной литературы, а во-вторых, был ограничен фактом наличия или отсутствия в Сети интернет-представительств некоторых издательств (не все из известных даже издательств имеют свои сайты — нет, например, своего сайта у старейшего нашего издательства «Художественная литература», так же как и у относительно нового, но уже ставшего одним из лидеров — издательства «Симпозиум»).

Но вначале — два адреса, где можно познакомиться с развернутыми списками существующих сегодня издательств. Мне, например, при работе с библиографией удобнее всего пользоваться каталогом издательств на сайте книжного магазина «Москва» <http://www.moscowbooks.ru/services/search/catalog_detail.asp?type=publish> — здесь представлен просто список издательств (достаточно полный; скажем, на букву «А» перечислены названия 257 издательств, на «Б» — 72, на «В» — 78 и т. д.). Кликнув по названию издательства, вы получаете список его книг, обычно новых, продающихся сейчас в магазине. В свою очередь, задействовав ссылку на название

книги, вы выводите на экран полный перечень ее выходных и прочих данных (год издания, количество страниц, тираж, формат, тип обложки, вес и, разумеется, цена), и здесь же — более или менее развернутая аннотация.

Ну а в поисках издательских сайтов в Интернете лучше пользоваться каталогом на сайте «Чтиво» <<http://www.chtivo.ru/review.php?all=1&rub=17>>. Полное название сайта «Объединенный каталог Печатных изданий Чтиво» (13 сентября, когда я последний раз открывал титульную страницу сайта, там значились такие цифры: «В Объединенном каталоге 295 312 уникальных изданий. Прайс-лист содержит 886 666 позиций из 12 интернет-магазинов и 367 off-line распространителей»). Каталог издателей, представленный на этом сайте, поразительный — он содержит 5676 названий издательств, и при этом подавляющее большинство позиций в этом списке имеет ссылку или на сайт издательства в Интернете, или на соответствующую страницу какого-либо сайта, содержащего информацию об этом издательстве (полное название, почтовый адрес, имя директора или главного редактора, телефоны, электронный адрес).

Так что открывать свой издательский каталог я бы порекомендовал этими двумя адресами. Ну а далее уже список собственно издательств.

Издательство «Аграф» <<http://www.infoline.ru/g23/5711/>>

Книги по истории, философии, культурологии, музыке; мемуары, энциклопедии, словари, справочники. Разумеется, и художественная литература.

Сайт содержит аннотированный каталог выпущенных книг, прайс-лист, список магазинов, с которыми сотрудничает издательство, информацию о самом издательстве. Это, так сказать, базовые для издательского сайта разделы. Структуру и содержание этого сайта можно считать типичными для большинства издательских сайтов. Он дает тот минимум информации, который и ищет в Интернете читатель, — списки книг, краткую информацию о новых книгах, адреса магазинов. Новинки издательства представлены на титульной странице.

Издательство «Азбука» <<http://www.azbooka.ru/>>

На сайте «Азбуки» к «базовой составляющей» добавлены страницы: «Новости», «О компании», «Рецензии и статьи», «Авторам», «Гостиная», «Вакансии», «Магазины» и др.

Основная работа сайта идет, конечно, на странице «Новости», где представлены только что вышедшие книги, и на странице «Каталог». И еще очень существенное дополнение — сайт предоставляет возможность подписаться на рассылку анонсов издательства.

Издательство «Амфора» <<http://www.amphora.ru/>>

Удобный, логичный, представляющий необходимый минимум информации сайт питерского издательства. Основные разделы сайта: «Новости», «Издательство», «Каталог» (подразделы: «Новинки», «Бестселлеры», «Готовятся к выпуску», «Серии»), «Где купить». Есть подписка на анонсы издательства.

Издательская группа «АСТ» <<http://www.ast.ru/>>

Слоган сайта: «Каждая пятая книга России». На сайте содержится информация о 260 315 753 книгах (13.09.2004). Основные разделы: «Об издательстве» («Каждый месяц „АСТ“ выпускает 150 — 200 новых книг. Специализация — художественная, детская и учебная литература, как отечественная, так и зарубежная»), «Новинки», «Пресса о нас», «Новости», «Авторам», «Прайс-листы», «Наши магазины».

Издательство «Б.С.Г.-Пресс» <<http://www.bsgpress.ru/index.php?action=about&id=104229404209>>

Это, строго говоря, не издательский сайт, хотя он содержит краткие сведения об издательстве, но прежде всего это интернет-магазин издательства, торгующий через Интернет книгами издательства «Б.С.Г.» и некоторых других издательств. Имеет страницы: «Книги», «Авторы», «Серии», «Прайс-лист», «Подписка на новости».

Издательство «Вагриус» <<http://www.vagrius.com/>>

Многоярусный, так сказать, сайт. Два основных раздела с подразделами: «Жизнь издательства» («Новости издательства», «Наша галерея», «Контактная информация», «История издательства», «Интервью», «Статьи», «Где купить наши книги») и «Книжные ресурсы» («Книги по жанрам», «Книжные серии», «Новые книги», «Готовятся к изданию», «Авторы», «Хит-парад» и т. д.).

В подразделе «Авторы» я открыл персональную страничку **Андрея Волоса** <http://www.vagrius.com/books/2n/volos_01.shtml> — представлены выходящая в «Вагриусе» книга Волоса «Недвижимость» плюс небольшая биографическая справка об авторе.

Здесь же на сайте я обнаружил страницу под названием «Книги-рекордсмены» <<http://www.vagrius.com/books/records!.shtml>> — своеобразная издательская Книга Гиннесса: «Виктор Доценко — сериал про „Бешеного“: суммарный тираж более 19 000 000 экземпляров» (другие рекордсмены: Эдвард Радзинский — 1 000 000 экземпляров, Виктор Пелевин — 800 000). И еще рекорды: «Алексей Рыбин — „Фирма“». Первая книга, раскрутка которой проводилась через Интернет, и вторая по количеству скандалов, ее сопровождающих (после „Приватизации по-русски“ А.Чубайса)», «Обещанного три года ждут. Эдвард Радзинский, „Распутин“». От первого анонса книги до ее появления прошло более 3-х лет». И т. п.

Издательство «Детская литература» <<http://www.deflit.ru/>>

Разделы: «Каталог серий», «Круг чтения», «Гостевая книга», «Где приобрести», «Прайс-лист». На титульной странице представлены последние издания.

Издательство Захарова <<http://www.zakharov.ru/>>

Разделы: «Новости», «О нас», «Каталог», «Где купить», «Пресса», «Прайс-лист», «Форум», «Письмо Захарову».

Издательство «Иностранка» <<http://www.inostranka.ru/ru/publishers/>>

Страницы: «Каталог», «Серии», «Авторы», «Скоро», «Новости», «Пресса», «Партнеры», «Переводчики», «Об издательстве». И — «Подписаться на анонсы».

Издательство «Молодая гвардия» <<http://mg.gvardiya.ru/>>

Разделы: «История», «Наши координаты», «Анонс», «Каталог книг», «Новинки». В числе прочей информации на сайте вывешен полный каталог серии «Жизнь замечательных людей» с более или менее подробной информацией о всех изданиях серии, коих за семьдесят лет было более тысячи. Здесь же представлено издательство «Звонница-МГ» <<http://mg.gvardiya.ru/default.asp?type=zvmg>>.

Издательство «Наука» <<http://www.naukaran.ru/>>

Краткая справка об издательстве, тематические планы выпуска книг, прайс-листы.

Издательство «Новое литературное обозрение» <<http://www.nlo.magazine.ru/>>

Издательство представляет свои книги в разделах «Новинки» и «Каталог».

Издательство «Просвещение» <<http://www.prosv.ru/>>

Страницы: «Каталог продукции», «Форум Просвещения», «Где купить», «Наши координаты».

Издательство «Пушкинский фонд» <<http://izdat-pd.narod.ru/>>

Основные разделы: «История создания издательства», «Выпускаемые серии книг», «Информация для подписчиков».

В разделе «Серии» вывешен список книг, вышедших под грифом «Былой Петербург», «Жизнь Пушкина», «Государственные деятели России глазами современников», «Сочинения Иосифа Бродского в 7-ми томах», а также каталог самой, пожалуй, популярной издательской серии «Пушкинского фонда» — «Автограф», серии, которая благодаря энтузиазму ее составителя Геннадия Комарова может сегодня считаться чем-то вроде визитной карточки современной русской поэзии;

приведу список авторов, данный здесь полностью: Б. Ахмадулина, В. Салимон, И. Лиснянская, Ю. Кублановский, Н. Кононов, А. Пурин, Е. Шварц, С. Гандлевский, В. Гандельман, В. Дроздов, Д. Новиков, И. Жданов, Т. Кибиров, В. Зельченко, Б. Кенжеев, А. Битов, Л. Лосев, В. Павлова, В. Кривулин, М. Еремин, С. Кекова, В. Соснора, Б. Рыжий, П. Барскова, В. Коваль, А. Поляков, А. Кушнер, О. Чухонцев.

Издательство «Радуга» <<http://www.raduga.caravan.ru/index.html>>

Разделы: «Новинки», «События», «Каталог книг», «Где купить», «Издательство», «Авторы», «Прайс-лист».

Издательство «Слово» <<http://www.slovo-online.ru/>>

Основные разделы: «Новости» («Новости сайта», «Новости компании», «Новости культуры») и «Наши книги» (подразделы: «Ожидаются», «Наши новинки», «Наши бестселлеры», «Книги-события», «Каталог и поиск по книгам» и др.). Есть подписка на анонсы.

Издательство «Текст» <<http://www.mtu-net.ru/textpubl/index.htm>>

Издательская декларация: «„ТЕКСТ” — самое старое из новых издательств. Мы отдаем предпочтение добротным книгам, написанным в разное время, но по разным причинам так и не дошедшим до российских читателей.

Мы не ограничиваем себя жанрами. Хорошей книгой может быть и роман, и повесть, и сборник рассказов, и эссе, и дневник, и поэма. Лишь бы автору было что сказать читателю. У нас выходили книги получше и похуже, скромные и нарядные, веселые и печальные. Мы только старались, чтобы среди них не было серых, или, как теперь говорят, „никаких”. Вот, собственно, и вся наша издательская политика.

Эта нехитрая затея — издавать те книги, что нам самим по душе, — нам до сих пор нравится. Нашим читателям вроде бы тоже».

Основные разделы: «Издательство», «Новости», «Серии», «Новинки», «Ожидаемые книги», «Прайс-лист», «Книга месяца», «Где можно купить наши книги».

Издательство «У-Фактория» <<http://www.ufactory.ru/>>

Разделы: «Новости», «Новинки», «Я хочу это найти» (поиск книг), «Программа Книжечки», «Вакансии», Препрессцентр». В подразделах «Новинок» представлены издательские серии.

Торговый Дом «ЭКСМО» <www.eksmo.ru>

Один из самых проработанных и самых информативных издательских сайтов в нашем Интернете. Представление книг по разделам: «Современная литература, классика», «Остросюжетная литература (детективы, триллеры)», «Фантастика, фэнтези, мистика», «Детская литература», «Сентиментальный роман», «Психология, философия», «Историческая литература, биографии, мемуары, публицистика», «Обучающая, развивающая литература, справочники, энциклопедии, словари» и т. д. Каталоги, прайс-листы. Персональные страницы авторов издательства. Я перелистал несколько таких страниц. **Александра Маринина** <<http://www.eksmo.ru/authors/authors?a=1>> — фотография, биографическая справка, адрес персонального сайта Марининой <<http://www.marinina.ru>> в Интернете, список ее книг, изданных в «ЭКСМО» (37 наименований). Подобная тщательность в представлении одного из самых успешных в коммерческом плане авторов понятна. Ну, а если посмотреть страницы авторов другого плана? Я открыл страницу **Марины Вишневецкой** <<http://www.eksmo.ru/authors/authors?a=22383>>, издавшей в «ЭКСМО» две книги, не претендовавшие на успех коммерческий. Да нет, все так же: фото автора, справка и такое же представление двух книг.

Издательство «Энциклопедия» Издательского Дома «ИНФРА-М»: <<http://www.infra-m.ru/live/encyclopedia.asp>>

Справка об издательстве, каталоги, прайс-листы, информация о вышедших в нем в последнее время книгах.

Из представления издательства: «Приоритетным проектом издательства является 12-томное универсальное издание — **НОВАЯ РОССИЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ**. Главный редактор энциклопедии — вице-президент Российской академии наук, академик А. Д. Некипелов. Вышел из печати первый том „Новой Российской энциклопедии”, полностью посвященный России. Энциклопедические очерки „Природа”, „Население”, „История”, „Конституционный строй и политическая система”, „Религии современной России”, „Экономика”, „Культура”, „Социальная сфера”, очерки о 89 субъектах Федерации дают сводную картину прошлого и настоящего нашей страны.

Следующие три алфавитных тома выйдут до конца 2004 года. Готовятся к печати — первый том „Новой исторической энциклопедии”, а также серия энциклопедических словарей и справочников по медицине и здравоохранению.

На этом же сайте помещена информация об издательствах **«Норма»**, **«Весь Мир»**, **«Форум»**, **«Вадим-синема»**, **«Альфа-М»**, **«Вузовский учебник»**.

Предложенный выше список предназначен для тех, кому нужна информация об изданных и планирующихся к изданию книгах. А рядовому покупателю, который намерен с помощью Интернета не только найти информацию о книге, но и приобрести ее, я бы рекомендовал два адреса книжных интернет-магазинов. На самом деле их неизмеримо больше, и мой выбор вызван всего лишь тем, что именно этими адресами я пользуюсь.

Первый адрес очевиден — старейший в нашей Сети книжный (а также видео, компакт-диски и проч.) интернет-магазин **ОЗОН** <<http://www.ozon.ru/>>. Имеющий очень даже приличный каталог книг самых разных издательств и представляющий эти книги, как правило, набором необходимых сведений о выходных данных, фотографией обложки, более или менее развернутой аннотацией, справкой об авторе, иногда отрывками из книги. На регулярно обновляемой странице «Новинки» вывешивается информация о поступивших на ОЗОН новых книгах, обычно в этом списке около 500 названий. Одно из самых удобных мест в Интернете для отслеживания только что изданных книг.

Ну а второй адрес — это поиск книг в Интернете на **Bookler.ru** <<http://www.bookler.ru/>> — полное название сайта: «Система глобального поиска и продажи литературы www.Bookler.ru». Сайт, представляющий себя кратко и ясно: «Глобальный поиск книг. Все магазины в одном. Новая поисковая система для тех, кто хочет купить книгу». 13 сентября там значились следующие цифры: «В базе 733 тысячи 756 книг из 18 книжных магазинов. Вы можете заказать книги почтой, оформить заказ книг онлайн и купить книгу на сайте выбранного Вами книжного интернет-магазина».

Главная страница сайта «Поиск книг» с разделами: «Расширенный поиск книг», «Улучшенный поиск книг», «Алфавитный указатель книг», «Анонсы книжных магазинов», «Самые популярные», «Доставка книг» и др.

Я посмотрел список самых популярных у интернет-аудитории книг <<http://www.bookler.ru/authorbest.shtml>>, то есть представляющий реальный спрос у относительно продвинутой читательской аудитории. Тут не только мазохизм, но и профессиональный интерес. На первой позиции все та же Дарья Донцова (загадочное для меня, стиснув зубы дочитавшего один из ее романов, явление), затем следует имя Ника Перумова, далее — Татьяна Устинова, Александр Бушков, Сергей Лукьяненко (это который «Ночной дозор»), Александра Маринина. 8-е и 9-е места заняли Акунин и Пелевин, на 10-м — Харуки Мураками, на 13-м — Иван Бунин, на 19-м — Антон Чехов, сумевший обойти на одну позицию Карлоса Кастанеду и Михаила Задорнова. Достоевский на 22-м месте, далее — Толстой и Солженицын, Пушкин — на 27-м месте (после Даниила Корецкого), Сорокин — на 30-м. Ну что ж, спасибо и на том.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Василий Аксенов. Вольтерьянцы и вольтерьянки. М., «ЭКСМО»; «Изографус», 2004, 560 стр., 25 100 экз.

Новый роман Василия Аксенова, первая публикация которого состоялась в журнале «Октябрь» (2004, № 1, 2). Текст частично доступен в Интернете по адресу <<http://magazines.russ.ru/october/2004/1/aks.html>>.

Аэлита. Новая волна. Фантастические повести и рассказы. Екатеринбург, «У-Фактория», 2004, 592 стр., 2000 экз.

«Произведения молодых перспективных авторов, представляющих основные направления фантастики нового поколения», — тексты молодых писателей из круга участников российского фестиваля фантастики «Аэлита», проходящего в Екатеринбурге.

Татьяна Бек. Сага с помарками. М., «Время», 2004, 400 стр., 3000 экз.

Избранное из шести книг, а также новые стихи (раздел «Отсебятина», помеченный 2004 годом).

Влюбленный путник. Западная поэзия в переводах Алексея Парина. М., «Аграф», 2004, 512 стр., 1500 экз.

Книга избранных переводов — от Древней Греции и Рима до поэтов XX века Франции, Италии, Германии, Австрии, Швеции и США (Архилох, Сапфо, Анакреонт, Катулл, Овидий, Петрарка, Кретьен де Труа, Франсуа Вийон, Антуан де Сент-Аман, Аполлинер, Кокто, Лоуэлл, Ларс Густафсон, Пауль Целан и др.)

Мария Галина. Гиви и Шендерович. Роман. М., «Гешарим / Мосты культуры», 2004, 480 стр., 1500 экз.

Новый роман Галиной, определившей свой жанр как мистико-ироническую фантазмагорию, — в первых (и последних) главах вполне «одесское» повествование про питерского бухгалтера, причерноморского «челнока» и прекрасную, но безумно своенравную аспирантку, отправившихся в Стамбул за товаром и приключениями и ставших, на беду свою, обладателями древнего перстня, а также вляпавшихся в криминальный сюжет с похищением из археологического музея иерусалимской святыни, — обстоятельства, сделавшие неизбежным их путешествие в царство Ирама, в некое предысторическое время, когда роды человеческие, только начинавшие свою историю, еще говорили с Всевышним напрямую, а собственное прошлое уточняли по Священной Книге; когда по будущей Палестине и пустыням окрест скитались воины, купцы, разбойники, а также — джинны, оборотни и прочая нечисть. И для соответствующего изображения мира, в который провалились герои романа, автор обращается к стилистике «Тысячи и одной ночи», ветхозаветных апокрифов и отчасти «сарагосской рукописи» пана Потоцкого, — в органичном скрещении этих «разновременных эстетик» и выстраивает Галина свою художественную версию начала начал нашей общей истории и культуры.

Генрих Гейне. Беззвездные небеса / Der Himmel Sternenleer. Составитель Г. Раггауз. М., «Текст», 2004, 384 стр., 5000 экз.

«Книга песен» Гейне в лучших русских переводах (А. Григорьева, Л. Мея, Ф. Тютчева, А. Фета, И. Анненского, А. Блока и др.), с параллельным текстом на немецком языке.

Линор Горалик. Недетская игра. Предисловие А. Гаврилова. М., О.Г.И., 88 стр., 3000 экз.

Короткая проза самой известной интернетовской писательницы.

Владимир Корнилов. Сочинения в двух томах. М., «Хроникер», 2004, 2000 экз. Том первый. Стихи и поэмы. 1948 — 2001. — 480 стр.; Том второй. Проза. — 432 стр.

Самое полное собрание текстов одного из лучших русских поэтов второй половины XX века Владимира Николаевича Корнилова (1928 — 2002) с предисловием Андрея Туркова; в Приложении — мемуарные заметки Корнилова, заметки и воспоминания о нем А. Ахматовой, Т. Бек, В. Шохинной, А. Симонова, Б. Евсеева. Журнал намерен отрецензировать это издание.

Григорий Кружков. Гости. М., «Время», 400 стр.

Избранные стихи и переводы лауреата Государственной премии 2003 года.

Андрей Левкин. Черный воздух. Повести, рассказы. СПб., «Амфора», 2004, 367 стр., 1000 экз.

Повести «Серо-белая книга», «Междущарствие» и рассказы.

Анри Мишо. Портрет А. Перевод с французского В. Козового и др. Составление О. Кустовой и А. Поповой. СПб., «Симпозиум», 2004, 448 стр., 3000 экз.

Избранное франко-бельгийского писателя и художника Анри Мишо (1899 — 1984), повести, рассказы, путевая проза.

Пантелеймон Романов. Антология сатиры и юмора России XX века. Том 34. Составитель Станислав Никоненко. М., «ЭКСМО», 2004, 704 стр., 7000 экз.

Собрание юмористических и сатирических рассказов одного из ведущих русских писателей первой трети XX века.

А. И. Солженицын. Дороженька. М., «Вагриус», 2004, 415 стр., 7000 экз.

Ранний Солженицын — поэма «Дороженька» (девятой ее главой стали «Прусские ночи»), стихи (как определил их автор — «тюремные, лагерные, ссыльные») и неоконченная повесть «Люби революцию»; авторское представление книги: «Здесь помещены мои произведения тюремно-лагерно-ссыльных лет. Я складывал их в уме и нес в памяти все лагерные годы, не доверяя бумаге. Они были моим дыханием и жизнью тогда. Помогли мне выстоять».

Джон Стейнбек. Короткое правление Пипина IV. Роман. Перевод с английского Д. Могильцова. СПб., «Азбука-классика», 2004, 224 стр., 5000 экз.

Впервые на русском языке сатирический роман Стейнбека.

Вадим Степанцов. Мутанты Купидона. М., «Альта-Принт»; «Зебра Е», 2004, 416 стр., 7000 экз.

Самое полное из вышедших ранее собраний стихотворений главы Ордена куртуазных маньеристов.

Дмитрий Тонконогов. Темная азбука. Стихи. М., «Emergency Exit», 2004, 48 стр., 1000 экз.

Дебютная книга тридцатилетнего поэта — «...И суждено родиться и рожденья / Не помнит своего, бояться сна. / Зима, весна и светопреломленье, / Но неизменно азбука темна».

Рональд Фирбенк. Искусственная принцесса. Перевод с английского В. Купермана. Тверь, «Kolonna Publications», 2004, 208 стр., 1000 экз.

Впервые на русском языке два самых знаменитых романа малоизвестного у нас классика английской литературы Рональда Фирбенка (1886 — 1926) «О причудах кардинала Пирелли» и «Искусственная принцесса», также раздел «Фирбенкиана (Коллекция воспоминаний о Рональде Фирбенке)».

Елена Холмогорова. Трио для квартета. М., «Время», 2004, 208 стр., 1500 экз.

Роман «Трио для квартета» (первая публикация в журнале «Дружба народов», 2003, № 10 — текст доступен в Интернете по адресу <<http://magazines.russ.ru/druzhba/2003/10/holmog.html>> — и повесть «Лучшая роль второго плана» — современная психологическая, отчасти лирическая проза с умело и точно воссозданной атмосферой старо- и новомосковской жизни, повествующая о повседневности обычных горожан (одинокая корректорша, бизнесмен, актриса, играющая роли второго плана, отставной военный, просто доживающая свое старуха из коммуналки, которая рвется, впадая в беспамяństwo, в приемную уже несуществующего МГБ узнать о судьбе сгинувшего там мужа, и т. д.). Оба произведения строятся на любовном сюжете, «обыкновенность» жизни героев подсвечена необыкновенностью происходящего с ними.



Алла Андреева. Плаванье к Небесной России. М., «Аграф», 2004, 352 стр., 1500 экз.

Мемуары вдовы Даниила Андреева.

Н. А. Виноградова. Китайские сады. М., «Арт-Родник», 2004, 208 стр.

Монография, в которой история и бытовая культура китайского сада рассматриваются как феномен национальной эстетики, психологии и философии.

Соломон Волков. Шостакович и Сталин: художник и царь. М., «ЭКСМО», 2004, 640 стр., 5100 экз.

Попытка реконструкции изнутри противостояния великого композитора и диктатора.

Дмитрий Галковский. Магнит, или Пропаганда-2. Псков, 2004, 456 стр.

От автора: «В прошлом году я выпустил книгу „Пропаганда“, где собрал статьи, интервью, фельетоны, анкеты и выступления, написанные-наговоренные с 1990 по 1998 год, то есть в период трагикомической публикации „Бесконечного тупика“. В этом сборнике публикуются подобные же материалы за 2001 — 2004 годы, то есть созданные после моего „второго пришествия“ в отечественную литературу. Получилось не так много, поэтому я решил добавить две философские работы, написанные в середине 90-х, а также пару интервью...» Добавленные в сборник философские работы — «Русская политика и русская философия», «Русская война и русский мир». Содержание книги с доступом к отдельным текстам вывешено в Интернете по адресу <<http://samisdat.com/2/25-oglav.htm>>.

Матвей Гейзер. Михоэлс. М., «Молодая гвардия», 2004, 336 стр., 5000 экз.

Биография и творчество великого актера в серии «Жизнь замечательных людей».

Леонид Жуховицкий. Молитва атеиста. М., «Эслан», 2004, 464 стр., 2000 экз.

Сборник — статьи, воспоминания, эссе, литературная критика.

Вяч. Вс. Иванов. Наука о человеке. Введение в современную антропологию. Курс лекций. М., РГГУ, 2004, 195 стр., 1500 экз.

Антропология в данном случае представлена как единая сфера исследований, включающая в себя как гуманитарные, так и естественные науки, «поскольку данные космологии, биологии, учения о биосфере и ноосфере, нейронауки не менее важны для построения целостного антропологического знания, чем лингвистика, история и психология».

Юрий Лошиц. Гончаров. М., «Молодая гвардия», 2004, 400 стр., 5000 экз.

Книга известного критика о Гончарове в серии «Жизнь замечательных людей».

Нина Луговская. Хочу жить... Из дневника школьницы. 1932 — 1937. По материалам следственного дела семьи Луговских. Составление, подготовка текстов, введение и примечания Ирины Осиповой. М., «Глас», 2004, 368 стр.

Дневник московской школьницы, послуживший органам НКВД впоследствии материалом для обвинения ее в «антисоветской деятельности» и приговора к пяти годам лагерного срока, продолженного потом многолетней ссылкой. «Есть причины, по которым дневник Анны Франк и Нины Луговской могут рассматриваться как родственные документы. Прежде всего, они принадлежат тому новому разделу общей истории, который выделился в самостоятельную дисциплину, называемую микроисторией. Большая история, рассматриваемая через судьбу отдельного, частного человека — не вождя, полководца, философа или писателя, а одинокой незначительной песчинки», — из предисловия Людмилы Улицкой «Трудный подросток против великого мифа».

Юрий Манн. Гоголь. Труды и дни. 1809 — 1845. М., «Аспект Пресс», 2004, 813 стр.

Новая биография Гоголя, написанная известным литературоведом; ей предшествовала изданная в 1994 году книга Ю. Манна «Сквозь видимый миру смех... Жизнь Гоголя. 1809 — 1835 гг.».

Булат Окуджава: его круг. Материалы Второй международной научной конференции. 30 ноября — 2 декабря 2001 г. Переделкино. М., «Соль», 208 стр.

Среди участников сборника Сергей Аверинцев, Фазиль Искандер, Станислав Расадин, Лев Аннинский.

Глеб Павловский. Тренировка по истории. Мастер-классы Гефтера. М., «Русский институт», 2004, 192 стр., 1000 экз.

Павловский предлагает запись своих бесед с Михаилом Гефтером, происходивших на протяжении пятнадцати лет в 70 — 80-х годах, бесед «меня-ссылного с историком в глубокой опале». Диалог «непослушного, но верного» ученика с учителем — о Сталине, Ленине и о других персонажах недавнего российского прошлого — по сути, представляет собой попытку сформулировать сам «код ментальности» российской истории. В этом своеобразном соавторстве основной голос принадлежит Михаилу Яковлевичу Гефтеру (1918 — 1995), историку и философу, общественному деятелю — участнику правозащитного и диссидентского движения, одному из основателей самиздатского журнала «Поиски», президенту научно-просветительского центра «Холокост» и, корот-

кое время — февраль — октябрь 1993, — члену консультационно-аналитического совета Президента России. Но голос этот записан именно Павловским: «Я отвечаю за то, что я это действительно слышал — и, вслушиваясь, записывал честно. Но его или себя?»

Карл Поппер. Предположения и опровержения. Рост научного знания. Перевод с английского А. Никифорова, Г. Новичкова. М., «АСТ»; «Ермак», 2004, 640 стр., 5000 экз.

Впервые на русском языке одна из центральных работ английского философа и социолога, посвященная теории научного знания.

Л. А. Сабанеев. Воспоминания о России. М., «Классика-XXI», 268 стр., 1000 экз.

Статьи и воспоминания музыканта и критика, многолетнего сотрудника русских эмигрантских изданий («Современные записки», «Русская мысль» и др.).

Наталья Старосельская. Товстоногов. М., «Молодая гвардия», 2004, 416 стр., 7000 экз.

Книга известного театрального критика о жизни и творчестве Георгия Александровича Товстоногова (1915 — 1989), вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей».

Валерий Шубинский. Николай Гумилев. Жизнь поэта. М., «Вита Нова», 2004, 736 стр., 2000 экз.

Первое подробное жизнеописание Гумилева с приложением более двухсот архивных фотографий, многие из которых публикуются впервые.

Георгий Эфрон. Дневники. В двух томах. Подготовка текста, предисловие, примечания Е. Б. Коркиной и В. К. Лосской. М., «Вагриус», 2004, 3000 экз. Том 1. 1940 — 1941 годы. — 558 стр.; Том 2. 1941 — 1943 годы — 558 стр.

Дневники сына Марины Цветаевой Георгия Сергеевича Эфрона (1925 — 1944).

Составитель **Сергей КОСТЫРКО.**

ПЕРИОДИКА



«*АртХроника*», «*Время новостей*», «*Газета.Ру*», «*ГражданинЪ*», «*GlobalRus.ru*», «*День и ночь*», «*День литературы*», «*Завтра*», «*Известия*», «*ИноСМИ.Ру*», «*Иностранная литература*», «*Искусство кино*», «*Историк и художник*», «*Книжное обозрение*», «*Космополис*», «*Крещатик*», «*Лебедь*», «*Литература*», «*Литературная газета*», «*Литературная Россия*», «*Литературная учеба*», «*LiveJournal*», «*Москва*», «*Наш современник*», «*НГ-Религии*», «*НГ Ex libris*», «*Нева*», «*Независимая газета*», «*Новая газета*», «*Новая политика*», «*Новое время*», «*Новый Журнал*», «*Новый очевидец*», «*Огонек*», «*Октябрь*», «*Отцы и дети*», «*Подъем*», «*ПОЛИТ.РУ*», «*Политический журнал*», «*Посев*», «*Правая.ру*», «*Российская газета*», «*Русский Журнал*», «*Спецназ России*», «*Топос*», «*Урал*»

Василий Аксенов. Светлый путь. — «Огонек», 2004, № 36, сентябрь <<http://www.ogoniok.com>>.

«Не помню, досмотрел ли я когда-нибудь в молодые годы этот фильм [„Светлый путь“ Григория Александрова] до конца, но сейчас, дожив до преклонных лет, я сразу почувствовал, что он не так-то прост, и отсидел перед ящиком все положенные полтора часа; фильмы тогда были недлинными».

См. также беседу **Василия Аксенова** с Виталием Дымарским о трагедиях в Нью-Йорке и Беслане — «Российская газета», 2004, 13 сентября <<http://www.rg.ru>>.

Лев Аннинский. Против варваров любая культура бессильна. — «Огонек», 2004, № 38, сентябрь.

«Нужно осознать серьезность ситуации и вместо казенного оптимизма и заказной пропаганды предложить четкую концепцию новой всемирной трагедии. Надо осознать свою страну как последнее прибежище. Последнее прибежище негодяев — скажет кто-то. Пусть скажет. Других нас у нас нет. Как нет и другой страны».

Виктор Астафьев. О моем друге. — «Подъем», Воронеж, 2004, № 5 <<http://www.pereplet.ru/podiem>>.

Евгений Носов.

См. также — о Евгении Носове: **Владимир Бондаренко**, «Курский шлемоносец» — «Подъем», Воронеж, 2004, № 6 <<http://www.pereplet.ru/podiem>>.

См. также *подборку песенных текстов*: «Вспоминая песни, которые любил Виктор Петрович Астафьев...» — «День и ночь», Красноярск, 2004, № 5-6, июль — август <<http://www.din.krasline.ru>>.

Дмитрий Барабанов. Героический пилотаж в условиях мерзлоты. — «АртХроника/ArtChronika», 2004, № 3 <<http://www.artchronika.ru>>.

Летчики и другие *герои* в советском искусстве 30-х годов. «К 1930-м годам идеи Фридриха Ницше, заимствованные советскими популяризаторами, уже прочно укоренились в культуре».

Станислав Баранчак. Малый, но максималистский манифест переводчика, или Объяснение того, что стихи переводят еще и для того, чтобы объяснить другим переводчикам: для большинства переводов стихов нет объяснения. Фрагменты эссе. Перевод с польского И. Киселевой. — «Иностранная литература», 2004, № 8 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>.

«*Я могу лучше* (чем другие переводчики) — в этих словах кроется один из вероятных и, скорее всего, самый искренний ответ на вопрос, зачем переводить стихотворение, кем-то уже переведенное. *Я могу не хуже* (чем автор) — еще один, и наверняка самый искренний, ответ на вопрос, зачем вообще переводить».

Павел Басинский. Челкаш № 14 и 15. Горький: версия судьбы. — «Топос», 2004, 9 и 16 сентября <<http://www.topos.ru>>.

«<...> Ницше был своеобразным „русофилом“. Он высоко ценил поэзию Пушкина и даже написал романс на одно из его стихотворений. Он обожал Гоголя и был потрясен открытием Достоевского. Полюбил бы он Горького? В реальности это было невозможно. Когда в России был напечатан первый горьковский рассказ (1892 год), Ницше был уже умалишенным, фактически взрослым младенцем, за которым требовался постоянный уход его сестры Елизаветы Фёрстер. <...> Когда в Берлине в театре Макса Рейнгарта (Рейнхардта. — *А. В.*) была поставлена пьеса „На дне“ с популярным актером Рихардом Валентином в роли Сатина, Ницше уже не было в живых, он умер в 1900 году. Пьеса имела феноменальный, неслыханный успех. Именно эта постановка открыла Горькому двери в мировую литературу. Если пофантазировать и предположить, что Ницше к этому времени был бы жив и в здравом уме, то вопрос о том, как бы принял эту пьесу, все равно останется неясным. У Ницше был слишком аристократический вкус. Пестрота характеров пьесы Горького, похожая на карнавал масок (Актер, Барон, Татарин), на своего рода комедию „дель арте“, где каждый из действующих лиц является резонером и высказывает какую-то свою „мораль“, могла покорибить строгий вкус „базельского мудреца“. В любом случае проблема „Ницше и Горький“, как и проблема „Достоевский и Ницше“, имеет выход только в один конец. Ницше не читал Горького — как и Достоевский не слышал никогда о Ницше».

См. также: **Павел Басинский**, «Горький» (главы из книги) — «Новый мир», 2004, № 11.

Павел Басинский. Каренина не кончала с собой. — «Политический журнал», 2004, № 32, 6 сентября <<http://www.politjournal.ru>>.

«Есть факты очевидные, но совершенно невероятные для неискушенного читателя. Например, когда я говорю знакомым, что Герасим утопил Муму не в мутной, зловонной речушке в Тмутаракани, а в центре нынешней столицы, в Москве-реке, рядом с Крымским мостом, — мне не верят. Удивляются. Хлопают глазами. Там же имение было... барыня... Связать Москву, пусть и XIX в., с барским имением современное сознание не может. Его „глушит“, как сломанный компьютер. Еще сильнее начинает „глушить“ современное сознание, когда говоришь, что Муму была собакой породистой и охотничьей. Как? Дело доходит до смешного. Член высокопоставленной правительственной комиссии по решению вопроса о едином государственном экзамене в интервью возмущается. „Это ж надо! — говорит он. — Какие глупые вопросы школьникам задают! Какой породы была Муму? Три ответа: дворняга, овчарка, спаниель. Дык дураку ж понятно, что дворняга!“ Высокопоставленному члену невдомек, что вопрос этот как раз сложный, „на засыпку“. У Тургенева сказано: собака „испанской породы“. Школьнику еще надо перевести это на испанский язык, вот и получится *spanielle*».

Муму считают дворняжкой, во-первых, по ассоциации с *дворником* (=Герасимом), а во-вторых, путают ее с Каштанкой.

Сэмюэл Беккет. Успокоительное. Из незаконченного. Довольно. Рассказы. Перевод Петра Молчанова. — «Литературная учеба», 2004, № 4, июль — август.

Впервые по-русски. См. также: **Сэмюэл Беккет**, «Первая любовь» (перевод Петра Молчанова) — «Союз Писателей», Харьков, 2002, № 1 (4) <<http://sp-issues.narod.ru>>.

Лев Бердников. Сиятельный казнокрад, или Цена шегольства (культурно-исторический феномен шегольства в Петровскую эпоху). — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 2004, № 236 <<http://magazines.russ.ru/nj>>.

«Речь пойдет здесь о князе Матвее Петровиче Гагарине (1659 — 1721), отличавшемся чрезмерной роскошью быта (впрочем, часто граничившей с безвкусицей), которую он выставлял напоказ. В шегольстве его было что-то — нет, не европейское, а скорее азиатское, гарун-аль-рашидовское, приправленное поистине российским размахом».

Владимир Березин. Территория Куваева. — «Книжное обозрение», 2004, № 33, 16 августа <<http://www.knigoboz.ru>>.

«Для того, чтобы стать забытым, у писателя Олега Куваева было много шансов. Во-первых, он писал давно — в прошлом мире Советской власти, во-вторых, он писал о реликтовом отношении к работе, и, наконец, слишком сильно известно имя его полного тезки — изобретателя жидконогой Масяни. Другое дело, что те, кто ощутил необщую силу его прозы в семидесятые, уже не забудут ее никогда».

Владимир Березин. Русский советский писатель. — «Книжное обозрение», 2004, № 35-36, 30 августа.

«Сейчас читать военные статьи Эренбурга тяжело на трезвую голову — они действуют абсолютной химически, минуя рациональное начало. Когда поросли окопы травой, можно увидеть в них механизм пропаганды, натяжки и стыки, додуманное и придуманное. Но только это и сейчас действует — действует, как та дурная водка, глотнув которой лезет солдат по грязи на врага без особой надежды выжить».

Владимир Березин. Триумф пикейного жилета. — «Книжное обозрение», 2004, № 38, 13 сентября.

«Конспирологические теории Галковского обладают почти фоменковской изящностью». Это — о публицистическом сборнике Дмитрия Галковского «Магнит» (Псков, 2004).

О предыдущем публицистическом сборнике Дмитрия Галковского «Пропаганда» (Псков, 2003) см.: Алла Латынина, «Десять лет спустя» — «Новый мир», 2004, № 4.

Бернардо Бертолуччи, Жильбер Адер. Мечтатели. Литературный сценарий. Предисловие и перевод с итальянского Валерия Босенко. — «Искусство кино», 2004, № 5, 6 <<http://www.kinoart.ru>>.

«<...> основное внимание уделял проблемам пола» (из предисловия).

Здесь же — в № 5: **Дмитрий Ольшанский**, «„О чем мечтаете, уж не о контрреволюции ли?“ („Мечтатели“ Бернардо Бертолуччи и эпоха шестидесятых)».

См. также: **Ян Левченко**, «„Смерть“ „порно“» — «Критическая масса», 2004, № 2 <<http://magazines.russ.ru/km>>.

Бокову — боково! Беседовала Нина Краснова. — «НГ Ex libris», 2004, № 35, 16 сентября <<http://exlibris.ng.ru>>.

«Я давал рекомендацию в Союз писателей дочери [Ивана Семеновича] Козловского. У него была хорошая дочь. Она приезжала к нам сюда, на дачу. Симпатичная такая женщина. Я ее немножко потискал!.. У нее была хорошая фактура, и все было такое хорошее: волосы хорошие, лицо хорошее, грудь хорошая, ноги хорошие и прочее. И ум хороший. Она владела несколькими языками. Делала переводы с иностранных языков на русский. Я дал ей рекомендацию в секцию перевода», — вспоминает поэт **Виктор Боков** накануне своего 90-летия (это многое объясняет).

«**Большие поэты не приходят ниоткуда**». Беседовала Юлия Качалкина. — «Книжное обозрение», 2004, № 38, 13 сентября.

Говорит английский поэт и переводчик русской поэзии, редактор журнала «*Modern Poetry in Translation*» **Дэниэл Уайсбург**: «На своем веку я успел составить несколько антологий русской поэзии. Периода после Второй мировой я имею в виду. И сейчас хочу как бы „навестить“ вашу поэзию снова. Просматривая сборники современных русских поэтов, я вдруг обнаружил, что женщины там как-то бедно представлены. Поэтому сконцентрироваться именно на женской поэзии — идея пришла сама собой. Да и — вне зависимости от пола — к русским поэтам в мире сегодня большой интерес. <...> к Вере Павловой. Она яркая, слово ее четкое и с юмором. Понимаете, я в принципе люблю стих лаконичный, а не растянутый до бесконечности. Светлана Кекова весьма любопытна, хотя она и старше. Интересны Мария Степанова, Мария Кильдебекова, Ксения Маренникова...»

Леонид Бородин. Ушел отряд. Повесть. — «Москва». 2004, № 7 <<http://www.moskvam.ru>>.

«Немецкий обоз еще на ближнем зимнике перегруженными санями шуршал, с крайних домов еще слышалось надрывное мычание уводимых коров, а Кулагин вместе с учительшами и учениками-переростками-двоечниками по новой развешивал портреты и товарища Сталина, и товарища Калинина, и товарища Молотова... Только на месте портрета товарища Ворошилова белая пустота. Этим годом побелку не делали, не до того. Портрет фюрера Кулагин бережно снял и, из рамки не вынимая, в ближний шкаф поставил мордой к стенке». Оккупация, партизаны, деревня. Великая Отечественная, она же — вторая гражданская.

См. также: **Юрий Кублановский**, «„Без выбора“: неволя, нищета, счастье» — «Новый мир», 2004, № 3.

См. также: **Валерий Сендеров**, «Записки прямоходящего, или Утопия Леонида Бородина» — «Новый мир», 2004, № 3.

См. также: **А. Солженицын**, «Леонид Бородин — „Царица Смуты“» — «Новый мир», 2004, № 6.

См. также два коротких рассказа **Леонида Бородина** «Осенние хлопоты» и «Квадратный бред» («День литературы», 2004, № 6 <<http://www.zavtra.ru>>).

Алексей Букалов. Пушкинская Италия. Записки журналиста. — «Крещатик». Журнал современной литературы. № 25 <<http://www.kreschatik.net>>.

«И пусть не был Александр Сергеевич на берегах Гибра, не добрался при жизни, но путешествие по пушкинскому Риму все-таки возможно <...>».

См. также: **Алексей Букалов**, «Итальянский Пушкин. О любви поэта к стране, где он никогда не был» — «Новое время», 2004, № 32, 8 августа <<http://www.newtimes.ru>>.

См. также: **Игорь Григораш**, **Станислав Тарасов**, «Поэт и ложа. Как Александр Пушкин пришел в масонство и отошел от него вместе с официальным Питербургом» — «Политический журнал», 2004, № 33, 14 сентября <<http://www.politicaljournal.ru>>.

Ярослав Бутаков. Реванш этатизма? Кризис правосознания как повод к ревизии государства. — «Русский Журнал», 2004, 23 августа <<http://www.russ.ru/culture>>.

«Мир без государств — это не мир без власти. Это мир, где функцию власти осуществляют псевдогосударственные субъекты, свободные от большинства ограничений и условностей, на которых строится многотысячелетняя традиция государственности. И уже поэтому несущие гораздо больше угроз свободе личности, которую оказывается невозможно обеспечить иначе как в рамках того же самого государства. А потому, скорее всего, альтернативой „глобализму“ станет не „анти“ и не „альтерглобализм“, а некое „новое государственничество“».

«В гибели Российской империи виноваты либералы и олигархи». Беседу вела Ольга Эдельман. — «Время новостей», 2004, № 159, 3 сентября <<http://www.vremya.ru>>.

Говорит доцент исторического факультета МГУ, автор книги «Генералы, либералы и предприниматели» **Олег Айрапетов**: «После Февральской революции была создана чрезвычайная следственная комиссия, которая вынуждена была по всем статьям, которые инкриминировались деятелям двора, их оправдать. Состав преступления не было найдено. Я думаю, следственная комиссия добилась бы больших успехов, если бы рассматривала результаты деятельности общественных организаций, таких, как Земгор или военно-промышленные комитеты. Хищения, срывы военных заказов, которые были настолько масштабны... <...> Самым потрясающим примером служит история на Путиловском заводе. Он, говоря современным языком, в августе 1915 года выиграл тендер на производство тяжелых снарядов. Это было самое трудное время, отступление, и острой проблемой для армии была нехватка тяжелых снарядов. Путиловский завод получил заказ и буквально на следующий день заявил, что не может его выполнить, и потребовал ряда льгот — отказа от прежних, еще довоенных военных заказов (потому что те были сделаны по другим, довоенным еще ценам), разрешения на свободные операции с валютой, займы, продление срока заказа. Во всем пошли навстречу. Путиловский завод получил грандиозные вливания из государственных источников, до 30 млн руб., колоссальная сумма, это же было еще до начала инфляции. И что? Завод не сделал ничего. К концу 1915 года, когда он должен был осуществить поставки, он не дал ни одного снаряда. Тогда возникла идея секвестра и передачи его под военное управление. Началось буквально восстание промышленников, думцы вмешались: мол, бюрократия, которая все провалила, хочет поставить под контроль Путиловский завод... В конце концов секвестр был объявлен в феврале 1916 года. И тут обнаружилось очень интересное положение: оказалось, что на счету завода, кажется, 126 руб., а в кассе — еще

меньше. Государственные займы давались по беспроцентному кредиту, но у завода был еще один кредитор — Русско-Азиатский банк, который давал меньшие суммы, но под большие проценты. Возглавлял банк тот же самый Путилов. То есть государственные деньги вливались в завод с одной стороны и выливались в другую. А поскольку завод добился права оперировать с валютой, я предполагаю, что они далее выводились из страны. Та же ситуация была и с другими заводами. Русская буржуазия частью преследовала политические цели, а частью просто наживалась. Прибыль достигала 300%. А как только государство требовало выполнения военных заказов, начинался вой о том, как плоха бюрократия и как она мешает просвещенной либеральной общественности идти навстречу нуждам фронта.

См. также: **Ю. Цурганов**, «Власть и общество в России в августе 1914-го» — «Посев», 2004, № 8.

См. также: **К. Александров**, «Русский фронт: август 1914» — «Посев», 2004, № 8 <<http://posev.ru>>.

«В тебе полагала я всю мою славу...» Письма В. П. Тургеневой к сыну Ивану. Публикация, вступление и комментарий Л. И. Скоковой. — «Октябрь», 2004, № 8 <<http://magazines.russ.ru/October>>.

«1843-го Года 25-го Июня. С. Спасское. Милый друг Ванюшка! <...> В первую минуту я прочла „Парашу“ без вниманья. В моем же доме, как в порядочном водится, стихов русских не читают, потому и понять не могут. <...> Мне „Параша“ казалась одною из тех писуллек, которые невидимо проходят, как атомы или мириады, не обращая на себя никакого внимания, ни похвалы, ни критики. Не потому, чтобы она была недостойна оных, но! потому, что я в своем глазу всегда вижу бревно, на изворот писанию... Все у меня хуже, чем у всех, и все лучше моих. <...> Смертный грех мой — тщеславие. Оно меня и убивает; хочется все лучше и всех лучше. Теперь же я опять грешу... „Параша“ мне прежде еще читаемой похвалы понравилась, и я точно вижу в тебе талант. А есть и пятна, как на солнце, а ты мое солнце.»

Подлинники писем хранятся в Отделе рукописей (фонд 745, И. С. Тургенев) РНБ в Санкт-Петербурге. Настоящая публикация нескольких писем осуществляется с ксерокопии, принадлежащей библиотеке музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».

Николай Валенбахов. Записки военнопленного. Документальное повествование. Предисловие Ивана Евсеенко. — «Подъем», Воронеж, 2004, № 6, 7.

Воспоминания, написанные в 1946 — 1964 годах (первоначальное название — «Пропащие без вести»). В начале 1945 года автор был активным участником восстания обреченных гитлеровцами на смерть военнопленных на норвежском судне «Норд».

См. также: **Евгений Пензин**, «Выжившие в аду. Глазами очевидца» — «Луч», Ижевск, 2004, № 3-4.

Анатолий Васильев. «Я — фотолобитель». Беседу ведет Зара Абдуллаева. — «Искусство кино», 2004, № 7.

«А любителю знаешь что важно? Чтобы то, что он делает, кто-то любил».

«А цветное [изображение] нехорошо тем, что цветное воображение аннулируется».

«Я люблю объекты безлюдные. Они наполнены божественной экзистенцией».

См. также: **Анатолий Васильев**, «Феллини, сочинитель реальности» — «Искусство кино», 2004, № 5 <<http://www.kinoart.ru>>.

Лев Вишня. Страшный сон философа. Рассказ. — «Урал», Екатеринбург, 2004, № 9 <<http://magazines.russ.ru/ural>>.

«Нобелевскому лауреату по литературе, философу Бертрану Расселу приснилось, что он умер...»

Андрей Вознесенский. Россия как черный квадрат. — «Новая газета», 2004, № 62, 26 августа <<http://www.novayagazeta.ru>>.

«Сейчас события в поэзии происходят в бывших русскоязычных республиках, где русский язык — в эмиграции. И на периферии, где поэзия еще не стала жестом. Париж стал досягаем, как Воронеж, и Воронеж подчас интереснее. Вот в Харькове я нашел двух замечательных поэтов — Александра Кривенко и Дениса Ворошилова».

Андрей Волос. Салах. Рассказ. — «Новый очевидец», 2004, № 2, 23 августа <<http://no.lhouse.ru>>.

Шахиды.

Встречают по обложке! Беседу вела Евгения Макарова. — «Огонек», 2004, № 36, 6 — 12 сентября.

Говорит социолог **Борис Дубин**: «Если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с 70-ми годами, можно сказать, что тогда публика была устроена пирамидальным образом: су-

шествовало небольшое количество людей, которые знали, что читать. Дальше через механизмы личного влияния и литкритики интересные для них книги и тексты постепенно распространялись в широких кругах. Теперь же литература — это острова. Есть среди прочих и остров модной литературы, и у него есть столица, где читают не просто модную, а молодежную модную литературу — самую крутую».

Елена Вяхяюпус. Любовь по правилам. [Очерк]. — «Нева», Санкт-Петербург, 2004, № 7 <<http://magazines.russ.ru/neva>>.

Умственно отсталые тоже любят. Читать обязательно.

Мел Гибсон. «Это мой фильм». Беседу ведет Жюльетт Мишо. — «Искусство кино», 2004, № 6.

«Разумеется, я ждал, что „Страсти” вызовут полемику <...>, но я не ожидал подобного размаха гонений. Некоторые близкие мне люди отвернулись от меня. К счастью, не все».

Здесь же: **Татьяна Иенсен**, «Ранами Его мы исцелились».

См. также: **Капитолина Кокшенёва**, «Страсти Христовы» — «Москва», 2004, № 6 <<http://www.moskvam.ru>>.

См. также: **Марк Любомудров**, «Цена искупления» — «День литературы», 2004, № 5 <<http://www.zavtra.ru>>.

См. также «Кинообозрение Натальи Сиривли» («Новый мир», 2004, № 7).

Нина Горланова. Есть чем заняться. — «День и ночь», Красноярск, 2004, № 5-6, июль — август <<http://www.din.krasline.ru>>.

Ангел несет самолет,
Люди считают — мотор.
Ангел машину ведет,
Кажется только — шофер.
Ангельский абрис крыла
Я ощущаю повсюду.
Мама меня родила —
Ангелы мыли посуду...

Юрий Давыдов. Сюжеты и силуэты. Из архива писателя. — «Историк и художник». Ежеквартальный журнал. Главный редактор С. С. Секиринский. 2004, № 1, 2.

Короткие художественно-биографические этюды: Яков Брюс, Михаил Сперанский и другие.

Даниил Дондурей. Цензура реальности. — «Искусство кино», 2004, № 4.

«<...> телевидение стало сферой, сопоставимой по своей силе и влиянию с национальной экономикой, национальным правопорядком, национальной безопасностью. <...> Наши телевизионщики всегда с пафосом говорят: „Если вам не нравится передача, а высокий рейтинг кажется стимулом умножения пошлости, выключите телевизор”. Это, конечно же, лукавство. Есть масса исследований, подтверждающих, что миллионы „человекозрителей” не в состоянии это сделать — это все равно что выключить свет, тепло, воду, перестать дышать».

Денис Драгунский. Фобос и Деймос. Терроризм как инструмент политической консолидации. — «Космополис». Журнал мировой политики. Выходит четыре раза в год. 2004, № 1 <<http://www.risa.ru/cosmopolis>>.

«В настоящее время Европе и Америке совершенно неясно, что собой представляет „другой” проект, неммым глашатаем которого выступает международный терроризм. Впрочем, об универсальном демократическом проекте тоже сказать пока нечего, если только не сводить его к борьбе с международным терроризмом».

Денис Драгунский. Горизонт вертикали. — «Искусство кино», 2004, № 4.

«<...> еще десять — пятнадцать миллионов иммигрантов — и Россия станет в принципе другой страной. Можно предоставить иммигрантам гражданские права, защищать их от произвола работодателей и от недовольных „коренных жителей” (какие трогательные кавычки. — А. В.). Но это стимулирует новые и новые волны иммиграции. Можно, напротив, ужесточить и без того жесткое иммиграционное законодательство — тогда они будут въезжать (или входить пешком) в Россию нелегально. В обоих случаях обеспечен взрывной рост ксенофобии и сопутствующего ей насилия. При этом если государство не сможет (или не захочет) подавить погромы, оно потеряет свою главную монополию, свое исключительное право на насильственное принуждение. Если же государство будет с примерной жесткостью наказывать погромщиков, оно рано или поздно будет воспринято как враждебная сила, „ведущая войну с собственным народом”».

См. также: **Владимир Малахов**, «Этнизация феномена миграции в публичном дискурсе и институтах» — «Космополис», 2004, № 1 <<http://www.risa.ru/cosmopolis>>.

Алексей Завельский, Дарья Завельская. Миф о враче-убийце. Народные представления и литературная традиция. — «Историк и художник», 2004, № 1.

Мольер. Лермонтов. Лажечников. Булгаков. Вересаев.

Николай Задонский. Встреча с Есениным. Предисловие Вячеслава Лютото. — «Подъем», Воронеж, 2004, № 6.

Август или начало сентября 1923 года: «А чуть поодаль в старинном кресле, откинув голову на высокую спинку, полулежал Сергей Есенин. Я никогда не видел его, но сразу узнал по пышным, волнистым, с золотистым оттенком волосам, которые беспорядочно спадали на усталое, мертвенно-бледное лицо с полузакрытыми глазами. Вокруг него хлопотали, кто-то пробовал пульс, кто-то давал нюхать какой-то порошок...»

Елена Захарченко. Стеклышко Левенгука. — «ПОЛИТ.РУ», 2004, 26 августа <<http://www.polit.ru>>.

«Своеобразие хайку в российской поэзии можно определить, в отличие от афоризма — законченного высказывания, как краткую поэтическую форму принципиально открытого характера. Хайку — постмодернистский жанр, и потому в нем в реальной художественной практике отменяется иерархия и, как следствие, презумпция приоритетов: несущественны ни ритмическая размерность, ни специальные слова, ни количество строк; нет ни одного канона, которым нельзя было бы пренебречь, и при этом в целом своеобразие жанра непостижимым образом не разрушается — возможно, за счет воспроизведения вневербальных структур сознания».

Вера Зверева. Телереклама: пространство виртуального шоппинга. — «Искусство кино», 2004, № 7.

«Особенность рекламы состоит в том, что она не „убивается“ критикой, не исчезает при разоблачении всех используемых манипулятивных приемов. <...> Они спародированы в разнообразных текстах массовой культуры, и реклама сама себя открыто осмеивает. Сегодня человек, к которому обращается такое послание, — это „умный потребитель“, знающий, как строится текст, как именно происходит искажение значений, способный сам использовать эти же приемы. Количество рекламы не уменьшается, и она продолжает воздействовать на аудиторию, хотя сложно сказать, как именно это происходит».

Петр Зеленка. «Догма» — это большое мошенничество. Интервью ведет Игорь Потапов. — «Искусство кино», 2004, № 6.

«Если в чешском кино вы увидите сцены насилия, оно сразу покажется фальшивым и даже забавным. <...> Сделай кто-нибудь в Чехии фильм с сюжетом, как в „Бумере“, все решили бы, что это комедия. Просто потому, что в Чехии нет таких бандитов», — говорит чешский кинорежиссер.

Сергей Земляной. Обуздание муз. — «Политический журнал», 2004, № 31, 30 августа.

«Здесь речь пойдет не о литературно-культурном фоне I съезда СП и даже не о его значении для формирования Большого Стиля советской изящной словесности на основе канона соцреализма, а о переплетении и столкновении двух грандиозных интриг — интриги Иосифа Сталина и интриги Максима Горького, из коих последняя закончилась сокрушительным крахом».

См. также: **Сергей Земляной,** «Провокатор как художник жизни. К 130-летию со дня рождения Сиднея Г. Рейли, прототипа Овода» — «НГ Ex libris», 2004, № 35, 16 сентября <<http://exlibris.ng.ru>>.

Геннадий Зюганов. Еще раз о партийной литературе. — «Завтра», 2004, № 37 <<http://www.zavtra.ru>>.

«Не секрет, что в среде сегодняшней российской интеллигенции происходит острая идеологическая борьба. Еще недавно в литературе внешне господствовал так называемый постмодернизм, который был глух к политике, все превращал в игру и в фарс. <...> Но сегодня постмодернизм как производная всего буржуазного уклада, ориентированного на развлечения и удовольствия, на утоление низменных потребностей человека, выдыхается и хиреет. На его место снова пришла борьба идеологий. И эта борьба обостряется. *В литературе возрастают антибуржуазные тенденции. Самые лучшие, самые чуткие, талантливые и совестливые представители российской интеллигенции все более и более становятся на антибуржуазные позиции.* Они видят зловещий оскал свирепого, антигуманного строя, который уничтожает, испепеляет не только промышленность, науку и государственные институты, но и культуру нашей страны. *Сегодняшняя российская интеллигенция на глазах дрейфует влево.* И это не случайно. Интерес к „левому“, красному, советскому наблюдается и в изобразительном искусстве, и в поэзии,

и даже в массовой культуре. Почему это происходит? Потому ли, что наши писатели и художники вдоволь „наелись” рыночной экономикой и поняли катастрофичность для Родины капиталистического уклада? Да, но не только... *Интерес к „левому” в среде российской интеллигенции — это часть общемировой тенденции.* Популярный режиссер, человек с мировым именем Квентин Тарантино недавно приезжал в Москву. Я встречался с Квентином и понял, что он является откровенно „левым” по убеждениям человеком и художником. Или знаменитый Гройс, кумир европейских интеллектуалов, он называет себя „левым” философом, „левым” культурологом. Одно из самых модных у молодежи российских издательств, издательство „Ад Маргинем”, не скрывая демонстрирует свою „левизну”, интерес к „красному” и советскому. Несколько книг этого современного издательства посвящены Ленину, мировой революционной борьбе. И они, эти книги, вышли с грифом „КПРФ” на обложке. То, что таким образом произошла смычка между молодыми философами левого толка и нашей партией, — это замечательно! Но этого отнюдь недостаточно. Мы, коммунисты, слабо изучаем идущие в умах сдвиги. Не вмешиваемся в этот важный культурный процесс. Полагаем, что он является „бесплатным приложением” к нашей политической борьбе, чем-то побочным и далеко не главным. Однако думать так — значит совершать грубейшую ошибку. *Коммунистическая партия всегда была очень внимательна к культуре. Использовала методы искусства в деле влияния на общественно-политические процессы в стране.* Яркий пример: ленинская работа «Лев Толстой как зеркало русской революции». <...> До сих пор у многих вызывает изумление, а то и недоумение работа Сталина, связанная с вопросами языкознания. Казалось бы, зачем государственный лидер, под чьим руководством только что СССР выиграл самую страшную в истории Земли войну, зачем вождь, занятый восстановлением страны, озбоченный проблемами мирового коммунистического движения, уделил столько внимания такой, на первый взгляд, специфической проблеме, как проблема языкознания. *Но провидческий гений Сталина подсказывал: язык является главным инструментом политики и социального строительства.* <...> Книгу Проханова [«Крейсерова соната»] враги, выражаясь словами Маяковского, берут, как бомбу, берут, как ежа, берут, как змею трехметроворостую... „Крейсерову сонату” патриоты России читают взахлеб, раскрывают как учебник борьбы, как кладезь протестной веры. На мой взгляд, это произведение — беспощадное исследование страшного строя, который утвердился в России. В этой книге высокохудожественным языком представлены процессы, происходящие в политике и культуре, в общественной психологии и церкви. В ней выведены современные типы, начиная от президента и мэра, кончая приходским священником и уличным бродягой. В „Крейсеровой сонате” показано, как одинокий, отдельно взятый человек действует в истории. О том, как соотносится индивидуальное и общественное, личное и государственное. *Эта книга — и политический манифест, и моральная проповедь, и крик отчаяния, и призыв к беспощадному и бескомпромиссному сопротивлению.* Книга написана художником, находящимся постоянно в левом спектре, в патриотическом движении. Она является важнейшей частью „левого марша” нашей политической философии. И было бы совершенно логично выделить эту книгу особо в текущий момент. Превратить ее в мощное идеологическое оружие, которым оснастить наших соратников и союзников... <...> *Сегодня культура либо буржуазна, связана с упрощением этого уродливого человеконенавистнического строя олигархов-миллиардеров и вороватого чиновничества, либо она антибуржуазна.* Именно ее антибуржуазность соединяет в себе левых и правых, коммунистов и православных, модернистов и традиционалистов. Ибо сегодня граница между добром и злом совпадает с границей между буржуазным и контрбуржуазным искусством. Революция партии в литературу и искусство может вновь оживить пресловутый вопрос о свободе творчества. Хочу сразу подчеркнуть: речь не идет о партийной цензуре или о контроле, которому в прежние времена подвергались те или иные художники. *Свобода творчества является свободой человеческого выбора. Художник, оставаясь творящим, мыслящим и действующим сознательно человеком, останавливает свой выбор на добре или зле.* И совершенно не риторически звучит сегодня знакомый вопрос: с кем вы, мастера культуры?»

Евгений Из. Толстяки на расстоянии: «Октябрь» № 7, 2004. — «Топос», 2004, 27 августа <<http://www.topos.ru>>.

«Повесть Антона Савина „Радуга прощения” — подчеркнуто интеллигентское произведение. С первых строк воскресают в памяти былые ощущения от чтения пелевинского „Чапаева и Пустоты”: такой же петербургский декадент из обнищавшего дворянства, такая же ситуация в революционной Москве, такая же рефлексия о „России, которую мы потеряли”, такое же неожиданное вписывание в Министерство культуры под управлением Луначарского, как у Пелевина — в Красную Армию. В конце концов, такой же пистолет в кармане и постоянное ожидание разоблачения. В общем, бледнолицый благородный интеллигент с врожденным стремлением к метафизике и духовно-

му преобразованию жизни на Земле. Работает в провинции, уже помощником прокурора. Умело втирается в доверие к местному председателю ЧК. Втайне ищет способ поставить свои эксперименты по улучшению человеческой природы. Возможность поэкспериментировать появляется. В виде, разумеется, белого порошка, название которого опускается. Один из провинциальных докторов открыл психотропное соединение, искусственно вызывающее у человека шизофрению. А главный герой проникся исследованием Чезаре Ломброзо (очевидно, „Гениальность и помешательство”) и желал бы по своему разумению реализовать подлинный коммунизм — при шизофрении якобы поддается тяга к собственничеству и воплощается христианская установка „нестяжательства”. Любопытно, что в повести никак не упоминается бурно развивавший свою науку эвропатологию в середине 20-х годов Г. Сегалин, предлагавший гениальную часть населения загнать в психушки, чтобы эти индивиды там изобретали всяческие полезности для советского строя. И характерно, что метафизическая мечта у А. Савина обретает какую-никакую реальность именно при помощи пилуль, порошка, инъекций — автор осознанно избегает всякого мистицизма. Сюжет интригуяущ, слог неплох, композиция выверенна. Добротная повесть, претендующая на реалистичность картинки, однако выстроенная как чистый ажурный фикшн. Стремление героя „быть не от мира сего” сильно контрастирует с его культурным багажом и психической вмняемостью. Много любопытных персонажей и хороших диалогов. Редкое для русской литературы (особенно в ее псевдодворянском изводе) решение — панацея в виде мощного психотропного вещества. Но главное — некоторые характеристики поведения героя. Например, желая втайне поиздеваться над опасной, но молодой и косолапой властью, герой-интеллигент, романтик-идеалист делает вещи достаточно рискованные, хотя бы в знакомом отношении: он устраивает для местечковых членов ЧК келейные черные мессы с поливанием вином обнаженного тела девственницы, затем он инициирует установку в маленьком городке памятника Иуде. Помимо этого он убивает (пусть и обороняясь) человека (пусть и преступника, но в понимании героя — подопытную крысу). Есть во всем этом лукавство. Лукавый сатанизм серебряного века, я бы так сказал. Серебряно-го процентов на 15».

Евгений Из. Бумеранг не вернется № 11: Нодельма. — «Топос», 2004, 20 августа <<http://www.topos.ru>>.

<«...» в функционально-позиционном отношении Дм. Бавильский по-прежнему остается автором, по большей части находящимся по читательскую сторону „баррикад”, и особенно — по женскую сторону читательской стороны баррикад. То есть интересы читателей — важная и трепетная для Дмитрия тема, а написан роман [„Нодельма”] прежде всего для девушек и женщин. Такому аудиторией писатель лучше всего себе представляет, как в ее негативных восприятиях, так и в позитивных».

См.: **Дмитрий Бавильский**, «Нодельма» — «Новый мир», 2004, № 5.

Константинос Кавафис. В ожидании варваров. Вступительная статья Ирины Ковалевой. — «Иностранная литература», 2004, № 8.

Много разных русских переводов одного известного греческого стихотворения.

О сборнике прозы Константиноса Кавафиса (М., «Итака», 2003) см. в «Книжной полке Виктора Куллэ» («Новый мир», 2004, № 9).

Руслан Киреев. Чехов. Посещение Бога. — «Нева», Санкт-Петербург, 2004, № 7.

<«...» Россия ждала смерти Чехова».

См. также: **Руслан Киреев**, «Булгаков. Последний полет» — «Литература», 2004, № 32, 23 — 31 августа <<http://www.1september.ru>>.

Дмитрий Комм — Михаил Золотонос. О массовой культуре и мировом заговоре. — «Искусство кино», 2004, № 4.

«*Дмитрий Комм.* <...> Вы — один из немногих критиков, кто хорошо знаком с русским дореволюционным масскультом. Существует ли на самом деле некая преемственность между масскультом нынешним и прежним или же это чистой воды фикция?»

Михаил Золотонос. Между двумя масскультами преемственность определенно есть. Скажем, ее нетрудно увидеть, если сравнить мистические романы Веры Крыжановской, написанные в 1900 — 1910-е годы, с трилогией „Дневной дозор” — „Ночной дозор” — „Сумеречный дозор” Сергея Лукьяненко. Или тогдашний и нынешний неизменный интерес к теме педофилии. А также к таким передавшимся по наследству темам, как топос проституции и всякие криминальные истории. Роман Лукич Антропов, писавший под псевдонимом Роман Добрый, написал сорок восемь брошюрок про сыщика Ивана Путилина: „Квазимодо церкви Спаса на Сенной”, „Гроб с двойным дном”, „Ритуальное убийство девочки”, „Отравление миллионерши-наследницы”, „Петербургские вампиры-кровопийцы”... Все это воспроизводится в современной массовой культуре — как в детективных романах, например у Дарьи Донцовой, так и в журналь-

чиках типа „Криминальный вестник”. Это один аспект поддержания традиции, который я назвал бы естественным. Вся эта лабуда естественно самовоспроизводится. <...> Но я с вами согласен в том, что наш современный масскульт — это испорченный вариант дореволюционного, который был смелее и последовательнее. Вот, скажем, Лукьяненко. Его трилогия относится к тому разряду литературы, которая возникла в России в начале XX века и именовалась оккультной. Ее самым характерным представителем была Вера Крыжановская, а самым породистым образцом — ее роман „В царстве тьмы” (1914). Но если у Крыжановской шла борьба добра со злом и светлых магов с демонами или самим сатаной (или, на худой конец, с евреями-сатанистами, как в романе „Смерть планеты”), причем добрые силы, сражавшиеся со злыми за каждую христианскую душу, к финалу обязательно побеждали, то у Лукьяненко начиная с первого романа возникла стабильная структура: на Земле живут простые люди и Иные, к которым относятся маги, ранжированные по уровню силы, волшебники, оборотни, вампиры, ведьмы, ведьмаки и прочие. Иные делятся на Светлых (объединенных в Ночной дозор) и Темных (Дневной дозор) — две армии, предводительствуемые соответственно Гесером (он же Борис Игнатьевич) и Завулоном. А поскольку простодушия начала XX века к концу столетия уже не осталось (а заодно и идеи Бога), добро со злом не борется, а находится с ним в динамическом равновесии. То есть соблюдается баланс Света и Тьмы, и любое доброе магическое воздействие — в соответствии с Договором — должно уравниваться злым. Даже вампиры законным порядком получают лицензии на высасывание крови из людей, ибо и вампиры тоже часть общего порядка. Получилось как-то сложно и лукаво, какой-то общественный договор добра и зла в духе Руссо. У Крыжановской все одухотворялось ее простодушным внутренним антисемитизмом, о котором у Лукьяненко я подробно писал в книжке „Мастер и Маргарита” как путешественник по субкультуре русского антисемитизма (СРА)”. Все злодеи или были евреями-сатанистами, или служили им, за всем стоял мировой еврейский заговор против христианского мира. У Лукьяненко за его Иными тоже нельзя не увидеть „народ Израильский, избранный Богом”, который, согласно многим знаменитым антисемитским романам, имел „священное право властвовать над всеми народами” и организовал „всемирный заговор”, теория которого была в итоге увенчана знаменитыми „Протоколами сионских мудрецов”. Но шовинизма у Лукьяненко не осталось, на это у него просто не хватило бы духу, хотя сюжетная схема, выработанная на том материале, в наследство перешла. Правда, при этом она обесмыслилась политкорректностью, лишившись первоуродного антисемитизма, который ее оправдывал и в свое время породил. Остались лишь некоторые следы. Главы Дозоров, Гесер и Завулон, перекочевали из первого тома энциклопедии „Мифы народов мира”, причем не случайно глава Темных, Завулон, имеет иудейское происхождение (родоначальник-эпоним одного из „колен Израилевых”), а глава Светлых — тибето-монгольское (так было еще у Крыжановской), он был уничтожителем демонов и искоренителем десяти зол. Аналогичная „порча” касается, кстати, и любимой мною педофилической темы».

См. также: **Александр Елисеев**, «„Ночной дозор”: сказка или бль?» — «Правая.ru», 2004, 18 августа <<http://pravaya.ru>>: «сознательно или интуитивно, но автор [Лукьяненко] показал некоторые реальные моменты вполне реальной оккультной войны».

См. также: **Виктор Топоров**, «Важнейшее из искусств...» — «Политический журнал», 2004, № 31, 30 августа <<http://www.politjournal.ru>>; <«...» режиссер Бекмамбетов снял фильм зороастрийский!».

См. также: **Константин Крылов**, «Выйти из Сумрака» — «Спецназ России», 2004, № 8, август <<http://www.specnaz.ru>>; «По сути дела, в виде Ночного дозора показан российский спецназ. Который вынужден, стиснув зубы, воевать — в крайне неблагоприятных для себя условиях — с дозволенным злом, которое нельзя прикончить на корню именно потому, что оно дозволено, разрешено, даже поощрено свыше. Которое можно давить только в определенных рамках, на определенных условиях, отчаянно боясь нарушить написанные начальством инструкции... И все-таки — верить в то, что когда-нибудь наши руки будут развязаны. Когда-нибудь разрешат драться всерьез».

Наум Коржавин. Адвокатура дьявола. — «Нева», Санкт-Петербург, 2004, № 8.

«Вопреки заголовку я отнюдь не собираюсь сейчас приступить к защите дьявола — то есть идеологии и практики „настоящего” коммунизма и романтики мировой революции — всего того, от чего я отказался и чего устыдился еще в 1957 году, почти полвека назад...»

См. также: **Григорий Померанц**, «Через подмены и подлоги» — «ГражданинЪ», 2004, № 3, май — июнь <<http://www.grazhdanin.com>>.

Мирослав Крлежа. Поездка в Россию. Главы из книги. Перевод с хорватского и вступление Натали Вагаповой. — «Иностранная литература», 2004, № 8.

Путевые заметки, опубликованные в Загребе в 1926 году: «В Вологде (расположенной по северной железной дороге), между Москвой и Архангельском, я насчитал в од-

ном меню шестнадцать наименований супов. В далеком краю, к востоку от Вятки, где отбывали ссылку Герцен и Салтыков, в доме одного ярого противника большевизма, который не переставая поносил существующий режим, нам было подано следующее: приперченная вяленая рыба, рыба отварная, рыба соленая, рыба в маринаде, винегрет, моченые яблоки, икра и масло, три сорта вина и хрен со сметаной. Эти тринадцать закусок были сервированы под сорокаградусную водку, именуемую рыковкой (потому что ее якобы пьет сам Рыков), а также плюс портвейн, малага, вишневая настойка и зубровка — это превосходный самогон с запахом травы, которую едят дикие сибирские буйволы. Это для начала. После чего внесли самовар и подали свинину, индюшку, салаты и соусы, пироги, варенье, фрукты, торты, кофе и какое-то горькое водянистое пиво. При этом хозяева ругательски ругали революцию, которая разрушила их блестящую довоенную жизнь. В Москве мне случалось видеть нищих, которые держат в руке бутерброд, намазанный слоем икры толщиной в палец. Не выпуская изо рта папиросы и не переставая жевать, они тянут извечный православный, русский, он же цыганский припев: „Подайте, люди добрые!” Я всегда был противником фейерверков и бенгальских огней, но если вы сегодня путешествуете по России и если у вас, как у гоголевских героев, мясной фарш стоит в горле, то вы не сможете согласиться с утверждениями европейской печати о том, что Россия умирает от голода. На станциях между Ярославлем и Якшангой я видел в огромных серебряных подносах такую массу жареных рябчиков, что казалось, будто их кто-то буквально загребал лопатой. Вагоны и улицы заплываны тыквенными семечками, а большинство людей, с которыми вам приходится общаться, что-то жуют, пытаются разговаривать с набитым ртом. В учреждениях заваривают чай, едят горячие пирожки с мясом; чиновники, разговаривая с клиентом и оформляя документы, вечно чем-то шуршат в своих ящиках поверх бумаг или грызут яблоки. Центр Москвы представляет собой скопище хлеба, крымских фруктов, студня, икры, сыра, халвы, апельсинов, шоколада и рыбы. Бочонки сала, масла, икры, упитанные осетры в метр длиной, ободранная красная рыба, соленая рыба, запах юфти, масла, солонины, кож, специй, бисквитов, водки — вот центр Москвы. Итак: дымятся самовары, благоухают горячие, жирные гоголевские пироги; мешки с мукой и бочки с маслом, здоровенные рыбины и мясной фарш, супы овощные, щи с капустой, с луком, с говядиной, с яйцом — и нищие, которые кланчат Бога ради. Слепые, хромые, в меховых тулупах или красных шерстяных кофтах — днем и ночью натыкаешься на них на мостовых и тротуарах».

Константин Крылов. Мир как оружие Творца. — «Правая.ру», 2004, 27 августа <<http://pravaya.ru>>.

«Согласно наиболее древней из существующих традиций, авестийской, МИР ЯВЛЯЕТСЯ ОРУЖИЕМ. <...> В таком случае ясно, что такое „красота мира”. Это красота оружия, красота стартовавшей ракеты — которая прекрасна именно потому, что несет боеголовку. И по той же причине нельзя считать „мир сей” своим домом — поскольку нельзя считать своим домом то, что обречено взорваться. Но куда летит мир? Как учит Авеста — и как повторяют за ней все религии, кто глухо, кто ясно, — есть Тот, кто противостоит Творцу. Он же является врагом людей и человечества в целом. <...> Таким образом, *творение мира было актом войны*. Вселенная — ракета, запущенная прямо в глотку Врага. Ее цель — долететь и взорваться. Отсюда вытекает смысл и неизбежность Конца Мира: мир уничтожится, но при его уничтожении будет уничтожен и Враг с его мощью. <...> И уж понятно, кто именно в нашем мире является *боеголовкой*: мы, русские. Именно поэтому русские всегда будут „нести в себе что-то тяжелое и непрозрачное”. Это „что-то” понадобится очень и очень поздно — когда ракета долетит и нужно будет взорваться. Отсюда же и наша пресловутая жертвенность. На самом-то деле „жертвой” являются абсолютно все, так как все остальные народы суть либо горячее, либо детали корпуса. И, кстати, очень „по-человечески” понятно, что „детали корпуса” недолюбливают тот тяжелый груз, который они несут в будущее, — потому что в нем скрыта и их собственная смерть. Но если они от него избавятся, ракета лишится цели и смысла. Хотя, возможно, пролетит немного дальше — но зачем? <...> То есть в конечном итоге русские — это народ, нужный (и сберегаемый) для Последнего Дня. Поэтому в нас есть много такого, что не пригодится нам *никогда*. В смысле — никогда в истории (ибо Последний День находится по ту сторону истории). Русские чувствуют этот тяжелый груз на своей шее — и никогда не осмелятся его скинуть. Что, разумеется, не отменяет необходимости *выжить сейчас* — в том числе *ценной жизни всех остальных*. В конечном итоге значение имеет только боеголовка, остальное может (и должно) отвалиться, отработав свое. Поэтому мы не должны — и даже не имеем права — „жалеть других”, когда речь идет о нашем существовании. Или хотя бы о нашем благополучии. Потому что наше благополучие бесконечно важнее благополучия „всех остальных”. Мы должны быть В ФОРМЕ».

См. также: «Я всегда воспринимал топор как „универсально удобную и естественную вещь”, которую и в самом деле имело бы смысл всегда носить с собой. „Острое и тяжелое”. Тут важно это „тяжелое”: нож в кармане (который я, естественно, ношу) не дает этого ощущения уютной тяжести. Помнится, проходил какой-то тест „на подходящее вам оружие”. Получился топор. Вывод: топор, конечно, надо и в самом деле „всегда иметь при себе”. Не уверен, что Достоевская „петелька” здесь подходит (хотя топор и в самом деле хорошо сочетается с пальто) — тут нужно „дизайн продумать”», — читаем в сетевом дневнике **Константина Крылова** от 2 сентября 2004 года <<http://www.livejournal.com/users/krylov>>.

Юлия Крылова. Зримое и воображаемое прошлое. «Девушка с жемчужиной» Яна Вермеера в литературе и на киноэкране. — «Историк и художник», 2004, № 1. Фильм Питера Веббера «Девушка с жемчужиной» (2004) — экранизация одноименного романа Трейси Шевалье (1999).

Диакон Андрей Кураев. Как относиться к исламу после Беслана? — «Известия», 2004, № 170, 15 сентября <<http://www.izvestia.ru>>.

«Может быть, от имени церкви пора провозгласить антишахидскую „догму”: не шахид-террорист попадает в рай, но, напротив, люди, убиваемые фанатиком сатанинской секты, приемлются Господом независимо от того, как эти люди ранее жили на земле. Если Господь промыслом своим свел пути сатаниста, который свое ритуальное убийство совершает над человеком, с самим этим человеком, значит, Господь решил, что для этого человека именно такой исход из земной жизни будет самым коротким путем в благу вечности. Такого рода уверенности нужна нам сегодня, чтобы нейтрализовать главную бомбу, которую пробуют взорвать террористы в наших умах. Они хотят взорвать наши умы страхом, парализовать нашу волю. Как же избавить нас от комплекса затравленной жертвы, если смерть и в самом деле может быть везде? Мужество может вернуть только религиозное мировоззрение. Потому что только оно вообще способно избавлять от страха смерти. Только религия позволяет смотреть через смерть — дальше. Без веры в Божий промысел и в даруемую Им вечность сегодня уже затруднительно пересекать границы метро и аэропортов».

«<...> телеинъекции на тему „У терроризма нет национальности и религии”, каждый раз с предсказуемой очевидностью вспыхивающие после очередного теракта, просто глупы. Не инопланетяне же, в конце концов, взрывают наши самолеты и школы! С этим „политкорректным” тезисом можно было бы согласиться, если бы верующие мировых религий по очереди устраивали теракты. То буддисты захватят школу и расстреляют в ней детей... То даосы взорвут самолет... То христиане подорвут кинотеатр... Вот в этом случае можно было бы ограничиться повторением банальности о том, что у каждого народа есть право иметь своих подданных... Но ведь все очевидно не так. Может быть, терроризм — это следствие искаженного понимания Корана. Но ведь именно Корана, а не книги о Винни-Пухе».

См. также: **Диакон Андрей Кураев**, «Как относиться к исламу после Беслана?» — «АПН (Агентство политических новостей)», 2004, 15 сентября <<http://www.apn.ru>>.

См. также тематическую полемику с известинской статьей Кураева: **Юрий Соломонов**, «Империю идет ко злу» — «Новая газета», 2004, № 70, 23 сентября <<http://www.novayagazeta.ru>>.

Валентин Курбатов. Превращение. — «Литературная Россия», 2004, № 37, 10 сентября <<http://www.litrossia.ru>>.

«Мне выпала возможность поработать немного в жюри премий „Национальный бестселлер” и имени Аполлона Григорьева. И по прямой обязанности члена жюри прочитать разные разности, которые в другой раз, может быть, и раскрывать бы не стал». Далее — разные впечатления.

См. также: **Валентин Курбатов**, «И всё это — мы» — «Подъем», Воронеж, 2004, № 7.

См. также: **Валентин Курбатов**, «Два капитана» — «День и ночь», Красноярск, 2004, № 5-6, июль — август <<http://www.din.krasline.ru>>.

Александр Кустарев. Четыре новые темы. — «Новое время», 2004, № 36, 5 сентября <<http://www.newtimes.ru>>.

«Еще можно было бы сказать, что мы оказались в „другом мире”, если бы вдруг как по щучьему велению в мире прекратилось бы всякое насилие. А так после 11 сентября мир остался тем же, чем и был».

Лев Толстой как мерило человеческой стадности. Из неопубликованных воспоминаний кн. Сергея Урусова. Публикацию подготовила Н. Б. Хайлова. — «Историк и художник», 2004, № 1.

Встреча с Львом Толстым в Москве 8 февраля 1900 года. «Я не знал в то время, что несогласие с его взглядами считается в его семье недопустимым, или, вернее, что выражение такого несогласия в его присутствии признается неприличным».

Наталья Леонова. Спорил ли Леонов с Достоевским? — «Москва», 2004, № 8.

«Не раз отец говорил мне: „Перечитай притчу о Калафате...” Увы, как часто мы забываем, что человек смертен, из-за чего запланированное остается неосуществленным. Слишком поздно я поняла, что он хотел мне рассказать о перипетиях создания сказки Подпрятова, о ее значении и расшифровке. Словом, об авторских замыслах. Теперь мне остается только сожалеть об этом и пытаться самой найти ответы на вопросы, которые я не задала ему».

Роберт Лермонтов. «К-19»: сигнал «SOS». — «Наш современник», 2004, № 7 <<http://nashovr.aihs.net>>.

«Я — член экипажа атомной подводной лодки „К-19” <...>». Автор статьи, капитан 2-го ранга в отставке, пишет лаконично, сухо и по существу.

Марк Ляндю. Садок в Даевом переулке. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 2004, № 236.

«О эти „литобъединения” 60-х, 70-х гг. Эти странные литературные садки Совдепии! („САДОК — искусственный водоём для содержания и разведения рыбы. Устройство для сохранения пойманной рыбы”. „Словарь русского языка”. М., 1988)».

Игорь Манцов. Братья и сестры — 2. — «Русский Журнал», 2004, 6 сентября <<http://www.russ.ru/columns/street>>.

«Я регулярно высказываюсь в пользу „народа” не потому, что его люблю. Наоборот, я не люблю народ, я знаю его, я родился и вырос в его гуще. Подозревая во мне дезертира из своих рядов, этот самый народ неизменно боролся с моим стремлением отделиться, с моею свободой и моей индивидуальностью. Я люблю светские салоны и аристократические жесты, на которые, ко всему прочему, способен, а мое самое большое, самое искреннее желание — женившись на двух молодых французенках одновременно, поселиться с ними где-нибудь в Париже, Монреале, на худой конец, в Варшаве. Однако, несмотря на многолетнюю упорную борьбу, мне не удалось преодолеть свое нежелательное родство, разорвать кровные узы. Жертвы, томившиеся и погибавшие в школе города Беслана, солдаты, защищавшие женщин и детей от оккупантов, все они *мои братья и сестры*. Вот почему я написал колонку, в которой нет никакого кино. Без кино и литературы прожить можно, а без страны и родных людей — нет. <...> Нашим властям все равно придется переориентироваться с малочисленного и бездарного *среднего класса* на пресловутый *народ*. Гомункулус из пробирки злокозненных либеральных реформ, российский средний класс все равно не будет защищать ни наших детей, ни наших женщин, ни наше государство, только любимого себя. А истерзанный, измороженный народ — будет».

Дарья Маркова. «Истоки» и «Нетерпение»: две версии одного сюжета. — «Историк и художник», 2004, № 1.

Марк Алданов и Юрий Трифонов: две версии покушения народовольцев на Александра II.

Владимир Махнач. Россия и русские. — «ГражданинЪ», 2004, № 3, май — июнь <<http://www.grazhdanin.com>>.

«<...> в настоящий момент действительно существует государство Украина. <...> Но нет такой страны — Украина и не может быть, ибо само ее название означает „окраина России”».

«А теперь русских и вообще по чьему-то замыслу не должно остаться, а должны быть украинцы, белорусы, россияне и русскоязычные, да еще, вероятно, „новые русские”».

«И если мы будем твердо называть русскими *всех* русских, неизбежно станет реальным политическим понятием „русская земля”, а затем и „Россия”».

Норман Мейлер. Мэрилин. Биография. Перевод с английского Николая Пальцева. — «Искусство кино», 2004, № 1, 3, 4, 6, 7.

Среди прочего (=биографических подробностей): «<...> ведь в природе игры, в недрах психики актера <...> таится нечто еще более глубокое и сокровенное: магия, чары, заклинания, некрофилия. В раскатах самого безудержного веселья, какое он испытывает на сцене, слышится едва различимый отзвук воя голодного вампира. Ибо подобно

тому, как вампир присасывается к телу, хороший актер входит в плоть изображаемого персонажа, претворяется в него, обживает в своей роли. А если роль перед ним действительно великая, он не может этого достичь, не предприняв неких подготовительных действий, каковые, по сути, сродни магическим обрядам — медитации, заговору, вызыванию духов». Начало см.: «Искусство кино», 2003, № 11, 12.

См. также: **Николай Пальцев**, «ММ: от имиджа к символу» — «Искусство кино», 2004, № 7.

Мертвящий жар души. Беседа с поэтом Максимом Амелиным о статусе поэзии, садах с павлинами и славном Якове Брюсе. Беседу вела Майя Кучерская. — «Российская газета», 2004, 13 сентября <<http://www.rg.ru>>.

Говорит поэт, переводчик и издатель **Максим Амелин**: «Наша поэзия XVIII века — русская античность. Однако для ее восприятия нужны одновременно и духовные, и интеллектуальные усилия. А это для современного читателя уже слишком. К сожалению, до сих пор наши филологи просто не объяснили, что с такими стихами делать, хотя и Василий Петров, и Державин, и Херасков устарели не больше, чем Спенсер, Шекспир или Филипп Сидни для англичан».

Катя Метелица. Недетский сад. — «Независимая газета», 2004, № 199, 16 сентября <<http://www.ng.ru>>.

«<...> сейчас есть только один человек, который реально может быть духовным вождем масс, — это Э. В. Лимонов. Главный публицист и моралист наших дней, просветитель и проповедник. Взять эссе, написанные Лимоновым в тюрьме, — это настоящий учебник жизни. Ответы на все вопросы: политологические, культурологические, гендерные. Он объясняет, что будущее за документальным кино и даже честный порнофильм лучше отжившего искусства х/ф. Он сетует, что у нашей молодежи в ушах все время звучат громкие музыкальные звуки, а это мешает работе мысли. Что еще? Питаться надо мясом, быстро обжаренным на сильно раскаленной сковородке, а не всякой переваренной и перетушенной дрянью; а перекусывать сдобными булочками — последнее дело. То, что от кого другого звучало бы как последняя банальность, тут подкреплено биографией, талантом, опытом страдания. Он тоже смешной, конечно. Но комической фигурой я бы его не назвала, нет».

Татьяна Москвина. Шутник. Опыт эстетической атрибуции В. В. Жириновского. — «Искусство кино», 2004, № 6.

«Что бы он ни выкрикивал в экстазе, он не перепутает падежи, не поставит неверное ударение».

«Говорят, проект „ЛДПР“ возник в недрах КГБ для воплощения идеи управляемой демократии. Я в этом сомневаюсь. Мне кажется, это Жириновский возник в недрах КГБ и сказал, что у него есть проект. Излагал он его приблизительно часов шесть...»

«Это так называемый демон-шутник, один из сонма шутников, любимцев тьмы, которые забавляют даже кое-кого в мирах света».

Анатолий Найман. Каблуков. Роман. — «Октябрь», 2004, № 8, 9.

Мы это отрецензируем.

Томаш Наленч («*Wprost*», Польша) Наследие преступления. — «ИноСМИ.Ru», 2004, 2 сентября <<http://www.inosmi.ru>>.

«65 лет назад Гитлер и Сталин приняли решение о низвержении версальского мира и ввергли планету в пропасть очередной войны (пакт Молотова — Риббентропа. — *Примеч. переводчика*). <...> ответственность Сталина за развязывание Второй мировой войны не вызывает ни малейшего сомнения. Интересно, отважатся ли нынешние власти России спустя 65 лет признать это? <...> Однако если российские власти избегают сказать правду, то тем самым они берут на себя роль наследников преступления. <...> Своим отношением к сталинскому прошлому Россия идет в тупик, бросая ненужную тень на хорошо ведь складывающиеся отношения с нашей страной». Автор статьи — заместитель Председателя Сейма Польши.

Ср.: «На факте советско-германского договора строят свой комплекс обиженности прибалты, поляки, румыны — в общем, все те, кому пришлось в 39 — 40 годах вернуть России принадлежавшие ей земли. <...> Но все-таки пора уже сказать и правду. Пактом Молотова — Риббентропа нам следует гордиться как одной из величайших побед нашей дипломатии. Фактически одним ударом Сталин выиграл для Советского Союза начинавшуюся мировую войну. Выиграл тогда, когда еще не прозвучали ее первые выстрелы. При любом исходе будущей войны, кроме разве что тотальной победы Германии — то есть вещи совершенно невероятной, Советский Союз оставался в прибыли. <...> На 1939 год Советский Союз был в мире государством-изгоем. Конечно, не таким, как сразу после революции 1917 года, не таким, как в начале 1930-х, когда в мире провоз-

глашали „крестовый поход против коммунизма”, но все одно — государством, которое ненавидели, которое боялись и которое казалось рассадником коммунистической чумы, и которое с радостью бы совместными усилиями завалили, буде представится такая возможность. Напротив, гитлеровская Германия была почтенным государством, Гитлер — популярным в Европе политиком, ему сочувствовали многие даже в антигермански настроенной Франции. Антифашистскую кампанию по всему миру вели только евреи, но их не очень-то слушали, поскольку и в ненацистских государствах многие считали, что Гитлер не так уж не прав. В фюрере видели военного вождя Запада, который поведет белых людей на Восток, на Советскую Россию. И для этого довольно тщательно старались развязать ему руки на Востоке. Лицемеры, которые возмущаются империалистическим разделом Польши и Прибалтики, почему-то забывают, как за год до того, в Мюнхене, лидеры демократических держав дружно расчленили и отдали Гитлеру Чехословакию, однако за это действительное преступление ни Франция, ни Великобритания себя виноватыми не считают. Хотя если и сравнивать, то сравнение будет в пользу Сталина. Западные державы отдали Гитлеру дружественную Чехословакию, Сталин — враждебную Польшу. <...> Он предоставил Гитлеру возможность напасть на Польшу, не опасаясь войны с Советским Союзом, и тем самым — вовлек Германию и Западные страны в войну друг с другом, при том что СССР остался над схваткой. Из рук Гитлера, фактически свалив на него ответственность, Сталин получил Прибалтику, Западную Украину и Белоруссию, Бессарабию и Карельский перешеек, причем только за последний нам пришлось воевать. К началу войны СССР с Германией все эти территории были юридически оформлены как наши. И шансов отнять их у нас без применения силы не было никаких. Представить себе, что как-то еще, кроме как договорившись с Гитлером, можно было вернуть нам назад отторгнутые Польшей земли, — совершенно невозможно. А так все робкие попытки Черчилля поставить под сомнение статус-кво 1941 года Сталиным и Рузвельтом решительно пресекались. Дотянуться до наших столиц Гитлер мог теперь, только преодолев значительное расстояние, которое и сорвало его планы. При этом у Германии стоящих союзников не было никаких, а у нас, с началом войны, оказался в союзниках весь Запад. <...> Сам же Хрущев и рассказывал, как Сталин радостно восклицал после подписания пакта — обманул, обманул Гитлера! И действительно: сделать из „уважаемого политика” всемирного изгоя, а себя из изгоя — уважаемым политиком. Сделать из врага сперва союзника, а затем врага всего мира. Получить огромные территории практически без борьбы и добиться их признания всем миром. Запрограммировать до начала войны ее благоприятный исход — это разве не вершина внешнеполитического искусства? <...> Сталин сумел хотя бы отчасти уйти от старой русской традиции таскать каштаны из огня для англичан, стравливавших между собой континентальные державы. На сей раз англичанам пришлось воевать самим, а за союзничество России расплатиться половиной Европы. Так что 23 августа 1939 года нам остается только гордиться как днем великой внешнеполитической победы», — пишет **Егор Холмогоров** («Правая.ру», 2004, 23 августа <<http://pravaya.ru>>).

См. также: **Юрий Пересцов**, «Алые маки и панские враки» — «Спецназ России», 2004, № 8, 9 <<http://www.specnaz.ru>>; к шестидесятилетию Варшавского восстания и штурма Монте-Кассино.

Неизвестный Розанов. Заметки об исторических годовщинах. Предисловие Александра Николюкина. — «Историк и художник», 2004, № 1.

«19 февраля 1861 года капнула та капелька, та драгоценная капелька, которую полвека и даже больше вырабатывал в себе *русский организм*... *Весь организм*, в целом его составе» («Последняя капля», 1911 г.).

Олеся Николаева. Люблю монахов и монастыри... Встречалась (так! — *А. В.*) Ильмира Болотян. — «Литературная Россия», 2004, № 33, 13 августа.

«Выход у человека всегда есть, поскольку есть Бог».

Майя Никулина. На вечном камне. — «Урал», Екатеринбург, 2004, № 9.

Пирамиды — *везде*. И в Херсонесе.

Владимир Новиков. Юношеский роман. Василий Аксенов написал роман о любви между Россией и Западом. — «Новый очевидец», 2004, № 2, 23 августа.

«Когда думаешь об Аксенове, невольно вспоминается выражение „большая медведица пера” — такой титул Маяковский придумал для Льва Толстого. На мой взгляд, больших медведиц в русской прозе на начало XXI столетия числится ровно две: Солженицын Александр Исаевич и Аксенов Василий Павлович».

См.: **Василий Аксенов**, «Вольтерьянцы и вольтерьянки» — «Октябрь», 2004, № 1, 2 <<http://magazines.russ.ru/October>>; отдельное издание — М., «Изографус»; «Эксмо», 2004.

Одноклеточные шахматы. Вопросы задавал Владимир Поляков. — «Литературная газета», 2004, № 34, 1 — 7 сентября <<http://www.lgz.ru>>.

Философ **Дмитрий Галковский** объясняет, что такое *криптоколония*: «Все очень просто. Это колония, полностью замаскированная под независимое государство. Реальной политической информацией в таком государстве обладает очень ограниченный круг высших чиновников. Это президент (то есть генерал-резидент), руководство тайной полиции и Министерства иностранных дел. Всего 10 — 20 человек. Еще несколько сотен, включая верхушку интеллигенции, обладает частичной или превращенной информацией. Элементы криптоколонии управления апробированы давно. Например, в Латинской Америке XIX века. Но первой криптоколонией стала РСФСР в 1917 — 1918 годах. С тех пор Россия управляется Англией. Как я понимаю, подобное управление осуществляется до сих пор, и конца этому не видно. <...> — *Что делать жителю криптоколонии, согласно с вашей гипотезой и мечтающему жить в максимально возможной автономии?* — Как можно лучше относиться к своей криптометрополии и как можно хуже — к ее соперникам. То есть как можно лучше — к Англии и как можно хуже — к Америке».

См. также: «Считается, что его [Владимира Набокова] отца в эмиграции застрелил некий злокозненный монархист, стремившийся убить Милюкова. Это ерунда. В эмиграции было полно злых офицеров-фронтвиков, никакой охраны у керенских в эмиграции не было. Хотели бы — убили всех. Набокова-отца убили „соратники“, и Набоков-сын это знал. <...> Набоков-сын это сразу ПОНЯЛ и через всю жизнь свято пронес презрительную ненависть к „русской интеллигенции“. Которая для него была бездарной падалью, но падалью опасной, с пистолетами, падалью, которую нельзя трогать, падалью, перед которой надо маскироваться. Что он всю жизнь с успехом и делал», — пишет **Дмитрий Галковский** в своем сетевом дневнике от 25 августа 2004 года <<http://www.livejournal.com/users/galkovsky>>.

Ярослав Орлов, Роман Фирайнер. Сплошной *entertainment*. Беседу вела Елена Кутловская. — «Искусство кино», 2004, № 7.

Говорит «рекламщик» **Роман Фирайнер**: «Вы знаете, что в России, по исследованиям социологов, зубы чистят всего 47 процентов населения? Вот это культура? А то, что является культурой с точки зрения Олега Кулика и Эдуарда Лимонова, — это их частное мнение».

Сергей Осипьян. Индустрия самообслуживания. Беседу вела Елена Кутловская. — «Искусство кино», 2004, № 7.

«Изображение вещей — абсолютно самодостаточная штука. <...> реклама, эта особая материально-культурная среда, особая индустрия, давно уже не продвигает материальную продукцию, она просто плодит образы продуктов и саму себя. <...> образы предметов человеку гораздо интереснее, чем сами предметы».

Олег Павлов. И поражение от победы мы не сумели отличить. — «Политический журнал», 2004, № 30, 23 августа.

«После изгнания Твардовского из „Нового мира“ русское национальное самосознание перенесено было со Страстного бульвара на Цветной, то есть из „Нового мира“ в „Наш современник“. Там, на новом месте, с начала 70-х гг. дружно печатаются Абрамов, Астафьев, Белов, Залыгин, Лихоносов, Можаяев, Носов, Распутин, Солоухин, Шукшин... Тогда зачем нужно было уничтожить „Новый мир“?» Далее автор объясняет — *зачем*. Также: «Одиночество Твардовского Солженицын видел в самом трагическом свете — а свое никогда не осознал как поражение, ведь оно-то, казалось, и возвысило его. Самообман человека, который верил только в себя».

См. также: «За весь огромный срок, начиная с шестидесятых, в деревенской теме не было произведений или статей, запрещенных к публикации, а тем более пушенных по воле авторов в самиздат, то есть в обход цензуры. Только Солженицын выбрал другой путь, и у Владимира Солоухина оказалось написано и не издано в советское время несколько подпольных документальных работ. Да, кромсала цензура... Да, грозили взыскания партийные, начиналась газетная травля, задерживался на годы выпуск новых книг... Но все было так или иначе издано, увидело свет!» — пишет **Олег Павлов** в статье «Русская литература и крестьянский вопрос» («День литературы», 2004, № 9 <<http://www.zavtra.ru>>); полный текст статьи печатается в журнале «Октябрь» <<http://magazines.russ.ru/October>>).

Евгений Попов. Всеволод Кочетов как предтеча концептуализма. Главы из романа В. Кочетова «Чего же ты хочешь?» с комментариями; отрывки из пародий З. Паперного и С. Смирнова. — «Октябрь», 2004, № 8.

Замысел понятен, но что-то *не сложилось*. Кто все это помнит, тот и так помнит; кто не помнит, тому не понять; в обоих случаях — не смешно. А научной ценности, так сказать, не имеет.

См. также: **Евгений Попов**, «Энергетическая меланхолия» — «День и ночь», Красноярск, 2004, № 5-6, июль — август <<http://www.din.krasline.ru>>; о художнике Вячеславе Сысоеве.

Олег Попов. Хьюман Райтс Вотч как политический инструмент либерально-космополитической элиты США. — «Москва», 2004, № 8.

«В настоящей статье речь пойдет об одной из самых крупных и, пожалуй, самой активной в „русских делах“ американской правозащитной организации *Human Rights Watch (HRW)*, что в переводе с английского означает Наблюдатель за правами человека. Эта организация, которая входит в Международную хельсинкскую федерацию, поддерживает самые тесные отношения с российскими правозащитниками с момента ее образования в конце 70-х годов XX века. <...> Возьмем государства бывшего Советского Союза. За семь лет, с 1994 по 2001 год, *HRW* сделала 172 заявления в связи с нарушениями прав человека в этих государствах. Из этого числа 117 заявлений сделано только по одной Российской Федерации. Для сравнения: за тот же семилетний период по Украине не было сделано ни одного заявления, по Казахстану — всего 6 заявлений, а по Туркменистану и того меньше — 3 заявления. И это при том, что та же *HRW* осуждала режимы Назарбаева и Ниязова за установление режима личной власти, за подавление свободы слова, печати, собраний, за аресты членов оппозиционных партий! За тот же период времени (1994 — 2001 гг.) *Human Rights Watch* не сделала ни одного заявления в связи с нарушениями прав русского населения в Латвии и Эстонии. Не было сказано ни о захвате православных церквей на Украине, ни об арестах активистов русского казачества в Казахстане, ни об этнических чистках в Таджикистане и Казахстане. Лишь только в двух заявлениях (оба — по Туркменистану) есть среди прочего сообщения об ограничении употребления русского языка в государственных и частных организациях и институтах и об уголовном преследовании активистов неразрешенных русских организаций».

Сергей Попов. Мир без России. — «Политический журнал», 2004, № 32, 6 сентября.

«<...> мнение из недавно вышедшей книги „Был ли у России шанс. Он — последний“ экс-помощника Михаила Горбачева и его соратника по Горбачев-фонду А. С. Черныяева. Смысл заголовка: последним шансом России был Горбачев, но неблагоприятные, ленивые и непредусмотрительные соотечественники — мы с вами — этим шансом не воспользовались. Другого шанса не будет, как не быть четвертому Риму. Попрошавшись с Россией, Черныяев вымолвил слова утешения: „Самая что ни на есть ‘национальная’, самая гуманная теперь политика для России — это дать ей спокойно ‘уходить’, плавно закончить свою уникальную и трагическую историю. Лет 20 — 30 ей хватило бы”».

Владимир Порус. Интелли-гейт. — «Новая газета», 2004, № 63, 30 августа.

«Миф об интеллигенции, переживший интеллигенцию, остается духовной ценностью России».

См. также: **Игорь Золотуский**, «Интеллигенция: смена вех» — «Литературная газета», 2004, № 32-33, 11 — 17 августа.

См. также: **Вячеслав Савватеев**, «А расколу — триста лет» — «Литературная газета», 2004, № 34, 1 — 7 сентября <<http://www.lgz.ru>>.

«**Противники** — это люди с политической позицией, противной нам». Беседу вел Сергей Варшавчик. — «Независимая газета», 2004, № 205, 23 сентября.

Говорит **Михаил Леонтьев**: «На мой взгляд, нужно предусмотреть в средствах массовой информации наличие представителей спецслужб (во всех крупных СМИ они и так де-факто есть), которые бы легально осуществляли техническое консультирование журналистов. Допустим, сидит человек и говорит: „Ребята, это можно, а вот это не надо. А это я должен сначала проверить...“ <...> медийное пространство является фронтом борьбы. Это очевидно. Так пусть там будет специалист, который будет отвечать за свой сектор».

Анатолий Прохоров. Новости как мистификация. — «Искусство кино», 2004, № 4.

«<...> под видом новостей ТВ транслирует другой продукт — новостное шоу, не нужное или полезное человеку, а интересное ему как телезрителю. <...> Полезная человеку новость помогает ему принять касающееся его решение прямо сейчас. Когда информация только интересна — это означает, что перед нами не новости, а эстетически или идеологически окрашенный новостной продукт (условно говоря, не молоко, а йогурт, который к природе и полезности молока имеет лишь отдаленное отношение). Этот продукт имеет совершенно другое назначение — привлечь наше внимание, заставить продолжать смотреть данный новостной спектакль, а вовсе не пользоваться ново-

стью, как мы пользуемся другими полезными вещами: мылом, молоком, перчатками... <...> единственная реальная новость, которую получает зритель в результате просмотра любого новостного шоу: „Вблизи меня сегодня ничего тревожного не произошло — и это хорошо. Остальные сюжеты — это некое кино, данное мне для остроты ощущений”».

Вячеслав Пьецух. Забытые слова. — «Октябрь», 2004, № 9.

...Синодик. Спецбуфет. Родина. Шалава. Шпана...

Леонид Радзиховский. Если сегодня война. — «Российская газета», 2004, 6 сентября.

«<...> война, по моему глубокому убеждению, — идет. Цель войны — разрушение этого государства, довершение геополитического разлома, начавшегося в 1989 — 1991 годах. Цель войны — далее слом, „долом” нашей русской культуры, того самого „великого русского слова”. Метод же войны прост — не покорять огромными армиями, а ударить в слабую точку, и русский колосс на глиняных ногах рухнет и рассыплется сам. Как уже не раз бывало в истории России (Смутное время, 1917, 1991). И как очень может быть сейчас — потому что мы необыкновенно слабы сегодня. Если дело обстоит так, то для спасения государства, страны и культуры, для того, чтобы найти симметричный ответ на этот вызов, нужны три вещи. Объединить народ перед общей опасностью. *Указать врага* (курсив мой. — А. В.). Создать сильное государство, беспощадно вырезав из его тела гниль. <...> Я сторонник либеральной демократии, твердо знающий, что в России с этой игрушкой надо быть очень осторожным. В 1917-м ее введение закончилось глобальной катастрофой. В 1991-м закончилось — с моей точки зрения — благополучно, но, увы, еще не вечер. Вполне возможен второй акт — когда ослабленная (демократией? Да, в том числе — и демократией!) Россия потонет. Поэтому демократия — хорошо, но просвещенный авторитарный строй — реально. Сегодня только он по нашему климату, нам по плечу. Сильный. Авторитарный. Просвещенный. Полицейское государство? Да. Только с пристойной, жесткой, неподкупной и не слишком хамской полицией. Ограничения свободы слова? Да. Если они идут на пользу самосохранению, сохранению того самого „великого русского слова”. Есть у нас все это? Риторический вопрос».

Валентин Распутин. «Если дело дошло до края». Беседовал Геннадий Русских. — «Литературная газета», 2004, № 35, 8 — 14 сентября.

«Но Боже мой, что такое цинизм [вампиловского] Зилова в сравнении с цинизмом наших новоиспеченных хозяев жизни. Зилов — это самое начало, цветочки, как говорят. Я думаю, и в наше время Зилов остался бы всего лишь мелким циником».

См. также: **Татьяна Тернова**, «Герой, проигравший жизнь. О драматургии Александра Вампилова» — «Подъем», Воронеж, 2004, № 5.

См. также: **Валентин Распутин**, «Мой манифест» — «Подъем», Воронеж, 2004, № 5.

Александр Роднянский. Постановщики телевизионной реальности. — «Искусство кино», 2004, № 4.

«Словосочетание „постановщики телевизионной реальности” выбрано в качестве заголовка не случайно, поскольку у меня есть давнее и очень твердое убеждение, что мы все существуем в телевизионной реальности. И никакой другой нет. <...> Это та реальность, которую мы производим в медиа, а производим только ту, на какую обращаем внимание. И зрители имеют дело не с фактами, а с фактоидами, созданными непосредственно на телевидении в информационных программах. <...> Телевизионные новости, безусловно, являются способом моделирования реальности. Они такой же плод креатива, не лишенный всех признаков художественного творчества — от фантазии до поэтики, — как и любой другой».

Ксения Рождественская. «Я так понял... Что я не понял...». — «Газета.Ru», 2004, 14 сентября <<http://www.gazeta.ru>>.

«Брать интервью у [Владимира] Сорокина — полная глупость, потому что он ждет каких-то правильных вопросов, а спрашивать у него ничего не хочется». Далее — в подтверждение вышесказанного — это самое интервью.

Романс о влюбленном. Гость редакции Андрей Кончаловский — о политике, искусстве и о себе. — «Российская газета», 2004, 17 сентября.

«Объективные исторические условия не позволяют России иметь демократию — это написал Плеханов почти 90 лет назад. Причин тому много. А если нет демократии, то есть только иллюзия ее. Даже исторически я могу доказать, почему нам нужна абсолютная власть. <...> Сейчас происходит определенная реструктуризация политической власти, которая бы отвечала культуре российского народа», — говорит известный кинорежиссер.

См. также: Андрей Кончаловский, «Мои шестидесятые» — «Искусство кино», 2004, № 5 <<http://www.kinoart.ru>>.

Роман Ромов. Россия в поисках экстремистов. — «Правая.ру», 2004, 19 августа <<http://pravaya.ru>>.

«Евангелие перед лицом рыночного либерализма — едва ли не самое экстремистское сочинение; такую же характеристику можно дать и всей святоотеческой традиции».

Ю. С., А. Ш. Когда государственная измена — патриотизм. К 60-летию заговора против Гитлера. — «Посев», 2004, № 8, август <<http://posev.ru>>.

«Перечень лиц, поддерживавших Власова, во многом совпадает со списком участников заговора 20 июля 1944 г. <...> Он [фон Штауффенберг] был одним из самых последовательных сторонников создания русского антибольшевистского правительства, союзного новой Германии, а также воинских частей из советских военнопленных и русских эмигрантов. Именно ему принадлежит формула будущего союза с освобожденной Россией: независимость, свобода, сотрудничество. Будучи в 1941 — 1942 гг. офицером штаба ОКХ, фон Штауффенберг приложил очень большие усилия как для организации русских воинских частей, так и создания органов местного самоуправления. Последнее ему и удалось в казачьих областях Северного Кавказа. Знаменитые школы по подготовке кадров из числа советских военнопленных в Вустрау, Дабендорфе и Осинторфе были также организованы по его проекту. Эти начинания были частью большого плана, предусматривавшего размещение русских частей на территории Рейха и использование их для нейтрализации нацистов в ходе планировавшегося переворота».

Среди прочего: «Количество сотрудников гестапо составляло 40 тыс. человек, а СД, занимавшейся в основном аналитической, контрразведывательной и „внутрипартийной“ работой, — 3 тыс. (для сравнения: в госбезопасности ГДР (Штази) было 102 тыс. человек; если в нацистской Германии 1 гестаповец приходился на 2 тыс. человек, то в социалистической Германии — 1 гэбист на 166 человек)».

Максим Соколов. Неизлечимые. Арьергардные бои общечеловеческого учения. — «GlobalRus.ru». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба, 2004, 13 сентября <<http://www.globalrus.ru>>.

«Гуманитарная, правозащитная, общечеловеческая *etc.* идеология есть детище 1945 года, когда мир, потрясенный тем, что открылось в Аушвице и Трешлинке, возгласил: „Никогда больше!“ Идеология была совокупностью страховочных и перестраховочных механизмов, имеющих целью ни под каким видом не допустить повторения трешлинского ада. Но сегодня, когда усилиями борцов за свободу ад снова зияет, именно носители идеологии недопущения и неповторения отчаянно, греша уже против всякой логики и всякой морали, продолжают изыскивать оправдания для устроителей ада и обвинения для страны, оказавшейся жертвой адских сил. Идея, рожденная потрясением от архизлодейства, со всей силой работает на поощрение новых архизлодейств. С идеями так случается довольно часто, и в таких случаях принято говорить, что они не выдержали проверки на фальсификацию».

«„Людей, приверженных злу, не бывает, а бывают только люди, доведенные до отчаяния, которых нужно приласкать, убаюкать — и все будет хорошо“. Тем более, когда убаюкать предписывается другим. „Не то, что плохих народов не бывает, — не бывает и не может быть даже таких народов, мирное сосуществование с которыми затруднительно“. Тем более, когда счастливо сосуществовать предлагается другим. „Нет таких проблем, которые нельзя было бы решить политическими методами“. А если послушались, решили и получилось еще хуже — значит, неправильно решали. „Маленький, но гордый народ, борющийся за свою свободу, всегда прав“. Соответственно всякий народ, который не маленький, должен избывать свое окаянство тем, чтобы в ответ на любое совершенное над ним деяние (хоть бы и самое дурное) благодарить и кланяться, кланяться и благодарить. „Если маленький народ внешне выглядит совсем уж неправым, он все равно прав, а все дело в том, что он некогда был жертвой империалистической политики, и это дает ему универсальную индульгенцию ныне, и присно, и во веки веков“. „Народ победить невозможно“. В том смысле, что невозможно победить по предписанным нами правилам, намертво вяжущим руки всякому, кто вздумает защититься от непобедимого народа. В самом общем виде: „Человек добр, а зла, смерти, трагедии не существует, есть только неспособность к политическому решению“. Век Разума, трогательно беспримесное иллюминатство, перешедшее во всей своей чистоте из XVIII века в XXI».

«В идеальном отношении все мы, русские, живем как кошка с собакой, сколько людей — столько и мнений, но существуют времена, когда водораздел устанавливается совершенно четко, разделяя бывших друзей и сближая прежних врагов. Водораздел — в отношении к подлинному гимну России, к великой и страшной песне „Священная

война». Одни, сколь угодно критически относясь к родной власти, чувствуют, что главное сейчас другое — „Гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб, / Отребью человечества сколотим крепкий гроб”. В других сердцах слова про то, что „не смеют крылья черные над родиной летать, поля ее просторные не смеет враг топтать”, либо не отзываются, либо, может, и отзываются, но культурному человеку подобает стесняться тоталитарных чувств, выражаемых в тоталитарных песнях».

«<...> отчаянно борясь за свое идейное самосохранение, общечеловеки вынуждены, не могут не поддерживать отребье человечества. Если не громоздить пропагандные софизмы, переводящие всю вину на Россию, и не забывать ими все пространство — рухнет все их сладостное учение. До тех пор, покуда отребью не сколочен крепкий гроб — а до того, как в 1941-м до Берлина, — разоблачение лжи общечеловеков не может не быть частью общего труда».

Ср.: «Что касается профессиональных „правозащитников”, то это — политическое крыло террористов (вспомним ирландское: „Партия Шин Фейн — политическое крыло ИРА”). Между бабицкими-политковскими и масхадовыми-басаевыми есть разница юридическая, но политической и моральной — ни малейшей. Не правда ли, Басаева и Масхадова ругать как-то нелепо и с „Кавказ.орг” дискутировать бессмысленно. Так зачем ругать Бабицкого, Политковскую и „Новую газету”?» — пишет **Александр Храмчихин** («Отстрел общечеловеков — мода минувшего сезона. Да и спецслужбы ругать уже поздно» — «*GlobalRus.ru*», 2004, 9 сентября <<http://www.globalrus.ru>>).

Александр Соколянский. Безответственное рассуждение о связи времен. — «Искусство кино», 2004, № 5.

«<...> в 1956 году Сергею Аверинцеву было девятнадцать лет: назвать его шестидесятиником было бы несусветной глупостью, но сказать, что он был человеком из 60-х годов, правильно и необходимо».

См. здесь же: **Владимир Сальников**, «Культурные войны в СССР».

Мария Степанова. Выдох. Терцины. — «*GlobalRus.ru*», 2004, 20 августа <<http://www.globalrus.ru>>.

.....
15.

И праздничный концерт подносит Хворостовский
Слегка из-за спины, как жостовский поднос,
И с ним рифмуется как роза Ходорковский
16.

В матросской тишине, несомой на износ.

См. также: **Мария Степанова**, «Выдох» — «Знамя», 2004, № 9 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>.

Андрей Столяров. Личная терапия. Роман. — «День и ночь», Красноярск, 2004, № 5-6, июль — август.

Многословный производственно-психологический (то есть *о психотерапии*) роман напечатан в журнале таким слепым кеглем, что процессу чтения не поддается. Заинтересованным лицам лучше скачать его из Сети или дожидаться отдельного книжного издания.

См. также: **Андрей Столяров**, «Розовое и голубое» — «Новый мир», 2004, № 11.

См. также: **Андрей Столяров**, «Русский мир» — «Нева», Санкт-Петербург, 2004, № 3 <<http://magazines.russ.ru/neva>>.

Александр Стрижев. Цветы и храм. — «Москва», 2004, № 8.

Цветы и зелень в убранстве храма. Растения вокруг храма. «Какие именно цветы пристойны для храма? Все, что красивы и благоуханны».

Дмитрий Сухарев. Сквозь смех сквозь слезы. 8 сентября исполнилось 30 лет со дня рождения Бориса Рыжего. — «НГ Ex libris», 2004, № 34, 9 сентября.

«Кризис народился давно, сразу вслед за шестидесятиниками, когда поэты новой волны — „Московское время” и их питерские сверстники — постановили игнорировать советскую поэзию. Таких просчетов литература не прощает, все пошло наперекосяк, после Бродского не возникло ни одного крупного имени, и нынешние тридцатилетние, самые известные и талантливые из них, оказались в тупике холодного филологизма. Б. Р., самый юный из юных, помог отечественной поэзии воссоединить разрозненные звенья и вернуться на путь естественного развития. <...> Читайте Бориса Рыжего!»

Талант художника — Божий дар. С раввином Адином Штейнзальцем беседует Зоя Копельман. — «Отцы и дети». Журнал для семейного чтения. Институт изучения иудаизма в СНГ под руководством раввина Адина Штейнзальца. Москва —

Иерусалим, 2003/5763, выпуск 36 (Евреи и изобразительное искусство) <<http://www.judaicaru.org>>.

Говорит **Адин Штейнзальц**: «Вы знаете, что люди, строившие Тель-Авив, не были религиозными евреями. Это были сионисты, русско-украинско-польские евреи, и все же они так заложили улицы города, чтобы не было крестов. Если одна улица вливается в другую под прямым углом, то ее продолжение сдвинуто вбок — только бы в плане не было креста. Любопытно, да?.. И снова подчеркну, что это не были религиозные люди. Или вот еще. В Израиле не принято изображать знак сложения крестом, рисуют полукрест — горизонтальная палочка и к ней в центре перпендикуляр. И кто, вы думаете, это ввел? Учителя первых сионистских гимназий в Земле Израиля, еще до государства. Учителя, которые либо были атеистами, либо вели нерелигиозный образ жизни! Но вот так запросто рисовать кресты, хотя бы и в математике, у них рука не поднималась».

Камиль Тангалычев (Саранск). Экспедиция в бесконечность. О поэтическом феномене академика Вернадского. — «Литературная Россия», 2004, № 36, 3 сентября.

«Чутьем лунатика Вернадский постигал поэтов».

Василий Токарев. «Минин и Пожарский»: Спасение в Смуте? — «Историк и художник», 2004, № 1.

Виктор Шкловский пишет сценарий фильма «Минин и Пожарский».

Виталий Третьяков. Террористический рейх. Тезисы о терроризме, а также о противниках и союзниках России. — «Российская газета», 2004, 7 сентября.

«Русский солдат и генерал, плохо они действуют или хорошо тактически и оперативно, защищают на Кавказе ценности христианской цивилизации, всего евроатлантического мира и конкретно — свободу и безопасность Европы и каждой из стран Евросоюза, в который вообще-то Россия не входит».

«Тотальная война не выигрывается разгромом противника на своей территории и вытеснением его за пределы своих границ. Тотальная война выигрывается только разгромом агрессора и уничтожением на его собственной территории».

См. также: **Виталий Третьяков**, «Беслановский холокост. Тезисы о терроризме, а также о противниках и союзниках России». — «Российская газета», 2004, 9 сентября.

Майя Туровская. Гунделинден-штрассе, 6 — дом с привидениями. Беседу ведет Зара Абдуллаева. — «Искусство кино», 2004, № 5.

Среди беседы о годах 60-х и нынешних:

«З. *Абдуллаева*. У моей бабушки была соседка, чей муж был скорняком. Когда ее сын попал в Сталинград, она сшила все, что можно, из меха, поехала туда и вызволила его с фронта».

М. Туровская. Замечательная история. А мой муж Боря пробыл там с начала до конца».

См. здесь же: Алла Демидова — Нея Зоркая, «Памяти шестидесятых».

У иудаизма в России появилась новая основа. Почему российскому еврею нельзя варить козленка в молоке матери его. Беседу вела Юлия Глезарова. — «НГ-Религии», 2004, № 16, 1 сентября <<http://religion.ng.ru>>.

Говорит председатель Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России **Зиновий Коган**: «Евреи не должны есть свинины не потому, что она плохая, говорят, это очень нежное и вкусное мясо, а потому, что они должны отличаться от других народов». Это в связи с появлением «Основ социальной концепции иудаизма в России».

Линда Рут Уильямс. В Америке (Буша) секса нет. Перевод с английского М. Теракопьян. — «Искусство кино», 2004, № 6.

«Нынешнее наступление на секс [в американском кино] — симптом более глобального ужесточения климата в стране [США] и сокращения возможностей для искусства, что вынуждает Верхувена, Де Пальму и Фридкина рассматривать свою дальнейшую работу в пессимистическом свете».

Андрей Фетисов. Новый русский вопрос. — «Новая политика», 2004, 3 сентября <<http://www.novopol.ru>>.

«<...> на парламентское большинство — так называемую „партию власти“. Казалось бы, партия „государственников“ должна исповедовать (как и президент) государственную или гражданскую (национальную по Хантингтону) идентичность. На самом деле действия власти показывают, что она является выразителем корпоративной идентичности. Прежде всего это попытка представить управление страной как аналог управления корпорацией. Так, президентом РФ постоянно подчеркивается, что он не „отец

народа” или лидер государства, а менеджер-управленец, поставленный на этот пост „владельцем контрольного пакета”. И следовательно, временщик — по должности и по сознанию. <...> Однако корпорация и государство — вещи разные. Как будет корпоративно управляться государство — понятно: у корпорации всегда будут лишние люди, а рабочие руки и головы можно привлечь со стороны, нанять. По справедливому наблюдению Вадима Цымбурского <...> складывающийся политический режим характеризуют его законодательные предложения „последних четырех лет — законы о налогах, начиная с 13%-ного подоходного, трудовой кодекс, реформы — пенсионная, жилищно-коммунальная, наскоки на образование и медицину, сворачивание льгот, изъятие важнейших доходов у местных властей в пользу центра и, наоборот, сброс на места социалки, взвинченные выплаты высшей категории чиновников и замороженные зарплаты бюджетникам” и „обнаруживают чрезвычайно последовательную стратегию размежевания между сливками (в частности, включающими 10 % средний класс) и массой ‘класса ниже среднего’, переходящего в ‘неконкурентоспособные слои населения’, как очаровательно выразился вице-премьер В. Христенко”. Все основные, системообразующие инициативы государства предпринимаются не в пользу общества, его настроений, традиций, моральных предпочтений и ценностей. К сожалению, и второй срок правления российского президента начался с отмены льгот. Корпоративная прагматика снова возобладала над моралью, обернувшись цинизмом. Вся логика и стилистика — *деньги против общественных ценностей* — правительственной кампании показывала, что Россия продолжает движение в сторону страны-корпорации. Увы, когда само государство действует против культурной и национальной идентичности России, об остальных вызовах говорить просто бессмысленно».

Егор Холмогоров. Ежедневный политобзор Егора Холмогорова. — «Правая.ру», 2004, 7 сентября <<http://pravaya.ru>>.

«<...> я лично уже устал от очередных побед на фронте официального признания „моего” политического дискурса. Я уже устал от узнавания в словах официальных лиц своих речей трех-четырёхлетней давности. Еще год назад я считал это победой. Теперь не считаю. Не считаю потому, что говорить могу и я. Говорить может [Константин] Крылов. Даже Михаил Леонтьев и тот может говорить то же самое, и у него прекрасно получается. Для того, чтобы говорить, не нужен Путин. Для того, чтобы произносить правильные слова, можно не быть президентом, хотя президент тоже должен правильные слова произносить. Но это не более одной пятой его работы. Его работа — правильные деяния. Я не хочу, чтобы президент говорил как я. Я хочу, чтобы он действовал так, как требуют мои слова, даже если он произносит при этом какие-то другие и даже если он затыкает мне рот, чтобы я своих слов не говорил (в этом смысле марксист и атеист по риторике Сталин был „правильным президентом”, именно по этому критерию). Если президент говорит то же, что я, но ничего не делает, то это ни мне, ни кому еще (окромя врагов) не нужно».

Алексей Чадаев. Непассивная безопасность. Защитить себя мы можем только сами. — «Русский Журнал», 2004, 2 сентября <<http://www.russ.ru/culture>>.

«<...> единственная осмысленная политическая реакция общества на серию террористических атак — это требование разрешения свободного ношения оружия. <...> Разгосударствление массового насилия неизбежно влечет за собой разгосударствление массовой безопасности — вопрос в том, как и когда это произойдет».

См. также: <http://www.samooborona.ru>

Человек не должен привыкать к холоду. Беседовала Татьяна Бек. — «НГ Ех libris», 2004, № 32, 26 августа.

Говорит **Александр Городницкий**: «Основная наша беседа состоялась в 1961 году. 29 ноября. Я хорошо запомнил эту дату, потому что она многое значит в моей жизни, и вовсе не из-за Бродского. Так вот. Я пришел в гости к моему другу Сереже Артамонову в Кривоарбатский переулок и неожиданно встретил там московскую поэтессу Анну Наль, которая переменяла мою судьбу... Там был и Иосиф, и мы сразу заговорили о поэзии. Он стал очень фамильярно спрашивать: „Как поживает Борух?” — это он так иронически называл Слуцкого. Я закричал: „Как тебе не стыдно?! Борис Абрамыч Слуцкий — великий поэт!” Для меня тогда Слуцкий был величайшим поэтом. „А Дезик?” Я ответил: „И Давид Самойлов тоже”. Бродский хлопнул меня по плечу: „Их и тебя можно построить в одну шеренгу и рассчитывать на первый-второй. Вы настолько ниже меня в поэзии, что ты даже себе представить не можешь”».

Роберт Шекли. «Научная фантастика — не пророческий бизнес». Беседовал Григорий Асмолов. — «Новая газета», 2004, № 68, 16 сентября.

«Письмо — это то, что заменяет мне религию и, возможно, патриотизм. <...> Прост я старый человек. И я не могу дать многого в спорте, в любви или в чем-либо дру-

гом. Даже с едой я должен быть очень осторожен. То есть я не могу жить стандартными развлечениями, и я посвящаю себя работе, даже если она не идет. Главное, у меня есть работа. Мало у кого в таком возрасте (1928 г. р. — А. В.) есть своя работа. Мало кто имеет работу, которая длится всю жизнь».

Эдуард Шульман. В окрестностях М. — «Крещатик». Журнал современной литературы. № 25 <<http://www.kreschatik.net>>.

«Анна Ахматова — вместе с подругой (Ольгой Афанасьевной Глебовой-Судейкиной... или Палладой Богдановой-Бельской?) — и вот навестили как-то „Привал комедиантов”.

М. рычал непечатное, напирая на „б”:

Я лучше в баре блядам буду
подавать ананасную воду!

— Фу! — сказала подруга.

— Не фу, — возразила Ахматова, — а футуристы.

— Нет, Аня, фу! — И подруга топнула ножкой. — Ты посмотри! Здесь ведь бывают порядочные женщины... не только мы с тобой».

Михаил Эдельштейн. Поэты и бандиты. — «Русский Журнал», 2004, 12 августа <<http://www.russ.ru/culture/literature>>.

О сборнике текстов немецкой *террористики* Ульрики Майнхоф (издательство «Гилея») — с переходом на личность Александра Тарасова.

См. также: **Александр Тарасов**, «Партизан-антифашистов опять называют бандитами. От доктора филологии Геббельса — к кандидату филологии Эдельштейну» — «Русский Журнал», 2004, 10 сентября <<http://www.russ.ru/culture/literature>>; о немецкой *антифашистке* Ульrike Майнхоф — с переходом на личность Михаила Эдельштейна.

Михаил Эпштейн. Проективный словарь философии. Новые понятия и термины. № 20. — «Топос», 2004, 15 сентября <<http://www.topos.ru>>.

«ПРОТИВОИРОНИЯ (*counter-irony, trans-irony*) — ироническое остранение самой иронии, характерное для стадии „прощания с постмодернизмом” в литературе „новой искренности” или „новой сентиментальности”, от Венедикта Ерофеева до Тимура Кибирова. Термин предложен филологом Вл. Муравьевым в предисловии к поэме Вен. Ерофеева „Москва — Петушки”. *Противоирония* так же работает с иронией, как ирония — с серьезностью, придавая ей иной смысл. Если ирония выворачивает смысл прямого, серьезного слова, то *противоирония* выворачивает смысл самой иронии, восстанавливая серьезность — но уже без прежней прямоты и однозначности».

См. также рецензию **Марии Виролайнен** «Протоязык XXI века» («Новый мир», 2004, № 9) на «Проективный философский словарь. Новые термины и понятия» (под редакцией Г. Л. Тульчинского и М. Н. Эпштейна; СПб., «Алетейя», 2003).

Составитель **Андрей Василевский.**

«Вопросы истории», «Звезда», «Континент», «Наше наследие»

Марина Адамович. Н. С. Тимашев: русская тема. — «Континент», № 120 (2004, № 2) <<http://magazines.russ.ru/continent>>.

О несправедливо забытом основоположнике американской социологии, нашем соотечественнике, «либеральном консерваторе» и эмигранте первой волны. Он прожил 84 года и умер в 1970-м. Здесь же, в *блоке* «Наше наследие», публикуется и беседа Адамович с дочерью Николая Сергеевича, графиней **Татьяной Бобринской**, почти отчаянно призывающей внимание к свидетельствам представителей «старой эмиграции» («А сколько ушло таких, про которых вовремя не вспомнили! А сколько уходит сейчас!.. Так что — пока помним — забирайте от нас, сохраните!»).

«Путь Тимашева-ученого — это интеллектуализм практического православия, путь христианского приятия жизни в ее фактическом и идеальном наполнении. Именно в этом смысле Россия видится Тимашеву вполне гармоничной, дееспособной страной, с народом, у которого есть будущее. <...> Тимашев — это уникальный случай рационалиста-ученого, сумевшего сочетать материализм факта с христианским восприятием нации, культуры, истории. Это не религиозная, теософская культурология, но культурология, не забывшая про собственно христианское начало культуры. Не забывшая, что гуманизм Просвещения вышел из христианской этики и понимания личности».

Аннелиза Аллева. Стихи. Перевод с итальянского Дениса Датешидзе. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 8 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>.

В аннотации ее назвали «подругой Бродского» и напомнили (неточно указав источник, имелся в виду журнал «Старое литературное обозрение», 2001, № 2) о — хорошо, читал! — очерке «Улица Пестеля, 27, квартира 28».

Только руками развести, насколько это все лично, даже как-то неудобно, как будто подглядываешь. Но: ни грамма пошлости и сами знаете чего. Присутствует немного старомодный, но изящный «символизм», а воспринимается как цельная, *поэзная* вещь. А почему она решилась это опубликовать — там есть ответ.

Людмила Бубнова. Главы из романа «Голявкин, гениально, старик!» — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 8.

Грустно (и местами довольно тоскливо, за исключением, может быть, сюжета про Евтушенку — с мордобитием последнего и примирением обоих после) все это мне читать. Иногда, кажется, лучше и не знать, чем жили и чем дышали в молодости такие талантливые писатели, как Виктор Голявкин. Или это мое брюзжание? Жизнь-то действительно была довольно поганой, свинство сидело на свинстве и свинством погоняло, как мы помним или догадываемся.

Тут публикуются письма жене, с комментариями и расшифровкой имен внизу страницы, и — дневниковое. Почитаем отсюда. «[88]. Что бы ни происходило со мной — мне все к лучшему. Это правило золотое. Исключили из школы — значит, не там я должен быть. Если меня избили — к лучшему, значит, я плохо умею драться, нужно драться лучше, значит, я плохо слежу за собой. Надо больше любить себя. Если меня посадили в тюрьму — значит, лучше мне быть в тюрьме, на воле небезопасно, может быть смерть. Бог всегда со мной, я художник. Если недобрые люди вредят мне — это плохие люди. Если не хочешь убить их — бог их убьет. Им не жить на свете — только пожалуйся богу. Если ты поступил честно — не бойся, что тебя надули, что обошли или причинили зло. Поступив по-другому, ты сделаешь лучше себе. А людям тем будет худо. Я знаю и верю в свою звезду. Я художник, не может быть у меня плохой звезды — я пророк...» Такая вот теология. Временами яростная уверенность в своей правоте — в этих записях — удивляет и восхищает. Вот только чем?

Самуил Галай. Еврейские погромы и роспуск I Государственной думы в 1906 году. — «Вопросы истории», 2004, № 9.

С документами в руках, в том числе неотредактированным черновиком записи последнего, 40-го заседания (не получившим отражения в опубликованных стенограммах), доктор исторических наук из Израиля пытается доказать, что совсем не аграрный вопрос был единственной причиной роспуска Думы — спустя всего лишь два месяца после ее созыва. А вовсе даже то, что заявлено в названии статьи. Императору здесь здорово достается, признаться.

Ирина Золотинкина. Николай Врангель, барон и искусствовед. «Моноклем остекливший глаз...» — «Наше наследие», 2004, № 69.

Когда этого известнейшего столичного денди не стало, Александр Бенуа сказал о нем на вечере его памяти: «В этом оживлении художественной науки, в этом выводе ее на свет и воздух барону Врангелю принадлежит одна из первых ролей. Пожалуй, даже первейшая роль. <...> Врангель является типом целой группы лиц, посвятивших себя художественной культуре России, и возможно, что будущие поколения будут говорить о какой-то эпохе Врангеля» (1915).

Чтобы понять пафос А. Б., стоит прочитать не только богатый именами и фактами очерк, но и публикующуюся за ним работу самого Врангеля «История Императорской Академии художеств за 150 лет».

В этом же номере «Нашего наследия» публикуется большой блок материалов, посвященных еще одной «недопроявленной» фигуре — писателю **Борису Пильняку**, в том числе его письма к Е. Замятину (вступительная статья, публикация и комментарии К. Андроникашвили-Пильняк).

Юрий Каграманов. Когда Россия была великой и сильной. Опыт Священного союза. — «Континент», № 120 (2004, № 2).

Через призму событий начала XIX века, «через» Александра I с коалицией.

«К сожалению, у большинства ностальгирующих взор утыкается в недавнее прошлое, когда страной правил „вор“, укравший власть и ставший подлинным *демовором* (по-гречески: пожирателем народа). Да, при нем была одержана победа над враждебной Германией. Но „при нем“ здесь означает — не столько благодаря, сколько вопреки ему. Та же победа могла и должна была быть одержана значительно меньшими усилиями и, главное, непоставимо меньшей кровью. Это во-первых, а во-вторых, *последствия* на-

шей победы были для Европы совершенно другими, чем при Александре I. Советские войска освобождали европейские страны от фашизма затем лишь, чтобы вновь закабалить их. Интернационалистская фразеология лишь на время смуглила некоторую часть наших западных соседей, достаточно быстро раскусивших ее лживость: низкий лоб кремлевского руководства просто не вмещал сколько-нибудь высоких и благородных идей.

Злые черные мухи налетели с востока вместо золотых пчел!

Даже в чисто силовом отношении низколобый СССР не идет в сравнение с александровской Россией. Ибо после падения Германии он имел перед собой постоянный противовес в лице США, перед которыми в конце концов пошел на попятный. В 1815-м и в последующие годы никакого реального противовеса в Европе у России не было.

Грустно читать следующие строки: „В последний раз Россия играла активную и сравнительно конструктивную роль в создании общеевропейских организаций в конце наполеоновских войн” (американский дипломат и политолог Джеймс Гудби). Похвала, хотя и сказанная сквозь зубы, относится ко временам почти двухсотлетней давности!»

М. М. Кольцова. Опаленные блокадой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 8.

Подобно нашей современнице Елене Макаровой, Марианилла Максимовна Кольцова занималась с (блокадными) детьми тем, что сегодня называется «арт-терапией». Поразительны здесь таблицы с примерами, отражающими тему блокады в речи детей разных лет. Читаем *до* таблиц.

«После каждой бомбежки или обстрела они забывали о своих проблемах, даже о голоде, и, вытерев слезы, обсуждали главное: успела ли мама добежать до бомбоубежища? „А моя мама такая глупенькая — не ходит в убежище, а сидит дома!” Когда мы прислушивались к детским разговорам, то было такое впечатление, что слышишь взрослого, говорящего почему-то детским голоском, до того недетскими были их слова!

— Галя, ну не плачь! Тебе уже не два годика, а целых четыре! Ты же знаешь, что слезы помогают только с мамой да с бабушкой!

— А мне вот и самой плакание помогает — не так страшно, когда плакаешь!

Так переговаривались две девчужки четырех с половиной лет».

Роберт Ланда. Фархат Аббас. («Исторические портреты»). — «Вопросы истории», 2004, № 9.

Актуальный по нынешним временам сюжет-напоминание.

«Фархат Аббас продолжает и сейчас удивлять и своих соотечественников, и иностранных исследователей, и французов, которые с весьма значительным опозданием сожалеют, что таких людей, как он, в Алжире больше нет или почти нет. Но почему-то мало кто из них задает вопрос, в чем же причина исчезновения таких людей, „мусульман-французов”, чтивших французскую культуру и вообще все французское до самозабвения и самоотречения».

Этот либерал-реформатор умер зимой 1985-го.

Интересно, кто-нибудь хлопотал о новом названии какой-нибудь парижской улицы?

Лев Лосев. Отсутствие писателя. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 8.

Яркое эссе о Владимире Марамзине с плотным приложением, названным «Из заметки для энциклопедии». Начинается почти с бытового, а заканчивается, естественно, экзистенциальным, судьбинным, как говорят иногда. Берем из начала.

«Тогда (сорок лет назад. — П. К.) Марамзин еще полностью находился под влиянием Голявкина. Не он один, конечно. Едва ли не целое поколение молодых ленинградских писателей говорило голосом Голявкина и писало, под Голявкина, коротенькие абсурдистские рассказы, притворявшиеся детской литературой. Освободиться от чар этого сильного дарования было нелегко. Помню, каким поразительным образом это сделал Андрей Битов. Я по каким-то нетрезвым обстоятельствам оказался у Горбовского в воспетой им коммуналке на Васильевском острове. Пошел в уборную. Там на гвозде висела толстая, страниц сто, пачка рассказиков Битова, написанных под Голявкина. Битов сказал, что сам повесил. Борьба за стиль!»

Шкловского бы сюда.

Пяйви Ненонен. Лошадиные романы. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 8.

Бесхитростная, на первый взгляд почти дневниковая проза тридцатилетней писательницы, родившейся в Финляндии, а ныне живущей в Питере. «Говорят, есть и другие подобные мне оригиналы (чтобы не сказать маргиналы), переехавшие из Финляндии в Россию. Даже в Петербурге есть, только я не знакома с ними. Но среди них — наверняка единственная инвалид по зрению, без нормального заработка, зато с хронической административно-бумажной невезучестью. Похоже, все мы являемся некоторым естественным, хотя и слабым противотечением того потока русских, который устремляется из России в Финляндию». Интересно.

Алексей Павлюков. Убийство Слуцкого. — «Вопросы истории», 2004, № 9.

Не того, не пугайтесь. Начальника отдела Главного управления государственной безопасности при Ежове в 1938 году. Замочить его пришлось прямо в *конторе*, по сугубо технической причине: после ареста крупной, доежовской еще птицы — Агранова невыгодные показания последнего стали расплзаться по аппарату НКВД. Ежов, договорившись, свалил в Киев, и в кабинете некоего Фриновского некий же Заковский припечатал маску со снотворным куда надо. Потом, на диване, вкололи тоже чего надо, из опытной секретной лаборатории взяли. Врач терпеливо подождал в коридоре, затем сделал заключение и уехал. И все пошло своим чередом. Газетный некролог Абраму Слуцкому был пышным и грозным. И продолжили чистку.

Правда, «подчищая ряды», как всегда, перестарались: перебили почем зря резидентуру в Европе, что отразилось на эффективности работы советской разведки накануне войны.

Станислав Панин. Борьба с проституцией в России в 1920-х годах. — «Вопросы истории», 2004, № 9.

Это мы учили еще по Ленину, но вот цитатку из рассказа рабочего, участвовавшего в операциях ЧК в Петрограде (он шагал в составе конвоя к месту расстрела группы офицеров), привести стоит. Рабочему вспомнилась жена одного из «контриков». Она, видите ли, «следовала за отрядом и предлагала каждому пойти с ней, чтобы мужа отпустили. Я отошел с ней в сторону, совершил акт пролетарской справедливости, но мужа все равно расстрелял».

Но «акт» совершил, заметьте. И вернулся в строй.

Андрей Ряжев. Просвещенное духовенство при Екатерине II. — «Вопросы истории», 2004, № 9.

Об окружении трона.

Прослойка «просвещенного» духовенства была, по мнению автора, невелика. Приведем список тех, кто «встал по делам своих конфессий ближе всего к монархии, принимая участие в крупнейших акциях вероисповедной политики „просвещенного абсолютизма“»: члены Святейшего синода греко-российской Церкви архиепископ Георгий (Конисский) и митрополит Гавриил (П. Петров), католический архиепископ-митрополит Станислав Сестренцевич-Богуш, армяно-григорианский архиепископ Иосиф Аргутинский (Овсеп Аргутян), муфтий Оренбургского магометанского духовного собрания Мухамеджан Хусейнов и глава бурятской буддийской иерархии *бандидо-хамбо-лама* Дамба-Даржа Заяев».

И все.

В остатке же, сиречь финале текста, читаем: «Вольтеровский идеал веротерпимости стал идейным знаменем просвещенной Европы, Россия же при Екатерине Великой его не только воплотила, но и превзошла».

Елена Шварц. Стихи этого года. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 8.

Среди других здесь замечательные восьмичастные «Стихи о горе-злосчастье и бесконечном счастье быть меченой Божьей рукой». Сюжет развивается, как это нередко бывает у Шварц, в двух плоскостях: явной и тайной. Мистический протокол события; впрочем, многое сказано и в заглавии. Читая, видишь/слышишь/понимаешь: это не просто квартира сгорела. Это сгорела квартира поэта.

Ночью случился пожар.
В комнате весело огонь трещал.
Очнулась — в три роста огонь.
Будто мышь на лопате
Бросили в печь.
Беги, спасайся.
Юркнула душа за дверь,
Да и тело к себе подтащила.

Людмила Штерн. Довлатов, добрый мой приятель. Главы из книги. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 8.

Подобное, живое, «эскалаторное-метрошное», чтение уже было. Мило. Трогательное описание персонифицированного, пропитанного алкоголизмом, комплексами и эгоцентрикой — свинства. Веселее, чем у Бубновой, конечно. Только почему же мне так грустно, как говорит Ульянов—Чарнота в фильме «Бег», а?

Удивляешься, конечно, и богатству человеческой памяти, размещенному под рубрикой «Мемуары XX века». Ох, боюсь, кончится это тем, что запустит Игорь Валентинович Захаров (шучу) большую серию. Сережа Есенин, Сережа Довлатов, Серж Гинсбург...

Составитель **Павел Крючков.**

ПОПРАВКА

В предисловие к публикации писем И. С. Шмелева «Я всегда жил сердцем...» («Новый мир», 2004, № 11) вкрались неточности. Письма писателя были переданы Российскому фонду культуры митрополитом Лавром, который получил их непосредственно от Людмилы Гербертовны Келер (Земмеринг), а не из Бахметьевского архива. Людмила Гербертовна приняла монашество и живет близ православного монастыря в Джорданвилле.

Также прошу прощения у О. Н. Шотовой, помогавшей мне готовить публикацию, за досадную опечатку в написании ее фамилии.

Дмитрий Шеваров.

АЛИБИ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).

Редакция журнала «Новый мир» представляет проект Павла Крючкова «Звучащая поэзия». Впервые в истории современной литературы создается уникальная поэтическая аудиобиблиотека, представляющая стихотворный литературный процесс в его непосредственном, живом воплощении. Задача проекта — сделать доступным для читателей поэзии то, что в своей знаменитой статье «Голоса поэтов» М. Волошин назвал «внутренним слепком души». Проект «Звучащая поэзия» — это создание звуковой поэтической Интернет-антологии и выпуск архивных компакт-дисков с авторским чтением современных русских поэтов.

Интернет-сайт www.livepoetry.ru представляет прежде всего стихотворных авторов «Нового мира», опубликовавших свои произведения на страницах журнала в 2002 — 2004 годах. Отныне стихотворная часть каждого номера «Нового мира», размещенного в Интернете, будет дополнена голосом каждого опубликованного поэта, читающего одно из стихотворений своей поэтической подборки.

Аудиозаписи авторского чтения демонстрируются на сайте в формате mp3.

Помимо раздела «Поэзия в „Новом мире“» мы открываем интернет-рубрику «Поэт месяца» (авторское чтение нескольких стихотворений), рассказываем об архивной CD-антологии, общаемся с пользователями Сети. Предполагается регулярное обновление и расширение нашей интернет-страницы.

«Звучащая поэзия» CD — это архивный выпуск индивидуальных поэтических собраний на компакт-дисках. Время звучания — 40 — 70 минут. Каждый диск — это уникальный по своему составу поэтический сборник того или иного автора. В 2004 году выпущены следующие компакт-диски:

Инна ЛИСНЯНСКАЯ. «Пожар на болоте».

Елена ШВАРЦ. «Песня птицы на дне морском».

Светлана КЕКОВА. «Сокровище этого дня».

Олег ЧУХОНЦЕВ. «Кыё кыё».

Александр КУШНЕР. «Пластинка».

Анатолий НАЙМАН. «Мертвые кроты».

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ. «Sarabande».

Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ. «Стансы».

Бахыт КЕНЖЕЕВ. «Амо ерго сум».

Виктор КУЛЛЭ. «Пограничье».

Каждый компакт-диск выпущен малым тиражом, предназначенным не для продажи. Диски передаются в наиболее значительные отечественные и зарубежные архивы.

Авторы проекта «Звучащая поэзия»: Павел Крючков (руководитель), Антон Королев (звукорежиссер), Всеволод Лазутин (технический директор), Екатерина Марголис (художник). Нас поддерживали: Александр Жуков, Евгений Бунимович, Иван Дыховичный, Юрий Кублановский, Владимир Александров, Александр Шаталов.

Профессиональными советами проекту «Звучащая поэзия» помогал выдающийся отечественный звукоархивист Лев Алексеевич Шилов.

Информационная поддержка проекта: редакция журнала «Новый мир».

Мы готовы к плодотворному сотрудничеству со всеми заинтересованными лицами и организациями.

<http://www.livepoetry.ru> (интернет-сайт «Звучащая поэзия»)

e-mail: paolo@mail.ru (Павел Крючков, для проекта «Звучащая поэзия»)

телефоны: (095) 229-56-92 (отдел поэзии «Нового мира»)



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Декабрь

5 лет назад — в № 12 за 1999 год напечатан этюд из «Литературной коллекции» А. Солженицына «Иосиф Бродский — избранные стихи».

15 лет назад — в № 12 за 1989 год напечатана «Новая проза. (Из черновых записей 70-х годов)» Варлама Шаламова и главы из книги Анатолия Марченко «Мои показания».

25 лет назад — в № 12 за 1979 год напечатана «Повесть о Сонечке. (Часть вторая)» Марины Цветаевой.

35 лет назад — в № 12 за 1969 год напечатаны повесть Юрия Трифонова «Обмен», повесть Александра Яшина «Сладкий остров» и статья В. Лакшина «„Мудрецы“ Островского — в истории и на сцене».

55 лет назад — в № 12 за 1949 год, посвященном 70-летию И. В. Сталина, напечатана пьеса Всеволода Вишневского «Незабываемый 1919-й».

70 лет назад — в № 12 за 1934 год напечатаны приветствия советских писателей к десятилетию «Нового мира» (от Бориса Пастернака: «Поздравляю редакцию с десятилетием журнала. Не верится, что это всего десятилетие, — столь определяющая часть жизни падает на эти годы. Кажется, чуть ли не с первого литературного рождения журнал вел меня, воспитывал и переделывал к лучшему...»).

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 2004 ГОД



РОМАНЫ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Анатолий Азольский. Кандидат. Повесть. III — 11.

Дмитрий Бавильский. Нодельма. Роман. V — 10.

Павел Басинский. Горький. Главы из книги. XI — 96.

Родион Белецкий. Путешествие в Иваново автора, Коврова и Баранова. Повесть. V — 78.

Юрий Буйда. Переправа через Иордан. Книга рассказов. IX — 44.

Алексей Варламов. Все люди умеют плавать. Рассказы. VIII — 107.

Юлия Винер. Снег в Гефсиманском саду. Повесть. VI — 32.

Дмитрий Галковский. Девятнадцатый век. Святочный рассказ № 13. III — 89.

Василий Голованов. Мурзилка. Повесть. I — 53; Эти квартиры. Рассказ. XI — 75.

Нина Горланова. Рассказы. I — 86.

Нина Горланова, Вячеслав Букур. Любовь — бабки — любовь. Пьеса в двух частях. VII — 85.

Елена Долгопят. Фармацевт. Маленькая повесть. IV — 70.

Борис Екимов. Ралли. Рассказ. III — 75; Рассказы. VIII — 7; «Не надо плакать...» Рассказ. XI — 59.

Олег Ермаков. Возвращение в Кандагар. Повесть. II — 12.

Олег Зоберн. Тихий Иерихон. Рассказ. VI — 98.

Николай Кононов. Нежный театр. Роман. VII — 13; VIII — 24.

Владимир Кравченко. Из пороха в порох. Повесть. XII — 51.

Андрей Кучаев. Другая сторона улицы. Рассказы. IV — 107.

Олег Ларин. Вот так и живем. Записки сельского москвича. VII — 109.

Владимир Маканин. Коса — пока роса. Повесть. XI — 7.

Анна Матвеева. Итальянское вино. Маленькая повесть. XII — 76.

Марина Палей. Хутор. Повесть. IX — 11.

Юрий Петкевич. К бабушке, в Бекачин... Рассказ. III — 102.

Ирина Полянская. Рассказы. X — 49.

Евгений Рейн. Который час? Четыре истории. X — 96.

Игорь Савельев. Бледный город. Повесть про автостоп. Вступительное слово Ольги Славниковой. XII — 11.

Роман Сенчин. Вперед и вверх на севших батарейках. Повесть. IV — 13.

Алексей Смирнов. Автопортрет в лицах. Рассказы. IX — 105.

Роман Солнцев. Ключи. Рассказ. V — 116.

Михаил Тарковский. Бабушкин спирт. Повесть. VI — 10.

Людмила Улицкая. Искренне ваш Шурик. Роман. I — 7; II — 59.

Михаил Харитонов. Зимы не будет. Рассказ. X — 73.

Олег Хафизов. Полет «России». Повесть. X — 12.

Олег Чилап. Мой старший брат. Рассказы. I — 109.

Дмитрий Шеваров. Парад облаков. Рассказы из летней тетради. VI — 78.

Евгений Шкловский. Спальный район. Рассказы. II — 109; Из-под козырька. Рассказы. XII — 97.

Александр Яковлев. Здесь ни за что не заблудишься. Рассказ. IV — 94.

СТИХОТВОРЕНИЯ. ПОЭМЫ

Татьяна Бек. Служенье птиц. VI — 7.

Дмитрий Бобышев. Звездоречь. V — 72.

Марина Бородицкая. Нечаянный выигрыш. X — 70.

Тамара Буковская. Витражный осколок. XII — 47.

Ирина Василькова. Акустика дальнего шторма. VII — 7.

Мария Ватутина. Осколок тьмы. I — 81.

Борис Викторов. Всего лишь звенья... VII — 82.

Максим Волчеквич. Тот циферблат. VI — 95.

Татьяна Вольтская. Торопливые сны. III — 86.

Марианна Гейде. Коралловые колонии. III — 115.

Владимир Губайловский. В тени стиха. IV — 90.

Вероника Долина. Старые французские песни. VII — 104.

Ирина Ермакова. Царское время. III — 7.

Ольга Ермолаева. Письма к пресвитеру. VIII — 102.

Тамара Жирмунская. Растворение в близне. III — 98.

Дмитрий Зиновьев. С музыкальным боем. XII — 72.

Александр Зорин. Ствол ясеня. IX — 114.

Вячеслав Вс. Иванов. Немыслимый свет. I — 50.

Юрий Казарин. Шаровое жнивье. IX — 40.

Мария Каменкович. Поле зрения. V — 110.

Евгений Карасев. Ожившие запахи. XII — 93.

Бахыт Кенжеев. Возбудитель праха. VIII — 20.

Александр Климов-Южин. На центр листа. X — 43.

Евгений Клюев. Имя, город, число. X — 91.

Анатолий Кобенков. Растерянная радость. II — 104.

Григорий Корин. Окрыленная книга. XII — 112.

Юрий Кублановский. Полная тишина. V — 128.

Инга Кузнецова. За секунду до пробуждения. X — 106.

Ольга Кучкина. Оглашенная тишина. II — 55.

Семен Липкин. Прости меня. Публикация подготовлена Дмитрием Полищуком. XI — 88.

Инна Лисянская. Сверчок. III — 70; Над солью вод. Из иерусалимской тетради. X — 7.

Ольга Мартынова. Над твердью тихих волн. IX — 7.

Лариса Миллер. Горизонта текущая линия. IV — 67.

Станислав Минаков. Сказ о явлениях блаженному Тимофею. VI — 105.

Анатолий Найман. Поминки по веку. I — 103.

Вера Павлова. Путь и спутник. V — 7.

Пиндар — Максим Амелин. Победные песни. IX — 92.

Михаил Поздняев. Погоди минутку. VI — 74.

Давид Раскин. Живое железо. Вступительное слово Александра Кушнера. IV — 117.

Евгений Рейн. Утешительный приз. IV — 7.

Геннадий Русаков. Горло дней. VI — 27.

Юрий Ряшенцев. Кленовая паутина. II — 7.

Владимир Салимон. Краем глаза. I — 119.

Дмитрий Сарабьянов. Долгожданный дождь. VIII — 118.

Алексей Смирнов. Присутствие осени. XII — 7.

Сергей Стратановский. Со спокойствием в сердце. XI — 54.

Александр Тимофеевский. Игра, которой нет. II — 121.

Олег Хлебников. Лесенка. XI — 71.

Евгений Чигрин. Пожизненный срок. VII — 125.

Евгений Эрастов. Русская штольня. IV — 102.

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

Сергей Аверинцев. Опыт петербургской интеллигенции в советские годы — по личным впечатлениям. Вступительное слово Витторио Страда. VI — 116.

«Время имеет свою топологию...» Письма Юрия Домбровского Виталию Семину. Публикация В. Н. Кононыхин-Семиной. Подготовка текста, предисловие и комментарии Л. С. Дубшана. V — 150.

М. Л. Гаспаров. Памяти Сергея Аверинцева. VI — 124.

Н. Нилли. Литературный Петербург. Впечатления. Подготовка текста, публикация и послесловие Е. Б. Белодубровского. IV — 137.

Юрий Сааков. Высочайшая цензура. Два эпизода из истории кинематографа. III — 133.

Густав Шпет. «Я пишу как эхо другого...» Письма к жене. Публикация, подготовка текста и примечания М. Г. Шторх и Т. Г. Щединой. I — 143.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Владимир Маканин. Ракурс. Одна из возможных точек зрения на нынешний русский роман. I — 158.

А. Солженицын. Из «Литературной коллекции»: Георгий Владимов — «Генерал и его армия». II — 144; Леонид Бородин — «Царица смуты». VI — 149; Алексей Константинович Толстой — драматическая трилогия и другое. IX — 137; Награды Михаилу Булгакову при жизни и посмертно. XII — 122.

ИЗ НАСЛЕДИЯ

Виктор Астафьев. «...Будет востребована правда...» Письмо Светлане Новиковой. XI — 153.

Осия Сорока. Как Чехов писал стихи. Публикация, подготовка текста и вступительная заметка Елены Волковой. IX — 145.

Иван Шмелев. «Я всегда жил сердцем...» Письма Раисе и Людмиле Земмеринг. Подготовка текста Н. В. Петрашовой, Д. Г. Шеварова, О. Н. Шотовой. Вступительная статья Д. Г. Шеварова. XI — 144.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Архимандрит Августин (Никитин). «В большой счастливой зоне». Кубинские тетради. IV — 122; V — 135.

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

Ревекка Фрумкина. Там, где в пространстве затерялось время... О пользе когнитивного диссонанса. III — 119; Феномен репетиторства как социальная практика. VI — 107.

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

Владимир Губайловский. Шелест новостей и истин. Размышления над статьей Игоря Шарыгина. X — 126.

Эссе homo: **Андрей Столяров.** Розовое и голубое; **Армен Асриян.** Игры, которые нас выбирают; **Татьяна Касаткина.** Вечный человек. XI — 118.

Андрей Зубов. Размышления над причинами революции в России. Опыт восемнадцатого столетия. VII — 129; VIII — 125.

Юрий Каграманов. Святая земля и вокруг нее. IX — 118.

Сергей Маркедонов. «Вестфальская» Россия. Черты российского регионализма рубежа XX — XXI веков. II — 124.

Эрих Соловьев. Переосмысление табиона. Карательная справедливость и юридический гуманизм. I — 123.

Игорь Шарыгин. Образование и глобализация. Российское образование в условиях глобализации. Подготовка текста и публикация Г. И. Шарыгина. X — 110.

ОПЫТЫ

Сергей Боровиков. В русском жанре-26. XI — 156; В русском жанре-27. XII — 137.

Андрей Василевский. Политика. III — 131; Привет Ахметьеву. VI — 140.

Нина Горланова. Письмо Чехову. XI — 161.

КОММЕНТАРИИ

Алла Латынина. «Потом опять теперь». II — 137; Десять лет спустя. IV — 146; Люди как люди. Работа как работа. VI — 142; Скрытый сюжет: перемена участи. VIII — 145; Глаз из Нижнего мира. X — 129; Изгнание из номенклатурного рая. XII — 115.

БЕСЕДЫ

Александр Кушнер. Не дерево, а роща. Беседу ведет Татьяна Бек. VI — 127.

Лампанидус с голубыми фонариками. Беседа Олеси Николаевой с Игорем Снегиревым. XII — 128.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Владимир Губайловский. Неизбежность поэзии. Очерк поэтического пространства-времени. II — 152; Голос поэта. Тезисы к исследованию. X — 136.

Олег Дарк. Танец молнии. X — 145.

Алла Марченко. Вместороманье. IV — 153.

Елена Невзглядова. Стих и смысл. X — 156; «Его взыскательные уши...» О поэтике Пастернака по следам статьи М. И. Шапира «...А ты прекрасна без извилин...». XII — 142.

Валерия Пустовая. Новое «я» современной прозы: об очищении писатель-

ской личности. В. Маканин, С. Гандлевский — Р. Сенчин — И. Кочергин. Вступительное слово Ирины Роднянской. VIII — 153.

Ирина Сурат. Превращения имени. IX — 151.

Максим Шапир. «...А ты прекрасна без извилин...». Эстетика небрежности в поэзии Пастернака. VII — 149.

Борьба за стиль

Ирина Василькова. «Как нам вылечить птиц, отказавшихся петь?». III — 151.

Максим Кронгауз. Раздвигающие язык: «эффект хонгуя». V — 160.

Владимир Цивунин. Сухое биение. О стихах Ларисы Миллер. III — 160.

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Марина Абашева. Тайны Леонида Юзефовича (Леонид Юзефович. Казароза 1920/1975. Роман; Леонид Юзефович. Песчаные всадники. Повесть и рассказы). V — 166.

Татьяна Алешка. «Многих счастливей, многих печальней...» (Вера Павлова. Везде. Стихи 2000 — 2002 гг.). VII — 181.

Кирилл Анкудинов. Евангелие от Марфы (Инна Кабыш. Детство. Отрочество. Детство. Стихи, поэмы, пьеса). IX — 175.

Дмитрий Бак. Наука побуждать (Klaus Waschik, Nina Baburina. Werben für die Utopie. Russische Plakatkunst des 20; Клаус Вашик, Нина Бабурина. Агитация за утопию. Русское искусство плаката 20 столетия). VII — 187.

Алексей Балакин. Первый том академического Тютчева (Ф. И. Тютчев. Полное собрание сочинений и письма в 6-ти томах. Т. 1. Стихотворения 1813 — 1849). V — 175; Нина и другое (А. Б. Пеньковский. Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. Издание второе, исправленное и дополненное). **Сергей Бочаров.** Р. S. к рецензии Алексея Балакина. XII — 163.

Сергей Бочаров. Тютчевская историософия: Россия, Европа и Революция (Ф. И. Тютчев. Полное собрание сочинений и письма в 6-ти томах. Т. 3. Публицистические произведения). V — 184.

Дмитрий Быков. Зори над распутием (Валентин Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана. Повесть; Леонид Зорин. Забвение. Маленький роман). IV — 164.

Мария Виrolайнен. Протоязык XXI века (Проективный философский словарь. Новые термины и понятия). IX — 184.

Нина Волкова. Зима в Ленинграде (Леонид Цыпкин. Лето в Бадене). VII — 172.

Михаил Горелик. Человек из Тель-Авива (Яков Шабтай. Эпиплог). III — 186.

Владимир Губайловский. Нежная дикость («Странная» поэзия и «странная» проза. Филологический сборник, посвященный 100-летию со дня рождения Н. А. Заболоцкого; Заболоцкий Н. Н. Жизнь Н. А. Заболоцкого. Изд. 2-е, дораб.). XII — 171.

Владислав Дегтярев. Орфей, Эвридика и смерть (Алексей Пурин. Неразгаданный рай. Книга стихов). XI — 168.

Александр Доброхотов. В поисках утраченного смысла: по направлению к Гуссерлю (Н. В. Мотрошилова. «Идеи I» Эдмунда Гуссерля как введение в феноменологию). IV — 179.

Леонид Дубшан. «Может быть, не напрасно...» (Игорь Булатовский. Полуостров). III — 180.

Никита Елисеев. Умершее зерно (Надежда Улановская, Майя Улановская. История одной семьи. Мемуары). I — 171; Стереоскопичность памяти (Петр Горелик. Служба и дружба. Попытка воспоминаний). XII — 157.

Евгений Ермолин. ГУЛАГ. До востр. (Евгений Федоров. Проклятие; Евгений Федоров. Поэма о первой любви. Исповедь бывшего диссидента; Евгений Федоров. Поэма о первой любви /исповедь диссидента/). IX — 169.

Юрий Каграманов. Еще об исламе (Ислам и Россия). VI — 181.

Ольга Канунникова. «Молчит неузнанный цветок...» (Елена Аксельрод. Избранное). II — 167; Из жизни парадоксов, или Некоторые устрицы несчастье других (Льюис Керролл. Сильвия и Бруно; Кристина Бьёрк. Приключения Алисы в Оксфорде). VI — 172.

Михаил Копелиович. Здравствуй, речь! (Татьяна Бек. До свидания, алфа-

вит. Эссе. Мемуары. Беседы. Стихи). X — 165.

Сергей Костырко. Безальтернативность Слаповского (Алексей Слаповский. Качество жизни; Алексей Слаповский. Качество жизни. Книга. Адапатор. Роман). XII — 153.

Павел Крючков. Пригодиться своим ближним (Корней Чуковский — Лидия Чуковская. Переписка. 1912 — 1969). II — 170; Счастливый пленник стихотворства (Анатолий Добрович. Монолог; Анатолий Добрович. Линия прибора). VIII — 178.

Юрий Кублановский. На свету и в темнотах лирической самобытности (Леонид Губанов. «Я сослан к Музе на галереи...»). I — 167; «Без выбора»: неволя, нищета, счастье... (Леонид Бородин. Без выбора. Автобиографическое повествование). III — 167; Pro et contra Ивана неистового (И. А. Ильин: pro et contra. Личность и творчество Ивана Ильина в воспоминаниях, документах и оценках русских мыслителей и исследователей. Антология). VIII — 184.

Виктор Куллэ. Суп с котом (Асар Эппель. Травяная улица; Асар Эппель. Шампиньон моей жизни; Асар Эппель. Дробленный сатана). I — 163; Плодоносящая смоковница (М. Амелин. Конь Горгоны. Третья книга стихов). IV — 167.

Виталий Куренной. Грезы о реальности (История страны / История кино; Зара Абдуллаева. Реальное кино). XI — 173.

Наталья Курчан. Музыкальная апокалиптика Владимира Мартынова (Владимир Мартынов. Конец времени композиторов). XI — 178.

Майя Кучерская. Смертоносный танец (Луи-Поль Боон. Менуэт. Роман). X — 161.

Кирилл Левинсон. Приближение к средневековому человеку (Словарь средневековой культуры). I — 178.

Михаил Лемхин. Доктор Цыпкин и доктор Гинденбург (Леонид Цыпкин. Лето в Бадене). VII — 175.

Валерий Липневич. В поисках утраченного достоинства (Отар Чиладзе. Годори. Роман). XI — 164.

Виктор Листов. Речь о молчании (Мария Виролайнен. Речь и мол-

чание. Сюжеты и мифы русской словесности). IV — 176.

Алла Марченко. Жизнь + творчество: слить в одно? (Екатерина Орлова. Литературная судьба Н. В. Недоброво). IX — 179.

Олег Мраморнов. Письма художника в юности (И. А. Бунин. Письма 1885 — 1904 годов). X — 168.

Елена Невзглядова. Морфология жизни (Дмитрий Притула. Факел. Книга рассказов). VIII — 174.

Лиля Панн. Хроника дружбы (М. В. Муратов. Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков по их дневникам и переписке; M. V. Muratov. L. N. Tolstoy & V. G. Chertkov: through their correspondence) X — 172; Военная тайна Бориса Слуцкого (Григорий Ройтман. Борис Слуцкий. Очерк жизни и творчества). XII — 164.

Дмитрий Полищук. На ветру трансцендентном (Олег Чухонцев. Фифиа. Книга новых стихотворений). VI — 159.

Валерия Пустовая. Охотник за собственным «я» (Илья Кочергин. Помощник китайца. Рассказы и повесть). III — 176.

Ирина Роднянская. Горит Чухонцева эпоха (Олег Чухонцев. Фифиа. Книга новых стихотворений). VI — 167.

Дарья Рудановская. Язык ночи (Рамиль Халиков. Сторож. Роман). VI — 179.

Павел Руднев. Новый театральный роман (Андрей Дмитриев. Призрак театра. Роман; Леонид Зорин. Юпитер. Роман). II — 164.

Василий Русаков. Золотой улов (Алексей Машевский. Вне времени). IV — 173.

Валерий Сендеров. Россия-Империя или Россия-Царство? (Человек между Царством и Империей. Сборник материалов международной конференции). II — 175; Записки прямоходящего, или Утопия Леонида Бородина (Леонид Бородин. Без выбора. Автобиографическое повествование). III — 172; Освальд Шпенглер без поэзии (Освальд Шпенглер. Пессимизм? Сборник статей). X — 177.

Алексей Смирнов. Литература для детей в зеркале «Мурзилки» (Мурзилка и его друзья...). VII — 184.

Михаил Эдельштейн. Жизнь и время Джона К. (Дж. М. Кутзее. В ожидании варваров. Романы). V — 171.

Книжная полка Андрея Василевского. VII — 191.

Книжная полка Евгения Ермолина. I — 182; IV — 183; VI — 186; X — 182.

Книжная полка Татьяны Касаткиной. II — 182.

Книжная полка Павла Крючкова. III — 191; XII — 175.

Книжная полка Виктора Куллэ. IX — 189.

Книжная полка Марии Ремизовой. V — 190.

Книжная полка Ирины Роднянской. VIII — 189.

Книжная полка Дмитрия Шеварова. XI — 184.

Театральные впечатления Павла Руднева. I — 188; III — 197; V — 200; VII — 199; IX — 199; XI — 194.

Художественный дневник Дмитрия Быкова. II — 200.

Художественный дневник Ольги Гладковой. XII — 191.

Художественный дневник Екатерины Корниловой. VI — 199.

Художественный дневник Натальи Курчан. VIII — 205.

Художественный дневник Александра Соколянского. X — 195.

Художественный дневник Владимира Юзбашева. IV — 199.

Кинообозрение Игоря Манцова. II — 191; IV — 191; VI — 192; VIII — 198; X — 189; XII — 184.

Кинообозрение Натальи Сиривли. I — 191; III — 200; V — 203; VII — 204; IX — 203; XI — 198.

WWW-обозрение Владимира Губайловского. I — 196; III — 203; V — 206; VII — 207; IX — 207; XI — 201.

WWW-обозрение Владимира Забалуева и Алексея Зензинова (с послесловием Сергея Костырко). X — 202.

WWW-обозрение Сергея Костырко. II — 205; IV — 203; VI — 204; XII — 197.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Александр Давыдов (Кауфман). «Свой» — «чужие». I — 201.

Лев Лосев. Воображенные города. III — 211.

Спор о кришнаитах: Сергей Зуев. Антикультистское сочинение; **Юлия Ушакова.** Кришнаизм как неоиндуистское течение. III — 208.

НЕКРОЛОГ

Владимир Мартынов. Памяти Татьяны Чередниченко. II — 212.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко). I — 209; II — 214; III — 212; IV — 209; V — 213; VI — 210; VII — 213; VIII — 212; IX — 211; X — 210; XI — 205; XII — 202.

Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков). I — 212; II — 218; III — 214; IV — 213; V — 216; VI — 214; VII — 217; VIII — 216; IX — 215; X — 213; XI — 208; XII — 205.

Авторы этого года

Абашева М. (V), Аверинцев С. (VI), Азольский А. (III), Алешка Т. (VII), Амелин М. (IX), Анкудинов К. (IX), Асриян А. (XI), Астафьев В. (XI), Бавильский Д. (V), Бак Д. (VII), Балакин А. (V, XII), Басинский П. (XI), Бек Т. (VI), Белецкий Р. (V), Белодубровский Е. (IV), Бобышев Д. (V), Боровиков С. (XI, XII), Бородицкая М. (X), Бочаров С. (V, XII), Буйда Ю. (IX), Буковская Т. (XII), Букур В. (VII), Быков Д. (II, IV), Варламов А. (VIII), Василевский А. (I — XII), Василькова И. (III, VII), Ватутина М. (I), Викторов Б. (VII), Винер Ю. (VI), Виротайнен М. (IX), Волкова Е. (IX), Волкова Н. (VII), Волчеквич М. (VI), Вольтская Т. (III), Галковский Д. (III), Гаспаров М. (VI), Гейде М. (III), Гладкова О. (XII), Голованов В. (I, XI), Горелик М. (III), Горланова Н. (I, VII, XI), Губайловский В. (I — III, V, VII, IX — XII), Давыдов (Кауфман) А. (I), Дарк О. (X), Дегтярев В. (XI), Доброхотов А. (IV), Долгопят Е. (IV), Долина В. (VII), Домбровский Ю. (V), Дуб-

- шан Л. (III, V, XII), Екимов Б. (III, VIII, XI), Елисеев Н. (I, XII), Ермаков О. (II), Ермакова И. (III), Ермолаева О. (VIII), Ермолин Е. (I, IV, VI, IX, X), Жирмунская Т. (III), Забалуев В. (X), Зензинов А. (X), Зиновьев Д. (XII), Зо́берн О. (VI), Зорин А. (IX), Зубов А. (VII — VIII), Зуев С. (III), Иванов Вяч. (I), Иванова С. (XII), Каграманов Ю. (VI, IX), Казарин Ю. (IX), Каменкович М. (V), Канунникова О. (II, VI), Карасев Е. (XII), Касаткина Т. (II, XI), Кенжеев Б. (VIII), Климов-Южин А. (X), Ключев Е. (X), Кобенков А. (II), Кононов Н. (VII — VIII), Кононыхина-Семина В. (V), Копелиович М. (X), Корин Г. (XII), Корнилова Е. (VI), Костырко С. (I — XII), Кравченко В. (XII), Кронгауз М. (V), Крючков П. (I — XII), Кублановский Ю. (I, III, V, VIII), Кузнецова И. (X), Куллэ В. (I, IV, IX), Куренной В. (XI), Курчан Н. (VIII, XI), Кучаев А. (IV), Кучерская М. (X), Кучкина О. (II), Кушнер А. (IV, VI), Ларин О. (VII), Латынина А. (II, IV, VI, VIII, X, XII), Левинсон К. (I), Лемхин М. (VII), Липкин С. (XI), Липневич В. (XI), Лиснянская И. (III, X), Листов В. (IV), Лосев Л. (III), Маканин В. (I, XI), Манцов И. (II, IV, VI, VIII, X, XII), Маркедонов С. (II), Мартынов В. (II), Мартынова О. (IX), Марченко А. (IV, IX), Матвеева А. (XII), Миллер Л. (IV), Минаков С. (VI), Мраморнов О. (X), Найман А. (I), Невзглядова Е. (VIII, X, XII), Никитин А. (IV — V), Николаева О. (XII), Нилли Н. (IV), Новикова С. (XI), Павлова В. (V), Палей М. (IX), Панн Л. (X, XII), Петкевич Ю. (III), Петрашова Н. (XI), Пиндар (IX), Поздняев М. (VI), Полищук Д. (VI, XI), Полянская И. (X), Пустовая В. (III, VIII), Раскин Д. (IV), Рейн Е. (IV, X), Ремизова М. (V), Роднянская И. (VI, VIII), Рудановская Д. (VI), Руднев П. (I — III, V, VII, IX, XI), Русаков В. (IV), Русаков Г. (VI), Ряшенцев Ю. (II), Сааков Ю. (III), Савельев И. (XII), Салимон В. (I), Сарабьянов Д. (VIII), Сендеров В. (II, III, X), Сенчин Р. (IV), Сирилья Н. (I, III, V, VII, IX, XI), Славникова О. (XII), Смирнов А. (VII, IX, XII), Снегирев И. (XII), Соколянский А. (X), Солженицын А. (II, VI, IX, XII), Солнцев Р. (V), Соловьев Э. (I), Сорока О. (IX), Столяров А. (XI), Страда В. (VI), Стратановский С. (XI), Сурат И. (IX), Тарковский М. (VI), Тимофеевский А. (II), Улицкая Л. (I — II), Ушакова Ю. (III), Фрумкина Р. (III, VI), Харитонов М. (X), Хафизов О. (X), Хлебников О. (XI), Цивунин В. (III), Чигрин Е. (VII), Чилап О. (I), Шапир М. (VII), Шарыгин И. (X), Шеваров Д. (VI, XI), Шкловский Е. (II, XII), Шмелев И. (XI), Шотова О. (XI), Шпет Г. (I), Шторх М. (I), Щедрина Т. (I), Эдельштейн М. (V), Эрастов Е. (IV), Юзбашев В. (IV), Яковлев А. (IV).

СОБИРАЕМ КНИГИ ДЛЯ ТЮРЕМНЫХ БИБЛИОТЕК

Координатор
АЛЕНА ЯРМАК

Контактный телефон
(095) 209-57-02